ISSN 0130-1616. Знамя. 1990. №6. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1990

Июнь

В ближайших номерах читайте
новую повесть
Чингиза АЙТМАТОВА
и роман
Владимира МАКСИМОВА
«Заглянуть в бездну»



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

6
ИЮНЬ
1990

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Инна Кабыш

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

●

И всяк беспомощен и сир:
дамоклов рок на каждой вые.
Я посетила этот мир
в его минуты роковые.

Когда он весь одним куском, —
без Украин, Армений, Грузий, —
у Бога, словно в горле ком.
Блажен живущий без иллюзий,

но с верою в такие дни.
Неодиноко — нерожоным,
а все немертвые — одни:
беда мужам и горе женам.

Сей мир я посетила в век,
чья атмосфера — безнадега,
и черен ход, и выход — вверх,
где нету Бога, кроме Бога.

И потому, что нет как нет
литературы не с натуры,
блажен безжалостный поэт,
кто книгу выдубил из шкуры

своей и пишет все, что зрит:
безлюбье, мерзость запустенья,
чуму... И в нем огонь горит,
а вкруг — народ, зверье, растенья.

●

Столько всяких пролетело конниц,
что лежит избитая земля.
За версту плетется тройка школьниц
похлебать в буфете киселя.

Чешет глаз девическая тонкость,
отдается каждому сирень,
а вокруг не то чтобы жестокость, —
русская убийственная лень.

И Пегас, заезженная кляча,
местный долгожитель, раритет:

Инна Кабыш — поэт, член СП СССР. Печаталась в альманахе «Поэзия», «Литературной газете», журналах «Юность», «Знамя», «Дружба народов», в «Дне поэзии-89». Живет в Москве.

«Не осталось жанра, кроме плача», —
сообщит поэту тет-а-тет.

И последний в гневе благородном
погрозит кому-то кулаком.
А тюльпаны в царстве огородном —
рабья кровь с рабыньим молоком.

А в пруду повыродились щуки
и не вышли утки в лебедей,
и с ухмылкой не дается в руки
рак — и жрет министров и людей.

Ну, чего ж вы, сеятели? Сейте!
Здесь, куда ни сунешься, навоз.
...На дворе в эпоху **мимосердья**
насмерть врос отечественный воз.

●

И кажется: все впереди,
а встанешь утром — Петр и Павел
под птичий щебет час убавил
и встык придвинулись дожди.

И побелела бузина,
жизнь раздалась, как молодуха:
как много тел, как мало духа,
куда ни глянь — бузит страна.

Психует местное дитя,
как будто что-то в нем отбито,
и, обезумевши от быта,
старуха тащится кряхтя.

...Уже безгрешное зерно
погибло — и заколосилось,
еще листва не износилась
и сарафан не выцвел, но

предтеча осени арбуз
расшибся в кровь при всем народе.
Нет безобразия в природе,
но есть Россия. Ниткой бус,

кровавых, коим нет цены,
висит у бабы земляника.
Кричать хозяйке: «Замени-ка!» —
нелепо: нет другой страны.

●

Так всякий раз бывает по весне:
душа взрывает снежную коросту,
готовая к любви и новизне,
паденьям и болезненному росту.

И столько в ней накоплено щедрот
за русскую безвылазную зиму,
что хватит на мужчин и на сирот.
Что хватит на Спитак и Хиросиму

березового сладкого питья:
душа кору, как чашечку, разбила.
...В такие дни до волчьего вытья
мне жалко всех, кого я разлюбила.

●

Что́ как не путь бесстрастная бумага?
Когда скользишь вдоль снежного листа,
то кажется: каких-нибудь полшага,
полвыдоха, полслова до Христа...

А за окном — просторная дорога
и, как на демонстрации, народ,
но в венчике пред ним не видно Бога:
их разлучил случайный поворот.

А раз народ, великий и могучий,
идет заре навстречу не с Христом —
неважно как: шеренгой или кучей —
тогда я не с народом. Я с листом.

●

О, муки совести нечистой,
разворотившие кишки!
Когда твой ум, твой царь речистый, —
на лобном месте без башки.

О, мука мук, Борисов комплекс,
когда, как шапка на воре,
горит душа. О, этот компас,
со стрелкой, вздернутой горе́!..

●

Родина — степь да степь,
мат-перемат с детсада.
Очередь — это в цепь
вытянутое стадо.
Дай хоть чего-нибудь,
Господи, — мыла, хлеба!..
Родина — это путь
от СССР до неба.

Фазиль Искандер

СУМРАЧНОЙ ЮНОСТИ СВЕТ

ПОВЕСТЬ

Саида была дочерью Хабуга. Заур был единственным сыном Саиды. Летом 1927 года тяжело заболела жена старого Хабуга, и он привез из Мухуса в Чегем врача, который лечил ее в течение тридцати дней. У нее оказалось двустороннее воспаление легких.

Саида помогала врачу ухаживать за больной матерью. Когда мать пошла на поправку, благодарная дочь влюбилась в доктора. К счастью, любовь оказалась взаимной.

Через год она вышла замуж за будущего отца Заура и переехала жить в Мухус, где он работал в больнице. Жили они, по-видимому, хорошо, хотя Заур смутно помнил жалобы матери на то, что отец день и ночь пропадает в больнице.

1936 год. Похороны Лакобы. Семилетний Заур так это запомнил: улицы города вычернены толпами людей. И крики ребятни: — Лакобу хоронят! Где хоронят? В Ботаническом! Пацаны! Айда на магнолию! Оттуда все видно!

Заур ничего не знал об истинной причине смерти Лакобы, но эти улицы, вычерненные толпами людей, тревожили: то ли что-то огромное кончилось, то ли что-то огромное начинается. Шевелящаяся чернота толпы потом долгие годы дошевеливалась в памяти.

Через двадцать лет Заур узнал некоторые подробности этого мрачного события. В местное правительство пришла телеграмма из Тбилиси о внезапной смерти Нестора Лакобы от приступа грудной жабы. Члены правительства пришли к его дому и позвонили в дверь. Ее открыла Сарья, жена Нестора. Когда ей сообщили о содержании телеграммы, она тут же в дверях, распахнутых на улицу, бесстрашно закричала:

— Он не умер! Его убил Берия!

И действительно, когда из Тбилиси прибыл труп Лакобы, домашний врач определил отравление и был тайно отправлен с этой вестью в Москву. Однако в Сочи он был перехвачен и убит. Сарья сумела приехать в Москву с каким-то разоблачающим Берию блокнотом Лакобы. К Сталину она не попала, но ее принял Молотов и забрал блокнот. Бедняжка не понимала, что все уже решено.

Да, все было решено. Через некоторое время после похорон Нестор Лакоба был объявлен врагом народа, труп его выкогтили из могилы и куда-то зашвырнули. Началась вакханалия. Процесс над соратниками Лакобы был слегка подпорчен отсутствием главного свидетеля обвинения — его жены Сарьи. Впрочем, как и все процессы, и этот прошел более или менее гладко.

Сарья отказалась подтвердить лживые обвинения против мужа. Случайно выжили соседи по камере, куда ее вбрасывали после пыток. Сына ее били на глазах у матери, и мать били на глазах у сына. Под

пытками она сошла с ума и умерла в тюремной больнице. Не обученная диалектике, она твердо знала, что предавать мужа может только нелюдь, и предпочла смерть. Ее единственного сына Рауфа, с законопослушной терпеливостью дождавшись совершеннолетия, тоже расстреляли.

В те далекие времена маленький Заур ничего этого не знал, но чуял тридцать седьмой год, вслушиваясь в городские шепотки взрослых. Он понимал, что в стране происходит что-то страшное. Из разговоров, которые он слышал дома, выходило, что это страшное происходит по воле Сталина, которого в Чегеме, куда Заур ездил каждое лето, ненавидели и не скрывали этой ненависти.

Как-то из Чегема приехал дядя Махаз и весь вечер уговаривал отца Заура уехать в горы и переждать там гнилое время. Отец отшучивался, говорил, что он не ел чеснока, чтобы прятаться от людей. Заур с трудом догадался, что чеснок — иносказание.

Через несколько дней после приезда дяди Махаза однажды рано утром Заур проснулся от какой-то неприятной горечи. Он ее почувствовал еще во сне. Заур спал в одной комнате с родителями и теперь услышал, что отец и мать раздраженно переругиваются.

Заур многого не понимал из того, что они говорили, но он понял, что мама хочет, чтобы отец уехал в горы и там спрятался, а отец считает это глупостью и советует не соваться в мужские дела.

Голос мамы был жестким и упрямым, и она обвиняла отца в трусости за то, что он не хочет уезжать. Заура поразила грубость и несправедливость такого обвинения. Ведь все наоборот! Ведь прячутся как раз те, кто трусит! Как же мама этого не понимает!

После того утра он еще много раз просыпался от их голосов, и они все спорили об одном и том же, все больше и больше ожесточались. И ничего в жизни Заура не было горестней этих пробуждений. И он, лежа в постели, сжимался и сжимался в комочек, словно слышал их голоса всем телом и, сжавшись, пытался уменьшить свою уязвимость, словно вспоминая внутриутробную позу, пытался уйти из этого мира в тот темный и теплый мир материнского чрева, куда не долетали голоса, раздирающие душу.

И вдруг однажды он проснулся и услышал голоса родителей, тихо переговаривающихся о чем-то постороннем. В их голосах была какая-то умиротворенная усталость, ласковая дружественность. Они вспоминали какие-то случаи из своей жизни, как бы все дальше и дальше уходя в глубь годов и тем самым все ближе и ближе подходя друг к другу. И никогда за все детство Зауру не было так хорошо, как в то утро, когда он слушал долгое журчанье родительских голосов, и, словно подставляя теперь все тело под эту теплую журчащую струю, он с хрустом потянулся и, раскинувшись, сладко расслабился.

Через три дня отец не вернулся с работы, и Заур узнал, что его взяли. Взяли. Это ненавистное слово он слышал уже около года. Казалось, человек превратился в какую-то безвольную деревяшку и потому его взяли. Заур всегда помнил своего отца веселым, большим, шумным и никак не мог представить его как бы превратившимся в вещь, которую взяли. Слово казалось Зауру страшнее самой тюрьмы и Сибири.

Мать пыталась хлопотать, но из этого ничего не вышло. От отца пришло два письма из Магадана, а потом переписка навсегда заглохла. Дома считали, что отца перевели в лагерь, откуда нельзя писать.

За несколько месяцев до ареста отец взял отпуск и поехал с Зауром в Чегем. Они жили у дедушки, но почти каждый день гостили

то у тети Маши, то у дяди Сандро, то у охотника Исы. Позже, вспоминая эту поездку, Зауру казалось, что отец, предчувствуя долгую разлуку, прощается с родными.

Однажды, лунной ночью, сидя вместе с крестьянами во дворе дедушкиного дома, отец слушал рассказ одного из них, как тот искал клад на развалинах старой крепости. Заур уже не раз слышал такие байки про зарытые клады, которые почему-то в самое последнее мгновение, когда удавалось подойти к ним, оказывались уже разграбленными.

И сейчас Заур с удивлением наблюдал за внимательным и серьезным выражением отцовского лица и никак не мог понять, почему отец, обычно такой насмешливый, так вдумчиво слушает этого балагура, словно не знает, чем это все кончится. Маленький Заур тоже с удовольствием слушал крестьянина, но он знал, чем все это кончится. А взрослый, умный, любимый отец, казалось, не знал. Когда рассказчик после многих мытарств выбрался к месту клада, он обнаружил разрытую яму и черепки разбитого горшка, где лежало золото. Опять не повезло!

— Земля еще была совсем свежая,— вскрикнул он в конце рассказа.— На денек опоздал, на денек!

Но почему же после всего, что случилось, Заур чаще всего вспоминал ту ночь, голову отца с редеющими волосами, чуть голубеющую в лунном свете, доброжелательно наклоненную к рассказчику, и родное лицо с выражением согласия, мира, какой-то странной, несвойственной отцу благостности. Заур тогда еще, совсем пацаном, чувствовал, что все это что-то означает, но что именно — не понимал.

И только взрослым, уже после двадцатого съезда, после точного знания, что отец погиб, ему показалось, что он угадал смысл тогдашнего выражения отцовского лица.

В том кровавом хаосе тридцать седьмого года отец упивался наивной гармонией этого рассказа, самим фантастическим упорством стремления человека к удаче, пониманием законности попыток измученного крестьянина выдумывать себе такой, случайно, даже как бы по собственной вине упущенный шанс. Казалось, все реальные возможности нормального течения жизни были упущены, и отец как бы сам примеривался к варианту сказки. О, человек! Как давно это было!

...А в городе повсюду были выставлены портреты Сталина, о нем пели песни, говорили по радио. Противоречие между тем, что о нем говорили в деревне, и тем, что он видел в городе, угнетало душу маленького Заура.

Он слишком рано заподозрил окружающую жизнь в фальши и одновременно самого себя в уродстве, потому что не мог искренне принимать участие во всех этих пионерских кострах, декламациях стихов, военизированных играх, в какой-то вечной клятве верности этому человеку, которого дедушка так ненавидел.

Иногда Зауру казалось, что все знают о том, что Сталин плохой и только от страха за свою шкуру все притворяются, что любят его.

Но иногда он чувствовал, что его сверстники, поющие песни у пионерских костров, затевающие военные игры, живущие в каком-то возбужденном праздничном ожидании мировой революции, вполне искренни. Он это чувствовал по их глазам, улыбкам, по той простосердечности, с которой они слушали взрослых, когда те читали им книги о славных пионерах и немецких фашистах.

И тогда детское сердце Заура наполнялось горечью необыкновенной, ощущением своего уродства, ощущением того, что внутри у него что-то сделано не так. И он понимал, что это уродство надо скрывать не только потому, что оно опасно, но и потому, что оно вообще уродство и стыдно его показывать другим.

Каждое лето Заур проводил в горах в доме дедушки. За лето на свежем горном воздухе, на простой здоровой еде он набирался сил, и вместе с физической силой к нему приходило ощущение собственной полноценности, понимание того, что не у него внутри что-то не так, а у жителей города и их детей внутри что-то не так и они ему навязывают свое уродство.

В первые же школьные дни после каникул он словно спешил утвердить свою полноценность, и это чаще всего приводило к дракам и борьбе со своими сверстниками. И он всегда сначала побеждал, но никогда не мог остановиться на одной победе и сразу же завязывал борьбу или драку с другим мальчиком, вкладывая в нее непонятную сверстникам ярость, и иногда побеждал нескольких подряд, но потом, смертельно усталый, кем-нибудь побеждался.

И тогда, бывало, он целый урок неподвижно лежал на парте, кусая пальцы от отчаяния и постепенно приходя в себя от страшного переутомления.

В пятнадцать лет Заур ненавидел Сталина самой яростной, самой романтической ненавистью, какой юноша может ненавидеть тирана. Он считал, что революция, ради которой пришлось стольким пожертвовать, все-таки была необходима и потому прекрасна, но тиран, захватив власть, все исказил. Так он думал тогда.

Одно время Заур даже мечтал стать летчиком только для того, чтобы однажды спикировать на Кремль, где жил Сталин.

Как-то, перелистывая книгу Сталина «Вопросы ленинизма», он наткнулся на такое место. Сталин полемизировал с одним из сторонников Бухарина по вопросу о государстве. Сталин указывал, что у Бухарина по вопросу о государстве всегда были неправильные взгляды и Ленин в свое время с ним спорил.

На это сторонник Бухарина отвечал, что Ленин действительно спорил с Бухариным по вопросу о государстве, но при первой же встрече, после их спора, первыми словами Ленина были слова о том, что он теперь согласен с Бухариным по вопросу о государстве. Бухаринец, чтобы убедить Сталина в правдивости своего утверждения, призывал в свидетели Крупскую, которая была при этой встрече.

Сталин, не подвергая сомнению сам факт, что Ленин высказал согласие со взглядами Бухарина, добавил от себя, что Ленин, предполагая, что Бухарин одумается, переменил свои взгляды, и теперь он, естественно, с ним согласен. Откровенность и простота этой лживой логики поразили Заура. Трудно было поверить, что это напечатано черным по белому. Он захлопнул книгу и презрительно отбросил ее, как бы говоря: ну кто из нас урод, вы или я?

Заур был от природы спортивным, хотя никогда особенно спортом не увлекался. В шестнадцать лет он пришел в городской спортзал заниматься боксом. В первом же спарринговом бою обнаружилось, что у Заура очень сильный удар справа. Тренер был в восторге.

Почти каждый спарринговый бой кончался нокдауном противника, и восторги тренера начинали принимать неприличный характер. Когда противник падал после удачно проведенного удара, Заур подбегал к нему, чтобы помочь ему встать, а тренер подбегал к Зауру, чтобы обнять его, и все это выглядело довольно комично.

— Я десять лет ждал тебя,— говорил ему тренер, и Заур изо всех сил старался скрыть удовольствие.

Если тренер и в самом деле ждал его десять лет, ему бы следовало подождать хотя бы еще один год прежде чем выпускать Заура на городские юношеские соревнования. Но он его выпустил.

В первой же встрече Зауру попался противник, опытный для своих лет, любимец публики, исполненный какой-то особой бойцовской красоты.

Когда он, нырнув под канатом, появился на ринге, публика завыла от восторга. Начался бой. Противник Заура вел его в почти открытой стойке, легко пританцовывал вокруг него, и Заур чувствовал, как темный зал замер в предчувствии избиения.

— Сразу не кушай, Витек! — крикнул кто-то, и зал расхохотался. Голос этот выдал надежду зала, что избиение будет долгим и основательным.

Все это Заур чувствовал и понимал каким-то затылочным сознанием. Он пропустил несколько легких и быстрых ударов и понял, что нужно именно так продолжать бой, как бы в некоторой вялой неуверенности, чтобы использовать свой единственный шанс, свой сильный удар справа. Прямой или крюк. Надо было, чтобы противник продолжал так же боксировать в полуоткрытой стойке.

После нескольких пропущенных ударов противника зал не выдержал, и уже многие скандировали: — Витек, бей!

Противник провел двойной удар, чуть замешкался, склонившись в сторону Заура, и Заур, почувствовав, что достанет его, изо всех сил выбросил вперед руку и корпус.

В следующее мгновение противник был на полу, а зал охнул в каком-то противоречивом замешательстве. Он еще любил старого кумира и вдруг почувствовал возможность возникновения нового кумира, и его сейчас раздирало это противоречие.

Правда, противник через секунду вскочил и, став в стойку, показал готовность вести бой, и судья, отсчитав положенные секунды, продолжил встречу.

Зал шумел противоречивым шумом, и Заур, вслушиваясь в этот шум, уже чувствовал к толпе презрение.

Теперь противник Заура перестал пританцовывать и начал лучше защищаться, но никакого страха или желания отсиживаться в обороне у него не было. Несмотря на нокдаун он, по-видимому, был уверен в своем превосходстве и считал, что случайно напоролся на сильный удар.

Ему не терпелось восстановить атмосферу своего превосходства, он несколько раз бросался в атаку, и Заур во время этих атак пропустил несколько чувствительных ударов. Зал начал выходить из замешательства и стал криками взбадривать своего кумира. Тот ринулся в еще одну атаку, и Заур на контратаке поймал его на крюк. Заур почувствовал, что удар хлестко ошпарил челюсть противника.

Противник был на полу. Зал несмолкаемым грохотом восторга преклонился перед новым кумиром. Противник под грохот зала продолжал сидеть на полу и, встряхивая головой, пытался прийти в себя.

Заур был абсолютно уверен, что он не только не встанет вовремя, но вообще не слышит счета судьи, но тот на седьмой секунде встал и, сделав стойку, показал готовность вести бой.

Судья как-то растерянно оглянулся на судейскую коллегию и разрешил бой. Тренер Заура что-то возмущенно закричал. Заур сам видел, что противник его еще далеко не пришел в себя, что он плохо ориентируется, и в то же время в его серых глазах Заур ясно читал отсутствие страха и желание продолжать бой.

Хотя зрителям это было незаметно, противник Заура явно плавал, и судья, конечно, не должен был разрешать ему продолжать бой. Он шел на Заура чересчур прямолинейно, и Заур сейчас мог бы уложить его одним спокойно рассчитанным ударом. И толпа, чувствуя это и откуда-то уже узнав имя Заура, кричала:

— Заур, бей!

Но Заур только отбивался легкими ударами, давая противнику прийти в себя. Чувство Заура было сложней, чем просто нежелание бить человека, неспособного защищаться. Нежелание бить противника было усилено именно этими криками, это была еще не осознанная попытка действовать наперекор толпе. Наконец раздался гонг.

— Что ж ты его не бил,— говорил ему тренер, обмахивая его полотенцем,— ты что не видел, что он еле держится!

— Потому и не бил,— ответил Заур, стараясь как можно глубже дышать.

Следующий раунд начался грохотом толпы, скандирующей:

— Заур, бей!

Но противник успел отдохнуть и очень собранно защищался, поглядывая на Заура из-под перчаток своими бесстрашными серыми глазами. Полраунда Заур никак не мог прорвать его оборону, а во вторую половину раунда тот, окончательно оправившись от мощного удара Заура, пошел в решительную атаку.

Серии ударов следовали друг за другом, как звенья бомбардировщиков, бомбящие город. Отчаянные попытки Заура спасти положение ни к чему не привели. Противник, поняв, что Заур обладает сокрушительным ударом справа, и дважды оказавшись на полу от этого удара, не растерялся, не ушел в глухую защиту, а продолжал бой с еще большей яростью, только при этом удесятерив контроль за его правой рукой.

Крюки Заура просвистывали над его головой, а прямые, как правило, попадали в перчатки. Вторая половина раунда прошла под знаком полного преимущества противника Заура. Толпа снова шарахнулась за своим кумиром и теперь громкими криками и свистом поддерживала его, словно извиняясь за предательство и одновременно как бы благодаря его за то, что он мнимым поражением в первом раунде обострил ее удовольствие.

Заур был слишком неопытен, чтобы защищаться как следует. Почти в каждой серии ударов, которые наносил ему противник, один, как правило, достигал цели, и Зауру, потрясенному ударами, иногда казалось, что у противника три пары рук.

Полтора раунда остались в голове, как кошмарная, озвученная громом толпы, черная карусель зала с мелькающими огнями и размазанными пятнами человеческих лиц.

После окончания боя противник Заура под грохот аплодисментов обнял его и, удерживая в объятиях, сказал:

— Я все понял, кореш. Ты меня пожалел в первом раунде... Сегодняшний бой я выиграл, но ты будешь работать не хуже меня...

Такое признание от самого популярного молодого боксера Мухуса было бы в другое время лестно Зауру. Но не сейчас. Сейчас он только чувствовал смертельную усталость и ненависть к толпе, рев которой удвоился, когда ее кумир обнял избитого вдрызг противника.

После этого боя Заур неделю не мог пойти в школу, потому что на лице его было слишком много синяков. Больше он ни разу в спортзале не появился. Если бы подобно тому, как устраивают закрытые суды, можно было бы вести бой без зрителей, Заур не оставил бы бокса. Но так как это было невозможно и так как он не мог примириться с толпой, ему пришлось оставить бокс.

Что такое первая любовь? Для чего она дана человеку, почему такое могучее чувство приходит к юноше, абсолютно неспособному справиться с ним? В этом есть какой-то парадокс природы. Словно человека, не умеющего плавать, подводят к штормящему морю и говорят: — Вот теперь учись плавать.

Заур не научился плавать, но и не утонул, хотя и нахлебался соленой воды. Возможно, его сумрачная, хотя и сдержанная страсть пугала эту очаровательную школьницу, окруженную поклонниками. И только однажды на вечеринке рука ее (включили счастье и тут же выключили) ласково отбросила со лба его чуб и тогда голова Заура, как конская морда, почувствовавшая ослабевшие поводья, тянется к листьям придорожного куста, голова его потянулась вслед уходящей руке, а девушка рассмеялась и спрятала ладонь за спину, и он опомнился, словно дернули поводья, а ее пригласили танцевать.

Это было в девятом классе. Зауру долгое время казалось, что люди, глядя на него, догадываются, что он безнадежно влюблен, словно амурная стрела, вероятно, золотая, уж во всяком случае, нержавеющая, так и торчала у него из груди. С этой торчащей стрелой Заур приехал в Москву и поступил на исторический факультет университета.

В первый же месяц пребывания в Москве Заура соблазнила тридцатилетняя женщина, дочь квартирной хозяйки. Плохо осознавая происходящее, горестно удивляясь, что оказывается можно любить одну, а лежать с другой женщиной, Заур слышал долетающие из форточки звуки далекого романса, так таинственно совпадающие с его состоянием:

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье...

Еще целую неделю им что-то мешало, надо полагать, древко торчащей стрелы, но опытная соблазнительница в конце концов перегрызла его у самого соска и теперь любовная лодка врезалась в песчаный берег при дружном взмахе весел.

Хотя мать этой молодой женщины через день уходила работать в ночную смену и им никто не мешал, Заур вскоре переменил квартиру. Ему было стыдно смотреть в глаза ее матери, он боялся, что она догадается о его связи с дочкой. На самом деле она давно догадалась обо всем: следы бессонных ночей достаточно явно выдавали их подглазья.

Через два года их роман мирно угас, его возлюбленная вышла замуж во второй раз, и Заур с чувством облегчения и благодарности расстался с ней. Кончик той золотой стрелы все еще торчал в его сердце, но теперь, как он надеялся, это было незаметно для других. Он и сам не знал, что уже навек был обречен любить тот тип женщины, которую он полюбил в первый раз и которая задолго до первой любви еще в детстве впечаталась в его сознание.

...Однажды на первомайской демонстрации он издали увидел Сталина, стоявшего на Мавзолее с вяло приподнятой рукой. Ничего особенного не испытывая, он вместе со студенческой колонной поравнялся с Мавзолеем, и вдруг вся колонна разразилась восторженным воплем. Заур от неожиданности закричал вместе со всеми, одновременно ощутив, как его изнутри ударил какой-то страшной силы электрический разряд, и уже, когда все, откричав, пошли дальше, он почувствовал, что еле-еле плетется на ватных ногах, в каком-то смутном предобморочном состоянии.

И только позже, в общежитии, вместе с ребятами выпив водки, он постепенно пришел в себя, но тогда так и не осознал до конца, что с ним случилось.

А случилось вот что. Та давняя боль за отца, за разоренного деда, за страну, тот динамит несогласия, которые он носил в себе, уже не только пряча ото всех, но даже пряча от себя,— все это столкнулось с восторженным воплем толпы и его собственным предательским криком, и тогда сдетонировал невероятной силы внутренний взрыв,

и он ощутил, как ударили ему в грудь ошметки разорвавшейся души.

Подхваченный мутной волной чужого восторга, он закричал вместе со всеми, уже в крике испытывая ужас и стыд за свой крик, переходящий в звериный вой тоски по отцу, обиды за него, за маму, за все. И если бы в те времена могли бы вычленить из общего вопля его отдельный голос и расшифровать его, ему бы, конечно, не поздоровилось. Но тогда, видимо, еще не научились из общего восторга вытягивать отдельные голоса, да и сам он, вероятно, благодаря молодости и природному здоровью оправился от этого потрясения, если в самом деле оправился и не было тайных последствий.

Во время следующей демонстрации он уже заранее держал себя в руках, да и колонна, в которой он шел, больше так не бесновалась. Тогда, в первый раз, они просто проходили довольно близко от Мавзолея.

После окончания университета Заур приехал домой и устроился на работу в республиканский институт истории и этнографии. Это были годы героического разоблачения Хрущевым культа Сталина, его же бестолковых реформ и ослепительных надежд.

История, считал Заур, это суд человечества над самим собой. Но в конечном итоге мы занимаемся историей только для того, чтобы понять сегодняшний день. Никакой другой причины нет и не может быть. Но именно поэтому историческое исследование должно быть безупречно точным, а не формой подыгрывания сегодняшнему дню.

А если человек занимается историей для того, чтобы уйти от сегодняшнего дня, то это значит, что он так понял сегодняшний день. Заур не считал такой путь вовсе бесплодным, но считал его духовно немужественным и потому постыдным для себя.

Он хотел заняться историей Абхазии с начала нашей эры до падения Византийской империи. Его интересовали не только многообразие отношений империи с малым народом, он также хотел понять историю светлых пятен в истории. Промежутки достаточно благополучного существования народа случайно уничтожались или сами промежутки благополучия были достаточно случайны?

Устойчивая кристаллизация народного сообщества внутри нравственных законов возможна ли вообще или кристаллизация всегда частична и развал предопределен хроническим малокровием нравственной природы человека?

Смывание цивилизацией культурного слоя этических традиций народа Заур воспринимал с такой болью, как будто с него, живого, сдирали шкуру. Мы живем в эпоху, думал Заур, плешивых и полуоплешивевших народов.

Очарование патриархального домашнего очага, которое Заур еще застал, с его естественной многоступенчатостью отношений (старший, младший, невестка, сосед, гость) и полной свободой внутри этой многоступенчатости, где, как в оркестре, каждый знает свою партию и вступает в игру именно там, где ему надо вступить, и замолкает там, где голос его не нужен для звучания оркестра, взаимосогревающее понимание каждым роли каждого в оркестре, как бы негласное признание личностной ценности каждого, где вовремя замолкший так же хорош, как и вовремя вступивший в беседу, где самоотверженность промолчавшего тоже не осталась незамеченной, очарование этого богатства отношений,— чем заменила современная жизнь?

Интеллигенция? Рыночный гвалт больных самолюбий.

Простые люди? Стекляшки глаз в стекляшку телевизора.

Существует ли в истории народов вообще накопление нравственности? Нет, нет и нет. Только культура, здоровая культура являлась

и является могучим хранилищем нравственного опыта человечества. Но тут тупик.

Те, кому она нужна больше всех, меньше всего ею пользуются. Цивилизация, с конквистадорской грубостью сдирая с народов его этический опыт, накопленный тысячелетиями, как бы обещала через культуру возвратить ему этот опыт, обогащенный знанием опыта других народов. Но этого не произошло и не могло произойти. Культура вошла в народ в виде убогой грамотности, которая нужна не народу, а самой цивилизации для удобства вдалбливания идей и рекламы товаров. И это вдалбливание еще больше отдаляет народ и от культуры и от его собственных этических корней.

Средства информации, создавая иллюзию приобщенности к мировой жизни, вносят в сознание народа ложный стыд за особенность собственных неповторимых традиций: если все живут по-другому — надо и нам не отставать от других.

...С местной интеллигенцией у Заура установились странные двусмысленные отношения. Он как бы и презирал их, и вроде бы деться было некуда, другие хуже. Еще в Москве, в студенческих кружках, и здесь он замечал в этой среде одно и то же. Люди больше всего говорившие о необходимости свободы для страны, сами были ужасно несвободны.

Авторитетом пользовались не самые тонкие и проницательные люди, а самые радикальные. Они были маленькими тиранами кружков. Так как они говорили самые смелые слова, подразумевалось, что в известных обстоятельствах они будут брать на себя наибольший риск. Но известные обстоятельства не наступали и, как подозревал Заур, никогда не наступят. А эти получали себе реальные проценты с несуществующего капитала. И как бдительно охраняли они свой авторитет, как рабски подчинялись им люди гораздо более разумные и проницательные!

Люди, думал Заур, чаще подчиняются силе темперамента, а не силе разума. Эффект Гитлера. Заура этот темперамент только раздражал. Но многих бил без промаха.

В людях, думал Заур, живет тоска по убежденному человеку, тоска по вождю. Что это? Подсознательное желание передоверить свою совесть другому. Совесть утомляет человека. Несколько вспышек Заура против этого рабства были беспощадно подавлены, и Заур замкнулся.

Что есть свобода? — думал Заур. Свободен не тот человек, который пользуется свободой, а тот человек, который дает другому пользоваться свободой. Если я общаюсь с человеком, то в этом общении я свободен в той степени, в какой я предоставляю своему собеседнику свободно выражать свое отношение к людям и окружающей жизни. А собеседник мой свободен именно в той степени, в какой он предоставил мне право свободно выражать свое отношение к людям и окружающей жизни.

Свобода — это не то, что я беру, а то, что я даю. Чем свободней человек, тем безграничней его стремление самоосуществлять свою свободу, то есть предоставлять свободу другим.

Но чем свободней человек, тем у него меньше шансов встретить человека так же щедро вознаграждающего его свободой, как и он этого человека. В этом драма свободного человека. Свободный человек всегда частично порабощен несвободой других. Но он принимает эту драму и это порабощение во имя высшей естественности своего внутреннего состояния, во имя роскоши быть равным самому себе и своей совести.

Если бы свобода заключалась в полноте владения свободой, то тиран был бы самым свободным человеком на земле. Но при ближайшем рассмотрении жизни тирана, думал Заур, мы поражаемся его постоянной трусливой настороженности, безумной зависимости от своего страха. Он убивает от страха быть убитым, но, убив, находит еще одну причину быть убитым и новую порцию страха пытается уравновесить новым убийством.

Толстой, провернув в своих могучих мозгах все утопии социальных и философских учений, пришел к единственному выводу: очищайте собственные души от собственной скверны и тогда человеческое общество очистится само. Другого пути нет.

Интеллигенция нашла этот путь слишком долгим и скучным. Хотелось бы блеснуть на публике, а как блеснешь, занимаясь душой? Интеллигенция обиделась на Толстого.

Хотя среди революционной интеллигенции, думал Заур, было немало и честных идеалистов, пора со всей прямотой сказать, что основную массу ее составляли бездельники, неудачливые карьеристы и просто ловкие негодяи. Иначе и быть не могло. Сейчас, как и в те времена, самый динамичный путь выбирают самые безответственные люди.

В человеке живет святая, неукротимая воля к распрямлению, желание распрямиться во все стороны справедливости! Это живое, естественное чувство. Распрямляя свою душу во все стороны справедливости, человек может упереться в жесткую стену государственности и в таком случае имеет моральное право вступать в дискуссию с государством. В таком и только в таком случае!

Но, как правило, революционеры расправляют в своей душе чувство справедливости только в сторону государства. У них такая мораль: я смело критикую власть, значит я имею право быть сутенером.

Самые безответственные берут на себя лжеответственность за всех. Завтрашние обещания — индульгенция уже сегодняшней безнравственности. В этом дьявольский соблазн левизны. Дело интеллигенции, считал он, корректировать, смягчать, очеловечивать отношения государства с народом. Ну, а если государство с презрением отворачивается от его справедливых советов, тогда что? Как быть? Сжечь себя?!

Нет! Быть честным в рамках собственной жизни, что тоже нелегко, но возможно. И этим самым сохранить храбрый огонек живой души, который, конечно, не может озарить страну, но он побеждает идею полноты мрака! Да, думал Заур, сейчас важнее всего победить идею полноты мрака.

* * *

Работая в институте уже более трех лет, Заур часто выезжал из города на археологические раскопки и для сбора этнографического материала.

По причине частых командировок Заура не могли в институте привлечь к более или менее регулярной общественной работе. Но именно поэтому, когда отделу, в котором он работал, предложили послать одного агитатора на избирательный участок, а в отделе никто не хотел браться за это, все взоры обратились на Заура и все хором вспомнили, что он всегда увиливал от подобного рода вещей.

Так ему пришлось дать согласие и в один из ближайших дней к семи часам вечера, как было условлено, отправиться на свой избирательный участок. Хотя этот участок находился в самой живописной, окраинной части города, Заур был не рад тащиться туда.

Был сырой, то и дело моросящий вечер ранней весны. Заур сошел с автобуса и, съежившись в своем плаще, свернул на зеленую улицу. Алыча и яблони за оградой приусадебных участков, где он шел, цвели нежным цветом, шелковицы были покрыты кудрявым пушком первых листочков. Даже те деревья, что еще не цвели, уже оживились движением весенних соков, и это видно было по мягкому, упругому наклону ветвей под порывами ветра, так непохожему на склеротические вздроги зимних деревьев.

Избирательный участок помещался в здании пригородной школы-десятилетки. Днем здесь шли обычные занятия, а вечерами таинственно (для непосвященных) горел свет в окнах учительской, собирались агитаторы, активисты, проверялись списки избирателей, проводились предвыборные собрания.

Однажды на одном из этих сборищ Заур вдруг встретил своего чегемского земляка, старого охотника Тендела. Сын его работал в управлении сельского хозяйства, и почему охотник Тендел оказался в городе, можно было понять, но как он очутился здесь, на избирательном участке, озирающийся своими ястребиными глазами, с ногами, обтянутыми ноговицами, с посохом, на который он положил свои важно скрещенные руки?

Заур подошел к старику, которого в детстве нередко встречал в Чегеме. Старик его не узнал, хотя, услышав, что Заур с ним разговаривает по-абхазски, страшно обрадовался. На удивленный вопрос Заура, что он здесь делает, старик ответил, что представляет дом сына, потому что от каждого дома требуют по человеку. Заур спросил его, как тот вообще очутился в городе на такой большой срок. Заур с детства помнил, что старик не переносил города и больше одной ночи в нем не выдерживал.

— Ревматизма замучила,— сказал он, показывая на ноги, и добавил с некоторым выражением хитрости: — Авось пошлют на хорошие воды?

— Кто пошлет? — не понял Заур.

— Да тот, кому я отдам голос,— сказал Тендел и посмотрел прямо в глаза Зауру безумными ястребиными глазами.

— Да за что же он тебя пошлет? — начал весело удивляться Заур.

— Если я, почти столетний старик, хожу сюда, готовлюсь отдать ему голос, что ему стоит уважить меня?

— Он этим не ведает,— сказал Заур, чувствуя, что огорчает старика,— так что даром времени не теряй.

— Ничего,— сказал старик примирительно,— хоть он этим не ведает, но иногда они посылают на воды одного-двух стоящих людей... В прошлый раз тут одна девушка меня люмонадом угостила... Хороша... Сдается мне, что она с чегемской примесью, даром что по-русски чирикает... Да вот и она...

Заур обернулся. Из директорского кабинета вышла девушка, поразившая его ощущением цветения, бледным лицом и яркими, словно вытянувшими в себя всю кровь лица губами.

Она заметила взгляд старика и улыбнулась ему нежной улыбкой, как бы благодаря его за то, что он на огромном расстоянии своего возраста уловил и тем самым признал ее обаяние, а старик поймал эту улыбку и тут же радостно закивал головой, засверкал своими круглыми ястребиными глазами, дескать, как можно было не заметить, еще как заметил!

В то же время она не могла не почувствовать, что Заур не отрывает от нее глаз, и, может быть, смущенная этим, вся напряглась, и это было видно сквозь желтое, хорошо сидевшее на ней платье.

В руке она держала легкое светлое пальтецо, и, так держа его, она прошла узкое, словно вагонный коридор, пространство между длинным, покрытым красным кумачом столом и стеной учительской. У самого края стола сидел, опершись на свой посох, Тендел, а возле него стоял Заур. Так что она, проходя мимо, как бы пронесла к двери свое взрывоопасное ввиду узости пространства облачко обаяния.

И вдруг Заур вспомнил, казалось, давно забытый случай из детства. Он вспомнил себя на вершине дикой груши, обросшей лианами и виноградной лозой. Сквозь путаницу колючих веток и сухих сучков он тянет руку и, с трудом дотянувшись, ловит всей ладонью огромную виноградную гроздь, перекусывает ногтями большого и указательного пальца черенок, на котором она держится, и ощущая щекочущее прикосновение сладко не вмещающейся в ладонь огромной грозди, которую нельзя сжать, потому что раздавятся виноградины, и нельзя прямо тащить, потому что за нее цепляются колючие ветки, плети, лианы, сучочки, и надо все время управлять вытянутой рукой: то чуть ниже, чтобы не задеть ветку, то чуть выше — минуть лиану, то вывернув ладонь, чтобы сухие сучки расцарапывали не эти сочные, легко срывающиеся ягоды, а кожу наружной стороны ладони...

— Эх! Сбросить бы мне годочков семьдесят, только б ее здесь и видели! — воскликнул Тендел, и Заур пришел в себя.

— То-то же оцепенел,— добавил старик,— видал бы, как она меня люмонадом угощала, совсем бы окоченел.

— Хороша,— сдержанно согласился Заур, стараясь отвести разговор о девушке, зная остроязычие чегемцев и боясь, что он ее оскорбит невольным словом, как если бы втайне уже решил, что эта девушка его невеста.

— Да как же ты сидишь тут,— вдруг вспомнил Заур,— ты же по-русски ничего не понимаешь.

— То-то и хорошо, что не понимаю,— охотно объяснил Тендел,— а то бы голову заморочили своим ба-ба-ба...

Заур отошел от старика, чувствуя, что помещение сразу просветлело, словно кто-то на электростанции весело и щедро врубил всему городу дополнительную порцию света.

От знакомого студента, вышедшего из этого же кабинета, Заур узнал, что девушка эта студентка того же института с филологического факультета, а зовут ее Викой. Здесь она, выполняя общественное поручение, сверяет списки голосующих с наличием натуральных избирателей, следит за точностью внесения в списки их фамилий и инициалов, а также возможностью наличия мертвых душ, то есть легкомысленных избирателей, выехавших в другие районы без открепительных талонов.

Обо всем этом студент рассказал ему с грустной полуулыбкой, давая знать, что понимает внеслужебный интерес Заура к этой девушке, и голосом показывая, что сам он, к сожалению, не тянет на такую девушку, а то бы не уступил. А вот Заур, кажется, тянет.

— Закурить есть? — спросил он у Заура и, как плату за честную информацию, вытащив сигарету из пачки, протянутой Зауром, сунул ее в рот и пошел.

В этот день Заур должен был читать лекцию перед избирателями. Лекция не имела никакого отношения ни к выборам вообще, ни к человеку, за которого должны были голосовать избиратели этого участка.

Тогда начиналось кукурузное поветрие, и Заур читал лекции на тему «Чего мы ждем от царицы полей». Название лекции утверждало начальство, и Зауру пришлось, махнув рукой, согласиться с его глупым звучанием.

Заур неплохо разбирался в возможностях кукурузы и считал ее

широкое внедрение в сельское хозяйство страны большим благом. Именно поэтому он с болью переживал явно завышенные пределы ее географической распространимости и этот балаганный трезвон вокруг ее внедрения.

Здесь в пригороде, где у всех свои огородные участки, он считал свою лекцию не совсем пустым занятием. Впрочем, судя по лицам избирателей, они или ничего не ждали от царицы полей, или сами не знали, чего они ждут от нее и ничего другого ожидать не хотели.

Все же он чувствовал, что говорит о кукурузе живее, чем обычно, и все время порывается улыбаться неизвестно чему. Ему казалось, что невольную улыбку у него вызывает внимательное лицо ястребиноглазого Тендела, его ноги, одетые в ноговицы, его пророческий посох, его полное непонимание того, о чем говорят здесь, и полное отсутствие какого-либо смущения по поводу того, что он ничего не понимает в происходящем.

Из директорского кабинета вышел редактор местной газеты Автандил Автандилович. Сделав несколько успокоительных пассов рукой в том смысле, чтобы шумными приветствиями в его адрес не прерывали лекции, хотя никто его не собирался приветствовать, он прошел учительскую и вышел в коридор.

— Как насчет лавруши? — вдруг сказал один из слушателей, когда Заур, окончив лекцию, спросил, нет ли вопросов. Так они называли лавровый лист.

— В каком смысле? — спросил он.

— В позапрошлом году я сдал сто пятьдесят килограммов, в прошлом у меня взяли сто, что будет в этом году?

Заур честно сказал, что не знает, сколько будут принимать в этом году, потому что это зависит от урожая лаврового листа в других районах республики. Во всяком случае, он предложил воздерживаться от посадок лавровых саженцев.

С тех пор как государство стало принимать и притом за приличные деньги лавровый лист, многие пригородники и колхозники настолько расширили посадки лавра, что с каждым годом становилось все трудней и трудней сбывать его на север.

— Понятно,— сказал задавший вопрос,— значит, теперь руби лаврушу, сажай кукурузу?

— Или пусти на огород козлотура,— добавил другой, который, как заметил Заур, с самого начала лекции, сидя в заднем ряду, многозначительно блестел глазами. Все засмеялись. Заур махнул рукой и, сняв свой плащ с вешалки, вышел на улицу.

Покамест он шел к автобусу, в голове у него звучал совершенно идиотский мотив идиотской песенки, начинавшейся словами: «Я встретил девушку — полумесяцем бровь...». Вспоминая девушку Вику, он почему-то никак не мог припомнить, были ли вообще у нее брови, а не то что полумесяцем они или прямые. Все равно ему было весело и тепло вспоминать ее в холодном, полупустом автобусе, мчавшемся в город.

Через два дня они познакомились в агитпункте, и их словно швырнуло друг к другу. Заур и раньше замечал, что в таких местах чувственность почему-то обостряется, то ли от обилия красных кумачей и плакатов, то ли вообще наша природа обострением чувственности протестует, старается уравновесить холод социальной риторики. Заур это замечал и во время своих бесчисленных командировок. Бывало, сидит у районного начальника, напротив него, а тот что-то талдычит, талдычит про успехи в области культурно-просветительской работы и в сети партпросвещения. Сознание у Заура постепенно покрывается сонной пленкой, а тот все талдычит, талдычит... И Заур ощущает, как он, умственно засыпая, чувственно почему-то просыпается.

Конечно, Заур понимал, что здесь совсем другое, и все-таки обстановка помогла все ускорить.

Три вечера с перерывами в один-два дня он ее сопровождал, когда она ходила по домам избирателей, иногда входил вместе с нею в дом, а иногда, дожидаясь ее, стоял и курил возле калитки.

Она ему рассказывала про своих подружек, про какого-то преподавателя, который, входя в аудиторию, ищет ее глазами, а она нарочно прячется от него, про кинофильмы, которые она успевала смотреть, и про всякую несусветную чушь, о существовании которой он не подозревал или давно забыл.

И хотя почти все из того, что она ему говорила, он воспринимал, как вздор, вздор этот ему нравился, потому что нравилось ее живое, неожиданно загорающееся лицо, доверчиво повернутое к нему. Ему нравилось, когда она вдруг посреди своей горячей болтовни замечала, что он не столько слушает ее, сколько любуется ею, и она тогда одновременно сердилась на него за то, что он ее не слушает, и радовалась, что она ему настолько нравится, что это мешает ему слушать ее. Иногда она при этом своей быстрой ладонью прикрывала его глаза и как бы отталкивала их, именно глаза, а не голову, хотя приходилось отталкивать голову. Жест этот означал: да перестань же ты глазеть на меня!

Этот простонародный или детский, он не знал, как его назвать, жест всегда забавлял его, в нем было столько непосредственности и скрытой от самой себя потребности в ласке, в прикосновении.

Однажды Заур увидел ее вечером у входа в кинотеатр с каким-то чернявым парнем и неожиданно почувствовал укол ревности. На следующий день они встретились, и он, стараясь сохранить шутливый тон, сказал ей об этом. Она вспыхнула и, небрежно махнув рукой, ответила:

— Это так, для кино...

Он все еще сопровождал ее, когда она ходила по домам избирателей. Как-то, хлопнув калиткой, она вышла на тротуар и стала корчиться от еле сдерживаемого смеха, одновременно знаками показывая, что надо отойти подальше и только тогда она сможет рассказать, в чем дело.

В этом пригородном доме жила пожилая вдова, которой Вика так понравилась, что она захотела женить на ней своего сына — инженера с приборостроительного завода.

Она угощала ее чаем, показывала комнаты, а сын ее, по словам Вики, такой большой-большой симпомпончик, стоял рядом и слушал ее. А женщина эта показывала Вике новую мебель, новые кровати и комнаты, где они будут жить. А сын все слушал, и видно было, что эта сильная женщина держит своего единственного сына в руках и делает с ним все что захочет. Сегодня, когда, провожая ее, они вышли на крыльцо, мамаша жениха, оглядывая сад, вздохнула:

— Сорок пять корней мандаринов...

— Не считая две хурмы,— неожиданно добавил сын, до этого долго молчавший.

По словам Вики, услышав его дополнение, она от внутреннего смеха чуть не свалилась с крыльца. Мать видно что-то почувствовала и, стрельнув глазами в сына, пробормотала:

— Сам ты хурма...

— Вот как раскололся мой жених,— сказала Вика, смеясь и глядя на Заура быстрым, горячим взглядом, словно спрашивая, правильно ли она делает, что смеется над ним. Конечно, правильно — улыбался ей в ответ Заур.

* * *

На следующий день на работе его послали в четырехдневную командировку. Он пытался протестовать, ссылаясь на необходимость своего присутствия на избирательном участке, но тут ему заведующий отделом строго сказал, что зарплату он получает все-таки не на избирательном участке, а на работе.

Три дня, проведенные в райцентре, Заур страшно скучал, он даже не подозревал, что способен так скучать по девушке. Ему было двадцать шесть лет, уже два года он никем серьезно не увлекался и думал, что это кончилось, и не жалел об этом. Вернее, он себя уверял, что не жалеет об этом.

Приехав в город на день раньше, и, едва вымывшись и переодевшись, он прилетел на свой избирательный участок в том окрыленном состоянии, в каком, вероятно, сознательный гражданин приходит туда в день выборов. Правда, несмотря на окрыленность, в автобусе он сидел, прикрывшись газетой, боясь случайной встречи с кем-нибудь из сотрудников по работе.

Когда он вошел в учительскую, она сидела за столом и сверяла фамилии избирателей, уже отпечатанные на длинном свитке, со своим списком из общей ученической тетради.

Еще до того как она подняла голову, Заур обратил внимание на бесконечно грустное выражение ее лица, с которым она вглядывалась в свой список, словно это был не список избирателей, а перечень погибших друзей.

Подняв глаза и увидев его, она вздрогнула и едва заметно кивнула ему, а он смутился и подумал, что, наверное, что-то случилось такое, отчего она теперь стыдится нашего знакомства.

Настроение у него упало, но он сумел взять себя в руки, разделся и поздоровался со всеми, кто находился в помещении. В углу учительской, склонившись над полотном, известный художник Андрей Таркилов рисовал плакат. Двое агитаторов тоже сверяли списки. Зауру, собственно, нечего было делать. Он подошел к художнику и, стоя за его спиной, смотрел, как тот, не выпуская изо рта сигареты, размашисто малюет.

Через несколько минут он снова подошел к ней и постоял за ее спиной, как стоял за спиной художника. Она, как и художник, не обернулась в его сторону, и он в конце концов стал злиться.

И вдруг он заметил, что, как она ни переводит взгляд с тетрадки на свиток, палец ее как стоял против одной фамилии, так и стоит. Значит, она помнит о том, что я здесь, решил он.

— Что-нибудь случилось? — спросил он вполголоса и наклонился над ней.

Она тихо покачала головой в том смысле, что ничего не случилось, и еще ниже склонилась над своим списком. Несколько успокоенный этим грустным, но не холодным жестом, а также запахом ее волос и видом ее нежного затылка, он спросил:

— Всех проверила?

Вопрос его означал: надо выйти отсюда и поговорить, выяснить, в чем дело.

— Два дома осталось,— сказала она, вздохнув. Он понял, что она согласна выйти, и, чтобы не стоять над душой и не вызывать подозрения относительно своего увлечения этой девушкой (на самом деле об этом все знали), он снова отошел к художнику.

На большом полотне был изображен человек, радостно опускающий свой бюллетень в избирательную урну. Вдруг Зауру показалось, что радостно улыбающийся мужчина чуть-чуть похож на кого-то знакомого. Господи, да это ж наш кандидат, подумал Заур, что ж он сам за себя голосует?

Тут он услышал скрип стула, на котором она сидела. Она встала и отнесла свиток в кабинет директора, где обычно сидел председатель избирательной комиссии или его заместитель. Потом она вышла из кабинета, подошла к столу, взяла свою тетрадь, положила ее в сумку, подошла к вешалке, надела пальто, перекинула сумку через плечо и деловито вышла.

Никто не обратил на нее внимания, и Заур продолжал смотреть, как голосует за себя сам кандидат в депутаты, хотя уже ничего не замечал, а художник все так же, стоя на коленях, малевал свой плакат, и так же, как у всех работающих художников, в лице его проступало что-то испанское.

Минуты через две, показавшиеся ему вечностью, Заур взял с вешалки свой плащ и вышел на улицу. В темноте он едва различил ее светлое платье и то только потому, что знал, в какую сторону она должна была идти.

Было около восьми часов вечера. Мокрый мартовский ветер дул со стороны моря. Только что распустившиеся листья молодых платанов, росших вдоль тротуара, издавали в темноте то шелковистый, то внезапно срывающийся, неумелый, шлепающий шелест. Сквозь облачные разрывы в небе мелькали весенние, остроглазые звезды.

Она свернула за угол, и тут он ее догнал. Они остановились. Опустив голову, она молчала. Они стояли возле садового участка какого-то пригородника. Ровным строем вдоль штакетника тянулись молодые лавровые деревья с коротко остриженными кронками, издававшими при каждом порыве ветра сухой шелест своих вечнозеленых листьев. И этот сухой, как бы видавший виды, как бы знающий себе цену шелест, внезапно при сильном порыве ветра перебивался шлепаньем листьев молодого платана. И каждый сильный порыв ветра, прошумев в деревьях, каким-то отзвуком, каким-то слабым воспоминанием шевелил полы ее легкого пальтишка. В темноте бледно выделялось ее опущенное лицо и чернели глазные впадины.

— Что случилось? — спросил Заур.

Она молчала. Голова ее была опущена. Потом она медленно подняла голову и одновременно, словно для большей устойчивости, взявшись одной рукой за планку штакетника, тихо сказала:

— Я стала пессимисткой...

Заур опешил. До него не сразу дошло, что эти наивные слова — признание в любви. Через многие годы он пронесет сквозь жизнь этот мокрый весенний вечер, эти порывы морского ветра совсем поблизости, за три дома, подхватывавшие запах цветущих глициний и осторожно отвевающие полы ее легкого, расстегнутого пальто, под которым в складках сиреневого платья то обозначались, то исчезали линии тела. Это прерывистое, лопоухое лопотанье молодых платанов, эти сумерки опущенных ресниц, эту робкую неустойчивость всей ее фигуры, невольно призывавшую придать ей устойчивость, а только объятия и могли придать ей устойчивость, и эту долгую, гибкую, покачивающуюся устойчивость объятия, и эту руку ее с ивовой свисающей покорностью, наконец, обвившую его шею.

Ни в тот вечер, ни в один из последующих они так и не добрались до двух ее последних домов. Так что будь избиратели этих домов недовольны своим кандидатом и захоти они ему насолить, они могли бы тихо переехать в какое-нибудь другое местечко без открепительных талонов, и их скандальное отсутствие было бы замечено только в день выборов.

...Обычно они гуляли вдоль загородного шоссе, ведущего к пляжу. Вдоль шоссе шла кипарисовая аллея, очень красивая и главное — почти совершенно темная от густых теней кипарисовых крон.

Если начинался дождь, они останавливались возле одного из кипарисов, под которыми всегда было сухо, и они стояли, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу. Они целовались, слушая шелест дождя, с необыкновенным чувством уюта ощущая сухость кипарисового подножия, смолистый запах ствола, как бы хранящий тепло летних дней.

Порой поцелуи затягивались, и Заур, как и она, мгновениями терял представление о месте и времени. В таких случаях их возвращал на землю внезапно ударяющий по глазам сноп света или жикающий звук колес машины, проносящейся мимо на большой скорости.

Он старался, если они останавливались у подножия кипариса, выбрать ствол потолще, чтобы со стороны шоссе быть понезаметней. Все-таки несколько раз машины останавливались на шоссе, и из них кричали им какие-то непристойности. В таких случаях они уходили подальше от машины. Машина трогалась, словно сидевшие в ней, прокричав непристойность и заставив их сойти с места, выполнили свой долг. Выкрики эти, хотя и были унизительны, все-таки не очень смущали их. Заур считал, что тут действует некоторая нравственная скидка, связанная с движением на разных скоростях. Вот если бы то же самое прокричал пешеход, было бы намного обидней.

Иногда они заходили на пустынный пляж и усаживались на круглой скамейке под ненужным солнцезащитным зонтом. Ненужным не только потому, что не было солнца, но и потому, что, если начинал моросить дождь, он их не мог защитить, так как висел слишком высоко, а здесь на берегу под ветром струи дождя всегда немного скашивались.

Иногда они пытались переждать дождь под навесом летнего киоска, сейчас наглухо забитого. Несмотря на пронизывающий мокрый ветер, им было хорошо, потому что они любили друг друга и это грело их. Но как они ни прижимались друг к другу, в конце концов стихия побеждала, как всякое равнодушие побеждает всякую страсть. Устав и продрогнув, они уходили с пляжа и, поймав попутную машину или дождавшись автобуса, ехали в город. Заур всегда в таких случаях чувствовал себя виновным, словно не должен был сдаваться, но сдался.

Однажды, когда они вот так стояли под навесом киоска, и дождь никак не стихал, и волнение Заура тоже никак не стихало, он вдруг с ясновидящей силой понял, где они могут укрыться.

Рядом с киоском был расположен склад для летних лежаков. Этот склад представлял из себя огромную железную клетку под красной пирамидальной пластиковой крышей. Сквозь железные прутья склада было видно, что он заполнен рядами деревянных лежаков почти до нижнего основания крыши.

Заур припустил под дождем к этому складу, и она побежала за ним. Они успели слегка промокнуть, пока не оказались под его навесом. Они остановились возле железных дверей склада с огромным амбарным замком, взглянув на который хотелось молча, не говоря ни слова, перейти жить на другую планету.

— Ты что, решил эту дверь взломать? — спросила она, не столько осуждая его, сколько любопытствуя.

Он посмотрел на нее и в тусклом свете причальных огней увидел заново, как она хороша в этом голубом полиэтиленовом плаще с капюшоном, который слетел с нее, когда она перебегала сюда, и теперь она его снова натянула на голову, и капли дождя в волосах ее

блестели из-под прозрачного капюшона, как драгоценные камни из-под стекла.

— Нет,— сказал Заур и, подойдя к углу склада, еще находясь под навесом, оглядел боковую стену. В верхней ее части решетка переходила в не очень густой частокол железных прутьев. Примерно в середине этого частокола ему показалось, что железные прутья несколько раздвинуты.

Он выскочил под дождь, ухватился за мокрое холодное железо решетки и быстро, как по лестнице, взобрался наверх и заглянул внутрь. Отсвет красной пластиковой крыши ложился на поверхность лежаков, на сухую, добротную, скрытую от чужих глаз поверхность.

Он почувствовал отчаянный прилив сил и, прижавшись левым боком к железным прутьям, правой рукой надавил на один из них, уже и без того слегка отогнутый. Прут толщиной в палец медленно отогнулся. Потом он повернулся на месте и, опять упершись боком в уже отогнутый прут, отогнул соседний. Образовалась дыра, в которую теперь легко можно было пролезть, что он быстро и сделал, потому что успел довольно-таки сильно промокнуть, пока отгибал прутья. Тело его слегка дрожало от напряжения, а место на ладони, куда упирались отогнутые им прутья, горячо саднило. Зато теперь дождь до него не доставал, и он заслушался его уютным шелестом о близкую крышу.

— Заур, где ты? — вдруг услышал он ее тихий голос. Увлеченный поисками безопасного крова, он слегка подзабыл ту, ради которой он его искал. Он посмотрел наружу и увидел ее, выглядывающую из-за угла склада. Голова ее под капюшоном напомнила ему что-то приятное, что он видел когда-то, но потом почему-то забыл.

— Иди сюда,— сказал Заур тихо и поманил ее рукой. Она поправила капюшон и вышла из-за угла. Поравнявшись с Зауром, она остановилась и нерешительно подняла голову. Он быстро слез и, став рядом, показал, куда ей ставить ногу, чтобы подняться. Потом, обняв ее сзади, стал помогать ей, и, не удержавшись, когда сполз капюшон с ее головы, поцеловал ее в растерянное, теперь уже мокрое лицо, и, когда она замешкалась перед раздвинутыми прутьями, быстро влез туда сам и втащил ее за собой.

Когда она встала на ноги, потирая слегка ушибленное колено, у него было сильное желание снова разогнуть отогнутые железные прутья и закрыть проход.

Она стояла в полутьме, потирая ушибленное колено и озираясь, прислушивалась к шелесту дождя по крыше, глядя, как призрачным светом озаряется крыша фарами машин, пробегающих по шоссе.

Он взял ее за руку и отвел подальше от входа, и она осторожно ступала, не доверяя пружинящей и покачивающейся поверхности нагроможденных друг на друга лежаков.

— А они не провалятся? — спросила она, слегка отталкивая его и все время озираясь, как ребенок в чужом доме.

— А куда им провалиться,— отвечал он,— видишь, как они...

Он хотел сказать, что лежаки плотно придвинуты друг к другу, но не договорил и, просунув руки под ее мокрый плащ, крепко обнял ее теплое, оживающее в его объятиях тело. Он все крепче и крепче обнимал ее оживающее и зреющее тело, и она, просунув руки под его плащ, обняла его с робкой силой. Не отрывая губ от ее губ, он расстегнул ее плащ, и руки его скользнули к ее ногам, чтобы согреть их. Она переминалась с ноги на ногу, и он почувствовал, что они у нее зябнут от холодящих прикосновений мокрого плаща.

И он увидел глазами, уже привыкшими к полутьме, мягкую беззащитную линию ее ног и вдруг, потрясенный нежностью, сам не

ожидая от себя этого, обхватил их руками, спрятал их, зажал их в своих объятиях, и она сама, не удержавшись на ногах, сползла в его объятия. Дрожащими, неслушающимися руками он выволок ее из мокрого хрустящего плаща и отбросил его в сторону. Этими же неслушающимися руками он сдернул с себя плащ, расстелил его рядом и осторожно, словно боясь разбудить, положил ее на него.

— А мышей здесь нет? — вдруг прошептала она, приподымая голову, как бы пытаясь выпростаться из темноты, но выпростаться было некуда и не надо.

Потом они долго лежали рядом, прислушиваясь к шороху дождя, к шуму прибоя, к машинам, пробегающим по дороге и на мгновения озаряющим фарами полупрозрачную крышу склада. Она, не переставая, гладила его голову, и он, удивляясь неустанности ее ласки, думал о том, что, наверное, это какая-то неосознанная жалость за ту остросладкую боль, которую он почувствовал в последнее мгновение, когда она этими же пальцами вцепилась в его волосы, словно делая последнюю попытку выкарабкаться из уносящего их потока.

Было уютно лежать на этом пружинящем ложе, пахнущем морем и хранящем отпечатки всех летних запахов. Они начали находить юмор в этой устойчивости неустойчивости. Вся система от малейшего движения, особенно ритмизированного, оживала, начинала источать всевозможные скрипы, словно призраки летних купальщиков не то с грустью, не то с легкой завистью напоминали о себе.

Потом они привыкли прислушиваться к сырым вздохам моря, к сухому завистливому шелесту призраков и даже различать их скрипы и шорохи, удивляться, если тот или иной знакомый скрип вдруг таинственно исчезал или появлялся в самом неожиданном месте.

Во второй раз, когда они сюда пришли, он внес небольшое усовершенствование в их тайное ложе. Он снял несколько лежаков с того места, где они устроились, и получилось уютное углубление. Здесь провели они пять или шесть вечеров, и это были прекрасные, ничем не омраченные вечера. Им было здесь хорошо, но, видно, слишком долго нигде не может быть хорошо.

Однажды, когда он пришел с нею сюда и первым полез по железной решетке и заглянул внутрь, он увидел человека, спавшего на их месте. Заур вспомнил, что у него было предчувствие: рано или поздно должно случиться что-нибудь такое.

Он вглядывался с пристальным вниманием в полутьму, вглядывался взглядом человека, ожидающего чего-то недоброго. В сущности, без этого пристального взгляда он и не смог бы разглядеть человека в этой сейчас показавшейся ему зловеще-кровавой полутьме. Человек, видно, спал. Заур разглядел лежавшую на нем телогрейку, остатки недоеденного ужина и бутылку из-под водки, стоявшую рядом у изголовья. Зауру показалось, что человек этот явно демонстрирует свое право на это убежище. Иначе он не стал бы ложиться именно на их место.

— Ну, чего ты там застрял? — спросила она снизу, и он быстро слез и, молча отведя ее в сторону, сказал, что место их занято. Ему казалось, что она ужаснется, представив, что они могли туда залезть и только тогда обнаружить пришельца. Но она, к удивлению его, не испугалась, а только сильно огорчилась. Ему даже показалось, что она обижена на него за то, что он так без боя сдал их убежище. Она загрустила на весь вечер. И когда они расставались и он ее несколько раз поцеловал, он почувствовал, что она не отвечает на его поцелуи. Он понимал, что это не женский каприз, а глубокое огорчение.

Но было бы нелепо, думал он, будить бродягу и предъявлять ему свои права на этот склад. Тем более что Заур был уверен — тот раньше занял его. И то, что в самый первый раз он заметил, что железный прут слегка отогнут, и то, что в следующий раз он заметил, что вход прикрыт, то есть железный прут разогнут (тогда он решил, что это дело рук какого-то служителя пляжа), говорило о том, что здесь кто-то бывал без них и до них. Он подумал, что бродяга этот не всегда ночевал здесь и они по счастливому стечению обстоятельств до сих пор не встречались.

Потом он вспомнил, как Вика огорчилась, и вдруг ему пришло в голову, что и мама его вот так же сейчас обижается на него за то, что он никак не может начать судиться с соседом, который оттяпал у них часть земли.

Несколько лет назад, когда этот негодяй начал расширять свой дом, он попросил у Заура дать ему возможность войти в его участок на полтора метра вглубь и на восемь метров вширь.

Тогда Заур, несмотря на сопротивление матери, разрешил ему это сделать, до того униженно этот модный адвокат просил у него возможность расширить свой дом. Мать ему тогда говорила, что адвокат не ограничится этим, а отрежет их участок, по крайней мере на уровне этого углубления. Заур тогда поражался, как могут быть фантастичны страхи женщины, правда, навидавшейся всякого на своем веку.

И что же? После одной из командировок Заур, открывая калитку и входя во двор, заметил новую каменную ограду, которую возвел их сосед. Ограда эта, возведенная с быстротой Берлинской стены, отрезала весь их участок на уровне расширенного дома.

— Ну что, сынок, кто оказался прав? — спросила его мать с траурной торжественностью в голосе. Заур опять поразился, как эта малограмотная женщина часто бывала проницательней его.

— Ничего, мама,— сказал он,— это ему так не пройдет.

— Оставь, пожалуйста,— отвечала мать, и он сам почувствовал пустотелость своей угрозы. Низость, проявленная адвокатом, была столь беззастенчива и велика, что у Заура просто руки опускались и не было, и он знал, что не будет сил бороться с этим адвокатом.

Все-таки он пошел в горсовет, где работал один его школьный товарищ, и рассказал ему обо всем. Тот отвечал ему, что адвокат этот человек с огромными связями и что теперь высудить у него эту часть участка будет очень трудно, раз Заур сам позволил внедрить его дом в свой участок, что не нужно было ему это позволять, что теперь он будет пользоваться всякой зацепкой, хотя бы той, что участок их (это он проверил по плану дома) несколько превосходит разрешенные в городских условиях площади и так далее.

Все-таки он ему посоветовал написать заявление и, дав бумагу и ручку, посадил на свое место. Заур сидел, сидел над этой бумагой и, не сумев ничего из себя выжать, кроме обращения к председателю городского Совета, и чувствуя глупость и обреченность всего этого дела, порвал бумагу и встал, что вызвало почему-то прилив бодрости у его школьного товарища.

— Ведь у нас тут, понимаешь,— сказал он,— никто никогда не поверит, что ты так, бесплатно разрешил ему внедриться в свой участок. К тому же пристройка дома разрешается в самых исключительных случаях... Следовательно, он тут в горсовете явно дал кому-то в лапу, и они никак не заинтересованы, чтобы ты выиграл дело.

— Да мне-то наплевать,— сказал Заур,— мать жалко, она никак не может примириться.

— Скажи матери, что ваш участок был больше положенного,— посоветовал тот ему напоследок.

Разумеется, мать никогда не могла утешиться этим жалким аргу-

ментом и с неутихающей ненавистью смотрела на дом процветающего адвоката. Заур просто перестал здороваться с ним, так ни разу и не поговорив о случившемся.

Первый раз, когда они встретились после возведения ограды, тот смущенно отвернулся, бросив блудливый взгляд на Заура. Заур тогда подумал, что все-таки адвокат испытывает какую-то неловкость, но потом при каждой встрече тот просто опускал глаза, и, в сущности, Заур чувствовал и понимал, что сам он смущается всем этим гораздо сильнее адвоката.

Потом в один прекрасный день, когда он вернулся с работы, мать ему обреченно кивнула на дом адвоката:

— Полюбуйся!

Заур увидел новую водосточную трубу, прикрепленную к углу адвокатского дома. Конец трубы нагло был направлен на их участок.

— Он сказал,— продолжала мать,— что его участок слишком ровный, а у нас хороший сток воды.

Заур почувствовал наконец приступ бешенства.

— Объясни ей, Заур,— крикнул вдруг адвокат, выглядывавший в окно и, по-видимому, понявший о чем идет речь,— что тут ничего такого нет... Чего она оскорбилась?

— Сейчас объясню,— ответил Заур, продолжая чувствовать столь редкую для него силу бешенства, и полез под дом, где лежал у них колун.

— Эх,— вздохнула мать, глядя с ненавистью на адвоката,— пользуешься, что в моем доме нет мужчины... Но бог все-таки есть...

В это время Заур с колуном в руке вышел из подвала и двинулся в сторону каменного забора.

— Ты что, Заур? — тревожно спросила мать.

Он не отвечал.

— Ты что, Заур, с ума сошел?! — крикнул адвокат.

— Подожди, Заур! — крикнула мать и бросилась вниз с крыльца.

Но Заур был уже возле каменного забора. Он положил колун на стену и одним рывком взобрался на нее. Он поднял колун и по стене прошел к дому. Увидев приближающегося Заура, адвокат коровьим голосом закричал: — Убивают! — и быстро захлопнул окно.

— Заур, умоляю! — крикнула мать, а Заур, злясь на них обоих за то, что они его неправильно поняли, быстро подошел к углу дома, откуда высовывалась труба. Он с размаху, но при этом успев рассчитать свою устойчивость, обухом топора ударил по рукаву трубы, направленному в сторону их участка. С первого удара рукав прогнулся. Со второго удара он со страшным грохотом полетел вниз. Заур спрыгнул с ограды и, подняв трубу, перебросил ее на участок адвоката.

— Так бы с самого начала,— сказала мать, окончательно успокаиваясь и не скрывая гордости за своего сына, который наконец показал, что он может постоять за себя. Адвокат никуда не жаловался, а просто устроил под своей трубой собственный водосток.

Вспоминая эту историю, Заур с какой-то странной теплотой подумал, что девушка его проявила первородное сходство с матерью, и это было ему приятно и это же вызывало в нем грусть, потому что сходство их проявилось в одинаковом осуждении его нежелания постоять за себя.

И раз она, его девушка, слыхом не слыхавшая о Чегеме, думает так же, как его мама, выросшая в этой горной деревушке и унаследовавшая от своих предков неукротимую энергию первопроходцев, значит, они, наверное, правы.

И вдруг сейчас, представив, как она, притихшая, стояла под навесом пляжного склада в своем голубом полиэтиленовом плаще с капюшоном, под которым капли дождя на волосах светились, как драгоценные камни, и, вспомнив, с какой мучительной сладостью он пытался тогда вспомнить, кого она ему напоминает, он сейчас ясно осознал то, что тогда никак не мог осознать.

Именно в Чегеме в далеком детстве, живя в доме деда, он, роясь в ящике шкафа, среди всяких налоговых квитанций, дореволюционных и новейших фотографий, однажды обнаружил старинную открытку с очаровательной девичьей головкой под капюшоном и тогда же, десятилетним мальчиком, слегка влюбился в эту головку.

Он на всю жизнь запомнил впечатление прелести этой головки, выглядывающей из-под капюшона, выражение хрупкости и дразнящего вызова, какую-то монашескую прикрытость ее и лукавую полуулыбку, как бы пародирующую эту монашескую прикрытость, и все это он тогда смутно угадывал и подолгу любил смотреть на эту открытку, и в то же время боясь, что его за этим занятием могут застать другие дети или тем более взрослые.

Как странно, думал он, что он тогда в детстве не попытался перепрятать и сохранить эту открытку. И как странно, продолжал думать он, что потом ему всю жизнь нравились девушки, которым шел капюшон, и, как правило, у них всегда находилось пальто или плащ с капюшоном, а если не находились, он мысленно нахлобучивал на них этот капюшон, но, главное, у них всегда был такой тип лица, тип женской головы, которой шел капюшон.

Как странно, думал он, что такая случайность могла надолго, может быть, навсегда определить его вкусы. Но что удивительней всего, это то, что он, несмотря на страх перед разоблачением, никогда не хотел перепрятать куда-нибудь открытку и наслаждаться ею в полной безопасности.

В этом была, быть может, трагическая особенность его характера: никогда не улучшать для себя условия игры, которую ему придется вести с жизнью.

Это не было тайной гордостью, но было почти всегда неосознанным желанием проверить истинность того, чего он добивается.

И если он тогда в детстве не перепрятывал никуда эту открытку, то только потому, что воспринимал ее как внезапно открывшуюся ему всеобщую истину красоты. И если ему открылась истина, как же ее можно прятать и перепрятывать, ведь истина потому и истина, что она для всех.

Это было все равно, что попытаться спрятать вдруг открывшуюся красоту цветущего летнего дня. Другое дело, он мог стыдиться слишком бурной радости при виде этого цветущего дня, но день-то в этом не виноват и как же ты спрячешь этот сверкающий, свежий, огромный день с его бездонным небом?!

И он, выбрав удобное время, подолгу рылся в ящике шкафа, где открытка эта лежала среди безобразных снимков, которые делал приезжавший сюда раз в год кенгурийский фотограф, и не менее безобразных снимков, которые чегемцы привозили из Мухуса, куда они ездили продавать кукурузу, сыр, мясо, орехи и где их в те времена фотографировал безумный краснобородый хиромант, работавший на базаре, покамест его полностью не вытеснило оттуда государственное фотоателье и он, забросив полумистику фотографии, окончательно перешел на чистую мистику хиромантии.

Тогда, в детстве, любуясь фотографией девушки на плотной дореволюционной бумаге, он не замечал, что снимок был наклеен на картон. И все другие дореволюционные фотографии тоже, казалось, были сняты на плотной, негнущейся бумаге со штампами фирмы на обратной стороне, и наоборот, все фотографии нового времени были сделаны на тонкой, уже сейчас коробящейся и ломающейся бумаге.

И была во всем этом какая-то закономерность: в печальной плотности пожелтевшей мощной бумаги, где и лица хранили на себе отпечаток серьезности и даже монументальности происходящего, во всех этих снимках каких-то предков с руками на пистолетах и кинжалах, во всех этих женщинах с приподнятыми на руках младенцами в белых рубашонках, в их мужьях, неизменно стоящих за их спиной с выражением иногда звероватой гордыни на лице. Все эти люди носили на своих лицах отпечаток понимания соприкосновения с вечностью. Они с семьями уезжали в город фотографироваться с важностью людей, пишущих завещание или точней, оставляющих свой облик как зрительную исповедь.

Казалось, все эти люди фотографировались со знанием того, что скоро и они и весь их образ жизни исчезнут, и казалось, они примирились с этой неизбежностью и были озабочены только одной необходимостью довести до будущих поколений свой закрепленный облик.

И наоборот, лица на новых фотографиях были какие-то смазанные, необязательные, словно люди понимают, что это баловство, а не закрепление себя в вечности, а главное, в глубине души чувствуют, что закреплять-то, в общем, нечего.

И вот смотрят с этих фотографий лица, позабывшие свое начало, отупевшие в бесконечном ожидании ускользающего будущего, лица людей, лишенных собственной судьбы. Именно лишенных собственной судьбы, потому что души их брошены в общий котел политической алхимии, где после великого опыта, окончание которого все время откладывается, откроют крышку котла и каждому вернут его душу, обогащенную золотым приварком всеобщего счастья.

Вот и говорят все эти смазанные, необязательные лица: мы это просто так снимаемся, главное-то не при нас, вот когда его возвернут нам, тогда мы и снимемся в полной форме с собственной судьбой, обогащенной золотым приварком. Но было в этих смазанных, необязательных лицах и выражение растерянной усталости: и вроде бы жалко себя, что столько времени прожили без собственной души, отданной в общий котел, да ведь не столько отданной, сколько отобранной, и вроде бы жалко возвращать ее себе без обещанного приварка, да уж больно долго ждать приходится, уж лучше бы возвернули ее, какая она ни есть, авось, пригодится...

И Заур подолгу смотрел на эти лица. Почти все они были знакомы ему по Чегему, почти все они были соседи или родственники, и он любил их и жалел их, тогда еще неосознанно, просто испытывая печаль. И когда он переводил взгляд на открытку с прекрасной девушкой, печаль никуда не уходила, а вбирала в себя нежность к этой девушке и превращалась в какую-то сладостную мечту когда-нибудь встретить такую девушку и когда-нибудь увидеть все эти лица счастливыми и веселыми, таящими скрытую благодарность Зауру, который помог им вырваться из унылой затхлости бесплодного ожидания.

Да, высоко заносили его мечты! И все-таки, несмотря на то, что с годами ее детская яркость померкла, видоизменилась вместе с ядом жизненного опыта, что-то главное все-таки осталось. Осталась надежда встретить такую девушку и надежда что-то сделать для этих людей.

Заур давно знал, что сельское хозяйство страны зашло в тупик и с годами будет все глубже и глубже увязать в этом тупике, если не произойдет коренных изменений в отношениях между крестьянином и государством, выраженных в форме современного колхоза.

Он был уверен, что человек вообще, а крестьянин в особенности, тысячелетиями своего существования создан как частный инициатор, и коллективизм тут совершенно неуместен и вреден не только для нормального развития сельского хозяйства, но даже для самой идеи коллективизма. Заур считал, что идея коллективизма таится в человеческой психике, заложена в нее еще со времен общинного существования, —этот рефлекс в нормальных условиях срабатывает во время стихийного бедствия, катастрофы или просто несчастья, постигшего другого человека.

И он считал, что этот рефлекс нельзя будить и пускать в ход для такого нормального ежедневного дела, как труд, потому что, как и всякий рефлекс, возбуждаемый без надобности, он будет слабеть и в конце концов будет с вялым равнодушием реагировать на сигналы бедствий, требующих коллективных усилий.

И вот, благодаря некоторой либерализации общественной жизни, в колхозах стали возникать, в сущности говоря, арендные отношения. Малоплодородные участки земли или земли маленькие, непригодные для машинной обработки или слишком удаленные от места жительства большинства колхозников, отдавались в частном порядке колхозным семьям, обычно на равных условиях: половина урожая колхозу, половина тому, кто обработал.

Заур не имел возможности проследить за тем, как эта форма отношений возникла в колхозах и полулегально продолжает существовать. Скорее всего она возникла стихийно, благодаря либерализации. Какой-нибудь крестьянин мог сказать председателю, кивнув на заброшенный земельный участок:

— Дай-ка я посею здесь кукурузу. Все равно даром пропадает!

— Давай! Половину колхозу, половина тебе... Идет?

— Идет!

Такой разговор был вполне мыслим именно благодаря либерализации. Уменьшилась ответственность за здравый смысл. (Заур, думая об этом и именно в этих выражениях, не замечал их парадоксальности, настолько парадоксальность была растворена в самом воздухе времени.) Председатель колхоза вполне мог так разговаривать, уверенный, что теперь ему за это не пришьют «контрреволюции».

Сейчас во многих местах это делали, и Заур всеми способами, где прямо, где обходными путями старался проверить рентабельность этих микроостровков частной инициативы. Уже два года он по крупицам собирал такого рода материалы, чтобы иметь в руках неопровержимые факты. По данным, которые он имел от крестьян, с этих участков получали в три раза больший урожай, чем с колхозных полей. Он знал, что эти данные не могут быть преувеличены, они могут быть только приуменьшены. Председатели колхозов да и крестьяне неохотно распространялись с чужаком на эту тему. Но если, что тоже бывало, они убеждались, что Заур для себя, а не для начальства интересуется их делами, они охотно говорили с ним об этом.

Однажды, разговаривая с одним старым крестьянином, он был его дальним родственником, Заур спросил:

— А что, если бы власть сказала: — Кто хочет, пусть выходит из колхоза. Ты бы вышел?

Старик крепко задумался, а потом неожиданно выдохнул:

— Нет.

Заур был поражен, но ответ-выдох был столь решительным, что он не стал спрашивать о причинах. Колхоз, в котором жил этот родственник, был не из лучших, но и не слабый. Видимо, он свыкся с этим образом жизни, приспособился к нему и не хотел на старости лет ничего менять. Да, все не так просто, подумал Заур.

Другой старик из другого села рассказал ему о забавной встрече со Сталиным. Это было в самом начале тридцатых годов. Сталин отдыхал в Абхазии и решил устроить что-то вроде «завтрака на траве»

в обществе местного крестьянина. Нестор Лакоба, сопровождавший Сталина, прихватил этого человека с собой. Крестьянин на всякий случай скрыл от Нестора Лакобы, что он понимает по-русски.

Лесная лужайка. Костерок. Шашлычки. Вино. Представитель народа успел заметить, что в лесу перемелькивала охрана. Да и рядом сидели охранники.

Во время этого идиллического завтрака вдруг откуда ни возьмись появилась оса. Она не то пыталась сесть на тарелку вождя, не то на его руку. Одним словом, намеренья ее были не вполне ясные, но вполне хулиганские. Вождь несколько раз отмахивался от нее, но она упорно вибрировала над его тарелкой. Не отстает и все.

Вокруг всполошились, то ли с намереньем прихлопнуть ее полотенцем, то ли метким выстрелом из пистолета. Но товарищ Сталин легким мановением руки отверг эти грубые способы расправы и, взяв вилку, замер. Оса долго кружила над его рукой и тарелкой, капризно не решаясь выбрать посадочную площадку. Товарищ Сталин дождался, когда она наконец успокоилась в тарелке, и, медленно протянув руку, раздавил ее вилкой. Потом приподнял ее той же вилкой, отбросил в сторону и сказал:

— Она не знала моего главного преимущества. Я тэрпелив...

В конце затянувшегося завтрака Сталин спросил у крестьянина:

— Как ты относишься к колхозам?

Лакоба перевел ему и без того ясный вопрос. В Абхазии тогда колхозы только вводили.

— Пусть откроют в двух-трех селах. А мы посмотрим. Если будет хорошо — и мы вступим,— не без лукавства ответил он вождю.

Лакоба перевел ответ.

— Некогда, некогда,— сказал Сталин нахмурившись.

Но, видимо, чудный осенний день, шашлычок, костерок, винцо, багряный лес, утыканный охраной, располагали вождя к благости, и он простил крестьянину его не вполне удачный ответ. На прощание Сталин даже сказал, обращаясь к Лакобе:

— Пусть просит, что хочет.

Лакоба перевел.

— Нам бы гвозди,— осторожно попросил крестьянин.

— Проси школу,— по-абхазски подшепнул ему Лакоба.

— Нам бы гвозди и школу,— попросил крестьянин.

Лакоба перевел.

— Будут вам и гвозди, и школа,— пообещал Сталин и уехал.

И в самом деле вскоре прислали гвозди, открыли школу, но и ввели колхоз.

С кротким юмором, рассказывая Зауру об этой встрече, старик добавил:

— Может, не надо было просить гвозди? А как не попросишь, когда такой человек велит просить?

А другой, тоже старый крестьянин, с которым Заур завел разговор о колхозе, раздраженно отмахнулся, словно он у него спрашивал о здоровье давно и безнадежно больного человека. И вдруг с неожиданным жаром выкрикнул:

— У нас в деревне в тридцать седьмом году взяли восемьдесят пять человек! Это на двести дворов! И кого взяли! Кровь с молоком! От двадцати до сорока лет! Самых крепких!

— Почему? — опешил Заур. Про такое он не слыхал. Он думал, что тридцать седьмой коснулся в основном города, и ему теперь было стыдно.

— Не знаю,— ответил старик, но, спохватившись, поправился: — Вернее, знаю. Тут у нас рядом Мюссера. Там Сталин отдыхал. Боялись покушения. Но какое может быть покушение! Туда близко никого не подпускали. Охрана! Птица не пролетит! Мышка не прошмыгнет!

Он это сказал с такой страстью и даже горечью, что Заур вдруг ясно представил — обе стороны считали вполне естественной возможность покушения. Ему представилось, что тиран, просыпаясь по утрам и осознавая, что все еще жив, думал про себя: ага, значит, им на этот раз не удалось. Теперь моя очередь...

Во время этих своих поездок Заур убедился, что коллективизация низинной Абхазии была гораздо более кровавой, чем он думал. Раньше он о ней судил по своему родному Чегему, где скот отняли, но людей не тронули. По-видимому, учитывали, думал Заур, что у горцев больше возможности сопротивления. Иначе не объяснишь. В том безумии была и оглядчивая осторожность. Да и сам создатель ассирийского государства, так его иногда называл Заур, обладал мощным уголовным чутьем на возможность сопротивления как отдельных людей, так и целого народа.

Да, народ за все это время сточился, разнародился, одичал. В селах Абхазии, неслыханное дело для крестьян, тысячелетиями производящих вино, появились алкоголики.

Маленькие, скрытые островки арендных отношений, по мнению Заура, не только оздоровляли сельское хозяйство, но оздоровляли и самих крестьян. Без работы от души, с полной самоотдачей, нет и не может быть духовно здорового человека. В этом Заур был уверен. Особенно же это было верно для крестьянина, у которого плоды его труда целый рабочий год торчат перед глазами или наводящими унылые карликовыми всходами или бодрящим, смачным шелестом мощных кукурузных стеблей. Вернуть крестьянину радость изобилия и цветения, и он сам оздоровится и расцветет.

Обо всем этом и о многом другом, связанном с глубинной, скрытой от посторонних глаз крестьянской психологией, он написал статью, в которой призывал к постепенному, осторожному переходу, где это выгодно (боевая хитрость: сам он считал — везде это выгодно), к арендным отношениям. Эту свою работу, много раз тщательно переписанную, а потом отпечатанную на машинке, он вложил в большой конверт и послал в Москву в ЦК партии.

Он считал, что его работу или примут к сведению, и тогда пусть постепенно, но начнется новая эра в сельском хозяйстве страны, или его накажут, как носителя чуждых взглядов. Он был готов и к такому обороту дела и потому недрогнувшей рукой передал конверт в окошечко почтамта. С тех пор прошло уже около полугода, но на его письмо не было никакого ответа. Он смирял свое нетерпение и упрямо ждал и верил, что ответ рано или поздно придет. Не может такое послание остаться безответным. Конечно, там, наверху, прежде чем давать ему ответ, советуются со специалистами. Пусть советуются, думал он, пусть всесторонне обдумают и взвесят проблему.

Вот в чем заключалась его идея, которой он жил в последние годы, а в сущности, готовился к ней, сам того не осознавая, всю жизнь.

Заур много раз бывал в доме Вики. Это была состоятельная, а по разумению Заура, богатая и счастливая семья. Отец ее был профессором, одним из ведущих работников крупного научно-исследовательского института. Мать, будучи рангом пониже, работала в том же институте.

Отец Вики часто бывал в заграничных командировках, откуда привозил своим женщинам (была еще сестра Вики, школьница) всякие красивые тряпки и киноленты из жизни далеких стран.

В первый же вечер, когда Вика привела Заура к себе домой, отец ее, едва познакомившись с ним, стал тут же расставлять свою киноаппаратуру и демонстрировать фильм с какими-то американски-

ми городами, загородными виллами и пляжами. Он только что вернулся с научной конференции, которая состоялась в Америке.

Фильм показался Зауру наивным, неинтересным и чуждым. И ему тем более было удивительно, что отец Вики с явным удовольствием смотрел сам этот свой фильм и с удовольствием рассказывал о нем. Заур потягивал в темноте коньячок, выставленный вместе с закуской матерью Вики, и молча выслушивал восторженные комментарии профессора к своему фильму.

Заур и по своему институту знал, как прытко стремятся в загранпоездки не только молодые, но и многие седоглавые ученые. Сам Заур ни разу палец о палец не ударил, чтобы куда-нибудь поехать. В этом отношении, как и во многих других, он рассуждал просто и резко: когда в доме у тебя больной — нечего шастать по чужим домам. В доме родины, считал Заур, была больна сама родина.

Его смешил комический парадокс, заключенный в самих этих поездках. Посылали в загранпоездки тех, кого начальство считало наиболее достойными работниками. Получалось, что в награду за хорошее строительство социализма человеку предоставляли праздничную поездку в страну капитализма. А ведь для истинного строителя социализма это должно было быть наказанием.

Заур в доме профессора был принят радушно, как жених или будущий жених Вики. Догадываются ли они о наших отношениях, думал иногда Заур, но ничего не мог ответить на этот свой вопрос.

Однажды отец Вики предложил Зауру поступать в аспирантуру педагогического института, намекнув на свои дружеские отношения с ректором института. Заур мягко отстранил это предложение. Намек профессора показался ему наивным. В другой раз профессор удивил его еще большей наивностью.

В тот вечер у них в доме была молодежная вечеринка. Отец Вики принимал в ней участие и ничем не портил общего веселья. Во время танцев он наклонился к Зауру и, показывая глазами на одну из девушек, предложил с ней потанцевать. Заур ответил, что ему неохота.

— Она дочь секретаря горкома,— шепнул ему отец Вики.

— Ну и что? — удивился Заур.

— Как «ну и что»? — в свою очередь удивился отец Вики.

Кстати, отец Вики имел хобби, он собирал старинную русскую мебель. Это, вероятно, невинное увлечение почему-то раздражало Заура. В доме слишком часто, по его мнению, говорили о походах в комиссионные магазины.

— Как вам нравится мой русский ампир? — однажды спросил он у Заура.

— Меня больше занимает русский амбар,— насмешливо ответил Заур.

— Остроумно,— кивнул профессор, кисло улыбаясь, и впервые подумал, не опасен ли этот молодой человек для его дочки.

Все же родители Вики нравились ему своим гостеприимством и радушием. Но он чувствовал, что между ними стоит и, вероятно, всегда будет стоять одна преграда. Заур не знал, как ее назвать, но этой преградой была их необъяснимая психическая простота.

Вернее, объяснимая. Заур чувствовал, что суть этой простоты состоит в том, что они хозяева жизни, они не знали ни тридцать седьмого года, ни иных потерь. Они как бы не подозревали, что, кроме официального объяснения жизни, есть и другое, совсем не похожее на него объяснение жизни.

К тому же они, по разумению Заура, были богаты. Но они были не так богаты, как был богат его сосед, модный адвокат, и многие другие, которые нажились на той или иной форме мошенничества.

Их богатство было законным вознаграждением этого государства за их труд. И это их делало не похожими ни на семьи местных воротил, ни на семьи, подобные семье Заура.

Его зарплаты и материнской пенсии едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Заур был неприхотлив в еде, в одежде, в быту. И все-таки бедность его унижала. Его унижала обстановка в доме с его ужасным комодом, шкафами, буфетом, колченогими стульями. От отцовского дома им остались только комната и веранда, все остальное было продано после его ареста.

Мать развесила по стенам десятки фотографий родственников, в основном умерших. И этот ее патриархальный культ мертвецов, который он не мог ей запретить, усиливал неуют их дома. Из-за этого Заур редко приглашал в дом друзей и никогда — знакомых девушек.

Заур стыдился своей бедности, но странным образом в нем уживался этот стыд с твердым пониманием того, что ему неинтересно и никогда не будет интересно заниматься вещами и тряпками. Даже если для этого у него будут время и деньги.

Его честолюбие парило в более высоких сферах. Он чувствовал, что ему дано что-то такое, что раз и навсегда ставит его выше всех этих низменных, как он считал, меркантильных интересов.

Но в условиях, когда все кругом, подобно соседу-адвокату, старались как можно больше отхапать от жизни, а для этого не гнушались ни воровством, ни взятками, в этих условиях трудно было сохранить презрение к материальным благам жизни. Слишком много людей вокруг жили исключительно этим ненасытным желанием как можно больше урвать. В глазах этих людей бедность его, молодого, полного сил человека, выглядела, как следствие его бездарности и даже никчемности.

И Заур, как это ни грустно, стыдился своей бедности и одновременно стыдился своего стыда.

...После отданного без боя пляжа Заур, как ему казалось, закрепил свои позиции в парке закрытого санатория. Он был расположен примерно на полдороге между пляжем и школой, где находился избирательный участок.

Это был замечательный парк, созданный еще до революции русским миллионером Смицким для своей, надо полагать, горячо любимой чахоточной жены. Он собрал в этом парке многие виды флоры со всех частей света.

После революции, насколько знал Заур, бывший миллионер продолжал жить при своем парке, где теперь работал садовником. Жена Смицкого, пережившая его, уже в тридцатые годы продолжала здесь жить и зарабатывала на жизнь тем, что давала частные обеды более или менее состоятельным отдыхающим.

К концу тридцатых годов в парке вырос закрытый или даже сверхзакрытый санаторий, потому что здесь, случалось, отдыхали самые большие люди страны и даже сам Сталин. Видимо, по этой причине санаторий имел свою запасную электростанцию, на случай если выйдет из строя общегородская.

После смерти Сталина санаторий из закрытого типа перевели в полузакрытый. То есть теперь тут могла отдыхать не только партийная элита, но и научно-хозяйственная. Впрочем, партийная элита брезгливо рассосалась по другим санаториям, все еще достаточно закрытым.

В прошлом и позапрошлом году здесь отдыхал известный академик, ученик Вавилова, чудом уцелевший на какой-то забытой богом (и Лысенко) научной станции.

Заур, познакомившийся с ним на одном банкете и понравивший-

ся ему, возил его по Абхазии и несколько раз приходил сюда к нему в гости. Вахтеру достаточно было посмотреть на паспорт, удостовериться по списку, что человек этот приглашен сюда, чтобы пропустить его в парк.

В первый год академик был настроен бравурно и говорил, что парк этот со дня на день будет передан Академии наук, как прекрасная база для растениеводства. Он говорил, что вопрос этот вот-вот решится. Но вопрос этот не решился ни в том году, ни в следующем, ни в каком.

Заур из этого сделал вывод, что либерализация осторожно остановлена, что если сломаны некоторые перегородки внутри главной перегородки, то есть большее количество людей допущено к высшим благам, то это не значит, что будет сноситься главная перегородка, после чего ничего не останется, как придать закону универсальный, а не частный, как это сейчас делается, юридический смысл. Однажды, гуляя с этим солидным ученым по парку, Заур заметил в глухом верхнем углу забора большую дыру, совершенно очевидный, хотя явно и незаконный проход. Тогда же он заметил, как дюжина женщин, громко разговаривая и подтрунивая друг над другом, устремилась в этот проход. Некоторые из этих женщин держали в руках косы. И вдруг Заур на несколько мгновений забыл, где он находится. Ему показалось, что он в барской усадьбе девятнадцатого века, а это бабы, косившие сено, пошли по домам.

Потеряв пристанище на пляже, Заур вспомнил про этот пролом в заборе парка закрытого санатория и пришел к нему со своей девушкой. Там, где в прошлом году зияла дыра, сейчас были прибиты две невыкрашенные доски. Заур подошел к забору и качнул одну из свежеприбитых досок. Она оказалась снятой с нижнего гвоздя и легко отодвинулась в сторону. Вторая доска тоже оказалась освобожденной от нижней перекладины. Раздвинув эти два золотистых луча, он провел ее в парк.

— О,— воскликнула она шепотом,— как тут здорово!

Прямо возле забора проходила асфальтовая дорожка. Она опоясывала территорию парка. За асфальтовой дорожкой начиналась мандариновая плантация.

Заур взял Вику за руку, и они осторожно прошли под мандаринами и вышли в парк, где росли секвойи, кедры и слоновые пальмы.

— Баобаб! — воскликнула она и подбежала к ближайшей пальме с огромным серебристым стволом. Она обняла гладкий ствол могучего дерева тем радостным жестом ребенка, который пытается поднять взрослого, сам понимая, что поднять его не сможет, но выражая этим свою нетерпеливую радость.

— Это не баобаб,— сказал он, улыбнувшись ей,— это слоновая пальма.

— Нет, баобаб,— отвечала она, прижимаясь к стволу и обнимая его руками, словно защищая ствол от покушения и словно говоря своим строгим взглядом: — Не трогай нас...

И Заур потянулся к ней на этот обороняющийся, а на самом деле зовущий жест и вдруг снова разглядел вблизи ее хорошо очерченные крупные губы и поцеловал ее долгим поцелуем, чувствуя губами молодую крепость ее охолодевших на воздухе губ.

Через три дня, когда они лежали на плаще Заура под пахучим кустом мандарина и он затекшим боком чувствовал неровность сырой, бугристой земли и удивлялся, что она ничего этого не чувствует, он вдруг увидел идущего в белом лунном свете сторожа с овчаркой.

Они шли по асфальтовой дорожке. Холодея от ужаса, Заур догадался, что сторож с овчаркой не просто проходят, а именно ищут их. Они шли сверху, скорее всего от той самой дыры в заборе.

Продолжая лежать и боясь, что она вдруг что-нибудь скажет, он тихо прикрыл ей рот ладонью и, приподняв голову, следил за дорогой. Он слышал шаги сторожа и видел мгновениями исчезающую за кустами мандаринов и снова появляющуюся серую тень собаки. Ему казалось, что он слышит, как она с хищной сладостью втягивает ноздрями запах их следов.

Вот они поравнялись и пошли дальше. Заур облегченно вздохнул. Обыкновенная дворняга, наверное, их присутствие обнаружила бы, а эта сторожевая овчарка, целиком углубившись в свое дело, не заметила их. То, что собака искала именно их, теперь Заур знал точно, потому что, пройдя еще шагов тридцать, она свернула по их следам, а не пошла дальше по асфальтовой дорожке.

Именно там они свернули сегодня, и прежде чем прийти к этому развесистому кусту мандарина, где они разбили бедный свой лагерь, они ходили к той самой слоновой пальме, которую она обнимала в первый вечер. Это было достаточно далеко от того места, где они сейчас лежали.

— Мой баобаб нас выручил,— сказала она, нырнув в пролом в заборе и выбегая на дорогу.

* * *

Через несколько дней Зауру пришла в голову дерзкая мысль сделать местом свидания директорский кабинет школы, где был расположен их избирательный участок. Он сообразил, что ночью, когда уйдут все агитаторы, можно проникнуть в школу через окно спортзала, откуда легко перейти в учительскую, а из учительской в директорский кабинет. Там стоял великолепный диван. Заур знал, что в школе запирают только наружные двери, ключ от которых у Автандила Автандиловича или у его заместителя.

Вечером, когда собрались все агитаторы, он прошел в спортзал, раскрыл окно и тихонько прикрыл его так, чтобы оно изнутри казалось закрытым. В ту же ночь в одиннадцать часов он с Викой вошел во двор школы, обошел здание и остановился возле окна. Стоя достать до створки окна было невозможно. Он подпрыгнул и в прыжке открыл окно. Следующим прыжком он уцепился за подоконник, напряг все силы, подтянулся и залез на него. Он опустился вниз и, перегнувшись над подоконником, достал руками вытянутые руки своей девушки. Он схватил ее за кисти рук и стал изо всех сил подтягивать ее вверх, пока она не легла грудью на подоконник. Тут он ее взял под мышки и втянул в помещение.

В течение трех ночей они упивались безопасным уединением в кабинете директора, а на четвертую ночь, когда они уже собирались уходить, он вдруг услышал какой-то стук в дальнем конце здания.

— Тише! — сказал он ей и замер. Они сидели на диване. Вдалеке хлопнула входная дверь и раздались шаги. Шаги делались все отчетливей и отчетливей. Кто-то вошел в учительскую. Он услышал рядом с мужскими шагами стук каблуков и шепчущий голос женщины. В следующее мгновение распахнулась дверь кабинета, и в дверях остановились два силуэта, мужчины и женщины. Мужчина протянул руку, нащупал выключатель и зажег свет. Это был Автандил Автандилович с какой-то высокой, русоволосой женщиной. Заур ее никогда в Мухусе не видел, она была явно приезжая.

Когда Автандил Автандилович увидел их, лицо его приняло сначала испуганное выражение, и челюсть его стала медленно отвали-

ваться. Зауру показалось, что она отваливается бесконечно долго и никак не может отвалиться. В тишине вдруг раздался тихий, воркующий смех его спутницы.

— Ты что здесь делаешь?! — спросил Автандил Автандилович с таким возмущением, словно застал его в собственном доме. Воркующий смех спутницы его вывел Заура из растерянности.

— То же самое, что и вы,— спокойно ответил ему Заур.

— То есть как?! — тихо взревел Автандил Автандилович, ибо как ответственный работник не мог признать равенства даже в этом.

— Так,— сказал Заур и, подхватив под руку свою девушку, прошел мимо Автандила Автандиловича и его спутницы, все еще смеющейся тихим, воркующим смехом. Они явно пришли сюда после какого-то затянувшегося застолья, спутница его была слегка пьяна.

Зауру показалось, что Автандил Автандилович не запер входную дверь, поэтому он смело устремился к выходу вместе со своей подругой. Дверь в самом деле оказалась незапертой.

Окунувшись в ночную прохладу и быстро перейдя дворик школы, они вышли на улицу, и тут на них напал смех, и они несколько минут корчились от смеха, припадая друг к другу, вспоминая выражение его лица и время от времени поглядывая на здание школы, где светились окна директорского кабинета. Внезапно окна погасли.

— Так-то лучше,— сказал Заур, кивнув на погасшие окна.

Но что было делать дальше? Теперь у них отняли и это их последнее укрытие. Они продолжали встречаться в городе, ходили в кино, а потом долго и горестно целовались в подъезде ее дома.

Заур возобновил знакомство со своим давним приятелем, который жил один в трехкомнатной квартире, и они однажды остались ночевать у этого приятеля. Дома она сказала, что идет на день рождения подруги, где останется на всю ночь. Приятель этот оказался настолько добрым, что просил приходить и оставаться у него, когда только им захочется. Но тут случилось событие, которое помешало Зауру пользоваться его гостеприимством.

* * *

В тот день в комнате, где он работал, раздался звонок, и сотрудница, оказавшаяся рядом с телефоном, подняла трубку.

— Тебя, Заур,— сказала она и положила трубку на стол. Заур подошел к столу и поднял трубку.

— Я вас слушаю,— сказал он, прислушиваясь к трубке и стараясь отделиться от шума комнаты.

— С вами говорит следователь Григорьев,— сказал голос в трубке,— вы не могли бы зайти в городское отделение милиции, комната десять?

— Когда? — спросил Заур, задыхаясь от волнения. Ему показалось, что его вызывают по поводу его письма в ЦК. Но волнение его через несколько секунд улеглось, он понял, что вызывают его не по этому, а совсем по другому поводу.

— Сейчас, если вы свободны,— сказал голос.

— Хорошо, я зайду,— спокойно ответил Заур и положил трубку.

Заур не боялся встречи со следователем, но все-таки испытывал некоторую настороженность. Он вышел на озаренную майским солнцем улицу, вдыхая свежий воздух и вспоминая то, что случилось неделю назад.

Все началось с такого же звонка в отдел. Он первым подошел к телефону. Он ждал звонка. Так оно и оказалось. Звонила Вика. Они должны были условиться о сегодняшней встрече. Заур старался говорить односложно, чтобы другие работники отдела поменьше понимали, о чем он и с кем говорит.

Особенно ему не хотелось, чтобы его слышал Алексей, работавший с ним в одном отделе. Недавно он узнал, что Алексей когда-то пытался приударять за Викой. Но, кажется, дальше нескольких совместных посещений кино у них дело не пошло.

Зауру навсегда врезалось в память, как Алексей, остолбенев, остановился на улице, когда впервые увидел их вдвоем. Потом она рассказала ему о своем знакомстве с Алексеем, и он не придал этому большого значения.

Правда, позже у Заура с ним было полуобъяснение, во время которого он слишком много сказал о степени своей близости с Викой, хотя всего и не сказал. Но и сказанное было лишним, о чем он потом жалел и стыдился до сих пор, но исправить уже было ничего нельзя. Это получилось так, потому что Заур как-то слишком запомнил остолбенение Алексея, да и Алексей как-то так повернул разговор, что шансы у обоих равны и еще неизвестно, с кем она предпочтет дружить в будущем. И Заур не из бахвальства, а просто, чтобы объяснить Алексею, чтобы рассеять его ложные иллюзии, сказал ему чего нельзя было говорить, не унизив своих отношений с Викой.

Больше они никогда не заговаривали на эту тему, вернее, Заур уклонялся от всяких разговоров, хотя время от времени чувствовал признаки навязчивого любопытства Алексея. Было в нем какое-то упорство, которое Заур считал следствием нравственной туповатости его. Так, однажды в ресторане он пригласил танцевать какую-то незнакомую девушку. Та отказалась, но Алексей, вместо того чтобы отойти от нее, как сделал бы всякий, проторчал возле нее минут двадцать и все-таки добился, что она пошла с ним танцевать. Может, и здесь он надеялся на свое упрямство.

И во время того телефонного разговора Заура с Викой Алексей подошел к столу, возле которого стоял Заур с телефонной трубкой, и стал перебирать бумаги, словно ища необходимую ему, а на самом деле прислушиваясь к трубке и стараясь определить голос девушки, разговаривающей с Зауром.

— Что, свидание? — спросил он, когда Заур положил трубку.

— Да,— сказал Заур неожиданно для себя,— свидание с Викой... Мы сегодня идем в гости к Юре Васильеву.

Заур навряд ли сам смог бы объяснить, почему он сказал ему правду. Отчасти эта правда была мистической платой за то, что Заур добился расположения девушки, с которой Алексей потерпел крах. Отчасти это было свойством его натуры, нежеланием таить в себе какую-то двусмысленность, какую-то ложь или коварство.

— А-а-а, к Юре,— протянул Алексей,— я тоже, может быть, приду...

Заур пожал плечами, что означало: я сам гость, а ты, если хочешь прийти, договаривайся с хозяином. Они оба были достаточно хорошо знакомы с хозяином дома, но, разумеется, Заур не стал бы приходить к нему в гости, если б тот не пригласил его. Заур знал, что у Алексея хватит нахальства притащиться в гости, даже когда его никто не звал.

В тот вечер Заур благополучно встретился с Викой, и они зашли в гастроном и купили бутылку коньяка и коробку конфет. Молодой архитектор Юра Васильев жил в отличной трехкомнатной квартире в центре города. Год назад родители его уехали в долгую, на несколько лет заграничную командировку, и он оказался владельцем этой удобной во всех отношениях квартиры. Не реже чем раз в неделю в ней собирались шумные сборища молодежи.

Вот и сейчас, когда Заур с Викой вошли в дом, там оказалось множество знакомых и полузнакомых молодых людей со своими женами и девушками. Женщины накрывали на стол, готовили в кухне

какой-то шикарный салат, а мужчины помогали им или курили, похаживая по комнатам в праздничном ожидании застолья. Все были здоровы, веселы, доброжелательны, потому что были молоды, полны сил, нравились друг другу и самим себе.

Вечеринка была в разгаре, когда в дверь раздался звонок. Хозяин пошел открывать, и через несколько минут в дверях появился Алексей с их общим знакомым забулдыгой-художником.

Их усадили за столом поблизости от Заура, и, казалось, они вошли в струю общего приподнятого настроения. Но потом Заур заметил, что они оба сильно выпившие, а Алексей начал бросать двусмысленные замечания по поводу отношений Заура и Вики.

Одно из этих замечаний оказалось настолько грубым, что неожиданно за столом все замолкли. Заур не успел сообразить, как отвечать на этот выпад, когда встал хозяин и вызвал Алексея в переднюю, куда поплелся в знак солидарности и забулдыга-художник.

Через минуту хлопнула входная дверь, и хозяин, довольно улыбаясь, вошел в комнату. Он их просто выставил за дверь. Заминка была преодолена, и веселый праздничный вечер продолжался. Некоторое время Заур чувствовал неловкость, что хозяин, а не он разделался с оскорбителем. Но и он вскоре забылся, тем более что Вика опять погладила его руку под столом, этой тайной лаской показала, что она нисколько не сердится на глупое замечание Алексея, и призывая следовать ее примеру.

Около двенадцати часов гости стали расходиться. Заур с хозяином, веселые, немного пьяные, пошли провожать всех этих милых людей, с которыми они сегодня так хорошо провели время. В доме оставались только жена архитектора и Вика.

Посадив гостей в автобусы и такси, Заур с хозяином вернулись назад. Они вошли во двор, и глазам их открылось необыкновенное зрелище.

Во дворе стояли две милицейские машины, и несколько милиционеров толпились у подъезда, куда они собирались войти. Один из них держал на поводке овчарку. Зауру показалось, что милиционер хочет, чтобы овчарка их обнюхала. Опасливо косясь на нее, Заур и Юра прошли в подъезд и позвонили в квартиру. Испуганные женщины открыли им дверь. Оказывается, после их ухода Алексей со своим забулдыгой-художником звонили в дверь, но женщины им не открыли, говоря, что в доме никого нет, что хозяин ушел провожать гостей.

Кажется, так и не поверив им, Алексей со своим дружком куда-то ушли, а через некоторое время в квартире, расположенной рядом, раздался звон разбитого вдребезги оконного стекла и дикий вопль хозяина квартиры, председателя горсовета. Женщины выразили довольно правдоподобную догадку, что это — дело рук Алексея и его дружка, что они просто спутали окна.

За стеной еще долго доносились голоса хозяина и работников милиции. За окнами тоже слышались шаги каких-то людей. По-видимому, к окну подводили собаку и пытались навести ее на след злоумышленников.

На следующее утро, когда Заур и Вика завтракали с хозяевами квартиры, раздался звонок в дверь. Хозяин пошел открывать и ввел в комнату Алексея и забулдыгу-художника. Выглядели они жалкими и растерянными. Они пришли извиниться за содеянное вчера и обещали привести стекольщика, чтобы вставить разбитое окно.

— Окно вы не нам разбили — сказал хозяин, не в силах скрыть улыбки,— приводите стекольщика председателю горсовета.

Он кивнул на квартиру, расположенную рядом. Алексей побледнел и, посмотрев на окна, убедился, что они целы.

— Кстати, чем это вы шарахнули ему в окно? — спросил Юра.

— Да кирпичом,— вздохнул Алексей,— если он узнает, мы пропали...

— Вчера тут с собакой вас искали,— напомнил Юра.

Алексей и его дружок стояли, переминаясь, и вид у них был жалкий. Всем своим видом они умоляли не выдавать их, хотя просить об этом не осмеливались. Забулдыга-художник к тому же ухитрялся застенчиво поглядывать на бутылку с остатками вчерашней водки, но ему никто не предложил выпить.

Только они ушли, как в квартире раздался звонок, и хозяин впустил самого мэра города. Это был высокий мужчина с красивой серебристой сединой в волосах. Глядя на его представительную фигуру, трудно было вообразить, что это он вчера ночью орал благим матом.

— Послушайте,— сказал он,— у вас вчера, судя по шуму, были гости... Не было ли между ними какой-нибудь ссоры?

Теперь видно было, что он вчера сильно перетрухнул.

— Нет,— отвечал хозяин,— все это случилось, когда я вместе с товарищем пошел провожать гостей...

Мэр города молча покосился на Вику и на Заура, как бы чувствуя, что утреннее пребывание их здесь свидетельствует о непорядке, который может быть звеном в цепи непорядков, приведших к тому, что у него выбили стекло. Казалось, он чувствует, что случившееся связано с этой квартирой, но никак не может ухватиться за какое-нибудь доказательство. Он медленно повернулся и вышел из комнаты, и хозяин закрыл за ним дверь.

Через несколько дней товарища Заура вызвали в городское отделение милиции, где, пытаясь напасть на след злоумышленника, его допрашивал следователь. Судя по всему, делу был дан серьезный ход, подозревали попытку убить председателя горсовета. Эту версию он сам и выдвинул. Делом заинтересовались в обкоме партии, и следователь пытался выжать из молодого архитектора хоть что-нибудь. Однако выжать ему ничего не удалось.

Обо всем этом Юра рассказал Зауру, и вот через несколько дней звонок, и его вызывает следователь. Немного взволнованный, но никак не растерянный, он шел к зданию городской милиции. По дороге он встретил знакомого старого актера. Это был очень хороший актер, но сейчас по старости он почти ничего не играл, слонялся по городу с развевающейся львиной гривой: то здесь постоит поговорит, то там присядет и выпьет кофе.

— Куда разогнался? — остановил он Заура.

— Следователь вызывает,— ответил Заур.

— Следователь,— удивился актер,— что за дело?

Заур вкратце, не выдавая истинных виновников происшествия, рассказал о случившемся. Актер вынул из кармана коробку с конфетами (он бросил курить), взял сам конфету и предложил Зауру.

— А вид у тебя такой, что ты за подарком летишь,— сказал актер, вкладывая в рот конфету.

— Чистая совесть,— ответил Заур шутливо и тоже положил конфету в рот.

— Время,— многозначительно поправил его актер,— время сдвинулось.

Он пожелал ему удачи и пошел своей дорогой. Да, в самом деле, думал Заур, подходя к зданию милиции, время здорово изменилось. За спиной Заура, внушая ему уверенность, незримо стоял двадцатый съезд партии. Уверенность была настолько сильна, что Заур, отыскав десятую комнату, хотел было проглотить конфету, но потом решил: с какой стати! — и незаметно посасывая ее, приоткрыл дверь.

— Можно?

— Пожалуйста, входите,— сказал пожилой человек, вставая из-за стола и протягивая ему руку.

Следователь был человеком маленького роста с помятым, усталым лицом. Раньше навряд ли, подумал Заур, следователи так встречали тех, кого они подозревали в преступлении.

Заур сел напротив него. Следователь закурил папиросы «Беломор». У Заура возникло ощущение старомодности этой привычки следователя курить папиросы «Беломор», когда почти все перешли на сигареты. Посмотрим, как ты выудишь у меня правду, подумал Заур, уверенный, что в этой игре он будет сильней этого маленького следователя, с помятым, усталым лицом.

— Вы, наверное, не подозреваете, по какому делу я вас вызвал? — спросил следователь.

— Нет,— сказал Заур.

— Помните, неделю тому назад, когда вы были в гостях у своего друга, там рядом кто-то выбил стекло?

— Да, помню,— сказал Заур.

— Что вы можете сказать по этому поводу? — спросил следователь и, затянувшись, положил папиросу в пепельницу.

— Ничего,— сказал Заур,— понятия не имею, кто это сделал.

— Из гостей никто не мог? — спросил следователь и, взяв папиросу из пепельницы, затянулся.

— Нет,— сказал Заур,— как раз все это случилось, когда мы провожали гостей.

— Значит, вас вообще не было в доме в тот момент?

— Да,— сказал Заур.

— Все-таки вспомните,— может, кто-нибудь из ваших знакомых приревновал к кому-нибудь одну из девушек, которые там были.

— Нет,— сказал Заур, думая о том, как следователь близок к истине,— ничего такого не было.

— Ну, а сами вы что думаете по поводу случившегося? Есть у вас какое-нибудь предположение?

— Думаю, что какой-то пьяный это сделал,— сказал Заур.

— Между нами говоря, я то же самое думаю,— согласился с ним следователь.

Зауру показалось, что он подмигнул ему.

— Но тут некоторые усматривают политическую акцию,— продолжал следователь,— но я думаю — это ерунда... Какой-то пьяный хулиган решил повеселиться... Но вот некоторые усматривают в этом возможность политической акции, и мы должны тщательным образом все проверить...

Заура поразила откровенность следователя. Вот как время изменилось, радостно мелькнуло у него в голове, следователю навязывают политическое дело, а он в согласии со здравым смыслом видит в этом простое хулиганство. И имеет смелость прямо об этом со мной говорить. Заур почувствовал прилив такого уважения и даже благодарности к следователю, что заставил себя проглотить пластинку конфеты, все еще остававшуюся у него во рту.

— Какая тут политика,— мягко поддержал его Заур.

— В том-то и дело,— вздохнул следователь,— а вы, кажется, оставались ночевать у своего друга?

— Да,— сказал Заур и теперь с неприязнью подумал, что следователь слишком много знает. Когда допрашивали хозяина квартиры, ему тоже дали знать, что им известно о том, что его друг с девушкой оставались у него ночевать. Заур боялся, что следователь сейчас начнет наводить справки относительно Вики, и это было бы ужасно неприятно.

— Ничего такого,— сказал следователь, как бы стараясь замять неловкость,— дело молодое... Ночью ничего больше подозрительного не слышали?

— Нет,— сказал Заур, снова чувствуя прилив благодарности за то, что тот не стал спрашивать у него насчет его девушки.

— Да, конечно, это какой-то пьяный болван,— задумчиво проговорил следователь.

Заур сейчас испытывал к нему почти умиление.

— Разбил вдребезги окно,— продолжал следователь задумчиво,— чем он только мог ударить...

— Как чем? — сказал Заур и хотел добавить: мол, кирпичом.

Вдруг Заур почувствовал, словно электрический разряд пробежал по его телу и припаял последнее слово к кончику языка. Еще не понимая почему, он почувствовал, что слово это нельзя выговаривать.

— ...Палкой или чем-нибудь,— закончил он фразу после мгновенной заминки.

— Да, конечно,— согласился следователь, но Заур понял по выражению его лица, что тот потерял к нему всякий интерес. Заур догадался, что весь предыдущий разговор следователя был не чем иным, как подготовкой к этой ловушке, в которую Заур чуть не угодил.

— Вы свободны,— сказал следователь, убирая бумагу со стола и вкладывая ручку в карман пиджака,— будем искать виновного.

— До свиданья,— сказал Заур и поднялся.

— До свиданья,— ответил следователь. Сейчас лицо его не казалось Зауру таким уж усталым и помятым. Ему почудилось, что следователь с нетерпением ждет его ухода, чтобы самому встать и уйти. Вдруг Заур догадался, что следователь вообще из другого учреждения и это не его кабинет. Можно было понять это и пораньше.

Он вышел на улицу, не чувствуя под собою ног. Конечно, волнуясь, думал он, я никак не мог знать, чем разбил стекло этот неведомый пьяница... Это Алексей сказал насчет кирпича.

У Заура было ощущение, что он слышал щелчок чуть было не прихлопнувшего его капкана. Сиял майский солнечный день. Он бодро шел к своему институту. Он был поражен новым, незнакомым ему ощущением. У него было ощущение, что время, которое, как он думал, исчезло безвозвратно, на самом деле тихо притаилось и ждет...

* * *

Дней через десять у Заура на работе раздался звонок: его приглашали на беседу с секретарем обкома партии. Заур понял, что пробил его час.

Поистине испытывая высокое волнение, он шел к зданию обкома на берегу моря. Показав паспорт в отделе пропусков и взяв пропуск, он прошел в помещение обкома.

На втором этаже в приемной секретаря обкома сидело несколько человек, дожидаясь своей очереди. Секретарша, поздоровавшись с ним, как-то особенно посмотрела на него и тихо вошла в кабинет Абесоломона Нартовича. Заур догадался, что она доложила о нем. И в самом деле, выходя из кабинета, она кивнула ему и сказала:

— Сейчас вы пройдете...

Зауру было неудобно, что он пройдет раньше ждущих здесь своей очереди, но она так это сказала, что он не собирался с нею спорить. Тем более не собирались с нею спорить те люди, которые дожидались своей очереди.

Заур сильно волновался, но чувствовал, что в его волнении больше радости, чем тревоги. Он долго думал над судьбой своего послания и еще раньше решил, что если дело будет плохо, то его вызовут

в КГБ. Но теперь, дождавшись вызова в обком партии, он не мог удержаться и не хотел удерживать себя от радостного предчувствия.

Когда посетитель вышел из дверей кабинета, секретарша кивнула Зауру и снова как-то по-особому посмотрела на него. Взгляд ее выражал внеслужебное, личное любопытство.

Заур открыл дверь и вошел в кабинет. Испытывая легкий приступ агорафобии, он пересек огромное пространство кабинета и подошел к столу Абесоломона Нартовича. Секретарь обкома протянул ему руку через стол, и Заур, сдерживая заранее прорывающуюся горячую благодарность, пожал протянутую руку. Абесоломон Нартович сделал жест в сторону стула, и Заур сел.

Абесоломон Нартович спросил, кто его родители. Заур ответил. Узнав, что отец Заура сидел, но недавно был посмертно реабилитирован, он доброжелательно и понимающе кивнул головой, как человек, причастный ко времени, реабилитировавшему его отца. Потом он у него спросил, давно ли Заур работает в институте. Заур ответил. Потом он у него спросил, читает ли Заур лекции по линии общества по распространению научных знаний. Да, отвечал Заур, читает.

Все это время Абесоломон Нартович, сидя на своем месте, поглаживал рукой первую страницу послания Заура. Во время ответов на свои вопросы он кивал головой, дескать, очень хорошо, дескать, ничего другого я не ожидал.

Абесоломон Нартович, выдвинувшийся в первые ряды партийных работников во времена хрущевских реформ, любил встречаться и разговаривать с интеллигенцией. При этом он любил с ними встречаться и разговаривать не столько у себя в кабинете, сколько в банкетных залах ресторанов и закрытых санаториев. Лично он и сейчас предпочел бы поговорить с этим молодым человеком за бутылкой хорошей «изабеллы», но вопрос, поднятый им, был чересчур важным, чтобы рискнуть встретиться с ним в менее официальной обстановке. Абесоломон Нартович еще перед тем, как прочесть пересланное из Москвы послание Заура, знал, как на него надо реагировать, потому что был звонок из Москвы.

— Вызовите его к себе, поговорите,— предлагал звонивший из Москвы, и это означало, что в отношении автора должны быть исключены репрессивные меры. Это соответствовало духу времени и личным склонностям Абесоломона Нартовича.

— Я внимательно ознакомился с вашей запиской в правительство,— наконец, приступил к делу Абесоломон Нартович,— вы знаете, что это такое?

Он с доброжелательным лукавством взглянул на Заура. Заур не знал, как понимать его слова, и слегка пожал плечами.

— Это взгляды современных социал-демократов,— добавил он сокрушенно и, приподняв над столом послание Заура, слегка отбросил его. Оно шлепнулось на стол. Абесоломон Нартович, проследив за падением его, взглянул на Заура. Он как бы убеждался сам и давал убедиться Зауру в полном отсутствии воздухоплавательных способностей у его рукописи.

— Социал-демократов? — невольно переспросил Заур, чувствуя и обнажая свою неготовность быть атакованным с этой стороны.

— Да, социал-демократов,— повторил Абесоломон Нартович, не скрывая удовольствия по поводу растерянности Заура, и добавил, словно увеличивая дозу этого удовольствия,— а если углубиться в историю, то это типичное высказывание бухаринцев...

— Почему бухаринцев? — деревенеющим языком спросил Заур.

— Потому что Бухарин развивал подобные взгляды,— сказал Абесоломон Нартович.

Заур взял себя в руки.

— Я не знаю, какие взгляды развивал Бухарин,— сказал он,— но я убедился, что все крестьяне, которые арендуют землю у колхозов, получают на ней урожай в три раза выше, чем на колхозной земле...

— Ползучий эмпиризм,— с удовольствием пояснил Абесоломон Нартович,— но мы, большевики, всегда боролись с ползучим эмпиризмом.

— Я не знаю, как это называется,— сказал Заур,— но я убедился в одном, что это выгодно крестьянам, колхозу и, значит, государству.

— Сегодня выгодно, а завтра из этих арендаторов вырастут оголтелые враги нашего строя.

— Но почему?! — вырвалось у Заура.

— Логика классового сознания,— улыбнулся Абесоломон Нартович наивности его восклицания.

Этого Заур никак не мог ни понять, ни принять.

— Но почему сознание людей, которые плохо работают на колхозном поле, выше сознания людей, которые хорошо работают на арендованной земле?! Мы ведь повсюду трубим о высокой производительности труда...

— Мы добивались этого и добьемся в конце концов, но не таким путем,— перебил его Абесоломон Нартович, и в голосе его, помимо собственной воли, послышался металл. Но он быстро вспомнил, что эти интонации не рекомендованы, и убрал их из своего голоса.

Так они разговаривали с полчаса, и каждый раз, когда логика разговора подходила к такому месту, где, как казалось Зауру, оппоненту только и остается, что согласиться с его выводами, Абесоломон Нартович выставлял железную формулу, которая наглухо перекрывала живое русло беседы. Несколько раз Абесоломон Нартович недоуменно спрашивал у Заура, почему он, историк по профессии, занимается вопросами сельского хозяйства. Отчасти в этом он усматривал источник заблуждения Заура.

В конце беседы Абесоломон Нартович шутливо заметил, что ложные взгляды Заура он сейчас только критикует, но в свое время за такие взгляды люди надолго исчезали в Сибири. И уже когда Заур пожал протянутую руку, Абесоломон Нартович что-то вспомнил.

— Да,— сказал он,— это правда, что ваш сосед захватил часть вашего участка?

— Правда,— ответил Заур, удивляясь осведомленности Абесоломона Нартовича и с трудом воспринимая переход на эту новую тему.

— Будьте уверены,— с удовольствием сказал Абесоломон Нартович,— он вернет отобранную землю и получит по рукам за наглость.

— Что вы... Стоит ли...— растерялся Заур, все еще с трудом воспринимая такой крутой поворот от столь общей темы к столь частной.

— Нахала надо проучить,— пригрозил пальцем Абесоломон Нартович,— и мы его проучим...

Он многозначительно посмотрел в глаза Заура, как бы давая знать, что вопрос этот не такой уж частный, как кажется Зауру, и, помогая ему в этом вопросе, он лишь защищает справедливость, как и во всяком вопросе, только не всегда и не всем это сразу заметно.

Заур покинул обком партии. Он возвращался на работу, чувствуя полную опустошенность. Если бы за его взгляды ему грозили бы ссылкой или арестом, он, разумеется, не желая этого, все-таки чувствовал бы себя не таким разочарованным.

Он думал, с его взглядами будут беспощадно бороться или их примут на вооружение. В обоих случаях по крайней мере признавалась бы их существенность. А сейчас получалось, что наблюдения, которые он так тщательно собирал и анализировал, которым он придавал такое большое значение, ничего и никого не могут сдвинуть с места... Так себе... Поговорили...

Часа через два, когда он возвратился с работы домой, он с каким-то грустным удивлением заметил, что несколько рабочих, стоя возле каменной стены адвокатского забора, рушат ее ломами. Мать Заура, выйдя на крыльцо, с явным удовольствием прислушивалась к звуку ломов с той стороны стены. Он взглянул в открытое окно адвокатского дома и встретился глазами с хозяином. Тот не только не выразил глазами неприязни по отношению к Зауру, но, наоборот, впервые с заискивающим уважением поздоровался с ним. Вся его импозантная фигура в полосатой пижаме выражала благожелательность, готовность услужить, он даже махнул рукой в сторону ломающих стену рабочих, дескать, пусть ломают, не принимай близко к сердцу, я нисколько не обижен. Заур догадался, что адвокат благодарен ему за то, что хотя бы дом его, по-видимому, не будут трогать. Сила — вот единственное, что уважают и во что верят в этой стране, подумал Заур с бесконечной грустью.

В тот вечер, встретившись с Викой, Заур бродил с ней по ночным улицам, потом они зашли в парк, выбрали самый глухой уголок его и уселись на скамейке. Заур впервые рассказал ей о своей идее, о встрече с секретарем обкома и обо всем, что его угнетало и давило на протяжении всей его сознательной жизни.

Вика сочувственно вздыхала, глядела на Заура своими большими глазами, гладила ему руку, и Заур понимал, что она впервые в жизни сталкивается со всеми этими проклятыми вопросами, о существовании которых она никогда не подозревала.

Они так сидели, позабыв о времени, когда, неожиданно выйдя из кустов самшита, росших позади скамейки, к ним подошел милиционер. Увидев его, Заур не придал этому большого значения, он только посмотрел на часы и едва различил в тусклом свете, что уже одиннадцать часов и что милиционер их, вероятно, прогонит.

Милиционер подошел к ним и спросил у них документы. Заур сказал, что у них нет документов. Тогда милиционер потребовал, чтобы они прошли с ним в милицию.

— За что,— спокойно спросил его Заур, не сдвигаясь с места,— что мы сделали?

— Не оправдывайся,— сказал он,— я видел, что вы делали...

Заур понял, что милиционер их шантажирует. Он слыхал, что милиционеры иногда вылавливают в укромных уголках ночные парочки и выуживают у них деньги.

— Мы ничего не делали,— повторил Заур, преодолевая отвращение к самому себе за эту попытку объясниться,— мы просто сидели и разговаривали.

— Я видел, как вы разговаривали,— насмешливо сказал милиционер,— идемте со мной.

— Мы никуда не пойдем,— твердо ответил Заур,— мы ничего не делали, и вы об этом знаете сами...

— Если ничего не делали, чего боитесь идти в милицию? — спросил милиционер.

— Мы не боимся,— ответил Заур,— нам нечего там делать.

Глядя на губастое, с широким расплющенным носом лицо милиционера, Заур вдруг подумал, что это возмездие за их счастливые, ничем не омраченные ночные встречи.

— Добровольно не пойдете — силой заставлю,— сказал милиционер, глядя то на Заура, то на его спутницу, словно стараясь определить, кто из них первым поддастся.

По голосу его и по упорному взгляду Заур понял, что он их так не отпустит. Заур решил откупиться от него, но не знал, как это сделать. Он считал, что было бы ужасно, если бы их привели в милицию. Он представлял наглые, унизительные расспросы и никак не мог согласиться на то, чтобы Вика объясняла всем этим хамам, что между ними ничего не было. Нет! Что угодно, только не это!

— Если мы задержались в парке... то оштрафуйте нас,— сказал Заур, преодолевая омерзение к собственному голосу и собственным словам.

Милиционер выжидательно молчал.

— Я готов заплатить,— выдавил из себя Заур и полез в карман.

Заур вынул из кармана все свои деньги. У него было в кармане семь рублей и все семь рублевками. Он вынул из кармана полную горсть бумажных денег и протянул милиционеру. Руки их встретились, и когда Заур перекладывал деньги в его ладонь, он старался сделать это поаккуратней, так, чтобы они не выскользнули.

Было что-то омерзительное в том, что он старается поаккуратнее втиснуть свои деньги в ладонь милиционера. Милиционер, приняв деньги, сейчас же стал по одной бумажке перекладывать их из ладони в ладонь, каждый раз приподымая руку на свет, чтобы определить стоимость каждой бумажки.

Заур, зная, что каждая из этих бумажек представляет из себя рублевку, почувствовал тревогу. Он ощущал всевозрастающее с перекладыванием каждой бумажки разочарование милиционера.

Милиционер в самом деле был разочарован. Конечно, если бы он знал, что у Заура больше нет денег, он бы успокоился на этом. Но Заур слишком небрежно сунул руку в карман и слишком небрежно вытащил руку с деньгами. Он сознательно сделал этот небрежный жест, потому что стыдился того, что собирался сделать, и невольно думал, что и милиционер стыдится того, что он ему сейчас будет всучивать деньги. Поэтому его небрежные движения как бы означали, что ничего в этом особенного нет, что он сунул руку в карман и, из большой суммы денег отделив небольшую, небрежную горсть, сунул ее милиционеру. И потому милиционер сейчас, вспоминая этот его небрежный жест, решил, что у него в кармане больше денег, чем те, которые он ему дал.

— Нет,— сказал милиционер, протягивая Зауру его деньги,— пойдемте в милицию.

— Но у меня больше нет денег,— сказал Заур, поняв милиционера и вставая перед ним.

— Ничего не знаю,— ответил милиционер, не веря Зауру,— пойдемте в милицию и там все выясним...

И вдруг Заур принял решение. Он вспомнил свои юношеские занятия боксом. У него был сильный удар справа. Главное, точно попасть, сквозь пелену волнения подумал он.

— Но мы же ничего не сделали! — повторил Заур, сам не понимая для чего, то ли для того, чтобы прорваться к совести милиционера, то ли для того, чтобы усыпить его бдительность.

— В милиции все выясним,— думая, что Заур торгуется с ним, и протягивая ему деньги, сказал милиционер.

Заур без подготовки ударил его в подбородок. Но тело его и рука его были слишком напряжены, удар получился недостаточно резким.

Милиционер упал, но не потерял сознание, как надеялся Заур, а тут же присел на землю и, мотая головой, старался прийти в себя. На мгновение Заур замешкался: то ли нападать, пока тот не пришел в себя и не вытащил пистолет, то ли бежать. Когда он ударил милиционера, Вика вскочила и вцепилась в него. И сейчас Заур почувствовал, что решение нападать на милиционера грозит кровью и преступлением, и понимая, что оставаться здесь больше нельзя, он схватил за руку свою девушку и побежал.

Они отбежали уже метров на сорок, когда услыхали сзади выкрик:

— Стой! Стой!

Сразу же за выкриком раздался выстрел. Заур, продолжая держать Вику за руку, метнулся в сторону и припустил изо всех сил. Они выскочили из парка и, пробежав несколько темных улиц, наконец убедились, что за ними никто не гонится.

Но вот показался дом Вики. Нырнули в подъезд и взбежали на четвертый этаж, где была расположена ее квартира. Заур почувствовал вспышку радости, когда за ней захлопнулась дверь (теперь ничего не страшно, даже если милиционер его поймает), однако эта вспышка радости была тут же омрачена какой-то глухой обидой, источник которой он не сразу осознал.

И только через некоторое время, уже на улице, а потом уже дома, он еще и еще раз вспоминал то, что причинило ему смутную боль.

Он вспоминал жест, с которым она захлопнула за собой дверь. Она закрыла за собой дверь, как будто не только радовалась избавлению от гнусного милиционера, но и от него, вернее от обоих, что было особенно неприятно.

Он пытался себе внушить, что это ему только показалось, но отчетливость ее движения не оставляла никаких сомнений, что она с каким-то жадным удовольствием отсекла его вместе с милиционером. Она закрыла дверь с поспешностью, которой уже не требовали обстоятельства. Почему-то, извиваясь в постели, он мучительней всего осознавал не содержание ее жеста, а его внешнюю физическую форму, вульгарность этой формы: так и потянула дверь, словно боясь, что он в нее вцепится с другой стороны! Жест этот напоминал жест цыганки, запихивающей под кофточку украденную или отданную по глупости вещь: скорей, скорей, пока хозяин не очухался!

Дней десять после этого вечера Заур, боясь столкнуться с милиционером, не виделся с Викой и ходил на работу, надвинув кепку на глаза. Наконец они встретились, но встреча получилась нехорошей.

Видимо, Вика в тот роковой вечер очень сильно испугалась и многое передумала о своих отношениях с Зауром. Она рассказала отцу о его встрече с секретарем обкома, и тот сильно взволновался и велел передать Зауру, чтобы он немедленно написал письмо секретарю обкома, в котором признал бы ошибочность своих позиций. Он сказал, что без этого Зауру закроют все дороги для служебного роста.

Он хотел сам встретиться с Зауром, но Вика его отговорила, боясь, что непосредственный разговор с отцом будет для Заура, может быть, оскорбительным. Но Заур почувствовал себя смертельно оскорбленным и в ее пересказе отцовского совета. Он был оскорблен и тем, что она об этом рассказала отцу, и главным образом тем, что ему предлагали сделать нечто, по его мнению, в высшей степени унизительное.

— Как же я ему напишу письмо, когда он мне ничего не доказал,— с усмешкой сказал Заур, стараясь не выдавать раздражения.

— Подумаешь, Заур, большое дело,— сказала она и, махнув рукой, поцеловала его в щеку. Заур, сдерживая раздражение, слегка отстранился от нее. Впервые ему захотелось оттолкнуть ее от себя.

Больше они об этом не говорили, и Заур из патриархального уважения к ее отцу старался не показывать, как он оскорблен этим предложением. Он боится за собственную карьеру, за заграничные поездки, язвительно думал Заур, а делает вид, что боится за меня.

Отец Вики и в самом деле думал о том, что с таким упрямым зятем, если они женятся, с таким доморощенным реформатором, хлопот потом не оберешься. Но, разумеется, отец Вики думал и о самом Зауре, о непосредственном будущем своего будущего зятя.

Через неделю Заур позвонил ей с тем, чтобы вывести ее из дому и погулять с ней. Он считал, что уже достаточно времени прошло и навряд ли милиционер, даже если и увидит их, вспомнит, кто они такие.

— А ты написал письмо? — спросила она у него.

Ах, мне ставят условия для свидания, вспыхнуло в мозгу Заура, и он задохнулся от чувства оскорбленности.

— Не писал и писать не собираюсь,— сказал Заур твердо и твердо положил трубку на рычаг. Несколько раз после этого раздавался звонок, но Заур, приподняв трубку, давил его, нажимая на рычаг.

Недели через две он неожиданно увидел ее у кинотеатра, стоящую рядом с чернявым парнем, с которым он ее когда-то видел. Не чувствуя никакой ревности, а только чувствуя прилив нежности, он думал: никогда, никогда не поверю, что ты променяла меня на него. Он вспомнил смешное объяснение ее дружбы с этим парнем: для кино.

Через день Зауру на работу позвонил его двоюродный брат, работавший в редакции местной газеты, которую возглавлял Автандил Автандилович. Заур любил своего двоюродного брата, но не был с ним близок. Либеральные намеки в его статьях слегка раздражали Заура. Ему казалось, что брат слишком погружен в местную политическую жизнь. Ему хотелось видеть от него чего-нибудь покрупней. Брат знал о его послании в ЦК, но относился к этому скептически и, увы, оказался прав. Он знал и о его вызове в обком.

— Слушай, Заур,— сказал он ему по телефону,— мой редактор сильно настроен против вашего института. Он говорил на летучке, что многие работники института заняты не своим делом. Он даже упомянул тебя лично. Что ты с ним не поделил?

— Диван,— ответил Заур.

— Какой диван? — удивился брат.

— Обыкновенный,— добавил Заур.

— Ничего не понимаю,— сказал брат,— яснее не можешь?

— Ладно, когда-нибудь потом,— ответил Заур.

— Да, кстати, ты понял, почему секретарь обкома велел разрушить адвокатскую стену? Я только сегодня узнал...

— Понятия не имею,— ответил Заур,— решил, видимо, показать, что он все знает и в силах наводить порядок.

— Дело гораздо сложней,— ответил брат,— у него со вторым секретарем тайная война. Первого поддерживает Москва, а второго — цеховики. И это почти уравнивает их силы. Твой сосед тоже связан с цеховиками. Понял, в чем дело?

— Нет,— сказал Заур.

— Разрушение адвокатской стены — это удар по сопернику. Самоутверждение. Следует ожидать ответного удара.

— Ты хочешь сказать, что стену могут восстановить?

— Не думаю,— рассмеялся брат,— надеюсь, соперник найдет другой плацдарм. Но ты на всякий случай будь осторожней... У него на подхвате милиция и медицина.

— В каком смысле? — спросил Заур.

— А черт его знает,— ответил брат,— эти люди непредсказуемы. Но и мы еще живы вместе с Абесоломоном Нартовичем. Вот тебе для настроения последний анекдот из его бессмертной жизни. Оказывается, Хрущев во время отдыха на Пицунде вдруг спросил у него:

— А сколько машин в день поднимается на озеро Рица? — В среднем тысяча двести пятьдесят машин,— не задумываясь, ответил Абесоломон Нартович, и эта четкость очень понравилась Никите Сергеевичу. Другой бы занудил:— Мы не подсчитывали. Может, подсчитать, Никита Сергеевич? — Нет, все подсчитано и, следовательно, вопрос не случаен. Потрясающий мужик. Пока. Если что — звякну.

Брат положил трубку, видимо, довольный, что хорошо чувствует пульсацию местных событий. Зауру вдруг показалось, что он сходит

с ума: его послание в ЦК, его разговор с Абесоломоном Нартовичем (та же четкость, как и эти тысяча двести пятьдесят машин), эта несчастная стена, эти неведомые, становящиеся всесильными цеховики.

Какое-то чудовищное сплетение чудовищных глупостей и ясное сознание, что вот-вот все рухнет и наступит хаос. Неужели наверху ничего не чувствуют? А может, все это и есть нормальная жизнь со всеми ее противоречиями и только над ним поползла крыша? Ведь, помнится, и раньше, еще при Сталине, ему казалось, что дальше так не может идти, что все обрушится. Но вот годы идут и идут, а как-никак все держится.

Самое удивительное, что через неделю после разговора с братом он встретился в одной домашней компании со знакомым психиатром. Заур виделся с ним всего три-четыре раза, но чувствовал к нему симпатию и знал, что эта симпатия взаимна. Такого рода взаимосклонность наступает довольно быстро, когда люди угадывают друг в друге истинную близость духовного уровня. Впрочем, близость духовного уровня не обязательно совпадает с направлением духовных усилий. Это совсем другое.

Заур заметил, что во время вечеринки психиатр несколько раз бросал на него грустно-внимательные взгляды. Как будто он что-то знал о нем. Или хотел сказать что-то сочувственное. Заур несколько раз ловил эти взгляды и вдруг, не выдержав, брякнул:

— Это правда, что у нас политических иногда сажают в психушку?

Слухи об этом ходили, но Заур точно ничего не знал.

— Самая плохая психбольница, поверьте, лучше лагеря,— ответил тот несколько уклончиво и как-то гостеприимно.

— Да, но человек, посаженный в лагерь, по крайней мере знает, что он наказан за свои взгляды,— вразумительно сказал Заур,— а у вас он морально унижен.

— Когда речь идет о лагере,— твердо ответил психиатр и посмотрел в глаза Заура теперь уже с выражением сурового гостеприимства,— не до жиру.

— К тому же, говорят, какие-то препараты против них используют,— добавил Заур,— пытаются свести с ума...

— Все это сплетни,— покачал головой психиатр,— поверьте, если бы мы могли нормального человека сделать шизофреником, мы бы умели и вылечить шизофреника.

— А что, не можете? — спросил Заур.

— Сейчас психиатрия сделала колоссальный скачок,— пояснил тот,— появились новые лекарства. Мы можем как никогда облегчить состояние больного... А что это вас так заинтересовало? Сверхценная идея появилась?

Он расхохотался и вдруг, потянувшись через стол к Зауру и, ухватив его руками за предплечья, как бы дружески потряс его. Услышав его добродушный хохот, Заур облегченно вздохнул, но одновременно ему показалось, что тот облапил его руки с каким-то врачебным оттенком. Пальцы психиатра, обхватившие его предплечья, на миг хищно и властно что-то проверили в его мышцах. Но что?

Ему вдруг показалось, что этот жест имеет какой-то отдаленный намек на удар, который он нанес милиционеру. И опять же непонятно — то ли: молодец, хорошо врезал! То ли: да, пожалуй, мог свалить милиционера.

Черт его знает, подумал Заур, так и в самом деле свихнуться можно. Психиатр сейчас ублаготворенно поглядывал на него — не то довольный, что Заур от неожиданности не успел стряхнуть его руки, не то довольный самим результатом этой маленькой операции, если, конечно, она имела место.

Застолье продолжалось. Все-таки Зауру казалось странным, как столь интеллигентный человек может защищать психушку. Или он кого-то спас при помощи психбольницы, или водворение политических в психушку столь строгая тайна фирмы, что он не может выдавать ее и в самом дружеском кругу? Впрочем, возможно и то и другое.

Все это время, сам себе в этом не признаваясь, он тосковал по Вике. Однажды вечером он бродил по городу, выбирая самые темные, самые малолюдные улицы, и вдруг, заметив в полутьме двух идущих навстречу людей, мгновенно в одном из них угадал ее и в то же мгновение почувствовал, что и она его угадала в темноте и она остановилась, а спутник ее, тактично пройдя дальше, остановился в стороне.

Они поздоровались. Но что он мог сказать ей? Что она могла сказать ему? Говорить о главном было неловко ввиду ожидающего поблизости этого парня. Кстати, это был все тот же парень, но Заур на этот раз почувствовал, что тот расширил свои обязанности ее спутника по кино. Они обменялись несколькими ничего не значащими фразами и разошлись. Теперь Заур понял, что весь вечер гулял по темным улицам в надежде случайно встретить ее где-нибудь.

Через несколько дней он уехал в месячную командировку в Москву. Однажды на одной из московских улиц он увидел девушку, стоящую на другой стороне улицы у газетного стенда. Это была она! На ней было легкое, светлое пальто, в котором она проходила с ним всю весну. Наверно, отец в командировке, а она приехала с ним, мелькнуло у него в голове.

Задыхаясь от волнения, он едва дождался зеленого света, перебежал улицу, подбежал к стенду и, чувствуя, что здесь, в Москве, их размолвка стала далекой и бессмысленной, хотел сзади закрыть ей глаза ладонями, но потом решил, что надо встретиться поспокойней, шагнул и, как в страшном сне, увидел профиль другой девушки.

После приезда из командировки в первое время он ее нигде не встречал. Однажды на берегу в открытой кофейне он столкнулся со студентом, которого когда-то встретил на избирательном участке, и тот тогда рассказывал ему о ней.

— А ты знаешь, что Вика замуж вышла? — спросил студент, здороваясь с Зауром.

— Нет,— ответил Заур, чувствуя, что у него внутри все остановилось: сердце, кровь, дыхание.

— Да,— отхлебывая кофе, кивнул студент головой,— а я думал, у тебя с ней роман... Многие так думали...

— Нет,— сказал Заур, изо всех сил сдерживаясь, стараясь не показать, что у него внутри все остановилось,— у нас ничего не было...

— Недавно встретил их на пляже,— продолжал студент,— с ума сойти, какая фигура! И такая девушка досталась такому вахлаку... А я думал, у тебя с ней роман...

— Нет,— сказал Заур, изо всей силы сдерживаясь,— давай выпьем по коньяку.

— Но у меня денег нет,— сказал студент.

— Я угощаю,— сказал Заур и дал ему деньги,— возьми два по сто.

Студент взял два стакана коньяка, две чашечки кофе и вернул Зауру сдачу. Они выпили коньяк, допили свой кофе и разошлись.

Заур шел домой и никак не мог понять, почему ясный солнечный день потускнел, хотя на небе не было ни одной тучки. После выпитого коньяка то, что окаменело внутри у него, размягчилось, стало легче дышать, и тем более казалось странным, что ясный солнечный день потускнел. Жить в этом потускневшем дне стало как-то странно и неуютно.

1976 г.

Евгений Бачурин

ВАЛЬС ПРОТЕСТА

Я констатирую факт

Я констатирую факт,
Что не было времени хуже
И не было времени лучше,
Чем то, которое есть.

Я открываю дверь
В вышестоящий день,
И я говорю: нет хуже,
Нет лучше этого дня.

Вы предлагаете жить
Во имя грядущей мечты,
И юнга лезет на мачту,
Чтоб увидеть новый мираж.

Я провожу параллель
Между собой и народом,
Нет лучше и хуже народа,
Чем тот, часть которого я.

И проклят ли этот век,
Или воспет поэтом,
Ничем он не хуже, не лучше,
Чем все остальные века.

А что мы в руках убийц
Или великих зодчих,
Рэкета или культуры,
Так это камни судьбы.

Их может хватить на объект,
Или барак номер восемь,
Или, по крайней мере,
На доблестный мемориал.

Евгений Бачурин — художник, поэт, бард. В 80-е годы вышло три диска: «Шахматы на балконе», «Дерева», «Я предлагаю спеть о том...». В этом году выходят еще два: «Я ваша тень» и «Пьяный корабль». В СССР печатался в «Литературной газете», журналах «Москва», «Сельская молодежь», в сборнике «День поэзии-89». Публиковался за рубежом: во Франции — «Континент» № 62, «Русская мысль» (ноябрь 1989), в Чехословакии — в бардовских сборниках «Атланты держат небо», «Надежды маленький оркестрик».

Дядя

«Мой дядя самых честных правил...»
А. С. Пушкин

Говорил мне дядя все одно и то ж:
«Если не посадят — далеко пойдешь,
Если не поставят клизму или штамп,
Значит, я смогу тебя поздравить с этим лично сам.

Будешь жить как люди — значит, не урод,
И на водку будет, и на бутерброд.
С неба звезд руками лучше не хватай...
Вот как упадут на землю сами — сразу подбирай.

Раз живешь с Прасковьей — к Фатиме не лезь —.
Береги здоровье и мужскую честь.
А идешь на сечу — не забудь про щит.
Потому что, если искалечут, будешь инвалид.

И, как сивый мерин, задом не вихляй,
Если не уверен, то не обгоняй,
А сидишь в овраге, на бугор не лазь —
Мало ли в какие передряги можно вдруг попасть».

Вот какие бредни дядюшка мой нес...
Жаль, что он намедни жертвой стал колес.
Он всегда в раздумье по путям ходил,
И, конечно, если бы не умер, то бы лично жил.

Вид из окна

Вокруг общественной помойки
Весь день шиповники цветут,
И даже матюги со стройки
Не нарушают их уют.

Летают золотые мухи,
Играют дети во дворе,
И дядя Саня с бормотухи
Давно разлегся на бугре.

Соседка вывела собачку,
Опять гулять идет к метро.
Превысившую скорость «тачку»
Накрыл общественный контроль.

Водитель лезет вон из кожи,
Гаишник щупает права,
А дядя Саня вроде ожил —
Уже слышны его слова:

«Куда волочишь тюк, Алеха?
Небось, опять сдавать хрусталь.
Да, счас бы трешничек неплохо...»
И посмотрел с тоскою вдаль.

А там, вдали, где пели мухи
И цвел шиповник, как грузин,
Его приятели-кирюхи
Перемещались в магазин.

Светило солнце вполнакала,
До перерыва, важный штрих,
Осталось пять минут, настала
Пора сходиться на троих.

И я, на все на это глядя,
Решил, что их не подведу:
Накинул плащ, закрыл тетради
И встал четвертым в их ряду.

Баллада на четверых

Я знал одного человека
По имени дядя Володя,
Который ко всем относился,

Как к тонущим с корабля,
Спешил то в детдом, то в больницу,
Чтоб передать от кого-то

Кому-то банку компота,
Кому-то роман Пикуля́.
Он мне говаривал часто
За чаем одно и то же:
«У нас уж такая планида —
Себе не принадлежим.
Как бывало на фронте,
Встаем, бежим и ложимся,
Встаем, бежим и ложимся,
А если убиты — лежим
В лучах заходящего солнца...»

Я знал одного человека
По кличке «Правофланговый».
Всегда возникал он внезапно
И всех за собою вел:
«А ну-ка, ребята, взяли,
Гуртом напряглись, поддали!»
И первым влазил в автобус,
И первым садился за стол.
Он рассуждал красиво:
Жлобы уважают силу,
В борьбе выживает только
Действенный организм.
Быть всегда надо первым,
Быть душой коллектива
И если надо, то строить
Хоть дачу, хоть коммунизм
В лучах заходящего солнца...

Я знал одного человека
По прозвищу «Лёха-Каин».
Он ночью вставал с кровати
И все на ступеньках курил,
Всегда ходил в телогрейке,
Слов понапрасну не тратил,
И, если верить соседям,
В драке кого-то убил.
Любил он собак бездомных,
За длинным рублем не гнался,
Ни с кем не заваривал кашу,
Нигде не имел навар.
Он иногда говорил мне:
«Со всеми одно и то же —
Тело смешается с почвой,
Душа превратится в пар
В лучах заходящего солнца...»

Я знал одного человека,
Не лично, а так, понаслышке.
Живет он в соседнем доме
Или в лесах Киржача.
Лицо прикрывая рукою,
Он чувствует пламя ветра,
Или идет по тропинке
И светится, как свеча.
Наверное, он сказал бы:
«Мешают помехи в эфире,
И сквозь пластмассовый воздух
Не видно божьего дня».
Я знал одного человека,
А их оказалось четыре,
Четыре Всадника смутных,
Четыре мглистых коня
В лучах заходящего солнца...

1987—1988

●

Ну, где ж набраться оптимизма,
Когда всего одни штаны,
Здоровья нет, жена капризна,
И ко всему еще нависла
Угроза ядерной войны.

Как разобраться в общей драме,
Чтоб воедино все связать, —
Благие помыслы с делами,
Землетрясенье с выбора́ми
И с тещей собственную мать.

Везде царит неразбериха,
И смыслам всем наперекор
Культурой ведает ткачиха,
Указы пишет повариха
И борется за мир майор.

Природа тоже смотрит косо,
И от нее добра не жди —
От зноя гибнут эскимосы,
В Лаосе снежные заносы,
В Сахаре грозы и дожди.

От мыса Горн до Запорожья,
От мухи грешной до слона,
От супертрасс до бездорожья
На все как будто воля божья,
А правит миром сатана.

Вальс протеста

Непокорные дети покоренных отцов,
Как же жить вам на свете без начал и концов,
Чтобы волю чужую за свою выдавать,
И покоя не чуять, и свободы не знать.

Вы не цветики в травах, вы не листья в лесу,
Вам колодки по нраву, вам решетки к лицу.
Хоть мало то оконце, да велик его дар —
Для невидевших солнце и звезда, как пожар.

Широка эта местность, но видать по всему:
Здесь душе вашей тесно и противно уму.
Здесь всегда наготове сапоги сторожей,
Ваших братьев по крови и врагов по душе.

Если светлое время и настанет потом,
Вы останетесь с теми, кто ходил под кнутом,
Кто в промозглую слякоть и родился, и рос,
Кто от радости плакал и смеялся от слез.

Непокорные дети...

●

Когда над районным центром
Встает стеклянное солнце
И подымаются веки
Встающих с постели людей —
Зелены их надежды,
Приятны на ощупь думы.
На вкус и цвет товарищей нет,
Но есть торжество идей.
Соединим усилья, расправим души и крылья.
Кому-то пришла идея
Пустить воздушного змея,
И все в едином порыве
Задрали головы вверх.
А кто-то сказал: «Так надо
В период полураспада»...

Памяти Рубцова

Отстучали колеса, отпели твои поезда,
отмерцали огни, отмелькали узлы и вокзалы,
умудрился ты где-то от поезда спьяну отстать,
проводница про то всю дорогу потом вспоминала.

А собратья твои, те, что лезли поспешно в вагон,
за билеты дрались, за купе и за нижние полки,
помогали друг друга сшибать и выкидывать вон,
и поехали зайцами многие серые волки.

Вот и вышло тебе, бедолаге-растяпе, застрять
на одной из больших, но забытых в провинции станций,
в привокзальном буфете дешевый портвейн распивать
и буфетчице Люсе в любви роковой объясняться.

Ну а времечко шло, и текли небеса над страной,
пролетали там годы, как белые лебеди-гуси,
ты раздал свой багаж, разорвал свой билет проездной
и забылся навеки в объятьях буфетчицы Люси.

На заснеженных ветках, в провисших дугой проводах
слышен голос твой чистый-пречистый, прерывисто тонкий,
и поют в деревнях, и читают тебя в городах
мужики в телогрейках и в юбках джинсовых девчонки.

Ну а что же тот поезд, умчавшийся в черную ночь,
на котором за каждое место дрались не на шутку?
Он столкнулся с другим, на котором такие ж точь-в-точь
тоже рвались вперед. Что ж, смешно и немножечко жутко.

Весенние тезисы

Затянувшиеся зимы сковывают сердце,
Я забыл, какого цвета листья на деревьях.
От журчанья вод весенних в горле пересохло.
Запах клевера и мяты по ночам мне снится.

Раскололся лед пространства на морях и реках,
Возвращаются с чужбины северные птицы,
Даже рейсовый автобус щурится от солнца.
На пустырь соседский мальчик выбежал без шапки.

У весны свои законы, писанные Богом.
Вышли жители больницы в праздничных халатах.
Я забыл, какого вкуса первая черешня.
Обязательно до лета доживу, чтоб вспомнить.

Михаил Умнов

ПОЛЕ

РАССКАЗ

Поле подбиралось к торцу столовой на исходе сил, изорванно накатывалось на стену, вцеплялось в пазы, словно оглядываясь туда, откуда пришло, отделившись от небес.

Если смотреть и смотреть, приставив ладонь козырьком, то виделась или просто мешалась соринкою в глазу запредельная сопка Чань. Я помню те места и время, отведенное мне, но если сжать воспоминание, то из всей рыхлости массы, ускользнувшей меж пальцев, останется пустячный сухой комок, который можно растереть легко и сдуть или отдать это ветру; но и тогда сухость пыли передастся руке, и та станет похожей на дерево, вернее, на рисунок дерева, глядя на который нельзя, к счастью, понять: я подле него или он подле меня, я в нем или он во мне.

Дерево же было безмерным, очень старым, парализованным на один ствол — так, что зелень смотрелась в мертвые сучья; это был тополь, он стоял у столовой.

Рядовой Антипов вышел из столовой и остановился под тополем. Он хотел было присесть на скамейку, но отогнал себя за деревья, прислонился к стволу и в самом деле стал менее заметен. Тогда Антипов поправил поясной ремень, автомат на плече, потянулся подбородком: застегнут ли горловой крючок — и только тогда замер всем существом. Он дремал с открытыми глазами, захмелев от недосыпания и колкой сытости. В напрасных зрачках машинально отразилось то, как из растресканной стены выбежала мышь по своим делам, как от грохота грузовика задрожали, бросая блики, стекла столовой и как поднявшаяся пыль застлала взор этих самых стекол. Долгий миг спустя из пыли показалась лошадь с телегой и без возницы, призванная безразлично одухотворять пожизненный путь между свинарником и столовой. В телеге, перекатываясь и пусто, бились бочки. От этого престарелого звука, связывающего гарнизонную окрестность в одно целое, Антипов очнулся, оттолкнулся от дерева, первым делом неприятно удивившись тому, как глубоко — до бескровного оттиска — ладонь вжалась в кору. Антипов вскинул голову и негромко прохрипел, чтобы услышать себя как сосуд; он увидел — выгоревшая птица слилась с выгоревшей веткой, ветка качнулась было, но передумала.

Заскрипела дверь столовой, нелепо большая, обитая жестью; несколько старослужащих вышли на порог, небрежно соглашаясь с одолевшей их сытостью. Один, тесно ушитый, точно в трико, заметил Антипова аккуратно усатым лицом и, видимо, захотел крикнуть что-то кастовое, потянулся уже лицом, сбивая фокус холености, но в последний момент поленился от сытости, вдруг запрокинул голову, будто переведя желание вверх, и по-детски зажмурился, примерив и отпустив обаятельную уродливость, затем рассеянно проследил за взлетевшей птицей и громко, с наслаждением зевнул, став похожим на миг на женщину. Видимо, выродился сгусток хоро-

---

Михаил Умнов (р. 1961) служил в армии, работал грузчиком, сторожем, рабочим в геологической экспедиции, пожарным в театре. Живет в Москве. Студент Литературного института имени А. М. Горького. Это первая публикация его прозы.

шего настроения — он радостно заорал по пустынной площади: «Устинов! Мать твою, старый зад! Приказ на дембель давай!» Остальные засмеялись.

Остальные засмеялись, оживились в коротком приятном безумии: кто-то свистнул, а другой, круглый и пружинистый, оттолкнувшись от плеч товарища, выпрыгнул вверх и по-петушиному забил руками.

В глазах Антипова напряглась карая тень, когда он приметил, как просветлело на небесном фоне лицо выпрыгнувшего.

Вспышка энтузиазма на том кончилась; обнявшись и раскачиваясь, они побрели через площадь, прогнутую в середине от голодного строевого шага. Антипов долго смотрел им вслед; от смешанного чувства вражды и зависти другой конец взгляда болезненно отзывался где-то внутри, в неглубокой глуби, где стояли уже удушье времени и боязливая метка опыта, согласно которому время все-таки идет, днем — медленно, ночью — быстрее, и потому четыре месяца службы можно четырежды пометить, например, бритвой на ремне. В конце концов осталось лицо, полное преждевременной скользкой радости. «Дай только срок,— сказал себе Антипов,— через год и я...» В том выбившемся из груди «я» не было телесности, а только свет с шумом листвы, что вдруг ожила над головой.

Дверь снова с протяжным предупреждением открылась — вышел арестованный Невзоров и остановился на пороге. Пока Антипов шел к нему, тот так же, как и остальные на этом месте, поневоле улыбался. Солнце раскалило его щетину до рыжины, разводы грязи на гимнастерке стали жуково-лиловыми. Невзоров был без ремня, как и положено, и без пилотки, что, как понимал Антипов, положено не было, но здесь, у черта на куличках, это значения не имело.

— Ну что, пошли, зёма? Почифанили казенного,— улыбаясь, сказал Невзоров.

Оба сошлись взглядами, как всякие два человека, и разошлись вскользь, как те, кому сказать друг другу нечего. Зато оба услышали нагретую, особую тишину вокруг себя и ту особую — подкожную — тишину, что связывает охранника с невольником случайным родством: тишину ту не выбьешь даже каблуками, под которыми, впрочем, уже хрустнуло начало пути. Да и кругом наконец все ожило: что-то оборвалось и грохнуло у кочегарки — взлетело испуганным салютом,— сорный звук разметался и привел в движение задремавшую округу; взревел дизель в автопарке, очнулся автомат на стрельбище, рухнула груда мисок в столовой.

— Пошли,— неумело сказал Антипов.

— Сейчас бы на пляж с девочками.— Невзоров приглашающе хохотнул.

Антипов послушно ответил на улыбку. Глядя на наглую почти белозубость, уверенные хмельные губы, Антипов невольно ощутил, как его царапнула зависть; он подумал, переводя взгляд в сторону и рассматривая каблук: однако ты вот где, а я вот. Преждевременная стоптанность каблука его огорчила.

От порога они сразу свернули к тополям, где Антипова встретила знакомая, почти несуществующая тень. Он прошел мимо дерева, к которому недавно прислонялся, и машинально всмотрелся в узор коры, неисчерпаемость которого отпугнула его взгляд. Антипов оглянулся — увидел снова и заново засвеченный экран площади да какое-то движение, запылившее на дальнем конце ее; само собой вычислилось, что оно уже никак не коснется их.

Комендатура помещалась в поселке; самая короткая дорога шла сквозь расположение гарнизона широким накладным швом, морща и стягивая солдатское сукно рельефа. Она была хорошо видна Антипову, как, впрочем, и он сам растекшемуся бельму дороги. И этот взгляд, неподвижный и меткий, приставал к лицу дополнительной тяжестью: конвой обязан был ходить по главной дороге. Между тем оба, сохраняя уставную дистанцию, шли мимо столбов с оборванной проволокой; сонная подслеповатая тропа, придержав прыть на виду у главной, дотащилась кое-как до складов, скученных на краю поля, и только тогда, огороженная с обеих сторон, она набиралась собственного, с небесною отметиной значения.

Невзначай открылось сверкающее поле и, успев просквозить их морским блеском, закрылось отворотом склада, в котором обживал объем ответственный прапорщик. Его сапоги сушились на солнце, а сам он, шлепая

безразмерными ступнями и полоща свистом горло, борол огромный тюк. И снова...

И снова, когда склады разомкнулись со стороны поля, Невзорова и Антипова до костей проняло едким, гремящим по травам светом — так, что обоих на миг разъяло, и только синхронный жест — козырек ладоней у глаз — восстановил их в прежнем значении.

Завидев времянку КПП, Антипов выровнял положенное расстояние до спины арестованного и подтянул автомат, чтобы дуло привычно дышало в ухо.

В окошке пропускного пункта мелькнуло озадаченное лицо сержанта — бедный разом перестал жевать, обеспокоенно высунулся; убедившись, что офицеров нет, он, как по команде, заработал челюстью.

— Вот хряк...— сказал Антипов вполголоса, но так, чтобы Невзоров услышал.

— Эй, хряк! Здорово! — тотчас крикнул Невзоров и засмеялся. Антипов внутренне поджался от неожиданного рикошета: сержант мог запомнить его. Сержант же между тем сам смертельно замер — лицо от незаконной обиды обзавелось чертами: «фазаньи» начальные усики и отчетливый, как особая метка, пробор посредине темени.

В безмолвии окна открылся садовый цветок в бутылке.

— Говорят, сюда девки по ночам приходят,— сказал Антипов.

— Ничего! И у тебя подрастет.— Невзоров оглянулся и необидно рассмеялся.

— Однако цветок...— себе под ноги уже сказал Невзоров.

Антипов переспросил, но Невзоров не ответил, потом пожал плечами, потом, глядя в сторону, туда, где поле набирало силу, сказал, когда это уже не имело смысла: «Что „что''?»

— А сколько ты отслужил? — вдруг спросил Антипов и понял, что давно хотел спросить Невзорова, еще когда вел в столовую.

— Полтора, считай. В том-то и дело,— сказал Невзоров с беспричинным воодушевлением.

Они шли рядом. Тропа сразу за столбом, вкопанным бог весть зачем, круто обрывалась в овраг. Поле за шаг до спуска открылось по всей широте, подавляя контуры поселка справа и вершины китайских сопок за спиной.

Спуск был крутой и быстрый — так, что оба невольно захватили врасплох растительную тишину: ее пришлось раздвигать руками и коленями, пробивать снизу сапогами. Антипов видел впереди себя темную спину Невзорова, его темные, до позолоты, большие кисти, брошенные вперед, как у пловца. Паутина перекрестила Антипову лоб, будто разметила по-новому; блуждающая ветка смахнула пилотку. Антипов нагнулся за ней — лопушиная волна сошлась над растерянным взглядом; Антипов хватанул горчичной преловатой прохлады и неожиданно для себя замер. В стороне слышался замирающий треск, все более нереальный от истончающейся прерывистости, а здесь — на уровне коленного сгиба — стоял утробный предродовой покой, из которого не было выхода; на морщинистом исподе лопуха бабочка пережидала дневную слепоту. Антипов посторонним движением задел стебель, тот загудел, отгоняя человека и смахивая бабочку в гулкий свет. Вырываясь на поверхность, Антипов ткнул стебель, чтобы причинить ему боль, и кинулся со всех ног за Невзоровым.

— Где твоя пилотка? — догнал он арестованного криком. Невзоров остановился, обернулся, став ясным до пояса, как мишень. Из-за спины его вылетела бабочка. Другая, определил Антипов.

— Ты что орешь? Боишься, что ли, чего? — крикнул навстречу Невзоров. Когда Антипов подошел ближе, переспросил то же, со своей обычной усмешкой.

— Пилотка-то где твоя? — снова сказал Антипов, чтобы что-то сказать.

— А за каким ... она нужна, зёма?

— Тебе-то, пожалуй, не нужна,— согласился Антипов и машинально поправил свою.

Выбираясь из оврага вслед за Невзоровым, Антипов поскользнулся и привалился плечом к склону. И опять, внутренне тому противясь, он выпустил из мышц усилие; в щеку ткнулись подробности травы, в кото-рых — сколки неба. Комок глины похолодил висок. Недосып, решил Антипов, гоня себя вверх.

Когда перевели дух и огляделись, то оказалось, что стоят они уже далеко от гарнизона. Штаб, казармы, склады — все предстало в макетном масштабе, зато поле, дикое от своей приграничной судьбы, незаметно набирало высоту, чтобы там, на расстоянии дневного перехода, снова слиться с синевой, оттолкнувшись от китайских сопок. Но Антипов с Невзоровым только прищурились на солнце в ту сторону, сами они свернули много вправо, чтобы выйти к задам поселка в нужном месте.

Невзоров достал из-за голенища спичечный коробок и вынул окурок. Прикурив, он блаженно раскинул руки и обернулся вокруг себя. Антипов тоже вдогонку оживился, достал из кармана кусок хлеба, обдул от пыли, поколупал для приличия ржавчину нагара; он старался есть с неохотой, почти задумчиво — так же, как покуривал Невзоров, но куски, что он прихватил с сержантского стола, сами набивались в руки, потом в рот.

— Что, не наедаешься? — спросил Невзоров, нежно обдувая мизерное курево.

— Я один «молодой» за столом, — смутившись, сказал Антипов.

— Понятно, — без презрения отозвался Невзоров.

Он остановился, обсасывая пепельный катыш, и волей-неволей Антипов разглядел его заново, будто Невзоров принудил его к этому: когда Невзоров затягивался, усмешливость пропадала, вместе с нею сходила небрежная, гладкая от густой щетины дородность; взгляд утыкался в одымленную ладонь — тогда сплошным, ближним уже, как собственная ладонь, планом наворачивался кожаный диск с нежилыми сейчас вмятинами глазниц, словно это вывернулось дно человека и встало на ребро, прежде чем качнуться вспять. Антипову стало неприятно и недобро; с ничейной веселостью подумалось, что эдак и у него было тогда в казарме, когда, ползая в дежурство на карачках — скобля пол осколком стекла и отметая старую мастику, он уткнулся лбом в сапоги старшины Быкова; тот музыкально отшагнул и потом, уведя блеск отлаченных голенищ, не сильно, но точно в прогалец лба Антипова сунул мыском сапога; не сказав ни слова, прошел дальше. Впрочем, потом обернулся и сказал лежащему Антипову: «Ты, зелень, на меня не обижайся... Меня эдак тоже когда-то». Потом он достал из кармана бархотку и провел по тому месту, где мысок замутился.

Невзоров сплюнул с губ табачную крошку, внимательно спросил:

— Что уставился, зёма?

— Ничего, — ответил Антипов и провел ладонью по лицу. — Жарко!

— А у меня, брат, кусок в горло не лезет. Только дым, — сказал Невзоров, словно не было никакой паузы.

— Странный ты, — начал Антипов, точно его потянули за язык, — улыбаешься все.

Невзоров засмеялся, и Антипов сразу замолчал от догадки, что Невзоров вовсе не улыбается или улыбается всегда мимо или не доходя до его лица. Антипов отвернулся, показывая, что спросил просто так, но зная сам, что в самом деле спросил он просто так. Ему стало досадно, потому что, того не добиваясь, он первым взял другую, более высокую ноту их разговора.

— Улыбаюсь, говоришь? — с удобством в голосе начал Невзоров. — Это, зёма, мой крест, как говорит моя бабушка. В драке камнем саданули — нерв какой-то там задели. Не могу с тех пор ни наплакаться, ни насмеяться. Девкам поначалу нравится, что я улыбчивый. Самое смешное, что камень я сам принес, подобрал где-то, приглянулся. Поиграл да бросил, зато запомнил хорошо. Как свою ладонь запомнил. Я потом все удивлялся, что именно этот камень. Не веришь?

— Почему? Верю, — сказал Антипов искренне и почувствовал, что еще наперед всему поверил, но — что было еще неприятней — он и теперь не может не верить.

— Чудной случай, — досказывал Невзоров, — я сам не чувствую, когда улыбаюсь, только когда смеюсь. Но это и так понятно.

Шагали молча, забыв друг о друге. Позвякивала зацепка автомата. Поскрипывал вразнобой с правым левый сапог. Антипов расстегнул верхние пуговицы гимнастерки, растер шею и с приятным самому себе простодушием потянул носом запах подвяленной равнины. И то, что Невзоров все время улыбался, показалось вдруг симпатичным признаком, подобным тяжести в желудке. Антипов закинул свободную руку за голову; так и шел, удивляясь на ходу блаженству женского жеста.

— Там что? — спросил Невзоров, махнув рукой на запад, через поле.

— Китай там, — ответил Антипов и тоже засмотрелся: по вершинам чужих сопок разлилась солнечная лужа. Хотелось улыбаться, как Невзоров; хотелось раздеться и лечь голым на траву и пролежать неделю или две, пока так не сильно не захочется двигаться.

— Кто вас меняет? — спросил Невзоров.

— Кажется, из ремроты наряд. А что? — Антипов ожидал встретить знак улыбки в лице Невзорова, но тот задумчиво скреб щетину; глаза следили за рукой.

— В ремроте лейтенант один. Гнус! Все обыскивает, даже портянки вытряхивает. В прошлый раз решил мне строевую преподать, как «молодому». Я, понятно, отказался. За грудки меня схватил, кричит: предатель!

— А ты?

— Я ему по почкам, чтоб не выдрючивался. Покорчился маленько, потом заплакал. Очки трет, как школьник. Звери, говорит, вы все. Это мы то есть. Дисциплинарным батальоном все пугал потом. А что меня пугать?

— Да-а... — протянул Антипов. Ему понравилось, что и он тоже отчасти зверь для того лейтенанта; он с приязнью поглядел на Невзорова и, словно почуяв наконец право на то, спросил: — А тебя за что?

Пауза вместила метров сто; Антипов перестал ждать ответа; с невольной приветливостью узнал выступивший бортик поселка. Он увидел: Невзоров как бы отмахнулся от того бортика рукой, засмеялся, смолк, потом неторопливо поднял спокойную морёную руку и неторопливо расстрелял из пальца гряду тополей-наблюдателей; он сказал просто:

— Вообще-то за ограбление магазина, хотя... — Невзоров вскинул голову, проверяя свой голос на свет, и вдруг заговорил с давнею, видно, готовностью, хотя уже на иной манер — не было теперь той сбивчивой доверительности, что понравилась сбивчивой натуре Антипова, и более того, насмешливое равнодушие Невзорова стало вдруг требовательным и тревожным, как предчувствие:

— Ты не заметил, зёма, в жизни много странного. Вот разве не странно, к примеру, что, побеги я сейчас, ты убьешь меня из этой вот штуки. Впрочем, я не о том... — Невзоров замолчал было, но тут же скомкал паузу. — Тебе понимать не нужно, хорошо, что не нужно лишний раз понимать. Это у меня для всякого мусора времени вагон. Я, видишь ли, не рассказывал особисту о том, что... то есть, помню, начал... Он меня еще сигареткой угостил, ну я и того... А потом думаю: что такого в самом деле? Посмеяться только что. — Невзоров рассмеялся, но неудачно; сам понял это — внимательно поглядел на Антипова, но еще внимательней — мимо него, словно кто-то стоял за спиной. — Бутылки, крыса на столе... Чушь собачья! Потому и сказал ему: выпить захотелось. Самому легче стало, и товарищу понятно. У особиста новая портупея была, он все ее поправлял. Так и записал: с целью добычи спиртного. — Невзоров с травленой наглостью хохотнул. — Мне теперь кажется, что так и было. Да и цель неслабая. Ты как думаешь, дружок-сапожок? — Невзоров без смеха откачнулся от Антипова, тихо из безвестной близи добавил (так же, как про цветок в окне): — Я даже уверен теперь, что... Странно все это.

Антипов видел, что спутника его охватило особое волнение, от которого тот сбивается с такта, как от подвижной ноши.

— А-а-а-а! — Вдруг закричал Невзоров и схватил себя за глотку, чтобы звук не был таким сквозным. — Просто все! Все просто, зёма! — рассмеялся крупно и резко, с приближающейся истерикой в голосе, но словно именно это ему и нужно было, оборвал все разом, впившись черными пальцами в щетину, зажал прыгающий значок улыбки, потом заговорил, замученный и облегченный, сначала безадресно, потом только Антипову,

потом опять тому, кто словно был за спиной и очень близко: — Я возвращался из самоволки. От бабы своей. Девка хорошая, бедрастая и нежная. Плачет только всегда после этого. Дочка у нее, Анюта, я все время ей конфеты приносил. И тот солдат, от которого она, тоже приносил, она помнит. Да! — Невзоров вдруг воскликнул.— Видел карточку того солдата, так, веришь — нет, на тебя похож... Ну не совсем чтобы, но есть что-то.— И Невзоров больно толкнул Антипова, приглашая тоже посмеяться.

Антипов не успел решить, как ему отнестись к этой новости; он заулыбался, сомнительно польщенный, но Невзоров уже говорил про другое. Антипов только успел понять, что отстал от сторонней речи и чужого шага; он оглянулся назад — куда поглядывал Невзоров. «Псих! — наконец решил Антипов и, глядя на расплывающуюся сопку, повторил облегченно — Псих!»

— В их селе магазин стоял на самом краю. Дежурная лампа, как полагается. Синяя, представляешь? Зачем подошел к окну, не знаю. Как будто захотелось на свету помочиться. Странным показалось шагать ночью — идешь и себя слышишь, свои сапоги. Вот я и остановился вдруг. Всегда было странно, но в тот день особо, может быть, потому, что она сказала мне, что гадалка ей нагадала еще пятерых солдат после меня. Я и остановился у лампочки, синей. Значит, Китай там? — Невзоров махнул рукой на запад; потом махнул рукой на север, спросил, правдоподобно смеясь: — А там тоже Китай?

Шиза, убежденно решил Антипов; ему нравилась эта убежденность; он достал кусок хлеба — с пищей во рту стало еще убежденней и вроде бы свободней.

— Ну, а дальше что? — спросил он мимо Невзорова, как тот его учил.

— Дальше — то самое. В окно поглядел: на прилавке пустые бутылки, а среди них бегает крыса. Дело не в том, что бегает или привстает, а в сочетании.— Невзоров поморщился, не находя слов.— Ты когда-нибудь видел курортные шахматы? Или кегли? Нет, не то! — Невзоров раздраженно махнул рукой, но тут же начал опять: — Крыса — жи-ва-я! Не потому, что бегала или привставала, а жи-ва-я. Она не то чтобы бегала, она, может быть, и не бегала вовсе, а прохаживалась. Она гуляла между бутылок. Она никуда не торопилась. Ни обо что не спотыкалась! Она никого не видела и не хотела видеть! — Невзоров остановился. Он глядел себе на руку, что застыла у груди и сама собой вывернулась ладонью вверх, точно ловя пушинку.— Вот и она сказала: после тебя еще пятеро будет.— Невзоров сдвинул руку, на ладонь опустилось пуховое семя репейника.

«Ненормальный»,— с удовольствием подумал Антипов. Ему стало важно уличить Невзорова еще больше.

— Ну и что? — спросил Антипов.

— Вот и я думаю теперь: ну и что? — ответил Невзоров.— Ровным счетом ничего. Я тоже так думаю, понимаешь. Так же, как и ты. В этом вся печаль, земляк.

— Какая печаль? — переспросил Антипов, уже не переживая унижения.

— Крыса смотрела на меня и не видела, хотя почуяла что-то. Отбежала к краю прилавка и оглянулась. Я тихо свистнул. Тихо так. Вот так, наверное.— Невзоров остановил Антипова рукой и осторожно выдул тонкий холодный звук.

В ответ Антипов кивнул и сразу обозлился на себя за этот кивок. Но он кивнул еще раз, потому что свист Невзорова замозжил у него в межбровье. На всякий случай он тут же заел звук кусочком хлеба. Теперь Антипову захотелось усмехнуться напропалую, но Невзоров сказал:

— Знаешь, мне показалось, что она ответила. Как бы кивнула. Или лапкой повела. Чушь, конечно, я понимаю. Но она так замерла на краю прилавка, подняла мордочку, так вытянулась. Странно. Вот на гауптвахте крысы не те...— Антипов заметил вдруг, что Невзоров разглядывает его с нерасчетливой пристальностью, как, верно, наблюдают за просыпающимся; потом Невзоров осклабился — как прежде, с приветливым безразличием: — А дальше просто, брат. Так просто, что вроде и не было. Или как сон. Решетка поддалась. Крепеж в пазах гнилой был, как и все в нашем Китае. Стекло выдавил. Влез, короче. Вздохнул свободно. Ты это заметь. Взял ящик коньяка.— Невзоров вкусно хохотнул.— Конфет шоколадных насыпал. Вот фантик остался, берегу.— Невзоров вытащил руку из кармана, показал Антипову пустую ладонь. Потом ударил по ней другой ладонью, засмеялся.— Слышь, банку шпротов зачем-то открыл, так и не попробовал. Может быть, о н а попробует. Потом чувствую, что время по-другому пошло. Вот этого я и испугался малость. Ходу! — думаю. А куда «ходу»? Ноги сами в казарму несут. И ящик несу. Зачем несешь, дурак, думаю, а несу! Через час вся рота на рогах! Два «фазана», посмышленней, сбегали по моим следам — еще два ящика. Ну и пошло-поехало. Я ведь крикнул для запала, что у меня день рождения. Зацеловали спьяну.

— Правда, день рождения?

— Нет, конечно. Хотя как посмотреть. Надо было зажечь вислоухих. Ведь сразу стало ясно, чем это кончится. Хорошо еще до оружейной комнаты не добрались. Дежурный сержант заперся в ней и пил за решеткой.

— Заложил, что ли, кто? — спросил Антипов; ему хотелось, чтобы кто-нибудь заложил.

— Что закладывать, когда вся казарма на рогах. Командирский газик мочой заправляли два часа. Еще что-то было характерное, только не помню. А утром меня тихо погрузили на дежурную машину — и в Уссурийск. Там «губа» переполнена, вот в вашу, зачуханную, и сунули, пока следствие идет. Второй месяц сижу. Комендатуру отремонтировал, а заодно и квартиру начальника комендатуры. Душевный майор оказался. После работы — стопарик и чифан гражданский. А меня утешает — мол, все равно срок идет, а т а м хуже будет. Что, я сам не знаю? — Невзоров запрокинул голову, сцепил руки на затылке — так и шел, прикрыв глаза.

Уже была видна дорога, тянувшаяся в нужный проулок.

Собака ходила по крыше сарая и поглядывала с опаскою вниз.

Женщина истошно звала ребенка. «Дура баба»,— тихо рассмеялся Невзоров.

— Ну, а бутылки, крыса...— начал Антипов; ему с неприятным самому упорством хотелось ясности.

— Э-э-это? — рассеянно усмехнулся Невзоров.— Да, может, и не было ничего? Ты как думаешь? Давай-ка лучше перекурим напоследок, а то ведь там не дадут.— Он опустился на траву, достал коробок.

Антипов присел рядом, приставляя приклад между ног. Солнце слепило глаза, но отворачиваться было лень, как и лень было думать про рассказ Невзорова. Зато с приторной достоверностью вспомнилось, что завтра баня, а полотенце у него украли, поэтому придется уводить самому. «У Елдыева,— наметил Антипов безобидного узбека.— Ему что...»

Краем глаза Антипов заметил: Невзоров поднялся, и сам подтянул было ногу, чтобы... но вдруг вместе со слепнущим поворотом лица до него дошло, что Невзоров шагнул в другую сторону — прямо на запад, на солнце.

Антипов видел засвеченную спину и не видел ее. Он слышал шаги и то, как растекается вокруг него пустота. Крик его был готов, но опять, как в овраге, под ногами закачалась лодочка блаженной слабости и затем — детское кровоточащее отчаяние. «Стой! — шепнул он.— Стой! — закричал.— Куда? Зачем туда?» Он вскочил было, вспомнил об автомате, прижал к себе, застонал от безымянной тяжести. Тогда он вдавил приклад под ребро и только от боли нашел себя рядом с прежней — очнувшейся — железной формой. Оттолкнув локтем землю, Антипов вскочил кое-как, метнулся вперед, давясь нежностью своего ужаса. Земля тянула его вниз, грозя утопить. Сатанея и целясь ртом в полуотстраненную спину уходящего, Антипов орал: «Стой! Ты-ы-ы!.. Бу-ду! Бу-ду стрелять! Га-а-ад».

Антипов бежал и больше всего хотел увидеть затвор автомата, но видел только свои колени, бесконечные передки сапогов да мельком — спину, которая не приближалась. И только тогда, когда Антипов стал заваливаться на бок, пальцы нашли крючок затвора. Теперь он лежал на боку, раскинув ноги на ходу. Теперь он мог поймать мышцу затвора и отвел ее до предела — услышал вкрадчивый шажок патрона в патронник. Антипов подавился вдохом. Не выпуская, откинул автомат от груди. «Стой! Прошу тебя, гад!»,— закричал он тому, чьи плечи уже вспряли в солнце. «А что же я?» — мелькнуло у Антипова; он ударил затылком землю, изо-

гнулся, сам не зная куда, толкнул опору прикладом что было сил — тогда одним рывком, словно отдаленный наблюдатель, например, тополь у столовой, стряхнул с себя забывчивость — этих двоих сблизило. Антипов успел только выбросить руку навстречу; его откинуло от чужой спины — не назад, а вперед, за Невзорова.

Нашел себя Антипов отползающим в сторону от арестованного. Невзоров лежал ничком и смотрел в землю. Антипов заметил, как на губах Невзорова рождается улыбка, которую тот, видно, не ощущал. «Не бойся, зема, я сейчас, я тут, я тут и сейчас...» — сказал Невзоров тихо и ясно.

Антипов торопливо согласился, но не услышал себя, хотя знал, что сказал, и что то, что сказал, слышится там, где кончаются его глаза, зато в один миг уловил гул со стороны поселка, точно вспомнил о нем.

По дороге шла колонна машин. С учений возвращалась соседняя рота. Последняя машина была открыта и полна солдат. Молодой офицер сидел у заднего борта и поигрывал на губной гармошке. Они с Антиповым одновременно заметили друг друга. Офицер, осклабясь, приставил ладонь ко лбу, и Антипов почувствовал, как у офицера сперло дыхание от напряжения. Солдаты повернули головы. Один приподнялся, чтобы лучше видеть, и показал на Антипова рукой. Антипов засмеялся и крепче сжал вынянченную форму металла. Офицер тоже показал на Антипова рукой — так и застыл, забыв про музыку. Антипов глядел на него, не отрываясь, чуя, как смертельный нуль его лица удерживает тех людей в машине. Страх начался только тогда, когда машина на повороте стала врастать в землю.

— Пойдем, что ли, воин, — сказал Невзоров. Он стоял рядом и сверху, в упор, смотрел на Антипова. Невзоров улыбался.

— Ты улыбаешься сейчас? — спросил Антипов. Невзоров не ответил. Он повернулся и зашагал по дороге. — Что ты смеешься, гад?! — крикнул Антипов.

— Я не смеюсь, — ответил Невзоров, — пойдем быстрей. Быстрей же!

Через два дня роту, где служил Антипов, подняли по тревоге в начале пятого. Выстроили в проходе казармы. Наспех рассчитались под ругань старшины. Потом погнали на плац.

Стоял густой туман. Включили прожектора. Вместе с ними включилось радио — диктор читал известия. Сначала все слушали, потом радист побежал отключать. Пока ждали прибытия комполка, взвод поправлял боевое снаряжение. Сразу поползли слухи про китайцев. Дембеля матерились, но трусили. Прибежал ротный. Он толком ничего не знал, тер затылок и ругался. От него пахло женским мылом и перегаром. Уже кто-то ржал за спиной Антипова, словно и пропасть ему нипочем, кто-то мочился в сторону. «Старики» послали Елдыева в столовую за хлебом. Но вдруг из тумана закричали: «Смирна-а-а!» Никто не поверил сначала, но ротный побежал докладывать. На ходу он поправлял фуражку и никак не мог успокоить ее; со спины он казался старым, а в шаге — сшитым наскоро; говорили, что он застал свою жену с замполитом, избил его, но сам потом вдруг постарел. Снова устроили перекличку. В соседнем взводе кого-то недосчитались, искать не стали. Потом прибыли грузовики. Комполка кричал притихшим взводам, но мешал рев двигателей, которые поостереглись глушить. Потом комполка махнул рукой и отступил назад, растаял, точно заступил за шторку. Прибежал ротный, объявил, что рота идет в оцепление — кто-то ночью сбежал с гауптвахты; возможно, вооружен топором или ломиком, поэтому сами понимаете, главное, помните, как нужно по уставу, чтобы не влипнуть, если что. «Я бы эту гниду траками растер», — сказал ротный, вдруг веселея от собственных слов.

Грузовики въехали прямо на плац. У заднего борта сразу скучились, стали дышать друг другу в лица, в затылки. Ротный бил ногой по шине и ругался с водителем. Тот, почему-то польщенный, сваливал все на бога, кричал, что у бога нет тормозной жидкости. Фары пробивали туман метров на двадцать; на свет все время кто-то выскакивал, приседая и загораживая лицо. Антипов схватился за борт машины, но его ударили по затылку. «Куда вперед сержанта, сволочь? Назад! Последним полезешь!» — рядом

стоял сержант Колбасов; изо рта разило одеколоном. «Мой под матрасом», — успокоился Антипов.

Проехали всего минут десять. Слышно было, как проваливались тормоза и орал ротный; машина ткнулась в кустарник и смогла остановиться.

Высадились и откатили машину на ровное место. Потом приказали растянуться цепью. Старослужащие остались у машины, молодые побежали на фланги. Антипов побежал между Синицыным и Колбиком. Потом так и развернулись лицом в поле, запертое туманом, — Синицын слева, Колбик справа. На Антипова Синицын не глядел, только если случайно, зато все время оглядывался в другую сторону и кого-то копировал. Вот он снял с плеча автомат и повесил на грудь. Антипов сделал то же самое. Колбик же бежал, ни на кого не глядя, засунув руки в карманы и подняв воротник. Антипов согласился — Колбику можно, он через два месяца станет «старым». Нужно было окликаться на ходу, и Антипов кричал и слышал крик Синицына.

Туман уже поистрепался, иногда возникала опушка, но сразу хотелось свернуть. Какая-то девочка похожа на него, вспомнил Антипов. Не мог понять, какая именно, но все равно сказал себе — это хорошо. Расстегнулась сумка с магазинами. Антипов долго застегивал ее на бегу. Потом больно подумалось, что один рожок мог выпасть. Остановился и проверил. Все цело. Когда оглянулся, Синицына слева не было, только слышался его крик впереди. Колбик шел рядом и насвистывал. Ему можно, подумал Антипов, через два месяца — и мне... Он прибавил усердия и почувствовал, что бежит так же, как и постаревший ротный на плацу. Под ногами мелькнула тропинка; Антипов побежал по ней, но потом испугался того, что у нее свой путь, и свернул в сторону первого, уже старого крика. Он сам закричал как мог, но бежать стало тяжелей. Сейчас-сейчас, говорил он себе, потом вдруг остановился и прислушался, как скачет по полю сердце вместо него. Он снова проверил рожки с патронами. И снова побежал. Поле пошло канавами, ударила в подошвы пашня. Пашня, повторил Антипов и опять обрадовался слову, что пружинило под ногой. Вот слово свалило его с ног.

Антипов поднялся, дошел до столба без проводов, привалился к нему, обхватив рукой толстую шею. Столб гудел на ухо, звук трогал шею женским пальчиком. Антипов лег на спину. Над веками дрожала отслоившаяся щепка. Он закрыл глаза. Он видел себя бегущим. Бегущим сильно и уверенно. Он снова вспомнил, что кто-то похож на него; откуда он знал это, он не помнил.

Когда Антипов очнулся, оказалось, что он бежит на шум грузовика. Он закричал, но крик не опережал бег, а волочился, как клок травы за сапогом. Антипов остановился — шум машины пропал. Тогда Антипов побежал, чтобы вызвать шум машины. Зачем-то поднял на бегу круглый камень и бросил себе на ход. Пробегая, камня не нашел и хотел вернуться, но понял себе в лицо, что это все равно, что другая жизнь. Он зло потер свое лицо, чтобы от боли начать жалеть себя. Он подумал, что если обернется, то вообще ничего не увидит. Он обернулся. Прочь от Антипова, как отражение, бежал человек. Антипов махнул ему вслед. Сам, как отражение бегущего, тоже побежал прочь.

Стрельба началась внезапно, но Антипов не испугался — он побежал на знакомый звук. Он упал, зацепившись за проволоку, стал ощупывать сапог — не порвался ли. Потом он понял, что стреляют в его сторону. Это подействовало как слабительное. Пули летели выше роста. Кричали в мегафон. Антипов согласно кивал из ямки, которая приняла его. Он не выдержал скользкой земли под собой, вскочил и побежал назад. Мокрое от пота тело пропадало в шинели. На бегу он случайно открыл глаза и увидел, как над ним мелькнула тень, и в тот же миг живая тяжесть навалилась на него и придавила к земле. Незнакомый офицер ударил Антипова по щеке: «Слышишь? Ты слышишь меня?» У офицера был скособочен рот. Ноздри глядели пристальней, чем глаза. «За мной!» — закричал офицер и бросился в туман. Антипов схватил его за полу шинели. Не оборачиваясь, офицер ударил Антипова по руке. «Так точно! Так точно? Точно так! Товарищ капитан!» — кричал Антипов и все время норовил забежать вперед, чтобы заглянуть в лицо.

Иосиф Бродский

Назидание

I

Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах,
в избах, банях, лабазах — в бревенчатых теремах,
чьи копченые стекла держат простор в узде,
укрывайся тулупом и норови везде
лечь головою в угол, ибо в углу трудней
взмахнуть — притом в темноте — топором над ней,
отяжелевшей от давеча выпитого, и аккурат
зарубить тебя насмерть. Вписывай круг в квадрат.

II

Бойся широкой скулы, включая луну, рябой
кожи щеки; предпочитай карему голубой
глаз — особенно если дорога заводит в лес,
в чащу. Вообще в глазах главное — их разрез,
так как в последний миг лучше увидеть то,
что — хотя холодней — прозрачнее, чем пальто,
ибо лед может треснуть, и в полынье
лучше барахтаться, чем в вязком, как мед, вранье.

III

Всегда выбирай избу, где во дворе висят
пеленки. Якшайся лишь с теми, которым под пятьдесят.
Мужик в этом возрасте знает достаточно о судьбе,
чтоб приписать за твой счет что-то еще себе;
то же самое — баба. Прячь деньги в воротнике
шубы; а если ты странствуешь налегке —
в брючине ниже колена, но не в сапог: найдут.
В Азии сапоги — первое, что крадут.

IV

В горах продвигайся медленно; нужно ползти — ползи.
Величественные издалека, бессмысленные вблизи,
горы есть форма поверхности, поставленной на попа́,
и кажущаяся горизонтальной вьющаяся тропа
в сущность вертикальна. Лежа в горах — стоишь,
стоя — лежишь, доказывая, что лишь
падая ты независим. Так побеждают страх,
головокруженье над пропастью либо восторг в горах.

V

Не откликайся на «Эй, паря!» Будь глух и нем.
Даже зная язык, не говори на нем.
Старайся не выделяться — в профиль, в анфас; порой
просто не мой лица. И когда пилой
режут горло собаке, не морщься. Куря, гаси
папиросу в плевке. Что до вещей, носи
серое, цвета земли; в особенности — белье,
чтоб уменьшить соблазн тебя закопать в нее.

VI

Остановившись в пустыне, складывай из камней
стрелу, чтоб, внезапно проснувшись, тотчас узнать по ней,
в каком направленьи двигаться. Демоны по ночам

в пустыне терзают путника. Внемлющий их речам
может легко заблудиться: шаг в сторону — и кранты.
Призраки, духи, демоны — дома в пустыне. Ты
сам убедишься в этом, песком шурша,
когда от тебя останется тоже одна душа.

VII

Никто никогда ничего не знает наверняка.
Глядя в широкую, плотную спину проводника,
думай, что смотришь в будущее, и держись
от него по возможности на расстояньи. Жизнь
в сущности есть расстояние — между сегодня и
завтра, иначе — будущим. И убыстрять свои
шаги стоит только ежели кто гонится по тропе
сзади: убийца, грабители, прошлое и т. п.

VIII

В кислом духе тряпья, в запахе кизяка
цени равнодушье вещи к взгляду издалека
и сам теряй очертанья, недосягаем для
бинокля, воспоминаний, жандарма или рубля.
Кашляя в пыльном облаке, чавкая по грязи,
какая разница, чем окажешься ты вблизи?
Даже еще и лучше, что человек с ножом
о тебе не успеет подумать как о чужом.

IX

Реки в Азии выглядят длинней, чем в других частях
света, богаче аллювием, то есть — мутней; в горстях,
когда из них зачерпнешь, остается ил,
и пьющий из них сокрушается после о том, что пил.
Не доверяй отраженью. Переплывай на ту
сторону только на сбитом тобою самим плоту.
Знай, что отблеск костра ночью на берегу,
вниз по реке скользя, выдаст тебя врагу.

X

В письмах из этих мест не сообщай о том,
с чем столкнулся в пути. Но, шелестя листом,
повествуй о себе, о чувствах и проч. — письмо
могут перехватить. И вообще само
перемещенье пера вдоль бумаги есть
увеличенье разрыва с теми, с кем больше сесть
или лечь не удастся, с кем — вопреки письму —
ты уже не увидишься. Все равно, почему.

XI

Когда ты стоишь один на пустом плоскогорье, под
бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот
или ангел разводит изредка свой крахмал;
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому кажется ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.

В. Лакшин

«НОВЫЙ МИР» ВО ВРЕМЕНА ХРУЩЕВА (1961—1964)

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

Когда в середине 50-х годов в моих студенческих зеленых блокнотах появились первые подневные записи, я не чувствовал за своей спиной близкой традиции.

После писем, потерявших обстоятельность и откровенность из-за привычных опасений перлюстрации, дневник был самым непопулярным жанром домашней литературы. В 30—40-е годы, как известно, сколько-нибудь понимавшие жизнь люди дневников не вели — на другой день после ареста они оказались бы на столе у следователя. Рассказы о тетрадях, предавших своих хозяев, не однажды были выслушаны мною.

Вот, скажем, незадолго перед войной добрый знакомый Булгакова Николай Семенович Ангарский (Клестов), издатель альманаха «Недра», почувствовав груз лет или занемогши, запечатал свои многолетние дневники в большой конверт и отнес их в Ленинскую библиотеку со строгой надписью: «Вскрыть через 50 лет после моей смерти». «И что же вы думаете? — рассказывала Елена Сергеевна, вдова Булгакова.— Не прошло и 50 минут после его ухода, печати были сорваны, пакет вскрыт, а еще через несколько дней за ним пришли...»

Самое прискорбное, что обычно, по решении судьбы арестанта, дневников его никто не собирался хранить даже в следственном деле, они уходили в небо с черной сажей из трубы Лубянки, как рассказал в «ГУЛАГе» о судьбе своих фронтовых записей Солженицын.

Но мы принадлежали все же к другому поколению. Страх задел нас, но еще не въелся в печень. И в преддверии XX съезда, а особенно после него, когда известен стал секретный доклад Хрущева о культе Сталина, возникло ощущение, что мы становимся свидетелями небывалых событий. Тогда-то и начал я, еще с большими перерывами и непостоянством, делать записи, не адресуя их никому и не преследуя никакой видимой цели.

Вести дневник с большей регулярностью я стал на исходе 50-х годов. Подхлестнуло меня то обстоятельство, что, волею случая, я рано оказался среди людей литературы, начал встречаться с А. Т. Твардовским, регулярно сотрудничать в «Новом мире». В этот журнал я пришел двадцатилетним студентом-филологом, а с лета 1962 года был одним из его редакторов.

Обидно в этом признаться — к дневнику я часто понуждал себя: писал далеко не каждый день, с большими перерывами; не успевал записывать по свежему следу и забывал отметить потом, иногда просто ленился открыть тетрадь.

Есть и другая причина хронологических провалов в этих записях. Конечно, мы дышали свободнее, чем люди старшего поколения. Но, сказать по совести, 60—70-е годы отнюдь не были временем безмятежной уверенности, что тебя завтра не поволокут на цугундер. Там, где речь заходила о политической современности, мои записи неполны, беглы, и не из недостатка интереса к этим темам. Думали и говорили мы между собою откровеннее. Сохранявшаяся инерция страха — причина иных пробелов и недоговоренностей.

Беспокойство не было беспочвенным,— прошли обыски с изъятием

архива у нескольких моих друзей, объявленных «диссидентами», да и моя квартира не осталась нетронутой: однажды, едва я отправился из Москвы в дальнюю поездку, в нее забрались странные «воры», которые почти ничего не взяли, но шарили за картинами, на книжных полках и вскрыли ящики письменного стола.

Вот почему случались недели и месяцы, когда я уносил бумаги из дома, прятал их за городом, в надежных местах, боясь, что они могут исчезнуть. Записывал конспект событий в маленьких блокнотах и на отдельных листках, рассчитывая переписать позднее, и частенько забывал об этом за наворотом событий.

Так возникла эта пунктирная хроника, главным образом хроника журнальной жизни, как она виделась одному из ее участников. Разумеется, это не история журнала за некий период, а лишь канва такой истории.

Острая закулисная борьба, шедшая вокруг журнала в 1958—1970 годах, лишь отчасти, лицемерно и смазанно, отражалась в статьях газет, резолюциях Союза писателей, открытой полемике. Часто не были видны (и даже намеренно затушевывались) истинные причины, корни, питавшие всем видимые верхушки событий. В пору, когда деятельность Главлита была окутана темной тайной, а вся система руководства искусством основывалась на устных «указаниях» и безраздельной власти телефонного права, имело резон запечатлевать разговоры и «веяния», идущие сверху: официальные тексты и даже конфиденциальные бумаги могли промолчать о главном. В треугольнике между Пушкинской площадью, где помещалась редакция, Китайским проездом — резиденцией Главлита — и Старой площадью, где находился идеологический аппарат ЦК, то и дело возникало поле высокого напряжения.

Хрущевский период нашей общественной истории ознаменован прерванным на полпути порывом к демократии, к отказу от преступлений и догм сталинщины. «Новый мир» Твардовского был одним из передовых форпостов интеллигенции, поддержавшей Хрущева в его, пусть не всегда последовательных, попытках реформации государственного социализма в сторону демократии. Беда заключалась в том, что значение гласности как рычага, реформирующего общество, Хрущев так и не понял: для него были привычнее аппаратные методы управления и принцип личного авторитета.

В этих обстоятельствах журнал не просто плыл по благоприятствовавшему ему политическому течению. Он шел и против течения, когда Хрущев и его окружение лавировали, отступали, делая ощутимые уступки сталинистам-консерваторам. Вот почему журнал Твардовского, едва сознав себя как общественно-литературную силу, то и дело оказывался в осаде, в изоляции, под угрозой разгона и административных репрессий. Для него были придуманы или к нему применены опасные термины-клейма: «дегероизация», «абстрактный гуманизм», «очернительство», «ревизионизм».

Я назвал эти записки «Новый мир» во времена Хрущева». Но по сути это лишь первая часть более обширного труда, который можно было бы озаглавить и так: «Новый мир» при Твардовском». Твардовский по праву — ключевая в литературной жизни фигура времени и главный герой моих записей.

Не стану утверждать, что я вовсе был лишен критического взгляда на Твардовского (читатель это заметит), но все же в главном это было неколебимое уважение и искренняя приязнь. В конкретных симпатиях и оценках мы, случалось, расходились, но во всем существенном его взгляды на жизнь и искусство я воспринял как близко родственные себе и дорожил его школой, в которой учился без принуждения.

Твардовского обычно отличали поразительная верность природе вещей, точный вкус и ошеломляющее чутье правды. Но в противоборствах времени характер Твардовского-редактора еще креп и мужал. Окончательно уходила былая робость перед авторитетами и хоругвями, в какие он смолоду верил, и складывался во многом новый род его убеждений. При большой самобытной силе его натуры все это, несомненно, отпечатывалось на журнале, воздействовало на авторов и сотрудников. Но нельзя исключать и обратного влияния. Журнал как организм, как живое существо, вбиравшее в себя токи времени, сильно освежающе действовал на Твар-

довского. Читатель увидит, как Твардовский менялся, становился внутренне свободнее год от году.

Дневник тех лет связан и с еще одним именем — Александра Солженицына. Первую половину 60-х годов можно было бы назвать «солженицынским» периодом в жизни журнала, в равной мере как эту же полосу в развитии писателя Солженицына — «новомирским» периодом его деятельности. И дело не только в том, что немногочисленные публикации Солженицына в журнале (ровным счетом — четыре) привлекли горячее читательское внимание. Солженицын пришел на готовую мечту Твардовского, что кто-то должен рассказать сполна о трагедии сталинских лагерей. Его повесть «Один день Ивана Денисовича» как бы подтверждала, что для талантливой литературы нет «запретных зон». Но автор «Ивана Денисовича» не просто открыл в литературе тему репрессий, а задал новый уровень художественной правды, напомнил и о моральной ответственности писателя. «Новомирские» прозаики — К. Воробьев, Семин, Залыгин, Быков, Абрамов, Айтматов, Можаев — каждый по-своему и непохоже пережили его влияние. Заражаясь примером Солженицына и в чем-то отталкиваясь от него, они пошли в пробитый им в снежном насте след.

Последним толчком к тому, чтобы привести в порядок и опубликовать эти записи, послужили не всегда корректные литературные дебаты 1987—1989 годов, касавшиеся, в частности, и судьбы «старого» «Нового мира». О Твардовском и журнале, об отношениях редактора с его сотрудниками и друзьями стали толковать вкривь и вкось, все более бесцеремонно и не стесняясь любой произвольной выдумкой — с уверенностью, что он уже не возразит, а с другими свидетелями и участниками событий — стоит ли считаться?

Увы, чем дальше уходит время, тем больше приблизительности, вольной и невольной фальши в трактовке литературной ситуации тех лет. Нередко она подгоняется под консервативную или либеральную легенду — гримируются лица, в черно-белой светотени предстают события. А хотелось бы напомнить «сырые», непричесанные факты. В упрямых поисках правды, добросовестных заблуждениях и вынужденных компромиссах, гордой неуступчивости и борьбе — живая жизнь журнала.

Конечно, горизонты свободного слова в «старом» «Новом мире» куда уже возможностей, ныне используемых гласностью. И некоторые былые яростные споры сейчас кажутся наивными: да стоило ли об этом спорить? На поле отгоревшего боя, как ржавые доспехи, — трюизмы и аксиомы. Но духовная содержательность литературы тех лет, прорывавшейся сквозь колючую проволоку цензуры, померяется силой с нынешней. И в слове, говорившемся вполголоса, иногда было больше веса и глубины, чем в крике соперничающих в громкости ораторов.

Хотелось дать фактический материал для раздумий, не лишних и современности, о пригнетающей мертвой силе идеологического аппарата, претендовавшего на руководство мыслью и искусством. И о мужестве противостояния, ранних поисках путей к демократии и гласности. Не пустые слова, что перестройка, начатая через полтора десятка лет после разгрома «Нового мира», выношена и выстрадана обществом и литературой.

Читателям предлагается сокращенный журнальный вариант записок, которые должны вскоре выйти отдельной книгой.

Начало декабря 1961.

Был в редакции «Нового мира», говорил с Твардовским. Он сказал, что прочел необыкновенную рукопись — «Один день одного зека». Взял слово, что я никому не скажу и возвращу рукопись через день-два. «Увидите, что это такое, а потом поговорим».

— Все, что сделано доброго в литературе, сделано без разрешения начальства; стоит только спросить — «можно ли?», — и тебе запретят, — рассуждал Твардовский. Видно, он прикидывает возможности публикации этой повести.

Рассказывал с досадой, сколько теряется времени на разных заседаниях.

— Сижу, свечу глазами в сталинском комитете по Ленинским премиям. Притом не подумайте, что даром. У них порядок — «пожетонные». Отсидел заседание — «жетон», 15 рублей. Реплику в прениях бросил — 20 рублей. А с речью выступил — и того погуще.

Придя домой, тут же вечером я начал читать повесть о зеке — и читал, не отрываясь, пока не кончил. Жена читала за мной — я передавал ей странички. Вот это подлинность, и сила, и правда! Заснули мы, кажется, только в 4-м часу ночи.

Кто он такой, этот новый автор? Твардовский называл фамилию (на рукописи ее нет), кажется, Соложеницын [1].

22 декабря 1961.

На Пленуме в Союзе писателей (Большой зал ЦДЛ) я из зала следил за Александром Трифоновичем, сидевшим в президиуме. Он был сосредоточен, время от времени переговаривался со своим соседом Л. Соболевым, снимал и надевал очки. Делал доклад Г. Марков, призывавший к «доброжелательности». (Твардовский сказал мне потом: «А можно ли быть доброжелательным к недоброжелательности?»)

Как оказалось, Соболев спросил, наклонившись к нему: «Скажи, что, Стейнбек — прогрессивный?» — «А зачем тебе?» — «Я хочу в выступлении сказать «от и до», от Гомера до Стейнбека». — «Тогда уж возьми Фолкнера», — посоветовал Твардовский. «Да, да, Фолкнера хорошо», — согласился Соболев. «А ты его читал?» — «Да... Но позабыл», — сказал Соболев. «Да ведь у нас почти ничего не переведено», — заметил Александр Трифонович. «А-а-а»...

Потом Соболев пожаловался, что ему «плохо пишется».

— А ты меньше речей говори, — посоветовал Александр Трифонович.

— Не могу. У меня это с деятельностью желудка связано. Вот референт подготовит по областной литературе материал, я читаю речь, глядишь, и прослабило.

(Последнее Твардовский скорее всего выдумал — но смешно и верно.)

В перерыве к нему подходили один за другим люди с книгами, просили автограф. Он писал коротко. «От автора такому-то», писал с досадой, но никому не отказывал.

Углядев меня за спинами, сказал: «Вас я как раз хотел видеть», — и увлек на лестницу. Однако и тут его атаковал автор какой-то статьи о Фадееве. Александр Трифонович начал объясняться с ним мягко. «Это исследование, вероятно, надо было сделать, и хорошо, что оно сделано, но в «Новом мире» печатать его нельзя». Автор попытался настаивать. «Простите, уж я твердо знаю, что этого не следует печатать, не пытайтесь меня убеждать», — сказал Александр Трифонович резко и повлек меня на площадку лестницы. Ему не терпелось узнать мое мнение о повести Соложеницына. Я поделился своими восторгами, он радостно кивал. Мне пришло в голову, что проложить дорогу повести можно, напечатав отрывок в «Известиях». (Я рассчитывал на посредство М. Хитрова, моего товарища, работавшего в литературном отделе «Известий», который мог поговорить с Аджубеем.) Когда я изложил Александру Трифоновичу этот план, он сказал:

— Я сам об этом думаю. Напечатать повесть трудно, но я сделаю для этого все.

Твардовский рассказал, как на собрании подошел к нему незнакомый старичок с красными щечками, напоминающий Д. Д. Благого. Оказалось, цензор «Нового мира» (Виктор Сергеевич Голованов).

— Мы с вами знакомы только заочно, Александр Трифонович, я... — и он представился.

— А-а... — сказал Твардовский, не сразу поняв, с кем говорит.

— Обычно между редактором журнала и цензором отношения сложные, — сказал старичок. — Но я думаю, у нас будет полное взаимопонимание.

— Конечно, — отвечал Твардовский, наконец смекнув, в чем дело.

---

[1] В первых записях так, неточно, передавал я написание непривычной фамилии А. И. Солженицына. **(Здесь и далее прим. автора).**

(«Некрасов с ними в карты играл,— объяснил мне потом Александр Трифонович,— а я в карты не умею. Так уж надо хоть любезным быть».)

Цензор сказал, что ему не понравилось одно место в сатирической повести Татьяны Есениной (дочь Сергея Есенина напечатала тогда свою вещь в «Новом мире»). В одной из глав там создают в колбе коммунистического гомункулуса.

— Что делать, женская рука,— согласился Александр Трифонович лукаво.

— Женская рука, женская рука,— обрадованно подхватил цензор.

Он несколько подобострастно выспрашивал Твардовского, держа в уме, что А. Т. кандидат в члены ЦК.

— А статья Марьямова о Кочетове[1] — это хорошая, партийная статья?..

— Я тоже так думаю,— охотно согласился Твардовский.

— Я больше скажу, это научная статья!

— Да, это научная статья.

— Как я рад, что в главном мы сходимся,— ликовал краснощекий цензор.

— И я, поверьте, рад.

— Ну, а по пустякам уж я вас тревожить не буду, договорюсь с Кондратовичем[2] и Заксом[3]...

Совсем гоголевский разговор. Но Твардовскому хотелось обольстить цензора, чтобы напечатать повесть, которую он давал мне читать.

— Проводите меня вниз,— сказал Твардовский и, когда мы сошли по лестнице в раздевалку, добавил вдруг неуверенно: «А вам обязательно здесь оставаться?»

Мы оделись и пошли искать такси. По дороге он рассказал, что накануне Пленума Союза писателей была партгруппа Секретариата. Марков сообщил, что Суслов рекомендовал провести Пленум «тихо», в полной «консолидации». Главный лозунг — «доброжелательность».

Поехали ко мне на Страстной бульвар и просидели с двух часов до семи.

Он много и хорошо рассказывал, к сожалению, я многое позабыл и не сумею записать. Помню только — много говорили о Соложеницыне и его повести, которую он с какой-то нежностью особой называет «Шухов». Говорили о полной ее безыскусности, в которой великое искусство. Вспомнил он сцены с кавторангом. Подхватил сказанное мной о талантливости самого замысла — показать обыкновенный и даже счастливый день, когда Шухову все удается. (Плохой художник нагнал бы мраку, и было бы черное на черном.)

Говорил Александр Трифонович об особом быте тюремном, который близок военному — казарме, землянке. Рассказал, как на войне наблюдал однажды кашевара, добродушного, с бабьим лицом солдата. Он крутил кашу в котле и приговаривал: «Эх, кашка, кашка моя горемычная». А в этот момент подошел к нему Твардовский, который был корреспондентом армейской газеты, и сопровождавший его подполковник. Подполковник-солдафон вдруг напустился на повара: «Какая-такая горемычная? Ты понимаешь, что говоришь? Воевать за Родину и за товарища Сталина — великое счастье!» «Так точно, великое счастье, товарищ подполковник»,— ответил кашевар, вытянувшись по швам. И такая тоска была у него в глазах, когда снова взялся он мешать свою кашу.

[1] Статья члена редколлегии «Нового мира» А. М. Марьямова (1909—1972) критиковала роман В. Кочетова «Секретарь обкома» («Новый мир», 1962, № 1).

[2] Алексей Иванович Кондратович (1920—1984) — заместитель главного редактора «Нового мира» в 1961—1970 гг.

[3] Борис Германович Закс — ответственный секретарь журнала «Новый мир» в 1958—1966 гг.

1962

31.V.1962.

Видел Александра Трифоновича. К слову, рассказал ему присказку моего деда: «Подумал — не говори, сказал — не пиши, написал — не печатай, а напечатал — беги!» Посмеялись. Александр Трифонович сказал: «Нет, в конце надо бы так: «а напечатал — признай ошибку».

Твардовский очень веселился рассказу о лекции в МГУ, где я читаю западному отделению краткий курс истории русской литературы. Перелагая «Историю одного города» Щедрина и особо отмечая советы Фердыщенко по сельскому хозяйству, я описывал торжественную встречу его обывателями, бившими в тазы на выгоне. Все это довольно актуально звучит. В перерыве ко мне подошел староста курса, отвел меня в сторону и сказал: «Я-то все понимаю, В. Я.,— но очень не увлекайтесь, здесь в аудитории люди разные...— И чтобы завоевать мое доверие, прибавил: — Сам я только недавно демобилизовался... служил в органах».

На этих днях по инициативе Твардовского редколлегия «Нового мира» приняла два решения: 1. Просить Секретариат СП СССР утвердить меня членом редколлегии по разделу критики.

2. Добиваться публикации повести Солженицына (названной по совету Твардовского «Один день Ивана Денисовича»).

Оба решения приняты единогласно.

7.VI.1962.

Прислали бумагу Секретариата СП — и я в «Новом мире».

5.VI — с Александром Трифоновичем и Игорем Александровичем[1] провели вечер в ресторане «Будапешт», наверху. Александр Трифонович был сумрачен. Его обидел Корнелий Зелинский, приславший раздраженное письмо по поводу споров о комментариях к Собранию сочинений С. Есенина. Твардовский стал было читать это письмо нам и объяснять свою правоту, но вдруг махнул рукой и бросил на полуслове. Видно, сильно раздосадован.

Заговорили о Солженицыне. Александр Трифонович сказал, что напечатает его в 8-м номере. Он только что получил полторы странички отзыва о повести от Мих. Лифшица[2].

— Я с ним в ссоре был. Он иронически говорил о последних главах «Далей». А тут такое письмо! Значит, думаю, мы друзья, раз одно и то же любим.

Мне сказал:

— Читайте верстку,— вы теперь полноправный член редколлегии. Читайте внимательно. Ничего не боюсь — стыда боюсь. Ведь журнал наш не в России только, а в Европе единственный.

— У нас в редакции, представьте, почти никто ответа автору сочинить толково не может. Не говорю уж о прошениях по начальству. Все я пишу. Пришел из «Известий» заведующий хозяйством и сказал иронически, поглядев мне в спину: «А это ваш главный писатель?» (От меня все к нему бумаги шли — то по поводу задержки номера в типографии, то по бытовым делам сотрудников.) Даже Софья Ханановна[3] говорит: «Все на 16-й том собрания сочинений работаем, Александр Трифонович.— А когда будут 5-й, 6-й? Ведь без них и 16-го не будет». (С. Х. Минц перепечатывает на машинке все сочинения Твардовского и хорошо разбирается в его литературном хозяйстве.)

[1] Игорь Александрович Сац (1903—1980) — друг Твардовского, многолетний сотрудник «Нового мира».

[2] Михаил Александрович Лифшиц (1905—1983) — философ, критик, публицист.

[3] С. Х. Минц — многолетний секретарь редакции «Нового мира» и Твардовского.

Александр Трифонович восхищается книгой Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», просит дать на нее рецензию. (Условились, что рецензию будет писать Соколов-Микитов.)

Не помню, по какому поводу Твардовский рассказал, как еще до войны ходил к кому-то из наркомов просить квартиру в Москве. Ютился он тогда в проходной комнате с двумя детьми. И тот сказал: «Дадим, как только освободится из-под врагов народа». Ехать в *такую* квартиру Твардовский отказался.

Александр Трифонович хочет просить К. Федина, как члена редколлегии «Нового мира», дать отзыв о повести Солженицына. «Я его заставлю написать. Скажу: все умирать будем, Константин Александрович!»

На словах Федин очень хвалил Солженицына: «Вы сами не знаете настоящей художественной цены этой вещи». Но написать на бумаге отзыв боится. «Ну, вот только не знаю, как вы это напечатаете? — сказал еще Федин. — А *папе* (т. е. Хрущеву) показывали?» — спросил он трусовато.

Александр Трифонович о вежливости: если тебе позвонили по телефону, разговор окончен и надо прощаться, ты не имеешь права первым говорить «до свидания», как не может хозяин первым начать прощаться с гостем...

8.VI.1962.

В редакции «Нового мира» Жан Поль Сартр и Симона де Бовуар. Сидели за длинным столом — маленький, щуплый, в очках Сартр терялся за ним. Твардовский почему-то не смог приехать.

Вначале Сартр задавал вопросы о современном романе. Отвечал ему Владимов, ставший знаменитостью после «Большой руды». Владимов говорил, что в познании жизни предпочитает «метод собственной шкуры». Писатель должен знать и описывать не элитный круг, а простых людей — шоферов, грузчиков, матросов. Роман, по мнению Владимова, должен быть с простым и крепким сюжетом, в духе баллады.

Говорили о том, нужно ли писателю вживаться в чужую профессию, чтобы узнать жизнь других людей (Сартр приводил в пример «Бомаск»[1], Владимов говорил о своем опыте на карьере Курской магнитной аномалии).

Сартр заметил, что видит больше общего между русскими и западными писателями, чем различий. Его, правда, удручила встреча в Киеве, но теперь, после нескольких разговоров в Москве, настроение поправилось.

Бовуар сидела красивая и важная, молча улыбалась, Сартр курил, пуская дым кольцами, и предавался весь усладе разговора.

Он сказал, что положение во Франции кажется ему безысходным. Все зашло в тупик, фашизм наступает, из Алжира бегут европейцы, которые ничего не поняли и пышут злобой. Де Голль развращает массы, деполитизирует их. Левые силы разъединены. Весь вопрос в том, когда они решат объединяться — до того, как окажутся в тюрьмах, или после. «Я очень боюсь, что мы решим объединиться, когда ворота тюрем уже захлопнутся».

Когда мы проводили гостей, Герасимов[2] все махал рукой, смеялся и повторял: «Чудаки эти европейские знаменитости! Нич-ч-чего не понимают...»

Да, нам ближе другие проблемы — «мяса-молока», которые никак не влезают в рамки чинной литературной беседы.

Видел вчера надпись на заднем борту грузовика: «Не уверен — не обгоняй» — и мелом приписано: «Америку»[3].

14.VI.1962.

Первые дни работы в журнале. Прихожу к часу дня. Меня поместили пока в той же большой комнате, которая служит одновременно кабинетом Твардовского и залом заседаний редколлегии. Торцом к окну, выходящему

---

[1] Роман Роже Вайяна, в русском переводе «Пьеретта Амабль» (1956).

[2] Евгений Николаевич Герасимов (1903—1986) — член редколлегии «Нового мира», зав. отделом прозы.

[3] Имеется в виду лозунг, выдвинутый Хрущевым: «Обгоним Америку по мясу и молоку».

на Пушкинскую площадь, стоит стол Александра Трифоновича. К нему углом приставлен маленький столик Кондратовича. А я располагаюсь на краешке того длинного стола — прежде с зеленым сукном, теперь гладко полированного «под орех», — за которым обычно проходят заседания редколлегии.

Александр Трифонович решился послать повесть Солженицына «на высочайшее». Дописал после просмотра Дементьевым[1] и его советов предисловие к «Ивану Денисовичу». Сегодня показывал мне. Я посоветовал убрать один не очень искренно звучащий «оптимистический» абзац, и он охотно, горячо как-то согласился: «Да, здесь я пересолодил», — и жирно вычеркнул наискосок.

Обсуждали сегодня статью И. Соловьевой о Тендрякове. Я стоял за то, чтобы смягчить обидные для Тендрякова места. Он в самом деле пишет плохо, когда дает волю рационализму. А все же писатель, каких мало. Твардовскому статья Соловьевой понравилась, что он ей и высказал, но согласился, что надо снять колкости. «А печатать непременно надо, — сказал Александр Трифонович. — Надо же объясниться — Тендряков наш автор, — отчего мы теперь не так охотно его печатаем». Просил в конце статьи выразить определеннее ту мысль, что чисто художественные беды отзываются и на «проблемистике», ее глубина страдает. «Статья хороша, но немного форсисто написана», — заметил он еще.

Потом каждый из нас занимался своим делом. Александр Трифонович разбирал за своим столом почту, вдруг поднял на лоб очки и обратился ко мне:

— Вот пишут, просят меня, как будто я все могу сделать, будто я по крайней мере первый зам. Председателя Совета Министров... И мне так тяжело, — продолжал он со смехом в голосе, — что я в самом деле не первый заместитель...

Решали еще вопрос с повестью Е. Герасимова. Прежде она называлась «Шелковый город». Александр Трифонович любит давать свои названия печатаемым вещам и часто делает это очень ловко. Он предложил ее перекрестить в «Городок на Дреме». Цензора испугало название: в слове «городок» ассоциация с горьковским «Окуровым», а в слове «Дрема» — не мрачный ли символ? Повесть сняли из номера. Мне пришло в голову — а не вернуть ли прежнее название? «Шелковый город» (в городе шелкоткацкий комбинат) звучит нежно и никак уж не «очернительски» (хотя сама по себе повесть довольно строга и правдива — как очерк с натуры). На том и остановились.

Александр Трифонович при мне звонил по телефону Маршаку, с которым несколько нелюбезно обошелся накануне. «Знаешь, Самуил Яковлевич, худой мир лучше доброй ссоры. Прости меня, если виноват. Просто я умаялся, целый день шли какие-то больные, косые, калечные... Непременно приеду к тебе проститься».

Твардовского, как он рассказал, собираются посылать в Америку в порядке культурного обмена «на высшем уровне». У нас недавно был в гостях крупнейший национальный поэт Америки Фрост, а к ним поедет Твардовский. Ему предстоит беседа с президентом Кеннеди. «Вы нас, случаем, до войны не доведете?», — сказал ему, посмеиваясь, Закс.

* * *

Вышел № 7 «Нового мира» — первый, где и я значусь членом редколлегии.

№ 7, 1962 подписан к печати **30.VI.62.**

В номере:

Чингиз Айтматов «Первый учитель».

И. Грекова «За проходной» (это ее дебют).

В. Аксенов. Два рассказа («На полпути к луне» и «Папа, сложи!»)

«Шесть стихотворений» Евг. Евтушенко («Давайте, мальчики!» и др.), стихи А. Яшина.

---

[1] Александр Григорьевич Дементьев (1904—1986) — критик и литературовед, заместитель главного редактора «Нового мира» в 1953—1955 и 1958—1966 гг.

В критике статьи И. Соловьевой «Проблемы и проза». (Заметки о творчестве В. Тендрякова.) Рецензии И. Виноградова, В. Шкловского и др.

6.VII.1962.

Твардовский вернулся из поездки в Грузию. Повесть Солженицына передана помощнику Хрущева Лебедеву[1]. Тот позвонил Александру Трифоновичу и сказал, что находится в затруднении: «Написано блистательно талантливо. Но ведь автор «за Советы без коммунистов».

С повестью Герасимова все обошлось. Теперь уже не считают, что это «городок Окуров», разрешили печатать.

Твардовский очень взволнован болезнью Казакевича — у него запущенный рак. Больница не разрешает допустить к нему двух ленинградских врачих, о которых идет слава, что они лечат каким-то новым методом. Александр Трифонович звонил во все инстанции, чтобы сломить сопротивление официальной медицины, до Суслова дошел. Сидел растерянный, в пасмурном настроении. «Почему не разрешить, если медики «Кремлевки» уже отступились? Но у них свой порядок и железная субординация... Помирай, но по науке. Я это зверье давно знаю и в разных видах видал...»

12.VII.1962.

В. С. Лебедев советовал подавать повесть «на высочайшее» с личным письмом Твардовского. Александр Трифонович зазвал меня в кабинетик Закса, плотно закрыл двери, и мы долго правили набросанное им в черновике письмо Н. С. Хрущеву.

В 3 часа дня в редакцию приехал Джанкарло Вигорелли — располагающий, доброжелательный господин, глава Европейского сообщества писателей. Смущенный, видимо, обилием представленных ему лиц, спрашивал, сколько постоянных сотрудников в журнале.— «С машинистками и курьером — 29», — гордо ответил Александр Трифонович, разумея про себя: «как немного людей делают такой европейски прославленный журнал».

Вигорелли удовлетворенно кивнул.

Но тут Твардовский не утерпел спросить его:

— А «Европа литтерариа» (журнал, который ежеквартально издает Вигорелли) — сколько народу делает?

— Один, — отвечал Вигорелли, подняв для убедительности указательный палец, — и... машинистка.

Вечером обедали на даче Твардовского во Внукове.

Я был здесь впервые. Скромная дачка на большом, расположенном на крутом склоне участке. Кабинет Александра Трифоновича с печкой, на которой потрескалась побелка. На стене «остатки культа», как высказался Александр Трифонович, — фотопортрет Сталина, закуривающего трубку. (Об этом портрете были когда-то у Твардовского стихи.) Под Сталиным — портрет Некрасова, подаренный М. Ф. Яковлевым[2]. На другой стене — портрет Бунина, купленный Твардовским у какого-то художника, «впавшего в пауперизм» и дешево уступившего эту работу.

На участке растут в траве ромашки, вдоль садовой аллейки высажены кусты лесной земляники — на них краснеют ягод·. На даче нет воды, бурили-бурили, и никак не доберутся до водоносного слоя. Воду мы везли в ведрах с крышками из Москвы, они громыхали в багажнике машины, и хозяин сам бережно сливал нам ее на руки из ковшика.

Обедали на длинной террасе, зеленой, славной; закатное солнце било сквозь деревья, спускающиеся по косогору. На террасе было празднично, уютно.

Началось с забавного инцидента. Жена Твардовского — Мария Илларионовна (здесь я с ней впервые познакомился) расставляла закуски, а тем временем Александр Трифонович предложил гостю бублики, которые продаются только в одном месте в Москве, на углу улицы Чехова и Садового кольца. (Их всегда подают к чаю в «Новом мире».) Александр Трифонович стал было учить итальянца, как с этими бубликами управляться, но Мария Илларионовна вскипела, что нарушается задуманный порядок обеда, отняла бублики и водрузила их связку на гвоздик на стене терраски. То-то шуму было! Твардовский бублики не отдавал, Мария Илларионовна, не стесняясь присутствием гостей, выказала гнев оскорбленной хозяйки. Итальянец был в восторге от этой темпераментной сцены, кричал: «О-о, синьора!» — и официальная чопорность сразу исчезла.

[1] Владимир Семенович Лебедев — помощник Н. С. Хрущева.
[2] Михаил Федорович Яковлев — фотограф, приятель Твардовского.

Александр Трифонович прекрасно «держал стол», говорил умные, лукавые и добродушные тосты. Сказал, что, когда был в Италии, полюбил эту страну. Что и во время войны мы не смотрели на итальянцев, воевавших на нашей земле, как на настоящих врагов. Одна старуха на Смоленщине рассказывала ему, что в их деревне стояли транспортные части. А она ходила на работу большаком в соседнее село. И если по дороге шла немецкая машина — сходила на обочину, лишь бы проехали, а если итальянская — поднимала руку, просила подвезти. И итальянские солдаты всегда брали ее, довозили до места, а когда она сходила — прощались, махали и кричали вслед: «bella, bella», — «хотя какая же я белая?» — добавляла она.

Скромно, интеллигентно вел себя и хорошо говорил Микола Бажан. Говорил о том, что значил для него Твардовский в разные поры жизни:

«Для меня трудная была полоса в 30-е годы, во многом тогда я сомневался, на многое рукой махнул. Твардовский своей бодростью, молодым оптимизмом сильно поддержал меня. То же и с «Василием Теркиным» — сколько он для нас значил во время войны. А речь Твардовского на XXII съезде — это голос всей нашей интеллигенции, всего лучшего, что в ней есть».

С опозданием приехал Расул Гамзатов. Восточный человек — очень приятный за столом, но, как мне показалось, с излишне вытренированным обаянием. Он, зная, что я занимаюсь критикой, походя, небрежно проехался на счет критиков, и я вынужден был с ним заспорить. Сказал, между прочим, что из рядов критиков вербуются ныне довольно порядочные прозаики — Ф. Абрамов, Г. Владимов — и иногда критиками становятся из огорчения наличным уровнем литературы.

Гамзатов запутанно, но остроумно говорил о Твардовском и закончил так: «Его ничто не могло испортить, что портит всех нас, — ни вино, ни жена, ни правительство». Переводя эти слова для Вигорелли, Г. Брейтбурд поперхнулся.

13.VII.1962.

Александр Трифонович появился в редакции — бодрый, свежий. Работал с Арк. Кулешовым, который привез новые стихи. Потом, обратившись к нам с Кондратовичем, стал обсуждать — чем бы занять свободную заднюю обложку журнала. Для его крестьянской души это нестерпимо, как пропадающая земля, пустошь.

Оказалось, что занять нечем, кроме разве рекламы, и это огорчило его.

20.VII. Твардовский вызывает Солженицына телеграммой.

23.VII.1962.

Пришел в редакцию, открыл дверь в кабинет Александра Трифоновича, а там полно народу за «моим» длинным столом. На столе чай с бубликами — обсуждают Солженицына. Александр Трифонович поманил меня, представил автору, пригласил принять участие в разговоре.

Солженицына я вижу впервые. Это человек лет сорока, некрасивый, в летнем костюме — холщовых брюках и рубашке с расстегнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко. На лбу шрам. Спокоен, сдержан, но не смущен. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Смеется открыто, показывая два ряда крупных зубов.

Твардовский предложил ему — в максимально деликатной форме, ненавязчиво — подумать о замечаниях Лебедева и Черноуцана[1]. Скажем: прибавить праведного возмущения кавторангу, снять оттенок сочувствия бандеровцам, дать кого-то из лагерного начальства (надзирателя хотя бы) в более примиренных, сдержанных тонах, «не все же там были негодяи?..».

Дементьев говорил о том же резче, прямолинейнее. Яро вступился за Эйзенштейна, его «Броненосец «Потемкин». Говорил, что даже с художественной точки зрения его не удовлетворяют страницы разговора с баптистом. Впрочем, не художество его смущает, а держат те же опасения. Дементьев сказал также (я на это возражал), что автору важно подумать, как примут его повесть бывшие заключенные, оставшиеся и после лагеря стойкими коммунистами.

Это задело Солженицына. Он ответил, что о такой специальной категории читателей не думал и думать не хочет. «Есть книга, и есть я. Может быть, я и думаю о читателе, но это читатель вообще, а не разные категории... Потом, все эти люди не были на общих работах. Они, согласно своей квалификации или бывшему положению, устраивались обычно в комендатуре, на хлеборезке и т. п. А понять положение Ивана Денисовича можно, только работая на общих работах, то есть зная это изнутри. Если бы я даже был в том же лагере, но наблюдал это со стороны, я бы этого не написал. Не написал бы, не понял и того, какое спасение труд...»

Зашел спор о том месте повести, где автор прямо говорит о положении кавторанга, что он — тонко чувствующий, мыслящий человек — должен превратиться в тупое животное. И тут Солженицын не уступал. «Это же самое главное. Тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства, — погибает. Я сам только тем и спасся. Мне страшно сейчас смотреть на фотографию, каким я оттуда вышел: тогда я был старше, чем теперь, лет на пятнадцать, и я был туп, неповоротлив, мысль работала неуклюже. И только потому спасся. Если бы, как интеллигент, внутренне метался, нервничал, переживал все, что случилось, — наверняка бы погиб».

В ходе разговора Твардовский неосторожно упомянул о красном карандаше, который в последнюю минуту может то либо другое вычеркнуть из повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит. Может ли редакция или цензура убрать что-то, не показав ему текста? «Мне цельность этой вещи дороже ее напечатания», — сказал он.

Солженицын тщательно записал все замечания и предложения. Сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они идут на пользу; те, о которых он будет думать, трудные для него; и, наконец, невозможные — те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.

Твардовский предлагал свои поправки робко, почти смущенно, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны.

Когда же заговорил Дементьев, Александр Трифонович весь обеспокоился, напрягся внутренне и, едва тот начал «кумекать», с легкой усмешкой покачал головой.

«Теплый холодного не разумеет», — как сказал Солженицын применительно к Шухову, вернувшемуся с мороза в барак, где мирно спорят Цезарь Маркович и кавторанг. Кстати, о споре этом: Солженицын очень верно заметил, что он нужен лишь как тень — читатель сквозь него должен видеть Шухова, стоящего за спинами спорщиков и ждущего своей пайки хлеба.

«А спор об Эйзенштейне, показавшийся Александру Григорьевичу литературным, я не выдумал, а в самом деле в лагере слышал».

23.VII. Подписан к печати № 8 «Нового мира».

В номере:
повесть Е. Герасимова «Шелковый город»,

[1] В. С. Лебедев и Игорь Сергеевич Черноуцан (1918—1990), в то время зав. сектором литературы в аппарате ЦК, получили рукопись Солженицына от Твардовского и предварительно прочли повесть, прежде чем она была передана Н. С. Хрущеву.

рассказы Ю. Куранова,
стихи Л. Завальнюка, переводы из Роберта Фроста.
В критике статья И. Виноградова «По поводу одной «вечной темы».
Номер слабенький, Александр Трифонович недоволен, нервничает.

27.VII.1962.

Сегодня забегал в редакцию Солженицын. Зашел и Соколов-Микитов. С утра Твардовский очень запальчиво говорил о цензуре, о том, что хочет встретиться с Хрущевым и уговорить его, чтобы цензура на художественные произведения была отменена.

— Сидит какой-то малец, — рассуждал Александр Трифонович, — и дает разные указания. Но ведь его редактором журнала не сделают. Почему он тогда меня должен проверять? Нелепица! Пусть бы ввели, как до революции, практику предупреждений редактору. Скажем, три предупреждения и — баста! Но без предварительной цензуры.

Б. Г. Закс говорил о необходимости цензуры в разумных пределах (охрана военной тайны, местоположения аэродромов и т. п.) и, чтобы привести примеры, принес из своего сейфа книгу «запрещений и разрешений» Главлита. Александр Трифонович так разгорячился, что, когда Закс стал настаивать, чтобы тот что-то вычитывал из нее, швырнул ему эту книжицу через стол.

Поуспокоившись, рассказал с улыбкой, что во время войны цензор армейской газеты говорил про него: «Ну, я его просто не читаю. Твардовский — человек аккуратный, ничего не допустит такого». А вот теперь, как редактору «Нового мира», доверяют ему не слишком.

Я был рядом с Александром Трифоновичем, когда в кабинет просочилась чистенькая, беспокойно оглядывавшаяся по сторонам старушка. Она было испугалась меня, не решалась заговорить, но Александр Трифонович ее успокоил: «Это наш доверенный сотрудник. Можете говорить при нем все, с чем пришли».

Старушка отдала ему «в собственные руки» письмо. В письме, как потом рассказал Александр Трифонович, было сказано, что ее преследует какая-то гражданка и от ее преследования невозможно избавиться. Куда она только ни писала! А преследование состоит в том, что эта гражданка внушает ей всякие злые, непатриотические мысли с помощью машины «Вестибюль». Машина эта стоит на заднем дворе Кремля, провода тянутся к Манежу — и оттуда идет непрерывный гул, не дающий по ночам заснуть ни ей, ни ее дочери.

Александр Трифонович прочитал письмо, очки всунул в карман и сказал задумчиво и очень серьезно: «Я все для вас сделаю. Сегодня в 7 часов вечера будет выключен рубильник. Только одно условие: вы ничего никому не говорите и не пишите больше об этой машине, и вообще постарайтесь об этом забыть. Иначе мне это сильно затруднит дело».

Старушка ушла счастливая.

Потом возник молодой поэт — длинношеий, с бритой головой. Он тоже заявил, что может говорить только с Твардовским.

— Что у вас? — спросил Александр Трифонович.
— Я задумал поэму.
— Так где же поэма?
— Ее пока нет.
— Тогда нам не о чем говорить.
— Да, но я хотел обсудить с вами замысел, иначе я писать не смогу.
— Так и не пишите.

Вечером на пустой, без хозяев по летнему времени квартире Лунгиных на ул. Чайковского нас ждал Виктор Некрасов. Жара ужасная, и он вышел к нам в трусах. Были мы изрядной компанией — Иван Сергеевич Соколов-Микитов, Твардовский, Герасимов, Сац, Закс и я. Был еще молодой кинорежиссер Марлен Хуциев, как и Некрасов, — голый по пояс и в шортах. Он все хотел поставить на проигрыватель «пластиночку», но Александр Трифонович его остановил: «Мы люди пожилые, любим разговор, а когда что-то гремит — не дело». Хуциев смутился, остановил музыку и скоро ушел.

Некрасов был хорош в роли хозяина, радовался, что собрал столько «добрых людей» и среди них «небожителей», как он выразился. (Последнее относилось к Ивану Сергеевичу и Александру Трифоновичу.) Не задирался, вопреки обыкновению, когда Твардовский на него наседал, поднимал руки вверх. «Я же большевик и могу признать свою ошибку».

Иван Сергеевич сидел на диване благодушный, молчаливый и посасывал трубочку. Улыбался в усы, когда Некрасов стал приставать к нему, понравилась ли ему написанная Виктором Платоновичем к юбилею статья о нем. Вынул трубку изо рта, без обиняков сказал: «Нет»,— и опять замолчал.

За столом больше всех говорил Твардовский, много сказавший и важного, и милого. Произнося тосты, он деликатен и внимателен ко всем, но без сахару, а бывает и неожиданно прям, даже резок.

Некрасов все вспоминал, как хорошо было в Италии: какие-то траттории, приятные встречи.

«Ах, бог с ней, с Италией,— внезапно прервал его Твардовский,— все это неинтересно. Я вот и в Америку через душу еду. Если можно будет оттянуть или вовсе отказаться — откажусь... Там мне, кажется, все ясно. Мне здесь, у нас, все неясно. А у нас сейчас делается, наверное, главное дело в мире... За границу охотно едет тот, у кого здесь в душе пусто, он думает там материала позычить... А я не знаю, как успеть высказать все то, что здесь меня занимает».

* * *

Рассказывал кто-то: на радио пришло распоряжение: «Хватит пускать слюни о мире. Воспевайте героику войны».

Думал о том чувстве тревоги, какое висит ныне едва ли не над каждым человеком. Можно ли загадывать на завтра, мечтать о чем-то, если угроза всеобщего уничтожения так близка, почти неотвратима? Все — гиль и ничего не стоит,— с таким настроением вряд ли родится не то что великое, а хотя бы сколько-то путное: в науке, в искусстве ли или просто в личном жизнеустройстве. Мораль, человеческое в морали, предполагает память о вчерашнем дне и мысль о завтрашнем. А если это чувство разрушено, если — «лови минуту!»? И даже тот, кто сопротивляется философии «мгновенья», чувствует над головой дамоклов меч. Живешь сотнями забот дня, думаешь о тысяче дел, мелочей, а на дне сознания шевелится: может быть, все это только д о з а в т р а. Возвышает ли такое memento mori? Все дела, помыслы, заботы имеют ненадежный, призрачный фон, зыбкий, колеблющийся. Все готово оборваться в бездну. Даже радоваться нельзя вовсю, без оглядки, без отравляющей мысли: и это минутно, случайно — пир во время чумы. Часто просыпаюсь от ставшего привычным кошмара начавшейся атомной бомбежки: воя, взрыва и вселенской черноты.

1.VIII.1962.

Решились: заново пишется письмо Н. С. Хрущеву об «Одном дне».

Сегодня Твардовский приехал мрачный. Дементьев, который вообще-то ближе ему всех нас по возрасту и дружескому доверию, хотел переменить какое-то слово в уже готовом тексте письма.

— Ну, какое слово вы предложите? — с яростью спрашивал Александр Трифонович.

— Ты не волнуйся, Саша... Но есть какое-то такое: «разрешите просить о...» — и Дементьев щелкал пальцами, подыскивая ускользающее словечко — ...помощи, поддержке...

— Благословении? — ядовито отозвался Александр Трифонович.— Так вот, я вам скажу («вы» к Дементу, с которым он чаще на «ты», подчеркивало его раздражение), что слов в языке мало. На этот случай их всего 16... И 15 из них мы уже использовали.

2.VIII.1962.

Сац возится со статьей Дорофеева о Платонове, очень хочет напечатать ее. Но Твардовскому не близок Платонов-писатель, его слог (при том, что он очень сочувствует судьбе его и любил его как человека), и он, кажется, «рубит» статью под корень.

Сац в обиде, Твардовский был у него с утра дома, они объяснялись. Он говорил Твардовскому: «Вот ты, Александр Трифонович, сетуешь, что я не пишу. А я потому не пишу, что мне некуда писать... Нет у меня журнала, как когда-то был «Литературный критик»...

Но эта надуманная обида минутна.

И уже развеселясь, Сац рассказывал, как предлагал в «Лит. критик» статью «Штука как жанр» (после знаменитой надписи Сталина на горьковской поэме «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете...»).

Сац вспоминал, к слову, о Платонове: главная мысль Андрея Платоновича, которую тот часто повторял, была та, что литература должна криком кричать о том, что в жизни творится, а она молчит или лениво ухмыляется. Платонов судил часто неожиданно и резко. «Рабочий класс — психопат»,— говорил он.

О любострастно-коммунистической прозе Панферова в одной из своих рецензий для «Лит. критика» Платонов высказался так: «Не надо делать из фаллоса древко для красного знамени».

Говорили о Викторе Некрасове. С нежностью вспоминал Сац о Ване Фищенко, прототипе Чумака из «Окопов». Парень дикий, вороватый, насидевшийся в тюрьме, но нежно любящий Некрасова. Однажды Виктор Платонович сидел без денег; Ваня, зашедший его навестить, обнаружил это и внезапно исчез. Через полчаса вернулся. Некрасов потребовал сказать, откуда деньги? Оказалось, Ваня успел срезать в трамвае дамскую сумочку. Некрасов его за это поколотил и деньги велел, будто найденные, отдать в милицию. Но к Ване и после этого доверия не потерял.

* * *

Александр Трифонович прочел в корректуре «Письмо заложнику» Экзюпери, восхищается им и цитирует на память: «Жизнь создает порядок, но порядок бессилен создать жизнь».

А я, кстати, о «порядке», решил ближе познакомиться со справочником Главлита. Диковинная книга: цензор исходит из предположения, что весь мир в принципе запрещен, все вокруг запретно. Но есть список вещей и явлений, по исключению, разрешенных (аэродром «Внуково» или трехлинейная винтовка образца 1893 года). Самое трогательное, что нельзя ни прямо, ни косвенно упоминать о существовании и функциях Главлита. Запрет распространен на самое себя.

6.VIII.1962. Письмо Хрущеву с рукописью «Одного дня» пошло к В. С. Лебедеву.

14.VIII.1962.

Для статьи о повестях Нилина решил перечитать кое-что у Сталина. В редакционной библиотеке, доставая его сочинения с полки, милая пожилая библиотекарша сдувала с них густую пыль: лет пять никто не тревожил эти томики.

Она же рассказала: ее дочка-школьница с подругой ходили по домам собирать макулатуру. Какая-то старушка вынесла им на лестницу полное собрание Сталина, новенькие книги, даже в картонных футлярах.

Девочка замялась: как же мы Сталина понесем сдавать? А подруга ей: «Ничего, Олька, берем, теперь можно».

В школе у весов стоял долговязый десятиклассник, принимавший макулатуру. Взглянул на картонные футляры, спросил: «Пустые?» «Да нет». Достал одну, другую книгу, засомневался, полистал, потом вдруг вздохнул и решительно бросил на весы: «Э-эх, Иосиф Виссарионович!»

Вот она, земная слава.

25.VIII.1962.

Сижу на даче, пишу статью о Нилине. Временами перо замирает. Приходит сомнение — не слишком ли задорно, пропустит ли цензура и т. п. малодушные мыслишки. Но как быть? Пора начать говорить внят-

но, своим голосом, иначе надо поставить на себе крест. Вспомнил любимый афоризм Толстого: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».

С Солженицыным движения пока нет. Письмо и рукопись у В. С. Лебедева.

В редакции волнения вокруг 5-й книги мемуаров Эренбурга.

Читал рукопись и думал: занимательность, острота неоспоримые. Но есть книги, которые при видимом однообразии рассказа — разнообразны. (Это «Уолден» Торо, к примеру, которого я читаю с наслаждением, такая прелесть эта несуетливая мудрость!) Есть же книги, которые при всем разнообразии, пестроте — однообразны. Таков, кажется, Эренбург. Книга без сюжета должна иметь сюжетом хотя бы движение мысли, духа автора (недостижимый образец — «Былое и думы»). Здесь же, у Эренбурга, — мелькание эпизодов, как будто часами не выходишь из зала кинохроники.

* * *

Известный афоризм Горького: «Рожденный ползать — летать не может». Есть что-то неприятное, бесчеловечное в этом делении на «летунов» и «ползунов» и, как многое у основоположника, вызывает сегодня сомнение. Люди, которые обычно этот афоризм повторяют, убеждены, что они-то самые большие летуны и есть.

8.IV.1962 подписан к печати **№ 9** «Нового мира».

В номере:

повесть Алексея Некрасова «Старики Кирсановы» (из самотека, новичок в литературе).

рассказ В. Некрасова и записи И. С. Соколова-Микитова,

стихи Максима Танка и С. Щипачева,

статьи И. Андроникова, М. Туровской («Прозаическое и поэтическое кино сегодня»).

Рецензии В. Сурвилло, И. Соколова-Микитова, А. Туркова, З. Паперного.

8.X.1962.

Месяц не писал, был в отпуске в Болгарии. За это время кое-что случилось. Александр Трифонович рассказал сегодня, что с солженицынской повестью сдвинулось дело. В. С. Лебедев, помощник Хрущева, на отдыхе, в Гаграх, выбрав время, как-то стал читать Никите Сергеевичу повесть. Читал и на другой день вечером. А потом, утром, были уже отложены все государственные дела, Хрущев позвал Микояна и читали второй раз вслух — эпизод про «красилей» и проч., Хрущеву очень понравилось, просил пригласить Твардовского, но потом передумал.

Срочно попросили тиснуть 25 экземпляров верстки в типографии, наверное, для обсуждения. Не хочет ли Хрущев дать своим сотоварищам предметный урок по критике культа личности? — думает Твардовский.

«Когда был этот звонок, жена ждала меня обедать, все торопила. У нас вообще-то пуританский стиль отношений в семье, но тут я позвал ее с кухни, чтоб все бросила, и расчувствовался: «Победа, Маша, победа!»

«Я сказал Лебедеву: «Спасибо, что вы есть, что вы помогли нам». А он: «Спасибо, что вы есть. Видите, правда, она все же существует». А я: «Существует-то она существует. Но важно, как ее д о л о ж и т ь». Последние слова он произнес с заметным лукавством в голосе.

«Но вот я радовался: победа, победа, а ответа окончательного нет, дело как-то захрясло».

«Так всегда и бывает, — отозвался Сац. — В мае 45-го года то же чувство было».

Твардовский рассказывал о ненапечатанной поэме Исаковского «Сказка о правде», передавал ее сюжет. Мужик пошел правду искать. Шел через косогоры, буераки, через реки перебирался. И пришел наконец в город. Спрашивает: «Где тут правда?» Нет нигде правды. Он было уходить собрался, а тут ему прохожий говорит: «Да я знаю, она на окраине живет, в самой грязной хате, иди туда. Боюсь только, в лицо ты ее не признаешь». Пошел мужик, куда ему указали. В самом деле, развалюха-хата, и выходит оттуда страшная, грязная, вся в лохмотьях женщина и говорит: «Я — правда». Мужик обрадовался сначала, что правду увидел, а потом испугался, как же он будет рассказывать о такой-то правде своим односельчанам. «А ты ради меня солги», — сказала правда.

«Вот так-то обстоит дело с правдой», — закончил рассказ Александр Трифонович. И мы стали говорить, не приспела ли пора эту сказку Исаковского напечатать.

Когда шли обедать в «Эрмитаж» мимо моего дома, Александр Трифонович остановился у зелененького особняка — там когда-то помещалась редакция «Огонька».

«Помню, как приходил сюда мальчишкой, — сказал Александр Трифонович, — сидел у Ефима Зозули. И какой я был тогда несчастный — голодный, холодный. Врут, когда говорят, что молодость всегда прекрасна. Я с горечью вспоминаю свою молодость: как худо мне приходилось».

Потом, за обедом, зашел разговор об ИФЛИ, о Шелепине[1], который был тогда в институте секретарем комитета комсомола. «Я не знал его, может, знал, но не помню. Я как-то в стороне держался. Мне уже 26 лет было, много старше других, и я был исключен из комсомола».

* * *

Без меня тут были баталии вокруг армянских записок Гроссмана и зарубежных очерков Некрасова. Гроссмана с 10-го номера отодвинули, чтобы он что-то еще поправил до цензуры, а с Некрасовым Александр Трифонович имел трудное объяснение. Твардовского раздражает в нем то, что он называет «легковесностью». Некрасов обиделся, ушел, дверью хлопнув.

Герасимов, Сац и я, все трое, убеждали Твардовского, что он был не прав, не подавши ему руки и злых слов наговорив о его рукописи.

Александр Трифонович кротко согласился, что «пережал», но оправдывает себя тем, что Некрасов вел себя вызывающе, слушать ничего не желал и говорил только, как Эренбург: «А я так хочу».

Твардовский вспоминал, каким прекрасным, скромным, молодым пришел Некрасов с «Окопами Сталинграда», которые назывались тогда «На краю земли». Тонкий офицер — подтянутый, внимательный, сдержанный.

«Чего-чего я с этой рукописью ни пытался сделать, чтобы ее напечатали, как только ни лукавил. Чагину, директору издательства, говорил, что книга печатается в «Знамени», в «Знамени» же ссылался на издательство. Потом в Комитете по Сталинским премиям, где тогда по статуту каждый член комитета имел право выдвигать от себя кандидатуры, я выдвинул Некрасова. Старики поддержали, и книга прошла».

17.X.1962 подписан **№ 10** «Нового мира».

В номере:

Е. Дорош. «Райгород в феврале» (из «Деревенского дневника»).

Повесть В. Каверина «Косой дождь».

«Письмо заложника» Сент-Экзюпери;

воспоминания И. М. Майского,

рецензии Н. Коржавина, Ю. Бондарева, Л. Лазарева и др.

* * *

Твардовский в восторге от очерка Яшина «Вологодская свадьба». Недурен и «Дневник Нины Костериной». История его такова. Е. Герасимов читал длинное, водянистое сочинение А. Костерина и вдруг напал на

[1] Александр Николаевич Шелепин, в 1958—1961 гг. — Председатель КГБ СССР, 1961 г. — Секретарь ЦК КПСС, 1962—1965 гг. — Зампред Совмина СССР.

живые страницы. «Вот так бы и писать»,— сказал он автору. «Да это подлинный дневник моей дочери». Его Герасимов и вынул из толстенной рукописи романа.

22.X.1962.

20 октября Твардовского принял Хрущев. Александр Трифонович рассказывает: «Я понял, что произошла какая-то общая подвижка льдов... Меня встретили с такой благожелательностью, как никогда раньше».

Об «Иване Денисовиче» Хрущев сказал: «Это жизнеутверждающее произведение. Я даже больше скажу — это партийное произведение. Если бы это было написано менее талантливо — это была бы, может быть, ошибочная вещь, но в том виде, как сейчас, она должна быть полезна».

Хрущев дал понять, что не все члены Президиума, которые знакомились с повестью, сразу ее раскусили. «А я сказал: идите и еще подумайте».

Хрущев говорил о том, что специальной комиссией собрано три тома материалов о преступлениях Сталина, продолжается расследование дела об убийстве Кирова и т. п. «Мы должны сказать правду об этом времени. Может быть, не все документы и материалы нужно сейчас публиковать, но надо собирать все, чтобы предъявить потомству. Нас будут судить следующие поколения, и пусть они знают, в каких условиях нам пришлось работать, какое наследство мы приняли».

«Я правильно понимаю, что ваш доклад о культе личности на XX съезде был сопряжен и с личным риском?» — спросил Твардовский.

«Еще бы, еще бы!..» — живо отозвался Хрущев и рассказал, как, когда смещали Берия, он с Маленковым и Булганиным уезжал далеко за город, шел в лес и, только далеко уйдя от дороги, решался заговорить о деле. Однажды Хрущев заметил, поднимаясь к себе в кабинет, что у лифта и в коридорах ЦК — всюду на постах люди Берия. Он заявил, что все они зажирели, их нужно отправить побегать с оружием в полевых условиях, и сменил всю охрану на воинский контингент.

Хрущев намекнул Александру Трифоновичу, что аппарат срывает ему борьбу с культом личности. Кажется, он и прямо сказал об этом на Президиуме. Литература же эти вопросы ставит. Хрущев говорил о стихах Евтушенко («Наследники Сталина»?), о стихах некоего Генкина из Ленинграда.

Твардовский говорил с Хрущевым и о цензуре. Сказал, что считает ненормальным положение, когда ЦК доверил ему журнал, а над ним поставлен неграмотный цензор. «Ведь «Ивана Денисовича» в цензуре бы зарезали». «Зарезали бы, зарезали»,— жизнерадостно, со смехом подтвердил Хрущев.

«Если я, скажем, не гожусь как редактор, если мне не доверяют, то пусть меня освободят»,— заявил Александр Трифонович и, конечно, услышал горячие разуверения. Твардовский внушал Хрущеву, что вообще цензура — пережиточный орган, оставшийся нам в наследство от «культа личности». Советский редактор, в отличие от редактора журнала «Современник» или «Отечественные записки» в XIX веке, не враг своему государству и правительству. Так зачем же ставить над ним цензора?

«Это надо обдумать,— ответил Хрущев.— Может быть, вы и правы. В самом деле, год назад отменили цензуру на сообщения из Москвы иностранных корреспондентов, и что вы думаете? Стали меньше лгать и клеветать».

«Он согласился со мной,— рассказывал Александр Трифонович,— что то или иное м н е н и е руководящего лица о произведениях искусства зависит часто от причин случайных, от дурного пищеварения даже». Александр Трифонович усердно убеждал Хрущева, что литература может лучше помочь советской власти, если ей будет дана возможность свободнее критиковать темные стороны жизни. «Советская власть не такая мимозно-хрустальная, чтобы рассыпаться от такой критики»,— говорил Александр Трифонович. «Знайте, Никита Сергеевич, что все лучшее в нашей интеллигенции поддержит вас всецело в борьбе с культом личности».

Пожаловался Твардовский и на задержку в цензуре статьи Каверина о Зощенко. Сказал, что, на его взгляд, постановления ЦК о литературе 1946 года отменены жизнью, устарели безнадежно, их никто уже не решается цитировать. Но корабль литературы все еще цепляется килем за эти подводные камни.

«И еще одна просьба, личная»,— сказал Твардовский, когда беседа подходила к концу. Никита Сергеевич весь сразу сник, потух, видно, решил, что будет просить квартиру или дачу. Все оживление его погасло.

«Нельзя ли отложить мою поездку в Америку? — сказал Твардовский.— Я хочу кончить поэму, так сказать, на своем приусадебном участке поработать». Хрущев был доволен: «Конечно, конечно... Сейчас отношения с Америкой плохие. А вот весной поезжайте, они вас отлично примут».

Твардовский пояснил, что он со своей поэмой, «как баба на сносях», и Хрущев одобрительно отнесся к его намерению печатать «Теркина на том свете» в переработанном виде. Он подтвердил, что главной причиной запрета в 1954 году были несколько строк, где генерал мечтает собрать на бюрократов «п о л ч о к с о л д а т». В этом увидели бунтовщицкий намек, что ли...

Таков был подробный рассказ Твардовского об этой встрече.

На другой день Александр Трифонович собрал всех в редакции и коротко, сжато, во избежание лишних слухов, информировал сотрудников. Говорил о том, что Хрущев произвел на него очень хорошее впечатление нежеланием грубо вмешиваться в литературные дела, оценивать произведение по существу. «Кажется, он досадует, что у него нет своего Луначарского». Ильичев же на эту роль явно не годится.

Попутное

Прерву дневник для позднейшего примечания. В 70-е годы кто-то из наследников Виктора Сергеевича Голованова, цензора «Нового мира», передал мне оставшуюся после покойного тетрадь. На обложке ее написано: «Тетрадь 1-я. Прохождение материалов по журналу «Новый мир» с № 10 — 1962 года». Почерк писарский, с лихими росчерками.

Виктор Сергеевич был невысокого роста, краснощекий и еще крепкий старичок, аккуратный и исполнительный чиновник. В прошлом он, кажется, служил в красной кавалерии. Но тетрадь рисует его бдительным, осторожным и законопослушным. Я решил привести здесь из нее несколько выдержек.

Лица, упоминаемые Головановым, кроме сотрудников редакции Кондратовича и Закса, таковы:

а) его непосредственная руководительница, начальник 4-го отдела Главлита Галина Константиновна Семенова. Она ведала в цензуре всей художественной литературой. Известна была как ярая сталинистка. Это ей, Галине Константиновне, принадлежит летучая фраза в ответ на замечание кого-то из наших, что она-де не сможет запретить какой-то материал: «Запретить не запрещу, а нервы помотаю».

б) Аветисян Степан Петрович, заместитель начальника Главлита П. К. Романова. Человек лично не злой и покладистый, года через 2—3 после описываемых событий перешел работать в Общий отдел ЦК.

в) Романов Павел Константинович — многолетний Начальник Главлита.

Итак, тетрадь цензора.

«Прохождение материалов по журналу «Новый мир» № 11 — 1962»

На предварительную читку курьер представил материалы журнала № 11 — 17 октября (без раздела «Книжное обозрение» и других данных конца №). 23.X. во второй половине дня позвонил т. Закс и сказал: «Редакция вносит изменение. Очерк А. Яшина «Вологодская свадьба» и «Дневник Нины Костериной» с публикации снимаются. Вместо них редакция присылает:

1. Межелайтис — стихи «Гимн утру».
2. А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» (повесть).

3. В. Некрасов «По обе стороны океана».

(Остальной материал без изменений.)

Прочитав повесть Солженицына вечером 23.X., я 24.X. утром доложил т. Аветисяну о поступлении на контроль этой повести и по указанию т. Аветисяна немедленно передал ее Начальнику отдела.

29 октября на предварительную читку получено «Книжное обозрение» и др. материалы до конца № 11—1962.

30 октября в 15 ч. 45 м. курьер ж. «Новый мир» по поручению секретаря редколлегии т. Закса представил для оформления к печати 2 экз. подписной верстки в объеме 8-ми печатных листов с 3 по 10 включительно. В эти листы входят и повесть А. Солженицына (2 часть), примерно больше половины, 40 стр. до конца, и очерк Виктора Некрасова.

Курьер передал следующее:

«Тов. Закс, отсылая меня к вам, сказал: «Если т. Голованов не подпишет материалы (он явно имеет в виду повесть А. Солженицына), пусть вернет сразу же неоформленный материал в редакцию...»

Этот своеобразный ультиматум т. Закса мною немедленно был доложен Начальнику отдела т. Семеновой, которая дала указание: «оформить беспрепятственно», что и было мною выполнено в 16.00. Материал был передан курьеру.

Зав. редакцией Бианки[1] сказала: «Я знаю, что эта повесть была послана в ЦК КПСС, читал т. Хрущев, есть положительное решение о возможности ее публикации, принятое Президиумом ЦК КПСС».

т. Семенова предложила мне все это перепроверить в условиях служебных переговоров непосредственно с Заксом, для чего следует пригласить его в Главлит и установить в дальнейшем порядок: «подписание к печати оформлять при вызове ответственного представителя редакции, а не через курьера».

2 ноября было оформлено к печати 4 печатных листа (11, 12, 13 и 14), привозил в Главлит т. Закс.

т. Закс по указанию руководства был мною приглашен для специального разговора по поводу материала В. Некрасова «По обе стороны океана». По указанию т. Аветисяна речь шла об оценке итальянскими товарищами, выступавшими на заседании Европейского сообщества писателей, выступлений нашей печати, особенно с материалами, касающимися вопросов, связанных с ликвидацией последствий культа личности И. В. Сталина. Этот разговор был проведен с участием Начальника 4-го Отдела т. Семеновой. 3.XI. об этом было доложено тов. Аветисяну. Кроме того, мною был поставлен перед т. Заксом вопрос о процедурных моментах, связанных с публикацией повести «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.

Тов. Закс сообщил:

«Материал был получен самотеком уже давно. Затем, в порядке консультации, был редколлегией, по инициативе Твардовского, направлен в ЦК КПСС. Прочитан Первым Секретарем. Затем было послано 25 экземпляров оттиска по указанию. Затем перед включением повести в № 11 т. Твардовский был принят Первым Секретарем, где, в частности, было сообщено положительное мнение о возможности публикации повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Со стороны руководства Главлита СССР т. Романова через Начальника 4-го Отдела я получил указание: «Оформить материал к печати без каких-либо замечаний и препятствий со стороны цензуры». Это было выполнено. Написал Докладную записку на имя т. Семеновой.

Последний момент из переговоров с т. Заксом. Я обратил внимание на то, что в будущем нам следует по конкретным вопросам, о которых совершенно недопустимо ведение переговоров по телефону, чаще встречаться, особенно в момент подписания материалов к печати.

Тов. Закс заявил: «Я готов в любой момент по любому вашему требованию явиться в Главлит СССР для деловых встреч, касающихся прохождения в цензуре материалов нашего журнала. Я всегда уполномочен

[1] Наталья Павловна Бианки, заведующая редакцией «Нового мира».

Главным редактором т. Твардовским на ведение с вами таких переговоров».

* * *

На этом я прерву этот цензорский дневник, написанный слогом военных донесений и бюрократических реляций. К нему я еще буду обращаться. А сейчас вернусь к моим записям.

3.XI.1962.

День рождения Маршака. Александр Трифонович дня два был занят приготовлением ему подарков и юбилейных поздравлений. З. Паперный сочинял шутливый текст, покупали цветы, потом все отправились к старику. Там Александр Трифонович читал ему адрес, прерываемый то и дело телефонными звонками, и Маршак, что было не очень вежливо, хватался за телефонную трубку.

«Ах, я так скверно себя чувствую, — постанывает Маршак. — Это не юбилей, голубчик, а убилей. Юбилеи надо праздновать лет в 14—16, тогда от этого получаешь полное удовольствие». Но, видит Бог, это и сейчас ему небезразлично.

* * *

Когда собирались к Маршаку и Твардовский торопился, нервничал, пришел Олег Васильевич Волков с красивой бородой (про него известно, что он из дворян и много лет сидел), высокий, представительный, грассирующий господин.

Явился он некстати, не в лучший час, но расположился объясниться с Александром Трифоновичем по рукописи, которую ему вернули.

— Вы пишете про современную деревню, — сказал ему Твардовский, — как 50—70 лет назад можно было писать: «тургеневская» такая манера, «разнотравье» и т. п. А нынешнего крестьянина вы не знаете. Вот, смотрите, Ефим Дорош, тот знает, хотя он и в разнотравье понимает, но, кроме того, и еще кое в чем знает толк.

— Я не знаю совъеменной дегевни? — грассируя на старобарский манер, возмущался Волков. — Давайте встанем гядом косить, я вам подъежу пятки, — кричал он, тряся бородой.

— Ну, этот спор мы должны отложить по крайней мере до июня, — усмехнулся Трифонович, уже натягивая пальто. И вдруг с задором спросил:

— А лошадь запрягать вы умеете?

— Еще бы.

— Ну как? Что сначала сделаете?

Волков стал говорить, сделал какую-то ошибку в последовательности действий (шлея, седелка, подпруга...), и Александр Трифонович его мгновенно сбил.

— Вы не сердитесь, что я говорил так резко, — сказал он, с улыбкой протягивая Волкову руку на прощанье. — Но вы на мою любимую мозоль наступили.

* * *

От Маршака часов в шесть вернулись в редакцию, чтобы встретить праздник 7 ноября с сотрудниками.

Пока женщины собирали на стол, мы сидели в углу нашей большой комнаты за круглым столиком с Александром Трифоновичем и Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. Александр Трифонович вспоминал свое деревенское детство.

Как раз на днях Маршак говорил мне, что в Твардовском есть черты и отца, и матери, Маршак их обоих знал. Отец, судя по его рассказам, человек сильный, грубоватый даже, самобытный, но не без того, чтобы богатеньких уважать. А мать — нежная, поэтическая душа. Говорил еще Маршак о том, что поэт Твардовский — чудо, но это чудо не на голом месте: за ним особая смоленская крестьянская культура — культура быта, промысла, художественного ремесла.

...Когда собрались сотрудники и началось застолье, Александр Трифонович сказал небольшую поздравительную речь, обращаясь ко всем,

кто тесно сидел за длинным столом. Говорил о радости 11-го номера, о том, что больше всего ценит в любом сотруднике, вне зависимости от возраста и положения, одно качество — любовь к журналу. Особо обратился к корректорам — призывал их блюсти «культуру журнальной страницы».

З. Паперный произнес юмористическую речь, что вот-де самый надежный транспорт — не метро, не автобус, не автомобиль. Существует такое выражение: «А ты на чем приехал? На 11-м номере». Вот он и предлагал журналу — ехать и дальше на 11-м номере.

Имя Солженицына было у всех на устах, пили его здоровье, радовались его повести как огромной журнальной победе.

Александр Трифонович всегда говорил, что верует и исповедует: все истинно талантливое в литературе пробьет себе дорогу. Нет гениальной вещи в писательском столе, которую нельзя было бы напечатать. «Один день» был тут величайшим искусом: не напечатать его значило потерять свой оптимизм, веру в то, что в конечном счете все устраивается правильно, и писателю надо сетовать не на цензуру, не на редакторов, а лишь на самого себя: не сумел, не смог сделать вещь «победительной».

После пятого или шестого тоста общество разбилось на группы. Стали петь. Сладилось у нас «трио»: Дементьев, Твардовский и я. Пели «Далеко-далеко степь за Волгу ушла...», «Враги сожгли родную хату...» и всякое иное. Сколько же Александр Трифонович знает народных песен — старых, красивых, незапетых!..

Моим соседом по столу был Е. Я. Дорош. Говорили с ним о Солженицыне. И о том, что человеку несладко, если его пишут с большой буквы, как Горький: Человек. Какое величие! Но тут и берегись — пахнет презрением к каждому.

* * *

Как-то на днях после работы в отсутствие Твардовского сидели в редакции с Дементьевым. Говорили об Александре Трифоновиче. Отчего у него такие приступы дурного настроения, раздражительности, когда все не так уж плохо?

Дементьев говорит: «Он никак не может кончить «Теркина на том свете», все что-то поправляет, переделывает, будто боится расстаться с этой работой, выпустить ее из рук. Может быть, потому, что не знает, что писать дальше, когда эта работа будет кончена». Твардовскому нужна точка опоры, ясное мировоззрение, твердая почва, без фальши. Прежде, в «Далях», было, казалось, что-то найдено, уяснено. Теперь опять пауза, растерянность, которую он не хочет выказать.

12.XI.1962.

5 ноября, под праздник. «Известия» неожиданно поместили рассказ Шелеста «Самородок», о репрессированных коммунистах. Сделано это, как можно полагать, чтобы сбить предстоящий успех Солженицына в журнале и, пользуясь дозволением опасной темы, самим забежать с лагерной сенсацией вперед.

М. Хитров рассказывает, как А. И. Аджубей волновался, разыскивая чего-нибудь на «лагерную тему». Вспомнили, что был какой-то рассказ, присланный из Читы, который давно бросили в редакционную корзину. Текста не нашли, но связались с автором и срочно принимали рассказ по телефону из Читы — и тут же в номер.

Я пересказал этот эпизод Александру Трифоновичу. Он огорчился больше, чем я думал, это его прямо-таки лично задело.

На праздничном приеме в Кремле Твардовский не удержался и подошел к Аджубею. «Рассказец Шелеста был у нас, — сказал он. — Мы могли попридержать его на полгодика, до выхода Солженицына, да не могли подумать, что такое дерьмо кто-нибудь подберет».

На праздниках Александр Трифонович перечитал в верстке Солженицына и говорил потом в редакции: «Сам себе не верю, неужели мы это напечатаем?» Он написал письмо автору с отеческими предупреждениями и увещеваниями относительно грядущей шумихи и искуса славы. Просил избегать встреч с репортерами, инсценировщиками и проч. Твардовский советовался по поводу этого письма в редакции. Кондратович сказал ему, что он в слишком высоких словах пишет Солженицыну о его таланте, надо бы умерить выражения. Твардовский как-то по-детски огорчился, растерялся и принес письмо мне. Я согласился с ним, что перехвалить эту вещь Солженицына нельзя, что его повесть знаменует новое летосчисление в нашей литературе. Александр Трифонович успокоился и послал письмо.

Попутное

Снова прерываю свои записи ради дневника цензора Голованова. Только 14 ноября из разговора с главным редактором Гослитиздата А. И. Пузиковым он узнал подробности беседы Твардовского с Хрущевым, закрепившей ошеломляющее решение — опубликовать «лагерную повесть». Его краткая запись интересна тем, что показывает, какими сведениями о нас располагала на тот день цензура.

14.XI.62. Имел место деловой разговор с т. Пузиковым.
Тв[ардовский] — Хр[ущев]
I вопрос: Солженицын (можно!)
II вопрос: Зощенко (В. Каверин). Думает.
III вопрос: Теркин в аду (надо подумать).
По культу... (есть данные)
Два редактора: я и Ц[ензор]
(Надо подумать)
А затем аппарат:
Письма (Тв[ардовского]), звонки по телефону (Евт[ушенко]) — надо навести порядок.

Справка

В момент моего пребывания на цензорском занятии 16.XI., приблизительно в 16.00. прибыл в Главлит СССР курьер журнала «Новый мир» для оформления выпуска в свет ж. № 11 — 1962. Выпуск в свет был разрешен немедленно.

* * *

№ 11, 1962. Подписано к печати. 3.XI.1962.
В номере:
А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича».
Виктор Некрасов. «По обе стороны океана».
Стихи Э. Межелайтиса, С. Маршака.
Статьи К. Чуковского («Маршак»), В. Лакшина («Доверие». О повестях П. Нилина), А. Дементьева.
Рецензии М. Рощина, И. Соловьевой и В. Шитовой, Л. Зониной и др.

* * *

16.XI.62 — «сигнал» № 11, 1962.

17.XI.62 — начата рассылка номера.

20.XI. Кругом толки о Солженицыне. Появились и первые рецензии. В вечернем выпуске «Известий» от 17 ноября статья К. Симонова, в «Правде» В. Ермилов пишет, что солженицынский талант «толстовской силы».

Были с Сацем в Переделкине, навещали там М. А. Лифшица, обедали с ним. «В тех несвободных условиях, какие показывает Солженицын, — рассуждает Лифшиц, — и стал возможен свободный «социалистический труд». «Если бы я писал статью об этой повести, обязательно бы «Великий почин» Ленина вспомнил», — то ли всерьез, то ли с иронией говорит М. А.

«Вопрос соотношения цели и средств — пожалуй, главный вопрос, который сейчас всех в мире занимает».

Навещал в эти дни и Маршака. Он после болезни лежит в расстегнутой белой рубахе, дышит тяжело, приподымается с подушек и говорит, говорит без умолку. В том числе и о Солженицыне говорит, называя его то Солженцев, то Солженцов («этот Солженцев, голубчик...»).

«В этой повести народ сам от себя заговорил, язык совершенно натуральный». Говорил еще о познавательном эффекте хорошей литературы — из «Солженцева» можно узнать, как течет весь день зека, что едят и пьют в лагере и т. п. Но это было уже мелковато. «Голубчик, почему бы ему ко мне не приехать? Ведь, кажется, он был у Ахматовой? Так приведите его ко мне».

Как-то недавно Маршак целый вечер рассказывал мне о Горьком: о своем знакомстве с ним на даче Стасова, о расхождении потом и о поддержке Горьким их дела — ленинградской редакции Детиздата. «Горький умел очаровывать. Он высасывал из человека все и потом охладевал к нему».

«Расскажите, что делается в журнале, — просил Маршак. — Году в 1938 или 39 мы мечтали с Твардовским завести свой журнал. Как я теперь понимаю, это должен был быть «Новый мир»... Журнал надо вести так, чтобы каждый его раздел мог вырасти в отдельный журнал».

* * *

В ближайшие дни после выхода в свет № 11 состоялся очередной Пленум ЦК. У типографии запросили 2200 экземпляров журнала, чтобы продавать его в киосках на Пленуме.

Кто-то пошутил: «Они же доклад обсуждать не смогут, все «Ивана Денисовича» будут читать». Ажиотаж страшный, журнал рвут из рук, в библиотеках с утра на него очереди.

Твардовский был на Пленуме и говорил, что сердце у него заколотилось, когда он увидел в разных концах зала голубенькие книжки. К нему подходили многие — Чернышов, секретарь Владивостокского крайкома, Горячев из Новосибирска. Последний, кажется, сказал: «Да у меня в области таких хозяйств сколько хочешь, но зачем о них писать?»

Конец ноября 1962.

Был вечерок у Закса на Аэропортовской ул. Сидели тесно на кухоньке.

Твардовский рассказал мне, что Солженицын был у него на днях, привез новый рассказ о войне [1]. Когда он говорил об этом, даже глаза жмурил от удовольствия. Александр Трифонович просто влюблен, все время твердит: «Какой это парень! Он отлично всему знает цену. Поразительно, как это у себя в провинции он так точно чувствует, что добро, а что недобро в литературной жизни». Сошлись они на отношении к последним сочинениям Паустовского, на которого Александр Трифонович все еще досадует. Трифоныча привело в восторг, что Солженицын сказал о «Броске на юг» почти теми словами, что он сам: «Я думал, это будет гражданская война, бои с Врангелем, захват Крыма, а оказывается, это автор бросился из Москвы в одесские кабаки и на пляжи».

Поразил Солженицын еще и тем, что, когда он был у Твардовского, принесли газету со статьей Симонова о нем. Он глянул мельком и говорит: «Ну, это я потом прочту, давайте лучше поговорим». Александр Трифонович удивился: «Но как же? Это же впервые о вас пишут в газете, а вас вроде бы даже не интересует?» (Твардовский даже род кокетства углядел в этом.) А Солженицын: «Нет, обо мне и раньше писали, в рязанской газете, когда моя команда завоевала первенство по велосипеду».

Солженицын сказал Твардовскому: «Я понимаю, что времени мне терять нельзя. Надо браться за что-то большое».

Новый его рассказ Твардовский хвалит, но читать пока не дает. «Там есть кое-какие заусеницы. Надо их подубрать».

Отцовское чувство Александра Трифоновича задел Д., который встретил его на лестнице в Союзе писателей и спросил: «Ну как, будете печатать новый рассказ Солженицына?» — «А вы откуда о нем знаете?» — «У Солженицына в Москве есть друзья», — задорно сказал Д.

«Я-то думал, что его главные друзья в «Новом мире», — сокрушался Александр Трифонович, — а выходит, что мы зажимщики, цензора, а друзья — это Копелев [1] с компанией».

[1] Солженицын привез рассказ «Зеленая фуражка» и имел долгий разговор с Твардовским.

Про Л. Копелева, о котором многие говорят как о первооткрывателе «Ивана Денисовича», Солженицын рассказал Твардовскому, что тот заметил ему, прочитав впервые повесть в рукописи, о сцене работы зеков: «Это в духе соцреализма». А о втором рассказе — «Не стоит земля без праведника»: «Ну, знаешь, это образец того, как не надо писать». Копелев держал у себя рукопись чуть не год, не решаясь передать ее Твардовскому. А потом, после настояний Солженицына, отдал ее, как самотек, в отдел прозы. «Ко мне зашел с каким-то пустым вопросом, а об этом, главном, не сказал», — удивлялся, сгорая от досады и ревности, А. Т. Ему передала рукопись А. С. Берзер [2].

Трифоныч рассказывал еще о прочитанном им неоконченном романе Эм. Казакевича о 30-х годах. «Какая жалость, что уже ничего нельзя сказать ему, посоветовать. Идет хорошо, хорошо, а потом провал... В «Звезде» он изображал людей, которых знал по фронту, с которыми воевал. Но их мирную, домашнюю жизнь он не знает. Не знает, как говорят в деревне, что это за люди. Язык часто какой-то искусственный, под Мельникова-Печерского».

Думает Александр Трифонович и о будущем своей новой поэмы. «Дочка мне говорит: «Папа, ты обещал в 1962 году совершить три чуда: разгромить роман Кочетова, напечатать Солженицына и написать нового «Теркина на том свете». Два дела исполнил, последнее — не до конца».

24.XI.1962.

Александр Трифонович сказал, передавая мне рассказы Солженицына: «Посмотрите внимательно перед обсуждением. Но, впрочем, вам остались мелкие камушки, булыжники я оттуда уже повыкидывал».

Прочитал Твардовский и пьесу Солженицына [3] и сказал ему: «Теперь вы можете оценить мою искренность — пьесу я печатать не советую».

«Я думаю поговорить о ней еще со специалистом-режиссером», — ответил Солженицын. «Но ведь он скажет «великолепно», — парировал Твардовский, — втянет вас в колесо поправок, переделок, дополнений и т. п.».

В «Новый мир» хлынул поток «лагерных» рукописей, не всегда высокого уровня. Принес свои стихи В. Боков, потом какой-то Генкин. «Кабы нам не пришлось переименовать наш журнал в «Каторгу и ссылку», — посмеялся я, и Твардовский на всех перекрестках повторяет эту шутку.

«Сейчас все доброе к нам поплывет, — говорит Твардовский, — но и столько конъюнктурной мути, грязи начинает прибивать к «Новому миру», надо нам быть осмотрительнее».

24-го вечером пировали в ресторане «Арагви» нашу победу. Подняв бокал за Солженицына, следующий тост Александр Трифонович произнес за Хрущева. «В нашей среде не принято пить за руководителей, и я испытывал бы некоторую неловкость, если бы сделал это просто так, из верноподданных чувств. Но, думаю, все согласятся, что у нас есть сейчас настоящий повод выпить за здоровье Никиты Сергеевича».

26.XI.1962.

Утром в редакции обсуждение двух рассказов Солженицына.

Солженицын очень туго шел на поправки, предлагавшиеся, впрочем, членами редколлегии довольно осторожно, бережно. «У нас новый Маршачок», — сердился Александр Трифонович на его упрямство.

Первый рассказ все дружно хвалили. Твардовский предложил назвать его «Матренин двор» вместо «Не стоит село без праведника». «Название не должно быть таким назидательным», — аргументировал Александр Трифонович.

«Да, не везет мне у вас с названиями», — отозвался, впрочем, довольно добродушно, Солженицын.

[1] Копелев Лев Зиновьевич (р. 1912) — литературовед, критик, товарищ Солженицына по тюремной «шарашке».
[2] Анна Самойловна Берзер, старший редактор отдела прозы «Нового мира».
[3] «Свеча на ветру».

Второй рассказ тоже пытались переименовать. Предлагали — мы и сам автор — «Зеленая фуражка». «На дежурстве» («Чехов бы так назвал», — заметил Солженицын). Сошлись на названии «Случай на станции Кречетовка».

Все говорили о том, что в этом рассказе мало правдоподобен мотив подозрения: актер Тверитинов будто бы забыл, что Царицын переименован в Сталинград, и этим погубил себя. Возможно ли такое? Сталинград знали все.

Солженицын, защищаясь, говорил, что так в действительности и было. Он сам помнит эти станции, недальние военные тылы, когда служил в обозе в начале войны. Но был материал, материал — а случай с артистом, о котором он узнал, все ему осветил [1].

Я упрекал Солженицына за некоторые излишества словесности, произвольное употребление старых слов, таких, как «оплечье», «зело». И искусственных — «венуло», «менело». «Вы меня выровнить хотите, — кипятился поначалу он. Потом согласился, что некоторые фразы неудачны. — Я спешил с этим рассказом, а вообще-то я люблю забытые слова. В лагере мне попался III т. словаря Даля, я его насквозь прошел, исправлял свой ростовско-таганрогский язык».

Разговаривая со мной потом наедине, он свое великодушие настолько простер, что даже высказал комплимент: «А у вас есть слух на слова».

Я рассказал ему о встрече с Ш., его свойственником. «У меня со всеми находятся общие знакомые, — отозвался Александр Исаевич, — даже с Хрущевым. С его личным шофером я сидел в одной камере в 1945 году. Он хорошо отзывался о Никите». А сейчас стали возникать люди, узнавшие себя в повести. Кавторанг Буйновский — это Бурковский, он служит в Ленинграде. Начальник Особлага, описанного в «Иване Денисовиче», работает сторожем в «Гастрономе». Жалуется, что его обижают, приходит к своим бывшим зекам с четвертинкой — поговорить о жизни.

Разыскал Солженицына в Рязани и К., представившийся ему как сын репрессированного. Я знал его по университету.

«Что он за человек?» — спросил Солженицын. Я сказал, что о нем думаю, и собирался было подтвердить это каким-то рассказом, но Александр Исаевич прервал меня: «Достаточно. Мне важно знать ваше мнение. Больше ничего не надо».

Говорит он быстро, коротко, будто непрерывно экономит время и на разговоре.

28.XI.1962.

Твардовский иронизировал по поводу отклика на повесть Солженицына, появившегося в «Литературе и жизни».

«Эта задыхающаяся газетка поместила рецензию Дымшица [2], написанную будто нарочно так, чтобы отвадить от повести... Ни одной яркой цитаты, ни напоминания о какой-либо сцене... Сравнивает с «Мертвым домом» Достоевского и то невпопад. Ведь у Достоевского все наоборот: там интеллигент-ссыльный смотрит на жизнь простого острожного люда, а здесь все глазами Ивана Денисовича, который по-своему и интеллигента (Цезаря Марковича) видит».

«И как Тюрин у Солженицына точно это говорит: ведь 37-й год расплата за экспроприацию крестьянства в 30-м». И Александр Трифонович вспоминал отца: «Какой он кулак? Разве что дом — пятистенка. А мне ведь грозили исключением из партии за сокрытие фактов биографии — сын кулака, высланного на Урал».

№ 12, 1962 подписан к печати **12.12.62.**
В номере:
А. Яшин. «Вологодская свадьба».
Виктор Некрасов. «По обе стороны океана» (окончание).
«Дневник Нины Костериной».
Статья М. Туровской. «Мифология технической эры».
Рецензии Б. Рунина, Н. Кузьмина и др.

Попутное

Мы еще жили в эйфории от успеха «Одного дня», и цензура еще относилась к нам после случившегося с опаской.

Но в начале декабря Н. С. Хрущев неожиданно посетил выставку МОСХа в Манеже. Подстрекаемый В. А. Серовым и другими руководителями Союза художников, а быть может, не только ими, он набросился на «абстракционистов» и прочих формалистов как на главную опасность в искусстве.

17 декабря 1962 г. на Воробьевых горах состоялась первая из «исторических встреч» Н. С. Хрущева с деятелями культуры, писателями. Круг критикуемых расширялся. Началось с «проблемы Манежа», но дальше были подвергнуты разносу молодые поэты Вознесенский и Евтушенко. Досталось и Эренбургу за его мемуары, и Некрасову за записки, напечатанные в «Новом мире».

Напоминаю об этом задним числом, чтобы воссоздать фон для понимания моих отрывочных записей этого времени и записей цензора Голованова о журнале.

Мало кто из читателей заметил вовремя и понял тайный смысл стихотворения Н. Грибачева «Метеорит», появившегося в «Известиях» 30 ноября 1962 г. Между тем это был первый отрицательный отзыв на повесть Солженицына в нашей печати.

МЕТЕОРИТ

Отнюдь не многотонной глыбой,
Но на сто верст
Раскинув хвост,
Он из глубин вселенских прибыл,
Затмил на миг
Сиянье звезд.

Ударил светом в телескопы,
Явил
Стремительность и пыл
И по газетам
Всей Европы
Почтительно отмечен был.

Когда ж
Без предисловий вычурных
Вкатилось утро на порог,
Он стал обычной
И привычной
Пыльцой в пыли земных дорог.

Лишь астроном в таблицах сводных,
Спеша к семье под выходной,
Его среди других подобных
Отметил строчкою одной.

Конец декабря 1962 г.

Маршак говорит: «Вы знаете, я подумал, кто самый крупный абстракционист? Сталин. Он все время жил в мире фетишей и абстракций».

На «исторических встречах» («подождали бы, пока история их так назовет — а у нас «исторические» на другой же день», — ворчит Александр Трифонович) на чем свет стоит бранят формалистов, абстракционистов, Э. Неизвестного, «белютинцев». Начинают с абстракционизма, но целью имеют уничтожить реализм.

Впрочем, пока Солженицын в фаворе, газеты повторяют формулу: «повесть напечатана с ведома и одобрения ЦК КПСС». На приеме Хру-

[1] Уже в 70-е годы ко мне приехал как-то из Риги знакомый Солженицына Л. Власов, который утверждал, что это он рассказал Солженицыну этот сюжет, едучи с ним однажды в поезде, в одном купе. Случай был с ним, и он оказался как бы прототипом лейтенанта Зотова.

[2] А. Дымшиц. Жив человек. «Литература и жизнь», 28 ноября 1962. А. Л. Дымшиц — известный советский критик, не брезговавший печатными и иными доносами. (См. журнал «Горизонт», 1990, № 1).

щев поднял Солженицына из-за стола и представил присутствующим. Суслов тряс его руку. Это было 17 декабря в Доме приемов на Ленинских горах.

25.XII.1962.

На квартире у Саца на Арбате Твардовский впервые читал нам обновленного «Теркина на том свете». «Еще что-то доделывать буду, но поле обежал», — сказал Александр Трифонович.

Впечатление сильное. К такой сатире у нас непривычны — удастся ли напечатать?

Александр Трифонович рассказывал, что родилась поэма из главки прежнего, «военного Теркина», где появлялась Смерть. Когда в 54-м году эту поэму осудили, он не бросил работать над ней, занимался до осени 1956 г. Потом Венгрия — и опять отложил. Возвратился к ней в 61-м году. «Чувствую сам, стало гуще в середке».

24 и 26 декабря

Два дня ходил в ЦК на встречу молодых писателей и деятелей культуры с Идеологической комиссией. В президиуме — Ильичев [1], Снастин [2], Аджубей, Сатюков [3] и др.

А мы — за ромбовидными столиками на четверых в зале. Здесь Евтушенко и Белла Ахмадулина, Вознесенский и Булат Окуджава, Аксенов и Гладилин. Начались пламенные неискренние речи. Что-то кричал с трибуны Вл. Котов, потом учено рассуждал о ревизионизме Ю. Суровцев и прочие подготовленные ораторы. Я несколько раз сгоряча выкрикивал реплики: «Неправда» и т. п. Ильичев встал за столом и сказал, обернувшись в мою сторону: «Мы знаем, кто это кричит, и, если это повторится, попросим выйти из зала».

В перерыве, в курилке ко мне подошел В. Чивилихин, знакомый с университета. «Что творится...» — сказал я. Он горячо поддержал меня: «Да, что творится...» — «Надо выступать», — сказал я. «Да, пожалуй, надо выступить», — сказал он. И мы разошлись по местам.

В конце заседания, когда Ильичев объявил, что заканчивает прения, Чивилихин выскочил с поднятой рукой, требуя слова. «Дать, дать!» — закричал я. «Только 5 минут», — вынужден был согласиться перед гудящим залом Ильичев.

И Чивилихин понес: «Наши духовные отцы Кочетов, Грибачев, Софронов, им стреляют в спину...»

Я рот раскрыл от изумления: почему-то я полагал, что он думает так же, как я. И как мило мы поговорили в курилке: «Надо выступать... Надо выступать...»

Моему благодушию был урок. 26-го речь произносил Ильичев, «воспитывал» творческую молодежь часа два — речь напечатана в газетах.

* * *

С Игорем Виноградовым говорил о критике. Неизвестно, что ей в этих условиях делать. Когда я пришел в «Новый мир», то задумал сначала ежемесячное обозрение журналов. Сговорил на это дело четверых: А. Лебедева, И. Виноградова, И. Соловьеву и А. Туркова. Но дело быстро посыпалось — отчасти из-за инертности наших критиков, отчасти же оттого, что ничего всерьез нельзя тронуть — и даже внутри редакции. Дементьев всегда на страже, чтобы молодые «не увлеклись» и не впали в «крамолу». Первое же обозрение рассыпалось на отдельные статейки. И. Виноградов написал об очерке Ф. Абрамова «Вокруг да около». А сейчас, в свете «исторических встреч», и вообще неведомо, дадут ли что-нибудь делать.

---

[1] Леонид Федорович Ильичев — в 1961—1965 гг. Секретарь ЦК КПСС по идеологии.

[2] Василий Иванович Снастин — работник аппарата ЦК, первый заместитель заведующего Идеологическим отделом.

[3] Павел Алексеевич Сатюков — в 1956—1964 гг. главный редактор «Правды».

28.XII.1962. Встречали Новый год в редакции. Настроение уже не то, что в ноябрьские праздники.

Александр Трифонович тянул какой-то обрывок смоленской песни:

Белым снегом, белым снегом
Замело все пути.
Гляну-гляну на дорогу —
Не видать, где пройти...

И в самом деле не видать.

Утром Александр Трифонович был очень раздражен — ему подсунули книгу, вышедшую в изд. Чехова в Нью-Йорке. Некий С. Юрасов дал там свое, в антисоветском духе, продолжение «Теркина».

Я понимаю, почему нервничает Твардовский, — ему кажется, что это помешает «Теркину на том свете», скомпрометирует его.

Второе, что сильно взволновало Александра Трифоновича, — это обращение к нему молодого математика Р. Пименова, оказавшегося за свои высказывания или рукописные статьи в тюрьме. Как это — «Ивана Денисовича» печатаем, а людей все равно сажаем? Александр Трифонович говорил об этом с Лебедевым, и тот обещал узнать и, если возможно, помочь [1].

1963

№ 1 «Нового мира» — подписан к печати **7.1.1963.**

В номере:

А. Солженицын. Два рассказа («Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка»).

И. Эренбург. «Люди, годы, жизнь», кн. 5.

Стихи Анны Ахматовой, М. Луконина.

Статьи И. Забелина («Человек коммунизма, природа и наука»), Т. Бачелис («Режиссер Станиславский»), Ю. Манна («Художественная условность и время»).

Рецензии Е. Стариковой, А. Берзер, Б. Зингермана и др.

10.I.1963.

Александр Трифонович в редакции. Говорили о новейшей чичиковщине. В Союзе писателей у К. Воронкова неприятность с ЦСУ. Передали статистикам справку, а по ней оказалось, что членов Союза писателей 5000, а общественной работой заняты из них 7000! (По-видимому, у многих по две нагрузки.) Усталым голосом председатель ЦСУ Старовский объяснял, что это пустяки. В самом деле, с такими ли приписками ему приходится иметь дело?

Александр Трифонович вспоминал, как затопляли котлован Ангарской ГЭС. Все строители искренне радовались, когда рванула вода. Кто-то объяснил: фиктивные кубометры выработки — теперь все вода закроет.

Вчера в редакции был ленинградский приятель Твардовского А. Македонов [2]. Они были близки еще по Смоленску. Потом Македонов сидел, стал в ссылке геологом, теперь доктор геолого-минералогических наук, но по-прежнему увлечен поэзией. Расспрашивал о Евтушенко и Вознесенском.

Александр Трифонович говорил с некоторым раздражением:

— Для добрых людей такое явление, как Солженицын, это манифест. Но для таких, как наши молодые, это что с гуся вода... И потом они так мало начитаны: «Черный обелиск» Ремарка читали, а «Капитанскую дочку» не прочли.

— А что вообще в поэзии интересного? — пытал его Македонов.

— Что я тебе, сторож? Читаю вот рукописи в журнале, пока с должности не согнали... Одному поэту хотел тут сказать впрямую, грубо даже:

---

[1] Револьт Пименов был освобожден. Я познакомился с ним в редакции, когда он приходил благодарить Александра Трифоновича.

[2] Адриан Владимирович Македонов (р. 1909), критик, литературовед.

хоть бы с вами какое несчастье случилось, кто из родственников под машину попал, что ли... Нет, не дай, конечно, Бог. Но не писали бы тогда таких пустяков, наверное... Но с общественным успехом,— продолжал Александр Трифонович,— нельзя не считаться, даже если сознаешь всю его тщету. На Театральной площади хвост в тысячу человек стоит за стихами Вознесенского. Это мода. Как ни сопротивляйся узким брюкам, все равно наденешь и будешь носить, пока мода не схлынет.

11.I.1963.

В Союзе писателей поговаривают о необходимости реформы оплаты, увеличения гонорара. Чиновники возражают: «Назовите мне писателя, у которого на книжке меньше миллиона». Так-то, литературная голытьба!

Приходил Марк Галлай. Твардовскому понравились его записки летчика-испытателя. Александр Трифонович говорил о ложной беллетризации, которая, случается, портит всю поэзию и доказательность документа.

Попутное

В январе 1963 г. одна за другой стали появляться критические статьи о произведениях, напечатанных в «Новом мире». Особенно усердствовали «Известия». За короткий срок в этой газете, помещавшейся в одном здании с нами и набиравшейся в одной типографии, появилось сразу несколько ядовитых материалов: статья В. Ермилова «Необходимость спора» — против Эренбурга, реплика «Турист с тросточкой» по поводу зарубежных очерков В. Некрасова и, наконец, перепечатка из вологодской газеты письма студента Берсенева — против «Вологодской свадьбы» А. Яшина. Такой критический «залп» «Известий» оказался тем более неприятен, что к газете прислушивались как к официозу и в ее фарватере шли другие издания.

«Известия» 30 января 1963 г. (№ 26).

Реплики

Главному редактору
журнала «Новый мир»
А. Т. Твардовскому

Уважаемый Александр Трифонович!

В вологодской молодежной газете напечатана реплика по поводу рассказа А. Яшина «Вологодская свадьба». Мы сочли эту реплику заслуживающей внимания и поэтому перепечатываем ее. Думается, что и Вы отнесетесь к реплике со свойственным Вам глубоким пониманием литературных процессов.

Далее следовал такой текст:

«Недавно, просматривая свежие номера журналов, я обратил внимание на записки Александра Яшина «Вологодская свадьба», опубликованные в двенадцатом номере журнала «Новый мир» за 1962 год.

Сам я, можно сказать, вырос в тех местах, которые описывает Яшин. Не секрет, что в прошлые времена называли Никольский район и «глухоманью», и «медвежьим углом». И если бы записки Яшина появились десятилетия два назад, они бы не вызвали серьезных возражений. Но теперь в облике района многое изменилось. Остались местами какие-то черты старины, но и те уже исчезают. Веяния новой жизни одерживают верх, а Яшин все еще придерживается старого мнения о деревне как о глухой, беспросветно темной, где люди так бедно живут, что все, что было «заработано, скоплено за несколько лет,— все поглощает свадьба».

В записках нет ни одного положительного образа. Даже главные герои, как, например, невеста Галя до свадьбы показана как безропотное существо. На свадьбе она сидит, словно истукан. И не спляшет, и не споет, и гостей не повеселит, а лишь «то и дело кланяется, как заведенная,— таков был наказ матери». Правда, дальше читаешь наконец: «Смеется и счастливая невеста». Но затем она ведет себя так, что это никак не вяжется с торжественной обстановкой и ее праздничным настроением.

Посмотрим, что представляет собой ее жених Петя. Вот он чванится, куражится, рвет на себе рубаху, все его мысли вертятся вокруг одного — как бы только напиться до бесчувствия.

Брат невесты Николай — тихоня, один из тех людей, «на которых воду возят», как пишет автор. Это тоже не образец для молодежи. Удивительно, в каких мрачных красках показана наша молодежь!

Второстепенные персонажи записок выглядят еще более отвратительными. Одни из них, как причитательница Наталья Семеновна, нечистая на руку, «тянут из колхоза все, что плохо лежит». Другие, как дядя жениха: до войны — хулиган, теперь — жулик и пьяница, зверски истязающий жену. Третьи — муж Тони — ненасытный женолюб, в прошлом убийца, в настоящем — ловкий мошенник, не раз привлекавшийся к ответственности за свои темные махинации. «Какие кругом ужасные люди,— скажет читатель,— морально опустошенные, темные, с ограниченным кругозором. Пьянство, грязный разврат, жульничество на каждом шагу».

Не спорю, встречаются еще у нас и пьяницы, и хулиганы. Но их единицы. Нас окружают всюду честные, хорошие люди. (...)

Нет, не прав А. Яшин, описывая жизнь нашего села! Такие деревни, как Сушиново, где «нет ни электричества, ни радио, ни библиотеки, ни клуба, а кинопередвижка за последние два года ни разу не заглядывала», теперь редкость. А у автора единичный случай выглядит как типичный.

В другом месте Яшин пишет, что оборудование на льнозаводе допотопное. Но он не учитывает, что рядом со старым выстроены корпуса нового завода, оснащенного современным новейшим оборудованием.

Автор записок копается во всем плохом, что есть в нашем районе, и объединяет это плохое в одно целое. Слишком уж в мрачных, пессимистических тонах показана наша жизнь. Мы не такие, как утверждается в произведении А. Яшина.

А. Берсенев,
студент Вологодского пединститута».

30.I.1963.

Начинается повизгиванье газетных шавок на «Новый мир». Все вокруг в панике, трижды на дню распространяются слухи, что Твардовского «сняли». А в редакции спокойно. Номера идут, конечно, тяжелее. Цензура придерживает Эренбурга.

Последние три книжки журнала имеют поразительный успех. На днях мы были с Дементьевым на встрече с читателями в Институте Азии и Африки. Когда собирались ехать туда из редакции, Дементьев зашел ко мне: «А ты подумал, что мы им будем говорить?» Я ответил: «Сначала изложим вкратце программу журнала, его позицию, а потом на вопросы будем отвечать».

Дементьев спросил неожиданно: «Ну, хорошо, а какая у нас программа, как ее определить?» Н-да, вопрос ребром...

Я ответил экспромтом, почти не раздумывая: «Правда, демократизм и культура». «Ну, вот и излагай»,— согласился Александр Григорьевич.

На вечере было много сочувственных записок, к нам подходили, жали руки. Говорили: «Новый мир» — это наша жизнь, каждый номер журнала — радость. Держитесь!»

* * *

Б. Закс меланхолически говорит, что он 13 лет в журнале, и все 13 лет с малыми паузами журнал ругают и ищут «порочную линию». Было это при культе Сталина; казалось бы, журнал доказал с тех пор свою правоту... Нет, снова началось. «Я уж и не удивляюсь, когда нас всюду бранят. Привык и считаю это в порядке вещей. Один раз только удивился, когда Архипов[1] в «Огоньке» что-то похвалил. Это меня прошибло, я даже забеспокоился».

---

[1] В. А. Архипов — преподаватель МГУ; литературовед и критик консервативного толка.

31.I.1963.

Был в Союзе писателей на обсуждении прозы 1962 г. Сидел в заднем ряду в Малом зале. Мрачный Яшин тронул меня сзади за плечо и протянул вырезку из вологодской газеты. Я взглянул и сказал: «Это что! Сегодня письмо Берсенева перепечатали «Известия». Он не знал еще об этом и в лице переменился. Стал рассказывать, возмущаясь, как в Вологде организовывали протест земляков, напечатанный в «Комсомолке». Многие, кто подписали письмо, сами очерк еще не читали. Подписал и секретарь райкома, с которым Яшин братался, оружием менялся, который сам ему о всех тяготах и безобразиях в районе рассказывал.

Я пробовал успокоить Яшина, мол, пройдет несколько лет, и все на свои места встанет. «Да, только я прежде сдохну»,— сказал он резко и взглянул на меня недобро, затравленно.

4.II.1963.

Говорят, толчком к реплике против Некрасова явилось какое-то интервью, которое он неосторожно давал в Париже. Реплику писал Мэлор Стуруа вкупе с зам. главного редактора Гребневым. На Эренбурга долго натравливали Ермилова. Посылали статью на просмотр Ильичеву. Словом, дело это сугубо запланированное и централизованное.

Передают наглую фразу секретаря ЦК комсомола С. Павлова: «Этим господам Эренбургу, Паустовскому и Твардовскому не удастся увести советскую литературу с главной линии ее развития».

5.II.1963.

Цензура держит Эренбурга. Номер стоит. Вернулся Александр Трифонович из поездки в Карачарово к Соколову-Микитову, но похмелен, нехорош, потому в редакции не появлялся. Передают, что он кончил почти начисто «Теркина», еще поправит самые мелочи—и на машинку. Говорит: «Чего они прицепились к Яшину, я в Калининской области пострашнее сейчас видел».

8.II.1963.

Свистопляска вокруг Яшина продолжается.

Раньше было правилом: «не обобщай». Теперь еще и— «не конкретизируй». Хорошенькое положение у литературы.

Думал о том, что за последние полгода-год сформировалось и выявилось особое течение в прозе: А. Яшин, Алексей Некрасов, В. Войнович, Е. Дорош — сочинения, в чем-то друг другу близкие, и, конечно, Солженицын, стоящий впереди всех, но близкий этому роду литературы.

Устав от лжи и приспособлений «вымысла», литература обратилась к правде почти документальной, «очерковой», самой, по видимости, не связанной «условиями», достоверной. Вспоминается, что Толстой говорил о близком конце, гибели романа: стыдно придумывать, что могло случиться с вымышленными героями, а надо рассказывать честно то, что видел и знаешь. Недурная тема для статьи: «О честной прозе».

* * *

В Москве Солженицын. Привез Александру Трифоновичу поэму 1948—50 гг., написанную в лагере. Обещает к апрелю два новых рассказа.

Пристал ко мне: «беда» и «победа»—слова одного ли происхождения? Искали в словаре Преображенского.

Он стал больше интересоваться театром. Видно, обольщен «Современником», передал им свою пьесу.

«Иван Денисович» отдельными изданиями—в «Роман-газете» и «Советском писателе». По настоянию редакторов убрал «фуй» в трех местах, зато кое-что вставил: в речь Тюрина и потом еще реплику по поводу охраны.

13.II.1963.

Эренбург снят после разговора с ЦК. Александр Трифонович был сегодня (13.II.) на совещании у Л. Ф. Ильичева.

Ему кажется, что намечается некоторое потепление. Но факты говорят иное.

На совещании Александр Трифонович бросал неосторожные реплики: «Зачем нас собрали? Догадаться можно». И рассказал Ильичеву, как О. Берггольц, когда они шли на подобную встречу в 57-м, кажется, году, напомнила концовку тургеневских «Певцов»: голос из-за реки— «Антропка! — Чего? — Иди сюда, черт леший... тебя тятя высечь хочет...»

Грибачев, одержимый пиететом к теории, сказал, что главная беда в бедности эстетики. Нужны, мол, труды по теории соц. реализма.

«А по-моему, не нужны»,— дал реплику с места Твардовский.

«Как же,— настаивал Грибачев,— нам нужно определение социалистического реализма».

«А я скажу,—возразил Александр Трифонович,—поскольку беседа доверительная: всегда сомневался, что к слову «реализм» нужно прибавлять какой-то эпитет. Реализм один, он и есть реализм, или верность правде».

«А как же, есть наша правда» — пытались поправить его.

«Нет, ленинское понимание другое,—отбивался Твардовский.— Правда одна. Иначе спрошу: а истин сколько?»

Вечером в тот же день мы были у Саца. Александр Трифонович приставал к молодым музыкантам—Саше Сацу и его приятелю—пусть сыграют что-нибудь из 13-й симфонии Шостаковича. «Да мы не помним».— «Ну, как же не помните, если понравилось, как вы говорите, то непременно что-нибудь запомнится. Я вот хорошую прозу целыми абзацами запоминаю».

Приставал, приставал к ним, потом удовлетворился тем, что попросил сыграть «Лунную сонату», «как командировочный майор».

14.II.1963.

В № 3 я написал рецензию на булгаковского «Мольера». Дементьев недоволен: упрекает, что я слишком обнажил тему «художник и власть». Обычно Александр Григорьевич так округл, мягок в обращении, но сегодня мы с ним поругались. Дело ли критика затуманивать замысел писателя, показывать вид, подобно автору предисловия Г. Бояджиеву, будто не понимаешь, что Булгаков хочет сказать.

В газетах попытки затушевать критику Сталина. Есть сорт людей, которые относятся к периоду «культа», как в цыганском романсе:

Что прошло, никогда не настанет,
Так зачем же о том вспоминать?

16.II.1963.

В редакции пусто. Александр Трифонович уехал на встречу с избирателями. Д. А. Поликарпов[1] предложил ужасающую правку по Эренбургу, которая может быть условием возвращения его во 2-ю книжку журнала. Предлагает снимать чуть ли не целыми страницами и не только места, заподозренные в «еврействе», но и направленные против «культа». Побывав в ЦК, Дементьев ездил на дачу к Эренбургу, а Поликарпов сидел допоздна в отделе и ждал результатов у телефона: видно, тоже побаивается мирового скандала.

8.III.1963.

Эренбург разрешен с поправками. В ЦК пошли на компромисс, потому что Эренбург послал Хрущеву письмо, где писал о возможном международном резонансе на запрещение его книги и о том, что его деятельность эмиссара мира будет в этом случае сильно затруднена.

* * *

Наша истеричная литературная среда живет слухами и, торопя события, вопит, что Твардовского «сняли».

[1] Дмитрий Алексеевич Поликарпов (1905—1965), заведовал Отделом культуры ЦК КПСС.

Между тем он был сегодня в редакции — свеж и ясен. Рассказывал о поэме Солженицына, рукопись которой прочитал. Это все подготовка к «Ивану Денисовичу», не более, считает Александр Трифонович. И нехорошо, что написано в стихах, хотя стихи крепкие, профессиональные. Понятно, почему в стихах: он сочинял в заключении, без бумаги, и это была единственная возможность закрепить памятью придуманное. Заучивал наизусть четверостишие и сочинял следующее. Этим он поддерживал себя. Какой-то огонек душевной жизни в нем теплился. Если бы что-то подобное было рассказано в прозе, возможно, могло бы получиться что-то вроде «Былого и дум», считает Твардовский.

По словам Александра Трифоновича, Солженицын преподавание в школе совсем оставил, пишет вовсю. Говорит, что некогда, более нужные замыслы есть, но вообще-то он хотел бы написать повесть о молодежи, он ведь все последние годы в школе с ними возился.

Говорили с Твардовским о закономерности сказочной, условной формы в «Теркине», о призрачности, какая цветет в бюрократическом мире. Вот газеты: часто то, что в них пишется, — выдумка. И это ясно и автору статьи, и читателям, которых он даже не пытается похитрее обмануть. Будто условились играть в такую игру.

Работа над новым «Теркиным» идет к концу: «отделочные работы», как выразился Трифонович, «побелка, подсушка».

№ 2 1963 подписан к печати **4.II.1963** (так в выходных данных, но в действительности номер подписан позже).

В номере:

повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой»,

два рассказа В. Войновича («Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра»),

рассказы В. Шукшина «Они с Катуни»,

«Фронтовые рукописи» В. Александрова,

И. Эренбург «Люди, годы, жизнь», кн. 5 (продолжение),

Стихи Р. Гамзатова, С. Щипачева.

Статья М. Чудаковой и А. Чудакова «Искусство целого».

Рецензии А. Кондратовича и др.

27.II.1963. Из-за бесконечных задержек — сначала в цензуре, потом в типографии — только сегодня сигнал 2-го номера.

Александр Трифонович был после недельного перерыва в редакции. Сказал, что отдает на машинку «Теркина». «Точку поставил. Кажется, получилось, посмотрите. Вернул кое-что из старого варианта, но выглядит совсем по-новому».

Я составил для очередного номера обзор читательских писем по А. Яшину и В. Некрасову. Есть письма замечательные, с таким серьезным пониманием совершающегося в литературе, что диву даешься. Это не графоманы пишут, а люди, которые, может быть, впервые обращаются в редакцию. Несправедливая критика их задела почти лично. И какие трогательные слова одобрения и поддержки «Нового мира»! У меня даже настроение поднялось.

Материал мой уже набран, но Александр Трифонович и Александр Григорьевич выразили сомнение — давать ли письма о В. Некрасове? Не лучше ли оставить одно имя — Яшина. Обидно за Некрасова, но тут есть тактические резоны.

Александр Трифонович прочитал в рукописи рассказы Вас. Белова и говорит: «Даровит, но молод. Думает, что надо писать так, чтобы в каждой фразе была какая-то художественная подробность, сравнение либо что-нибудь вроде того».

Из дневника цензора В. С. Голованова

27 февраля в 16 ч. 15 м. курьер редакции журнала принес материал рубрики «Трибуна читателя» — отклики на произведения А. Яшина «Вологодская свадьба» и В. Некрасова «По обе стороны океана», — в связи с имевшей место критикой этих произведений в печати.

28 февраля в 12.15 позвонил тов. Кондратович и сказал: «Мы пришлем вам новый вариант рубрики «Трибуна читателя» на № 3 — речь идет только о «Вологодской свадьбе»... Все о В. Некрасове и его очерках нами снимается». Немедленно об этом информировал Начальника отдела т. Семенову, т. к. еще утром 28.II. этот I вариант мною был сдан ей для ознакомления.

4.III. состоялся разговор с Кондратовичем по телефону (из кабинета т. Аветисяна в присутствии Начальника отдела т. Семеновой) относительно того, чем обусловлена задержка №.

Кондратович ответил: «Эренбург что-то исправил, но мы в редакции этого еще не знаем». Спросил также о моем мнении относительно подборки писем по А. Яшину и Некрасову. Я ответил, что буду докладывать руководству. На мой взгляд, есть попытка отбиться от критики.

5.III. редакцией прислан материал «Трибуны читателя» — только с подборкой писем по «Вологодской свадьбе»... Немедленно доложено т. Романову.

1.III.1963.

С. X. Минц переписала на машинке «Теркина» и, отдавая его в руки Александру Трифоновичу, сказала: «Я боюсь. Там есть опасные места». «Где?» — поинтересовался Твардовский. «На странице 40, например». «А по-вашему, что же, остальные места безопасные?» — спросил с ноткой досады Александр Трифонович.

4.III.1963.

Генерал Горбатов принес свои воспоминания и разговаривал с Александром Трифоновичем. Твардовский уже заглянул в рукопись и хвалит ее — за честность и непринужденность рассказа.

Я рассказал Твардовскому, как ругают чиновники министерства культуры «Горе от ума» в постановке Товстоногова, находят там намеки на современность. «Ну, уж если Грибоедов стал опасен, — это край», — отозвался Александр Трифонович.

Недавно я дал ему для чтения номер «Невы» с очерком Ф. Абрамова «Вокруг да около». Александр Трифонович очень воодушевился, но сказал с печалью: «Я не мог бы это напечатать».

В честь юбилея Елены Феликсовны Усиевич[1] был банкет в ЦДЛ, куда она пригласила и меня. Шумно, весело, собралась вся когорта «Литературного критика».

Александр Трифонович произнес тост за убежденность. Сац потом рассказывал мне интересные подробности о том, как Е. Ф., будучи дочкой Феликса Кона, возвращалась в Россию в апреле 1917 в одном поезде с Лениным. Ленин взял у нее красную косынку и махал ею из окна, приветствуя собравшихся на перроне. Смешной рассказ об организационном даре Владимира Ильича. Видя, что в единственный туалет все время создаются очереди, он сосчитал мужчин и женщин, взял лист бумаги и составил точный график посещения ретирадного места. Подробность не для официальной мемуаристики.

5.III.1963.

Д. А. Поликарпов запретил сделанный мною обзор писем по А. Яшину. Твардовскому он сказал: «Жалуйтесь на меня куда угодно, если хотите, но я решительно против».

7—8.III.1963.

Совещание в Кремле с руководителями партии и правительства. На второй день выступил Хрущев. Поминал как написанное «с партийных позиций» поэму «За далью — даль» и «Ивана Денисовича».

Зато резко выступил против Эренбурга и Некрасова, любителей «жареного», т. е. сенсаций, как бы вновь приглушая тему развенчания «куль-

[1] Елена Феликсовна Усиевич (1893—1968) — критик, известный литературный деятель 30-х годов.

та». Много и сбивчиво говорил о евреях, в том смысле, что и среди них «встречаются хорошие люди».

Реакция по всему фронту, откат от XXII съезда.

Из выступления Н. С. Хрущева на встрече с деятелями литературы и искусства 7 марта 1963 г.

«Надо дать отпор любителям наклеивать ярлык «лакировка» тем писателям и деятелям искусства, которые пишут о положительном в нашей жизни. А как же называть тогда тех, кто выискивает в жизни только плохое, изображает все в черных красках? Видимо, их следует называть дегтемазами».

«...Мне хотелось бы сказать несколько слов о товарище Эренбурге. (...) Непосредственного участия в социалистической революции он не принимал, занимая, видимо, позицию стороннего наблюдателя. Думается, не будет искажена правда, если сказать, что с таких же позиций товарищ Эренбург оценивает нашу революцию и весь последующий период социалистического строительства в своих мемуарах «Люди, годы, жизнь». (...) «Прошлый раз И. Эренбург говорил, что идея сосуществования [идеологий] высказана в [его] письме в виде шутки. Допустим, что так. Но тогда — это злая шутка». (...) «Как видно, автор мемуаров с большой симпатией относится к представителям так называемого «левого» искусства и ставит перед собой задачу защитить это искусство. Спрашивается — от кого защитить? Видимо, от нашей марксистско-ленинской критики. Ради чего это делается? Очевидно, для того, чтобы отстоять возможность существования таких или им подобных явлений в нашем современном искусстве. Это означало бы признать сосуществование социалистического реализма и формализма. Товарищ Эренбург совершает грубую идеологическую ошибку, и наша обязанность помочь ему это понять». (...)

«Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова «По обе стороны океана», напечатанных в журнале «Новый мир» (...)

«Неприятное впечатление оставила поездка писателей В. Некрасова, К. Паустовского, А. Вознесенского во Францию».

16.III.1963.

После «встречи» не пишется, не читается. Вокруг растерянность, уныние. Перепуганные интеллигенты еще пуще запугивают друг друга.

Сац говорит, что так вели себя кукушки в прифронтовой полосе, где то и дело взрывы, стрельба. Раза два прокукуют: ку-ку, ку-ку... а потом начинают нервно, без пауз, кудахтать: ку-ку-ку-ку-ку... Сейчас вокруг всюду такие нервные, пуганые кукушки.

Этими днями прочел неплохую рукопись Анатолия Кузнецова о доярке. Хорошо бы напечатать [1].

* * *

Я взял для себя за правило — говорить авторам в глаза правду об их сочинениях. Не всегда это легко. Но тут как-то меня спросили: что вы думаете о такой-то вещи? Я напрягся, стал мучительно собирать мысли, а потом понял, что надо просто сказать: ничего не думаю. Простите, но мне это неинтересно. В самом деле, какой вздор делать вид, что у тебя есть мнение по любому вопросу. Что я знаю — то знаю, что понял — от того не отступлю. Но есть множество явлений в жизни и в искусстве, о которых я не могу сказать по совести, не тужась, з а или п р о т и в. Увы, не решил пока.

Как облегчает жизнь искренность, и как мы не умеем быть простыми и искренними.

---

[1] Повесть «У себя дома», была опубликована в «Новом мире» (1964, № 1).

18.III.1963.

Совещание в МК на Старой площади с московскими писателями. Последнее время очень ругают руководство Московской писательской организации и особенно С. Щипачева, который будто бы заигрывает с молодыми и потакает им.

В президиум была послана провокационная записка (критика Залесского) о Твардовском: мол, где он; и пусть ответит.

Я вспомнил собрание 1954 года о «Новом мире». «Plus ça change, plus c'est la même chause» [1]. Те же окрики, те же ярлыки, та же ярость и озлобление у выступающих с трибуны и то же чувство унижения и стыда за происходящее, когда сидишь в зале.

Щипачев выступил достойно, его проводили дружными аплодисментами, но тут же последовал окрик Егорычева [2] — грубый, бесцеремонный. Зал был дезориентирован, растерялся. И пошло: выступление за выступлением. Неуважение к людям, распущенность инстинктов, отсутствие достоинства все еще в силе в обывательской литературной среде, а те, кого собрали вчера, — наполовину обыватели, филистеры, которые возомнили себя писателями.

Из отчета о собрании «Литературная газета» 19 марта 1963 г.

— Мы участвуем в горячих, жестоких идеологических боях, — говорит А. Сурков. — То, что было сказано в выступлениях товарищей Н. С. Хрущева, Л. Ф. Ильичева на встречах с деятелями литературы и искусства, нам надо положить в основу своей деятельности. Надо все сделать для того, чтобы как можно быстрее за своим рабочим столом ответить делом на заботу партии об идейной чистоте нашего боевого оружия, о его силе и мощи.

Мы должны прямо сказать и о некоторых ошибочных тенденциях, проявившихся в последнее время. Я преисполнен уважения к замечательному публицисту Илье Эренбургу. Но мемуары его нуждаются в серьезном, глубоком критическом разборе.

— Задача советских писателей — воспитывать молодежь на положительных примерах, вести ее к светлому будущему, к коммунизму, — сказал В. Тевекелян. — С этой точки зрения мне не ясна позиция, которую занимает редакция журнала «Новый мир». Мы знаем не только опубликованную на страницах этого журнала повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», но и его рассказ «Матренин двор». Когда читаешь рассказ, складывается впечатление, что психология крестьянина осталась такой же, какой была шестьдесят лет назад. Но это неверно! Нам нужны произведения, которые бы исторически правдиво рассказывали об огромных революционных изменениях, происшедших в советской деревне.

Из статьи С. Павлова «Творчество молодых — служению великим идеалам» («Комсомольская правда» 22.III.1963)

...Почему в жизни мы встречаем хороших советских людей, а в некоторых советских книгах пишут совсем о других? И действительно, стоит почитать мемуары И. Эренбурга, «Вологодскую свадьбу» А. Яшина, путевые заметки В. Некрасова, «На полпути к Луне» В. Аксенова, «Матренин двор» А. Солженицына, «Хочу быть честным» В. Войновича (и все это — из журнала «Новый мир») — от этих произведений несет таким пессимизмом, затхлостью, безысходностью, что у человека непосвященного, не знающего нашей жизни, могут, чего доброго, мозги стать набекрень. Кстати, подобные произведения «Новый мир» печатает с какой-то совершенно необъяснимой последовательностью.

22.III.1963.

Тучи сгущаются. Утром в «Комсомольской правде» статья Павлова, где выстроен уже целый ряд «очернительских» произведений, напечатанных в «Новом мире».

---

[1] «Чем больше меняется, тем больше остается тем же самым» (*франц.*).

[2] Николай Григорьевич Егорычев — первый секретарь МГК КПСС в те годы, вел это собрание.

Александр Трифонович в ярости. Звонил Поликарпову, ругал последними словами «зарвавшегося, невежественного мальчишку» и требовал, чтобы статья была дезавуирована в партийной печати, иначе он снимет с себя полномочия редактора.

Поликарпов крутил, просил успокоиться, предлагал ехать на грандиозное зрелище перекрытия Енисея.

Дементьев сказал мне сегодня, что Твардовский настроен непримирим: готов уходить, но не согласен каяться, лукавить и т. п.

С Эренбургом (в № 3) тоже никак не решится. Идет борьба уже из-за отдельных фраз (просят убрать, например, выдержку из дневника погибшей в войну девушки Инны Константиновой — о том, что ее угнетала ложь «культа»; не хватало масла, сахара, а митинги устраивали и кричали о счастливой жизни).

Старик вдруг уперся, и как его не понять! Но Поликарпов тоже стоит, как бык, требуя поправок, а номер — недвижим.

Вчера Александр Трифонович ездил к В. С. Лебедеву с рукописью «Теркина». Думаю, говорил и о журнале.

* * *

На совещаниях стоит крик о необходимости борьбы с империализмом, с буржуазной идеологией. А в газетах Западу отводится меньше всего места, зато со сладострастием избивают и охаивают своих — писателей, молодежь, интеллигенцию.

Г. Серебрякова в «Литгазете» уже ратует за добрые чувства к охранникам («они тоже советские люди»). Говорят, она была фавориткой начальника лагеря и жила там недурно.

В «Советской культуре» тоже примечательная статейка — об Арк. Райкине, где написано, что смеяться над дураками «негуманно».

23.III.1963.

Сегодня (в субботу) Александр Трифонович был у Ильичева. Тот встретил его словами: «Что, пришел просить об отставке?» — «Не только, сначала просить объяснений», — и Александр Трифонович набросился на статью Павлова. Ильичев выразил к ней свое, якобы отрицательное, отношение, утихомиривал Александра Трифоновича, сказал, что об уходе его не может быть и речи. Твардовский сказал в ответ, что во всяком случае, если от него ждут перемен в направлении журнала в том духе, в каком хочется Павлову, — этого не будет. Лучше пусть его заранее освободят от поста редактора. Александр Трифонович настаивал на публикации писем о А. Яшине и передал Ильичеву мой обзор.

Твардовского уговаривают выступить на предстоящем пленуме Союза писателей. Я думаю — не надо.

25.III.1963.

Как рассказывают, 23 марта «Нью-Йорк таймс» поместила сообщение из Москвы об освобождении Твардовского от обязанностей редактора «Нового мира» и о назначении В. Ермилова на его место.

Иностранные корреспонденты почуяли, что пахнет жареным, и весь день осаждали редакцию звонками, запросами, так что мы не успевали давать опровержение то агентству Рейтер, то Франс-пресс, то Ассошиэйтед-пресс.

В Таллинне заперт на складе тираж последнего номера «Нового мира»: не продают в розницу, не высылают подписчикам. Считают, видно, что запретная литература.

Джанкарло Вигорелли прислал неожиданные, как бы без повода дружеские телеграммы Твардовскому и Некрасову. «Сердечно приветствую вас, дорогой друг...» Мы посмеялись — конспирация по-итальянски. А всего-то хочет выразить сочувствие в связи с газетной травлей.

* * *

Как за каждым крестьянином с сошкой стоит сейчас уже не семеро, а 27 с ложкой — всякие контролеры, инспекторы, инструкторы, погонялыщики, так же и за каждым талантливым художником хвост паразитов — редакторов, надзирателей литературных нравов, цензоров, просто бездарных писак, присасывающихся к успеху...

Беда оказаться в этой толпе.

29.III.1963.

Прошел пленум СП СССР. Я не был на нем, и слава Богу. Бранили, конечно, и «Новый мир». Александр Трифонович, к счастью, удержался, не выступил. Пусть подонки литературные испытывают «страх Божий». Последнее слово еще не сказано, оно за нами.

На пленуме СП 26—28 марта А. Софронов говорил, что мемуары Эренбурга «без чувства возмущения читать нельзя». Многие выступали против «очернительства» в «Новом мире». Вас. Федоров ругал два рассказа В. Войновича, «в которых наша действительность, героическая по своей сущности, преподносится в опошленном виде». Евтушенко каялся и говорил, что в его «Автобиографии», напечатанной в Париже, отразилось его «позорное легкомыслие».

1.IV.1963.

После нескольких дней перерыва в редакцию пришел Твардовский.

Рассказал о встрече с Ильичевым и о том, как нелегко было сидеть три дня на пленуме. Но его присутствие в президиуме несколько сдерживало страсти. Прокофьев накинулся было на рецензию о Сосноре в «Новом мире», но потом принес извинение, видимо, не прочитал сам и «неправильно понял». Когда выступал М. Соколов из «донской роты» и требовал Твардовского как редактора к ответу, Александр Трифонович неожиданно расхохотался, и за ним рассмеялся весь зал. В перерыве к нему подошел Н. Рыленков и сказал: «Ты не представляешь, как ты всех подкупил тем, что рассмеялся, а не нахмурился, не рассердился». «А как бы я иначе мог на это реагировать?» — пожимает плечами Твардовский.

Из редакции вместе с И. А. Сацем и Александром Трифоновичем поехали к М. Ф. Яковлеву, куда-то за Новослободскую, в только что полученную им квартиру. М. Ф. живет холостяком, в этом же доме у него фотолаборатория.

«Давайте, я вам почитаю», — предложил после первой рюмки Александр Трифонович. Покопался в своем портфеле, извлек рукопись и прочел, блистательно прочел «Теркина на том свете» с новыми поправками. Хохотом встречались многие четверостишия, а когда Теркин ползет к столбу, чтобы вернуться на этот свет, —

И всего-то нужен кто-то,
Кто бы капельку помог...

— Сац заплакал, и у меня навернулись слезы.

— Только б увидеть это напечатанным, — сказал Игорь Александрович, поднимая рюмку после чтения.

— Да, — откликнулся Твардовский. — Ну, пусть даже не напечатают, пусть полежит. Я чувствую, что работа кончена, что это сделано, — и все тут.

Вспоминал, что писал этого «Теркина» с перерывами десять лет. В старых тетрадках есть запись разговора офицеров во время войны — мол, на том свете на бюро будут разбирать, кто в самом деле мертвый, кто живой. Тогда же набросал три строфы. Эта глава должна была идти после смерти Теркина.

Только в этот раз, хотя дважды уже прежде слышал поэму, я понял окончательно, что без всякой натяжки и скидок на комический жанр эта поэма становится в ряд главных вещей Твардовского. Тут есть некие важнейшие обобщения, «формулы жизни» — нужные не только литературе, но обществу в целом. «Сеть» и «система», царство мертвых, где правит Сталин, запах тления из-за каждой высокой двери. И упрямая философия жизни, пусть трудной, нелепой, всякой — но жизни, по которой тоскует Теркин, она и вносит в ироническое повествование серьезную лирическую ноту. Стихи таковы, что, как Пушкин сказал о «Горе от ума», на другой день по напечатании могли бы разойтись в пословицах:

«Кто в Системе, кто в Сети —
Тоже Сеть густая».
или
«Смерть — она всегда в запасе,
Жизнь — она всегда в обрез»
или
«Словом, чтобы сократить,
Нужно увеличить...»

Обратной дорогой говорили о Пушкине, о его отношении к «Слову о полку».

Сейчас всех занимает гипотеза А. А. Зимина о позднейшей подделке «Слова». Я говорил, что, как бы то ни было, «Слово» писал великий поэт, это узнается непосредственным впечатлением, и никакая кибернетика этого опровергнуть не может. Александр Трифонович горячо с этим согласился.

2.IV.1963.

Пленум СП РСФСР, собранный, казалось бы, по конкретной теме — обсуждение жанра рассказа, идет с еще большим накалом страстей. Уже кто-то из выступавших назвал «Новый мир» «сточной канавой», собирающей всю гниль в литературе, и опять, уже хором, требовали к ответу Твардовского. Совсем как у Щедрина — «а мы его судом народны-и-им». С. Баруздин звонил Александру Трифоновичу домой, требуя приехать и выступить. Твардовский советовался с нами по этому поводу. Я, как и прежде, против всяких его выступлений в этой обстановке и перед такой аудиторией. Дементьев колеблется.

«Мне кажется, они заиграются», — сказал Твардовский.

ТАСС должен был дать для иностранной печати специальное опровержение слухов об уходе Твардовского из «Нового мира». Между тем наши «оасовцы», или «бешеные», как их еще называют, продолжают требовать кровопускания, и «Новый мир» им, как бельмо в глазу.

В редакции состоялось обсуждение повести «У себя дома» Анатолия Кузнецова. Автор приехал из Тулы и оставил странное впечатление.

Твардовский говорил, должно быть, час, очень подробно и дельно, большей частью «с точки зрения сапожника», т. е. сугубо профессиональной («Суди, дружок, не выше сапога»).

О героине, Гале, пошедшей в доярки, — что она девочка городская, а значит, должна скучать, вспоминать о городе. Что не надо бы делать ее уроженкой той же деревни — пусть едет дояркой, но в другую. О пастухе: что после появления в деревне трактора добровольно в пастухи никто не пойдет — это последнее дело в деревне. «Не будешь учиться — пастухом будешь», — пугали в детстве.

Александр Трифонович отметил даже и то, что «навоз коровий пахнет приятно», не вызывает гадливости. «Надо, чтобы мы коров полюбили, пожалели, — говорил он. — Галя должна, если двигаться по правде, полюбить их в весеннюю бескормицу, когда можно самой не доесть, кусок хлеба из дому принести, только не видеть, как мучаются коровы».

«Я так думаю, — рассуждал Александр Трифонович. — Если самые мрачные картины изображены художественно, читатель должен жалеть, что он там не был, этого не почувствовал. Пусть даже это война или тюрьма. Ведь, как ни ужасна жизнь Ивана Денисовича, а все-таки ловишь себя на том, что хотелось бы быть с ним, пережить и этот опыт: почувствовать, как сладка эта скудная еда, как греет тепло на вагонке, как дорога драная варежка на морозе. Я это впервые понял, когда читал роман К. Причард. Там люди в Австралии идут через полупустыню — тяжело, мучительно, без воды — и вдруг захотелось быть с ними...»

Не буду пересказывать, что говорили на обсуждении другие, и в их числе я (о слабом финале, риторических «отступлениях» и т. п.). Но ответ Кузнецова поверг всех в растерянность. Он согласился, что все замечания резонны, дельны, но требования, предъявляемые к повести, слишком высоки, и возвращаться к ее тексту он не намерен. Сказал, неразличимо глядя сквозь темные очки, что не любит свою книгу, хочет скорее отделаться от нее и пустить в печать, чтобы заняться другой, действительно важной и достойной.

«Так не бывает, это иллюзия, — понапрасну пытался уверить его Александр Трифонович. — Нельзя запланировать себе — сначала грешить, а потом все же войти чистым в царство Божие».

«Я ненавижу «Продолжение легенды», — заявил Кузнецов, — презираю свои рассказы и не люблю эту новую книгу, которая, если говорить серьезно, лакировочная насквозь».

В нем была странная смесь искренности и озлобления, почти цинизма. С восторгом он мог говорить лишь о каком-то фильме («Прошлое лето в Мариенбаде», кажется), который видел за границей.

«Я не понимаю, — все допытывался у него Твардовский. — Ну, вас не удовлетворяет повесть. Но почему тогда вы хотите ее напечатать? Не надо, пусть полежит. Неужели, если вы видите такие ее слабизны, то не хотите сделать ее лучше?»

Так и кончился разговор недоумением и неприятным осадком. Привычно видеть на таких обсуждениях автора сопротивляющегося, отстаивающего свое детище. Но тут какая-то другая крайность. Талантливый парень, но как можно жить с таким отношением к своему труду? Его презрение ко всему, что пишется и печатается, переливало через край и даже, кажется, распространялось на всех нас, с полным доброжелательством пришедших обсудить его вещь.

Видно, в той обстановке, что сложилась сейчас в культуре, не выдержали у него нервишки. И он нехотя обидел нас, обидел Твардовского, которому куда как труднее сейчас, чем Кузнецову или кому-либо иному.

Тем не менее Александр Трифонович весь день был терпелив и кроток, не взрывался, охотно шутил, в том числе и по поводу обескураживающего поведения гостя, что показывает в нем великую силу.

Попутное

Мы ничего не поняли, да и не могли понять тогда в поведении Кузнецова. Между тем к этому времени он, по-видимому, уже порвал внутренне со всем, что было в нашей литературе и стране, и тайно мечтал о побеге на Запад.

Через некоторое время беспрепятственно получивший как негласный сотрудник КГБ визу на Запад, где он должен был якобы заняться сбором материалов для книги о Ленине, этот фаворит Союза писателей перешел на положение «невозвращенца» и поселился в Англии, печатаясь под псевдонимом «Анатоль».

Жил он в эмиграции, по слухам, крайне уединенно и скоро умер. Возможно, он был подвержен некой душевной болезни, признаки которой, как мне показалось, были явственны и в день обсуждения у нас его повести.

6.IV.1963.

Приехал из Ростова В. Фоменко. Он тяжело болел, лежал четыре месяца, и все только обещает вторую часть романа [1].

Твардовскому уже не первый день звонят из МИДа, просят, чтобы он дал интервью американскому корреспонденту, любимцу Хрущева, Генри Шапиро. Твардовский отказывался, но ему заявили, что это «поручение ЦК». Из 26 переданных ему вопросов он приготовился отвечать на три.

Я очень боюсь, нет ли здесь ловушки: дать высказаться ему в зарубежной печати, а потом за это же снять. Говорил с ним об этом.

На настольном календаре заведующей в редакции критики «Советского писателя» я прочел: «План засорен классиками». Куда дальше? Рассказал об этом Твардовскому; он замотал головой, как от зубной боли.

Тем не менее на днях вышла моя книжка «Толстой и Чехов». По этому случаю я позвал вечером Трифоновича, Саца, Кондратовича, Закса и Фоменку поужинать. Всюду почему-то было закрыто, и мы попали в захудалый «Урал» в Столешниковом переулке.

Трифонович хорошо рассказал о девушке — машинистке метропоезда,

[1] «Память земли», первая книга романа напечатана в «Новом мире» в 1961 году.

с которой он случайно свел знакомство на сессии Верховного Совета, они сидели рядом. «Тоска на сессии жуткая, но она, между прочим, пока доклад читали, много чего интересного рассказала. В метро счет идет на секунды, работают все время в напряжении. И все-таки то и дело кто-нибудь попадает под поезд. Каждый день она работает по новому графику, устает страшно. Вот В-ву (поэт В. был днем в редакции с белыми стихами) поездить бы так под землей в душных, без вентиляции туннелях Сокольнического радиуса, глядишь, перестал бы писать стихи ни о чем».

Вечер нам несколько испортила вспышка Саца, выскочившего из-за стола и уехавшего вследствие спора с Александром Трифоновичем. На другой день, слава Богу, он помирился с Твардовским и просил прощения у меня, — славный он человек!

Рассказывают, что в Индию должна была лететь писательская делегация во главе с Кочетовым. Индусы официально потребовали убрать Кочетова из делегации, поскольку это бестактность — посылать именно его в пору натянутых отношений между Индией и Китаем. Оказывается, в Китае Кочетов едва ли не единственный советский писатель, признаваемый стойким революционером. Его издают там миллионными тиражами. Симптоматично.

* * *

Сделали вставку в передовую для № 4 — о «Матренином дворе». Цензура требует к слову «реализм» в заглавии добавить: «социалистический». Это нам боком выходит разговор Твардовского у Ильичева. Он и сам сокрушается: «Зачем я тогда высказался по поводу «реализма без эпитетов». Никто ведь за язык не тянул, захотелось пофорсить. Теперь вот вяжутся».

* * *

№ 3 подписан к печати **29.III.1963.**

В номере:

повесть В. Липатова «Черный Яр».

И. Исаков «Конец одной «девятки» (из невыдуманных рассказов)».

И. Эренбург «Люди, годы, жизнь». Книга 5-я (окончание).

Стихи Д. Самойлова, А. Яшина.

Очерк Леонида Иванова «В родных местах».

Статья проф. А. Чижевского «Эффект Циолковского».

Статья Н. Ильиной «К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести».

Рецензии Н. Коржавина, В. Лакшина и др.

13.IV.1963.

Александр Трифонович эту неделю не ходит. Пишет текст ответов на вопросы Г. Шапиро.

Отовсюду ползут малоприятные слушки. В «Дружбе народов» выкинули из № 5 статью Ю. Буртина о Твардовском, сказавши, что к маю Александра Трифоновича наверняка отрешат от должности и неловко будет выходить с похвалами ему. На Ученом совете в ИМЛИ В. Ермилов сболтнул публично, что ему-де предлагали «Новый мир», но он отказался. Все это сочится отовсюду и дергает нас, а Твардовского в первую голову.

Еще дурная новость. Очерк Ф. Абрамова «Вокруг да около», напечатанный в «Неве», осужден решением Секретариата ЦК. Приходится снимать уже набранную статью И. Виноградова о нем. Досадно.

Ф. Абрамов был вчера у нас в редакции, просил Дементьева познакомить его со мной. Мы посидели с ним полчаса на диване в комнатенке Закса и хорошо поговорили. Он хвалил журнал, критику, в частности, и за позиции, и за профессиональный уровень. «В сущности, это единственный журнал, где есть критика, достойная так называться». Упоминал Виноградова, Роднянскую, мои статьи. «Вы не представляете, какое вы дело делаете. В нашей питерской провинции это виднее. Вы заставили читателя читать ваш журнал не выборочно, а подряд, страницу за страницей, вплоть до маленьких рецензий».

Говорили и о его последней вещи («Вокруг да около»). Его собираются наказать по партийной линии. Дело передано в Ленинградский обком.

Я спросил его, как удалось напечатать. Он рассказал, что цензура сильно потрепала текст. Конец очерка был таков: Мысовский подходит к крыльцу сельсовета, а там ликование — включен приемник и передают сообщение о новом спутнике Земли, запущенном на орбиту. Мысовский поднимает глаза кверху и долго смотрит на синее бесконечное небо, которое бороздит этот новый спутник, а потом опускает медленно взгляд на землю. «Да — небо это н е б о. А земля — это з е м л я». Так кончался рассказ. Слова «небо» и «земля» были выделены курсивом. Немудрено, что это сняли: космос — главная гордость.

* * *

Газеты продолжают печатать нападки на самые различные произведения, напечатанные «Новым миром»: «Шире круг, шире круг!» В «Известиях» появилась статейка «Кочка и точка зрения», ругающая рассказ В. Войновича.

Из статьи «Известий» от 9 апреля 1963.

Талант — это умение видеть широко и верно. Без этого невозможно правдивое отображение жизни в художественном произведении. Писатель В. Войнович отступил от этого правила. Он показал наших современников в искаженном виде. Думается, что и стройка, и строители ему понадобились лишь для того, чтобы воплотить в рассказе порочную в идейном отношении посылку о том, что и в нашем обществе честному человеку, правде нелегко пробить дорогу. Однако вся наша жизнь опровергает этот неверный тезис.

Горький говорил: есть точка и кочка зрения. В. Войнович, взявшись писать о наших днях, встал на кочку зрения. А с кочки, как известно, кругозор ограничен.

Ю. У з ю м о в,
инженер-строитель.

г. Горький

18.IV.1963.

Всю зиму я исподволь разбирал и перебелял для публикации дневники Марка Щеглова. Написал к ним небольшое введеньице и теперь хочу напечатать — если в журнале не удастся, то хоть в книге.

Был у Маршака. Он стар, плох, но очень оживлен, нервен, взволнован в связи с присуждением ему Ленинской премии.

Александр Трифонович приезжал к нему недавно и читал ему «Теркина...». Маршак считает поэму вещью замечательной, совсем новой в сравнении с прежним вариантом: «прежде был немного фельетон против бюрократов», а теперь вещь очень серьезная, и швов не видно. Особенно понравилось Маршаку, как Теркин удирает с того света, уцепившись за поручни порожняка. «Смерть — она всегда в запасе, жизнь — она всегда в обрез», — твердил он.

Маршак расхвалил Твардовского, а на другой день испугался, позвонил ему и уговаривал повременить, не давать читать «выше». «Если хочешь взойти на костер — тогда неси...»

«Сейчас маленький 37-й год, — говорил мне Маршак, — и все люди проясняются, кто чего стоит». Сегодня ему принесли письмо членов редколлегии журнала «Юность» о выведении Евтушенко за его грехи из состава редколлегии — с тем, чтобы и он подписал. Маршак отказался. Тогда мальчик, приносивший письмо, просиял и сказал, что еще двое членов редколлегии тоже отказались это подписать.

«И когда мы бросим эту манеру — кормить буржуазных акул...— возмущался Маршак.— То мы их кормим Пастернаком, теперь вот Евтушенко — а они знай набрасываются».

Из дневника цензора В. С. Голованова

С 9 по 19 апреля я был болен, на бюллетене.

Весь материал № 4 Главлит со специальным письмом направил в ЦК КПСС.

Сегодня, 19 апреля, в 12 ч. 45 м. позвонила т. Бианки[1] и сообщила: в № 4 весь роман Камю «Чума» с номера снимается. Будет прислана замена этого материала. Задала вопрос: может ли редакция получить назад весь материал, оформленный к печати № 4 журнала?

Я немедленно информировал по телефону Начальника отдела т. Семенову о снятии романа Камю, а также о возможности возвратить рабочий редакционный экземпляр № 4.

Т. Семенова ответила: «Возвратить можно. Это подтвердит и т. Романов П. К.»

Попутное

Мы мечтали напечатать роман А. Камю (в переводе дочери Бальмонта) и натерпелись с ним. Цензура отослала его в ЦК, а там стали консультироваться с редактором «Иностранной литературы» Б. С. Рюриковым[1]. Он и погубил дело, сказав, что не стал печатать роман у себя как сомнительное сочинение.

Потом еще более подвел нас Арагон. Его запросили, стоит ли печатать Камю, и он, по-видимому, из вздорной профессиональной ревности, заявил, что не надо этого делать. Мол, Камю всегда был оппонентом французской компартии. Так роман и погиб для журнала.

20.IV.1963.

Пришел в редакцию, а там Дементьев, Кондратович, Закс — все в сборе и в тревоге. Отдел культуры ЦК, куда передали № 4 из цензуры, предложил переслать его для обсуждения в Секретариат Союза писателей.

Дементьев уверяет, что это просто путаница, аппаратная неразбериха, спихивание ответственности, и ничего страшного в этом нет. А мне сдается — хотят удушить журнал, взять не мытьем, так катаньем.

Хуже всего, что Александр Трифонович не в порядке — слаб, хвор и нервен до предела. Говорил с ним сегодня по телефону — голос хриплый, немощный. Он хочет встречаться с Н. С. Хрущевым — иного пути нет. Текст для интервью с Г. Шапиро написан хоть и с помощью Дементьева, да не слишком ловко. По просьбе Александра Трифоновича я сидел над текстом, присланным им на машинку, еще часа два, правил и делал пометки, чтобы Дементьев ему показал. Принял ли он мои поправки, пока не знаю. Сегодня этот текст должен идти на просмотр к Л. Ф. Ильичеву.

22.IV.1963.

Утром прибежал за мной на квартиру наш курьер: Александр Трифонович просит срочно в редакцию. Я пришел. Он показал мне сильно переделанный текст интервью. Стало лучше — определеннее, острее. Какие-то мелочи поправили еще — и пошло в ЦК, Ильичеву.

Теперь этому интервью, бывшему для него обузой, Александр Трифонович придает значение как способу «легализации» журнала.

Говорил с Твардовским о словосочетании «культ личности». Как-то неловко его употреблять. Это эвфемизм, символ чего-то другого. Давненько это было в ходу в споре народников и марксистов вокруг теории «героя» и «толпы». Но сейчас — почему не «страх личности»? «В годы страха личности...» — звучало бы не хуже.

[1] Рюриков Борис Сергеевич (1909—1969), в 60-е годы главный редактор журнала «Иностранная литература».

Звонила некая Павлова из ведомства В. Н. Пономарева (Международный отдел ЦК). Спрашивает: «Кто рекомендовал Сартру «Матренин двор»?» Александр Трифонович отвечал с большим достоинством: «Рукописи Сартру никто не передавал до публикации, а все, что мы печатаем, мы тем самым рекомендуем». «Сокрытие правды — тоже неправда,— говорил Александр Трифонович.— Не может быть для одних одно, а для других — другое. Я в литературе работаю уже несколько десятков лет, и так никогда не было и не будет».

Твардовский возмущен статьей в «Октябре» против повести Солженицына[1]. Как они себе это позволяют? Не может быть, чтобы вещь, одобренную Президиумом ЦК и Хрущевым, так спроста стали бы разносить. И кроме того, какая степень низости, гадости — упрекать несчастного, голодного, полуумирающего человека (Ивана Денисовича), что он на еду с жадностью набрасывается.

Я рассказал Александру Трифоновичу, что виделся с Маршаком. Оказывается, Трифоновичу пришлось дважды выступать на Комитете по премиям, чтобы его не провалили.

23.IV.1963.

По поводу интервью из ведомства Ильичева ответа нет.

Хороший разговор с Твардовским. Ему понравились слова Толстого, что художник, чтобы действовать на других, должен быть ищущим. Если он все нашел и только учит — он не действует. «Как странно,— сказал Александр Трифонович,— я не знал этого высказывания, но сам давно об этом думал, даже говорил что-то похожее в речи на съезде... Когда я сказал в речи, что «действительность не вполне действительность, если не закреплена искусством», на меня в кулуарах накинулись, вроде я в какой-то идеализм впал. А ведь это верно».

Вспомнили о статье «Партийная организация и партийная литература». Я сказал, что не сомневаюсь, что речь там шла не о художественной литературе, а о писаниях партийных публицистов. «Я тоже всегда это подозревал,— живо откликнулся Александр Трифонович,— слово «писатель» употреблялось тогда в ином смысле, как и «литература».

Вспомнили и о высказывании об этом Крупской, недавно простодушно обнародованном «Дружбой народов», что вызвало немалый конфуз и скандал.

О статьях наших литературных теоретиков Твардовский заметил: «Когда не могут сказать прямо, чего хотят, начинаются этакие извития речи...»

Говорили и о журнале.

«У нас нет верного понятия о масштабе дела, которое мы делаем,— сказал Александр Трифонович.— Для современников всегда иные соотношения, чем в истории. Камер-юнкер Пушкин мог казаться кому-то третьестепенной подробностью в биографии могущественного Бенкендорфа. А выходит наоборот. Ильичева забудут, а мы с вами останемся. Это я так думаю, а там — кто знает».

24.IV.1963.

До пяти часов вечера ждали звонка по поводу посланного в «верха» интервью.

В 10 ч. утра Ильичев звонил Твардовскому домой, но тот, как назло, как раз выходил за сигаретами. И потом ни звука. Александр Трифонович ждал в редакции, а Ильичев явно бегал, совещался. В самом конце дня, наконец, позвонил. Я был при этом разговоре и не мог не отметить мужество и достоинство, с какими Твардовский его вел. Ильичев имел неосторожность сказать ему, что дня два разыскивал его.

— Как вы изволили выразиться, Леонид Федорович? Искали два дня? Да я уже двое суток сижу у телефона, в уборную не выхожу, жду вас,— желчно и агрессивно сказал Твардовский.

[1] Н. Сергованцев. Трагедия одиночества и «сплошной быт». «Октябрь», 1963, № 4.

Ильичев неожиданно стал поздравлять Твардовского с удачным текстом, «вот только «Вологодская свадьба» и «Тишина» зря упомянуты, ведь их критиковали».

— Но я не считаю, что «Вологодскую свадьбу» критиковали справедливо, я думаю, что это правдивое, поэтичное описание людей деревни и их быта. Я никогда не верил в Яшина как в поэта с разными «Аленами Фомиными»[1]. А тут я сам, прочтя «Вологодскую свадьбу», ему позвонил, поздравил; здесь я не могу идти против себя.

— Но тогда хоть скажите, — продолжал Ильичев, — что ее критиковали в печати.

— Хорошо, я напишу после слов в тексте — «поэтичная «Вологодская свадьба»... «подвергшаяся несправедливым нападкам в печати».

Ильичев был, видно, разочарован, но поневоле согласился оставить это место как есть. Тогда перешел в наступление Александр Трифонович. Он настаивал, чтобы интервью одновременно с «Нью-Йорк таймс» было бы напечатано в советских газетах. «Я же и для своих соотечественников писал, для одних американцев не стал бы стараться».

— Конечно, — ответил Ильичев, — посылайте в любую нашу газету, хоть в «Литературную», я вас поддержу.

— Нет уж, Леонид Федорович, — возразил Твардовский, — хорошо бы напечатать в «Правде». И пусть это не будет моей частной инициативой. Если ЦК одобрил текст, я считал бы нормальным, чтобы вы его и послали в редакцию.

Ильичев вынужден был согласиться.

25.IV.1963.

Генри Шапиро — толстенький, круглый — пришел в редакцию, чтобы получить у Твардовского текст интервью. Он был разочарован и ошарашил Александра Трифоновича требованием — переделать все по-своему. «Какой-то Ра́дишев[2] — это для Америки неинтересно». Его можно было понять, но он и представить не мог, что стояло за врученным ему текстом. Твардовский уперся, не разрешая менять ни строки, иначе ничего не стоит нарваться на неприятности.

Дементьев звонил в Главлит, зондируя, что происходит с номером.

После ухода Шапиро пили чай с конфетами, судачили в доброй надежде, что появилась возможность перемены к лучшему.

А вечером — речь Хрущева, где требование к каждому советскому человеку быть милиционером в душе и почитать авторитеты. Тяжко жить с этими понятиями о коммунизме.

Из дневника цензора В. С. Голованова

25.IV. в 16.15 позвонил зам. главного редактора журнала «Новый мир» т. Дементьев, который говорит следующее:

— В. С.! Мы вам передали как цензору наш № 4 журнала. Прошло очень много времени, а от вас нет никаких сведений — с чем вы согласны, с чем не согласны. Это буквально наносит вред нашему журналу. Ведь в мире идет разговор, что наш журнал закрывают, что редактор Твардовский будет снят с руководства журналом, что цензор отстранен от работы. Ведь что получается — мы сдаем журнал в цензуру, а от цензуры фактически не получаем конкретных замечаний и указаний, а если мы их получаем, то в ЦК КПСС. В таком случае создается впечатление о том, что цензура — лишнее звено, что нам правильней было бы нести свой журнал в ЦК КПСС.

Я разъяснил т. Дементьеву о том, что вопросы политико-идеологического характера докладываются нами в ЦК КПСС и что Главлит самостоятельно по важнейшим вопросам, связанным с развитием литературы, никаких решений не принимает.

Кроме того, я напомнил т. Дементьеву, что т. Кондратович, кото-

---

[1] Ранняя поэма А. Яшина «Алена Фомина» (1949) была отмечена Сталинской премией.

[2] Текст Твардовского начинался так: «Наша литература издавна — со времен Радищева и Пушкина — выступала в особом историческом качестве...»

рый ведет № 4, хорошо осведомлен о том, где находятся материалы № 4 и какие предложения и рекомендации даются по журналу. В частности, мне официально через зав.редакцией т. Бианки известно о снятии с № 4 Камю, Ржевской и Габриловича. Вместо этих материалов мною на № 4 получены в качестве замены другие материалы. (...)

3 мая к концу рабочего дня позвонил зам. главного редактора журнала «Новый мир» т. Кондратович и информировал меня о следующих обстоятельствах:

«т. Черноуцан по 2-му варианту редакционной статьи для № 4 дал указание: исключить абзац, где говорится об оценке рассказов Солженицына «Случай на станции Кречетовка» и «Матренин двор». т. Ильичев просмотрел и одобрил интервью т. Твардовского, данное им корреспонденту «Юнайтед Пресс Интернейшнл» Шапиро. Решено редакционную статью переделать с тем, чтобы в ней использовать ряд положений, усиливающих требования к литературе. Вариант будет представлен 6 мая».

Информировал тт. Семенову и Аветисяна.

Попутное

На этом завершаются записи «Тетради № 1» цензора Голованова, случайно оказавшейся у меня под рукой. К сожалению, последующих его тетрадей не сохранилось или, во всяком случае, они не попали ко мне. Но я цитировал эти скучные канцелярские строки, потому что они фиксировали многое, не попавшее в мой дневник, и, главное, с той стороны сцены, которая не была видна не только читателям, но чаще всего и нам, редакторам журнала. Записи Голованова, оставляющие за скобками существо замечаний и запретов цензуры (устность — одна из основ аппаратной деятельности, многое покрывающая тайной), вместе с тем показывают м е х а н и к у отношений редакции «Нового мира» с Главлитом. Здесь приведены записи за несколько месяцев, но их легко моделировать и по отношению к последующим 7 годам деятельности журнала, руковсдимого Твардовским.

3.V.1963 подписан к печати **№ 4, 1963.**

В номере:

Г. Троепольский. «В камышах».

М. Галлай. «Испытано в небе».

Стихи К. Каладзе, Ст. Щипачева, Ю. Смирнова.

Статьи Е. Поляковой и Н. Гудзия.

Рецензии В. Огнева, И. Соловьевой и др.

Из интервью А. Т. Твардовского корреспонденту «Юнайтед Пресс Интернейшнл» Г. Шапиро, напечатанного под названием «Литература социалистического реализма всегда шла рука об руку с революцией» («Правда», 12 мая 1963 г.).

«По-моему «Один день» — из тех явлений литературы, после которых невозможно вести речь о какой-либо литературной проблеме или литературном факте, так или иначе не сопоставив их с этим явлением».

[В перечислении авторов «Нового мира»] «...Александр Яшин, автор многих стихотворных книг, опубликовавший отличный, полный поэзии очерк «Вологодская свадьба».

[Об Эренбурге]: «...строго и взыскательно критикуя Эренбурга, руководители партии характеризовали его как одного из замечательных советских писателей, талантливого публициста, видного общественного деятеля. Что касается печатания мемуаров Эренбурга, то, как вы знаете, в третьем номере «Нового мира» закончена публикация пятой книги».

12.V.1963.

Вчера к концу редакционного дня прислали из «Правды» полосу со статьей Твардовского. Пошли ко мне домой. Мама хлопотала с закуской. Александр Трифонович был в счастливейшем настроении, ребячился, веселился. Повторял: «Антонина Сергеевна, вы на нас не сердитесь, что мы немного выпиваем. Это важный день. Последние месяцы у нас как у журнала была временная прописка, а теперь — постоянная».

Сегодня утром я побежал к киоску пораньше, чтобы купить «Правду» и удостовериться, что статья вышла. Александр Трифонович потом тоже признавался мне, что не мог дождаться, когда принесут газеты, и выскочил на улицу, точь-в-точь как в его стихотворении «Московское утро»:

Надев свои новые брюки в полоску,
К газетному я направляюсь киоску.

16.V.1963.

А. Т. ходил к Ильичеву. Тот уговаривал его поехать в Италию, там оживилась деятельность Европейского сообщества писателей, а Александр Трифонович включен Вигорелли в высшее руководство этой организации. Как видно, нам выгоден этот «мост» между Западом и Востоком. Ильичев говорил, что поездка Твардовского была бы очень важна. Александр Трифонович, в свою очередь, напомнил о снятых цензурой материалах. «Вот у нас сняли письма по поводу «Вологодской свадьбы», а вы ведь читали, наверное, в «Правде» о Вологде недавно, какое там безобразие со знаменитым вологодским маслом. Это почище «свадьбы». Почему «Правде» можно, а нам нельзя?» Ильичев сказал, что не читал этой статьи (а мы-то ее в редакции обсуждали целое утро), чем изрядно удивил Александра Трифоновича. По поводу же писем сказал, что Твардовский-де публично выразил свою оценку очерка Яшина — и этого достаточно.

А. Т. заступался перед Ильичевым и за роман «Чума» Камю, говорил, что это значительная вещь антифашистского толка. Ильичев отнесся кисло, но обещал, что «изучит» этот вопрос.

На этих днях еще досадная история с «Известиями». Оттуда звонили в редакцию и просили подготовить им полосу из материалов 4-го номера «Нового мира». Мы порадовались, но они гнусно надули нас. Дали «передовую» не целиком, как обещали, а в выдержках, процитировав лишь места, мало для нас приятные—вынужденные, покаянные, так что мы выглядим в самом срамном виде. Тут и наша вина: как можно было довериться и не спросить на просмотр полосу? Александр Трифонович все говорил—«всякое даяние—благо», а теперь взбешен, звонил Аджубею, выражал возмущение. Тот ничего внятного не ответил. Сказал только: «Я это учту».

28.V.1963 подписан к печати **№ 5, 1963.**

В номере:
Чингиз Айтматов «Материнское поле», повесть.
М. Галлай «Испытано в небе» (окончание).
Стихи Р. Гамзатова, С. Щипачева, Е. Винокурова.
Подборка: «Стихи в боевом строю» (М. Кульчицкий, Н. Отрада, Н. Майоров).
Воспоминания Е. Ратмановой-Кольцовой.
Статьи и рецензии А. Дементьева, Ф. Светова, В. Непомнящего и др.

Начало июня 1963 г.

На редколлегии обсуждали «Чуму» Камю, хотим попробовать все же ее напечатать.

Говорили о новом рассказе Солженицына «Для пользы дела». Удивительно, всякий раз этот писатель поворачивается по-новому. Вот что значит талант! Одна только подробность нехороша (тут мы все сошлись). Не надо, чтобы негодяй-директор был еще и прямо своекорыстен. Это мельчит смысл. Ну да Солженицын найдет, как поправить.

Александр Трифонович собрался было написать по моей просьбе для 6-го номера статью о Мих. Светлове (его юбилей грядет). К Светлову он относится с личной «биографической» нежностью (тот печатал его на заре литературной деятельности в «Октябре»). Твардовский говорил, что начал статью, написал две странички, а потом перечитал стихи Светлова и расхолодился.

* * *

Думал после разговора с М. Хитровым, рассказавшим, как живется ему в «Известиях»: в нашем мире кажущейся железной необходимости и регламентации, в жизни, расписанной и предопределенной сверху до мелочей, построенной на ожидании «указаний» и «накачек», огромное значение, как ни парадоксально, приобретает малая, казалось бы, частная инициатива, добрый личный порыв, благое начинание. Думаешь: можно ли пробить эту стену—и немеешь в обреченном бездействии. А оказывается, только попробуй: стена пробивается неожиданно легко, если твое движение идет по ходу жизни. Сопротивление не так уж мощно, поскольку среда инертна. А сколько энергии дремлет и пережигается из-за жалких опасений: «ничего сделать невозможно», «что я могу» и т. п.

4.VI.1963.

Вечером в редакции виделся с Солженицыным. Подарил ему свою книгу и «Этимологический словарь» Преображенского, обещанный давно.

Говорили о его рассказе. Мне показался натянутым мотив выгоды, личной материальной выгоды для директора, отбирающего у техникума новое здание. Это лишнее. Неожиданно легко он согласился.

Сказал и об искусственных словечках, избыток которых, на мой взгляд, только мешает. Часто эти словечки придуманы изобретательно, дают эффект. Но не отвлекают ли они от существа дела? Отмечаешь про себя при чтении: «Ах, как ловко, даже щегольски сказано». А читатель не должен бы специально замечать эти красоты у глубокого писателя.

Солженицын говорит, что только что, в Солотчах, перечитывал Чехова и что даже у него, скажем, в «Ариадне», встречаются небрежности в языке. Я заступился за Чехова и сказал, что, по мне, любая его зрелая вещь куда выше блистательного в литературном смысле Бунина (недавно я перечитал «Жизнь Арсеньева» и не смог восхититься). Солженицын согласился, что у Бунина, при всех его достоинствах, есть какая-то неприятная ограниченность и самодовольство старого барина.

* * *

Прочитал повесть В. Тендрякова «Находка». Местами отлично написанная, но умозрительная вещь.

Прежде это был рассказ, но, когда Тендряков несколько месяцев назад пришел в редакцию разговаривать о рукописи, Твардовский посоветовал ему расширить рамки повествования. Главным казалась ему не история подкидыша, а фигура инспектора рыбохраны Карги. Он предлагал подробнее рассказать о нем, о его отношениях с начальством рыбнадзора и т. д.

Твардовскому очень понравилось, как пишет Тендряков лес. Он говорил, что завидовал, когда прочел у него: «перекрученные березки».

Но мешает избыток мелодраматизма, схемы в истории с ребенком. А самое лучшее, как и обычно у Тендрякова, начало: сцена с рыбаками у костра, где взято все так круто.

Боюсь, что Александр Трифонович напрасно сбил Тендрякова, посоветовав ему расширять этот сюжет, писать повесть. Получилось жиже, слабее.

* * *

В ЦК прислали донос по поводу моей рецензии на Булгакова. Черноуцан говорил об этом с Дементьевым, и Александр Григорьевич, по его словам, с негодованием отверг подозрение в «эзоповщине».

Я, странно сказать, верю в закон вторых встреч, таких неестественных в плохих романах, но таких обычных и натуральных в жизни. Так жизнь дважды сводила меня с Марком Щегловым, с Виктором Некрасовым.

Сегодня Некрасов подтвердил это мое наблюдение, вспомнив о первой, почти неправдоподобной встрече с Сацем во время войны. Его ранили в каком-то польском городе, кажется, в Сандомире. Он лежал на плащпалатке, посреди улицы, и сопротивлялся попыткам отправить его в госпиталь. Подбежал офицер в польской форме, капитан по званию, и распорядился, не слушая его протестов: «В тыл его, в тыл».

Некрасов едва за пистолет не схватился.

Потом в разговоре с Сацем, вспоминая войну, они восстановили, что в один день были в Сандомире. Некрасов сказал, что был там ранен в центре города и польский капитан его спроваживал в тыл. «Позвольте, отлично помню раненого офицера, который едва меня не застрелил в ярости, когда я велел отправить его в госпиталь...» — «Так это были вы?!»

Случайность? А может быть, закон? В этом разливанном людском море добрые люди, или, как по-старинному говорилось, «родственные души», непременно находят друг друга.

* * *

Писал об Островском — предисловие для Гослитиздата — не без удовольствия, но с чувством хорошо знакомого, профессионально-налаженного дела. И еще 20 таких предисловий могу написать. Но ведь и скучно, хочется другого, хочется попробовать себя на том, что не дается так легко, увидеть какой-то барьер впереди... Я знаю — какой, но пока из суеверия помолчу[1].

7.VI.1963.

Твардовский говорит: когда вместо «удой» в печати и сводках стали говорить «надой», это знаменовало коренную перемену в животноводстве. «Удой» естествен и доброволен. «Надой» — по плану и согласно указаниям.

Возмущались в редакции клеветой на Солженицына. В Ленинграде, в редакции «Звезды» некто Дьяков публично утверждал, что Солженицын попал в лагерь не за политические разговоры, а как предатель. «Какие мерзкие, гнусные люди, — говорил Александр Трифонович. — Мы им этого не простим».

На днях в редакцию забегал Корней Чуковский. Благодарил, шутовски кланяясь в пояс Твардовскому, за его — замечательный... фельетон (так он назвал интервью Г. Шапиро) в «Правде», заявил, что счастлив был дожить до этого дня.

9.VI.1963.

Перечитал «Записки покойника» Булгакова, думал об их публикации. Между прочим, он пишет слово «чорт» через «о». «Черт» через «е» — привычный, литературный, домашний. «Чорт» через «о» — страшный чорт Гофмана и Достоевского, это и в самом деле нечистая сила. Вот что делает одна буква. Так же, как у Блока: «В соседнем доме окна жолты...» «Жолты» совсем иной цвет, чем «желты». А В. В. Виноградов еще хочет реформировать орфографию и писать «мыш».

11.VI.1963.

Впал в благодушие на даче, предался «неге сельской жизни», читал и работал с удовольствием. Вчера приехал в город — куча неприятностей...

Цензура опять придерживает 6-ю книжку, особенно недовольны Тендряковым и дневником Марка Щеглова, подготовленным мной и горячо одобренным Твардовским. По дневнику два главных замечания: 1) упоминание с сочувствием о Б. Пастернаке; 2) Сомнения Марка по поводу постановления ЦК о музыке. Говорят: «Здесь приоткрывается механизм нашей пропаганды». Еще бы, а чего, прости господи, они желали? Как ложь и фальшь не назвать ложью и фальшью? Воистину царство мертвецов...

Солженицын подарил мне выпущенный «Советским писателем» на скорую руку «Один день...». Издание действительно позорное: мрачная, бесцветная обложка, серая бумага. Александр Исаевич шутит: «Выпустили «в издании ГУЛАГа».

[1] Я начинал писать статью о Солженицыне.

13.VI.1963.

Твардовский просил меня поехать на совещание представителей всех редакций у А. В. Романова — председателя нового Комитета по кино. Собралось человек 20 — 25. Романов сказал речь, меня ошеломившую.

«Надо покончить с разнобоем в оценке фильмов. А то что происходит, товарищи? Открываешь одну газету, например, «Труд», там дана одна оценка новому фильму. Смотрю другую газету, например, «Литературную», совсем другая оценка... Это дезориентирует зрителей, и с этим надо кончать... Общая оценка должна быть единой, расхождения возможны в частностях...» «Выпускаются фильмы с неприемлемым содержанием. Их три вида, три главных ошибки: 1) неверный «настрой», 2) в основе фильма откровенно ложная идея, 3) анекдотическое содержание, лишающее фильм «типичности».

Некоторые фильмы не будут выпускаться на экраны совсем, другие будут выпущены ограниченным тиражом («Двое в степи» по Э. Казакевичу, «Третья ракета» по повести Быкова). Когда они появятся на экранах — задача печати разъяснить, что в них неверно.

Надо бережно относиться к режиссерам, занятым современной темой, не бить их за художественные слабости.

Зарубежные фильмы мы не можем не покупать не только по экономическим соображениям, но и потому, что идет торговля кинопродукцией с Западом — «метр за метр», а мы не можем отказаться от распространения своей идеологии за рубежом».

Говорил о комедии и ругал прочитанный им сценарий «Берегись автомобиля». Пересказал его и возмущенно воскликнул: «Нелепость какая-то... Это же совсем не смешно!.. Между тем жизнь полна комедийными положениями... Недалеко ходить. Вот я подъезжаю к нашему зданию в машине, милиционер свистит: «здесь нельзя останавливаться» — уже смешно! Шофер пытается переставить мою машину в другое место — снова ему свистят, опять смешно!!»

Романов говорит размеренно, солидно, округло разводя руками. Разогревает себя, поднимает голос, когда говорит о тех, кого надо разоблачать и клеймить.

Стало очевидно, что этот бюрократический спрут в виде новоиспеченного Комитета задавит киноискусство в 2 — 3 года. И нет этой дури конца и края.

Чудесно отвечал Романов на вопрос какого-то журналиста-лизоблюда, как все же избежать разнобоя в оценках, ведь не всегда знаешь, что *нужно* писать? «Что вы, маленькие, товарищи? — сказал Романов. — Не знаете, как отнестись к фильму?.. Ведь есть телефон, всегда можно узнать, как фильм оценивается... Ну, нет меня на месте, всегда кто-нибудь из аппарата присутствует, кто может пояснить...»

Привожу его слова по записям в блокноте. Когда я рассказывал Александру Трифоновичу и другим нашим о том, что услышал, изумление их было велико.

Открыто говорится, что думать никому не следует, существует система указаний — и амба! Это уже напоминает практику 1946 — 1948 гг.

А вечером того же дня — противоположное впечатление. Был у Саца, и Игорь Александрович очень сокрушался и бранился по поводу признания журналом в передовой статье «ошибок», совершенных В. Некрасовым. Кипятился, кричал обидные слова, рассуждал совершенно нетерпимо, укорял Твардовского. Как было бы легко жить, если бы можно было выпускать журнал и делать это так, чтобы без малейшего упрека совести.

А то можно жить, конечно, с вполне чистой совестью, но уже ничего не делая. Надо выбирать. Рассуждение, знакомое по стихам Н. А. Некрасова, написанным в прошлом веке соредактору по «Отечественным запискам» М. Салтыкову:

...И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь, журнальный путь...
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей...

Так, все так, но как ни утешайся, все же в таких случаях, как с этой передовой, чувствуешь себя скверно, на душе кошки скребут.

24.VI.1963.

Пришел в редакцию и окунулся в неудачи и огорчения. «Находку» Тендрякова цензура сняла из номера. Сняли, убоявшись неведомо чего, и тихую статью Анастасьева о драматургии, шедшую по моему отделу.

Твардовский уехал в Дагестан — вручать премию Расулу Гамзатову.

Скверные для нас, для журнала, вести о речи [Н. С. Хрущева] и репликах на Пленуме.

Сегодня прочел в верстке путевые заметки И. Орлова «Жарким летом» — и возмутился их мелкостью, бессодержательностью. После того, как посидели с Троепольским «в камышах», погуляем еще беспечными туристами и по речке.

Я высказал свое впечатление Дементьеву, Кондратовичу, Герасимову. Они в один голос: а что печатать? Это нельзя, другое — нельзя, приходится выбирать хоть из бессодержательных, но заведомо безвредных вещей.

Разговор вышел бурный, и все почувствовали, что кризис недалек. Коли так будет продолжаться, честнее разойтись: журнал теряет всякий смысл.

Я решил дождаться Трифоновича и говорить с ним.

26.VI.1963. Подписан к печати **№ 6.**

В номере:
Н. Дубов. «Мальчик у моря». Повесть.
К. Паустовский. «Третье свидание».
И. Орлов. «Жарким летом».
М. Щеглов. Студенческие тетради.
Стихи М. Карима, П. Бровки, Дм. Сухарева, переводы Н. Чуковского из Ю. Тувима.
Статья И. Саца (о Луначарском) и З. Паперного (о М. Светлове).
Рецензии И. Соловьевой, Л. Лазарева, И. Виноградова, Арс. Тарковского и др.

2.VII.1963.

В очередной речи[1] говорится о том, что литературная критика не оправдала себя и что оценку литературным произведениям должны давать партийные «кадры», что аппарат должен сам решать все в вопросах искусства. Как в сельском хозяйстве — один с сошкой, семеро с ложкой, так тут — один с пером, семеро с топором (чтобы вырубать крамолу, стоя за спиной пишущего).

Тем временем мы лихорадочно ищем, что печатать в очередных номерах. Я подготовил «Записки покойника», переименовав их, с согласия Елены Сергеевны, в «Театральный роман». Уже после того, как я предложил ей этот вариант, она разыскала автограф Булгакова с поисками заглавия — и, в числе других, «Театральный роман».

Сейчас читаю «Перекос» С. Залыгина (о коллективизации), «Мертвую дорогу» Побожьего, которую рекомендует Сац. По другим временам все это надо бы печатать, а сейчас к а к?

5.VII.1963.

Пять председателей колхозов из Новгородской области прислали в редакцию отчаянное письмо о положении в их хозяйствах: люди бегут из колхоза, работать некому, технику у МТС, в согласии с последними постановлениями, купили поношенную, большая часть машин и тракторов стоит из-за отсутствия запасных частей, планирование идет сверху и разрушает разумное использование земли и т. п. «Больше вести так хозяйство невозможно», — пишут они.

Твардовский, которого я впервые видел сегодня после его поездок в Италию и в Дагестан, крайне взволнован всем этим.

---

[1] Имеется в виду речь Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК.

«Такое письмо можно писать, лишь махнув на все рукой, в таком настроении: хотите снимать — снимайте!»

А вчера в «Известиях» «письмо земляков» Ф. Абрамову по поводу очерка «Вокруг да около». Очередная дутая «коллективка», как с Яшиным. «Народился новый литературный жанр — «письма земляков», — невесело шутит Твардовский.

Подумали и решили переслать письмо пяти председателей колхозов в «Известия» Аджубею. Александр Трифонович написал в сопроводительном письме, что тут случай такой, когда, на его взгляд, нужно быстрое вмешательство печати, а так как у ежедневной газеты тут все преимущества перед толстым журналом, он надеется на выступление «Известий».

Как бы не так! Ну, да все равно, пусть Аджубей почитает. Жаль только, что для тех людей, что писали письмо, издавая по сути вопль отчаяния, ничего, скорее всего, не изменится, и каждому придется решать за себя, в одиночку. Александр Трифонович и сам понимает, что Аджубей вряд ли решится: то, что сейчас не «в кон», неприятно ему, и он предпочитает этого не видеть. «Есть род людей, особенно в аппарате, — рассуждал Александр Трифонович, — которым совсем не важно, что происходит на самом деле, а важно лишь то, что пишется, что в печати. Отражение важнее положения».

Сегодня Александр Трифонович звонил В. С. Лебедеву, чтобы сговориться с ним и передать Хрущеву рукопись поэмы. Кто-то усомнился, удачен ли момент. «По-моему, не шутя, сейчас для этого самое подходящее время, — отвечал Твардовский. — После Пленума важно показать, что литература жива. Я убежден, что «Теркина» напечатают».

Александр Трифонович прочел остановленную цензурой «Находку» Тендрякова в новой редакции. Конец повести раздражает его фальшью, искусственностью девицы и самого Карги.

6.VII.1963.

Болтун-цензор Виктор Сергеевич Голованов — колоритная фигура в нашей нынешней жизни. Его резиденция в Гослитиздате, и С. понесла подписывать к нему книгу Макогоненко о Пушкине, которую она редактировала, а Голованов неожиданно разоткровенничался — о «Новом мире» говорил, о Солженицыне, словом, обо всем.

Он, как нарочно, из журналов цензирует нас и журнал Московской патриархии. «Что вы думаете, у них тоже бывают ошибочки, — объяснил он С. — А в «Новом мире» меня все любят, и Б. Г. Закс, и А. И. Кондратович... Товарищи по Главлиту говорят мне: «Да брось ты этот журнал, с ним одни неприятности, вот выговор схватил за «Тройка, семерка, туз» Тендрякова. А я не бросаю, это дело интересное и важное. С Александром Трифоновичем у меня хорошие отношения. Я все разговоры с ним записываю, на всякий случай... Вот в этом сейфе тетрадь хранится... А Солженицына новый рассказ («Для пользы дела») — сложный: здание у детишек отбирает номерной институт, а ведь мы все для обороны делаем, готовы на любые жертвы... А тут детишек жалко... Ну, номерной, во всяком случае, придется им переменить — напишут просто НИИ, но ведь и это, по существу, не годится...»

Так он болтал, благодушествуя.

Твардовский очень веселился, заставил пересказать все подошедшему Сацу, а сам припомнил один свой разговор с Головановым.

«Вы же не хотите, — сказал ему Александр Трифонович, — чтобы в будущей истории литературы вас называли ретроградом. Куда лучше, если о вас будут говорить, как о просвещенном деятеле — Гончарове или Никитенко».

После работы пошли поужинать Сац, Александр Трифонович, Закс, Коля Томашевский и я. Пока шли не торопясь по Петровке, я говорил Твардовскому о том, что меня огорчает последнее время в журнале. Сказал о вещицах, подобных запискам Орлова. Если ничего лучшего нельзя напечатать — честнее будет уйти, а не держать над кабаком (как у Слепцова) вывеску «Русский лебедь». К чему самим обманываться и читателя обманывать?

«Да, конечно, плоховато, — согласился Александр Трифонович. — Но главное сейчас «Теркин». Если это пойдет, то и все наладится. А нет,

так и я уйду. Вот вы пойдете, наверное, в университет, преподавать. Но ведь и я могу... Я ночью сегодня думал: если месяца три мне поготовиться, я, наверное, мог бы читать курс XIX века... Ведь у меня диплом есть».

И горько, и трогательно было это слышать. И почему-то, вопреки логике (ведь ничего не случилось), повеяло надеждой на то, что все будет хорошо.

За столом он кое-что любопытное рассказывал об Италии, о провале там на заседании КОМЕСа Рюрикова и Суркова. В целом поездка была удачной, хотя, как видно, эти впечатления заслонены новыми.

Много говорил о Дагестане, где он чествовал Расула. Даже читал по блокнотику шуточные стихи Карло Каладзе, приписанные им Твардовскому.

Очень неприятное впечатление осталось у А. Т. от И. И. Анисимова [1]. На торжественном обеде Александр Трифонович произнес тост в честь Гамзатова, сказав что-то о добром сердце поэта. Расул пустил слезу, расцеловался с Александром Трифоновичем. И тут встал, чтобы держать свою речь, Анисимов. «У нашего Расула злое сердце, партийное сердце»,— сказал он. Даниялов, партийный секретарь Дагестана, исправляя возникшую неловкость, поддержал Твардовского.

Ездили в горы, в Цада, родной аул Гамзатова. Мать, которую Александр Трифонович стал поздравлять с наградой сыну, ответила: «Лучше б он хоть раз помолился за те четыре года, что мы не видались».

Поразили Твардовского березки на высоте 2000 метров и каменное ложе естественной ванны, где они с Расулом плескались в теплом источнике.

Даниялов спросил Александра Трифоновича: «Какой, по-вашему, самый большой недостаток в партийном руководстве литературой?» «Слишком много руководства»,— отвечал Твардовский.

8.VII.1963.

Александр Трифонович разговаривал с В. С. Лебедевым о «Теркине на том свете», рукопись которого прежде передал ему.

Лебедев: — Я убежден, что это будет напечатано. Но, конечно, вещь трудная. Все ли правильно поймут?

А. Т.: — Я уверен, что народ поймет правильно.

Лебедев:— А читать — одно наслаждение. Вы правы, это совсем новая вещь в сравнении с вариантом 1954 года.

Поцелуи, поздравления, пометок на рукописи никаких.

Н. С. Хрущев, вернувшись из Киева, будет, кажется, встречаться с Твардовским среди червых.

9.VII.1963.

Цензура держит, не подписывая, рассказ Солженицына. На запросы отвечают: «Читаем». Возник в редакции разговор, сколько потребно времени, чтобы прочесть рассказ в два авторских листа? Кто-то заметил: «Да его мигом проглотят — это же интересно».

А Твардовский: «Кузьма Горбунов, когда был политредактором, так рассуждал: читаешь материал, и вот по строчкам ползешь, все скучно, знакомо. Вдруг чувствуешь, что стало интересно,— вооружись. Пока идут цитаты, пересказы классиков марксизма-ленинизма — можно глазами скользить, все в порядке, а как заинтересовался — тут что-то не то... Я всегда на себе проверяю».

Вспомнили по какому-то случаю о паскудных нападках на Солженицына. «Я могу сказать, как Кутузов,— заявил вдруг Александр Трифонович,— «будут они у меня конское мясо есть». Попомните мое слово, так и случится».

Зашел разговор о Маяковском. Твардовский говорил, что у него трех хороших строчек подряд не найти: одна-две есть, ну а уж третья непременно выверт, трюк, неловкость, просто небрежность. Зная, что тут он непристрастен, я заступился за Маяковского, меня поддержал Дементьев, и забушевал спор.

[1] Иван Иванович Анисимов — литературовед, с 1952 по 1966 год директор ИМЛИ.

Александр Трифонович говорил, что Маяковского у нас внедряли силком 20 лет, как сейчас кукурузу или картошку при Екатерине, против воли большинства читателей, и теперь уже трудно определить реальное его место.

12.VII.1963.

С утра в редакции Александр Трифонович в моем присутствии говорил с главным редактором Гослитиздата А. И. Пузиковым, просил, молил задержать вторую верстку двухтомника поэм. «У меня есть планы... Я кое-что хочу сделать по составу во втором томе». Потом положил трубку и подмигнул мне. «Думаю я о некой поэме, да не могу ее Пузикову назвать. Первый том получился толстый, а второй — тощий. Так хорошо было бы туда подбавить одну вещь... Совсем по-другому бы все издание заиграло».

Ему по-детски хочется видеть «Теркина на том свете» напечатанным. И в то же время мучительное самоограничение — сказать-то о поэме нельзя.

«Я теперь, выходит, ничего не могу напечатать, не показав «наверху». Мария Илларионовна говорит: «Это что же, Саша, вроде «я сам буду твоим цензором»? И, кажется, права».

Днем обсуждали «Мертвую дорогу» Побожьего [1]. Были: Сац, Кондратович, Твардовский и я. Александр Трифонович говорил точно и умно о жанре этой вещи. Вообще о том, что, если у нас нет хорошей беллетристики, будем шире печатать воспоминания, записки.

Он сказал то, о чем и я думал: читатель не доволен уровнем нынешней прозы. Тут только немногие вещи, вроде Солженицына, не оскорбляют его чувства правды. И читатель — инженер, летчик, геолог и т. п.— сам берется за перо, чтобы сказать: «Вот как на самом деле было».

Документальная литература обычно предвещала подъемы реализма, заполняла паузу и была вестником новой литературной поры. В русской литературе в XIX веке так было дважды: в 40-е годы с «физиологическим очерком» и в 60-е с очерками разночинцев (Н. Успенского, Решетникова, Левитова).

Твардовский стал агитировать меня написать об этом статью. Но мне это не с руки, потому что лучшие вещи документального жанра печатались у нас же в «Новом мире».

Сговорились, е. б. ж. (если будем живы), сказать об этом в редакционном обращении к читателям в конце года.

Побожьего Александр Трифонович просил искоренять вкравшуюся в его рассказ беллетристику, «красоты слога» и не стесняться дать больше деловых, конкретных подробностей строительства дороги.

Александр Алексеевич показал нам карту трассы Салехард — Игарка, изготовленную когда-то для МВД. Конечно, это была сумасшедшая затея, погубившая множество людей,— Сталин и Берия с этим не считались, дорогу строили лагерники и немногие вольнонаемные. Сейчас дорога оставлена и забыта, валяются по тундре рельсы и шпалы. Но кто знает, говорил Побожий, может, через какое-то время такая дорога и понадобится для освоения Севера, и туда вернутся люди.

14.VII.1963.

В газетах ответ китайцам, вместе с их письмом. Читал я ответ с радостью и с сознанием, что могу подписаться под этим текстом. Казарменный коммунизм, тупая догматика, расовое самодовольство — все это противно донельзя. Китай в карикатурной форме переживает наши 30-е годы. Надо же, чтобы так мучительно развивалась история социализма. Китайцы ловят нас иногда на теоретической непоследовательности (тезис «общенародного государства» и т. п.). Но лучше уж такая «непоследовательность», чем социальное людоедство под знаменем марксизма.

[1] Побожий Александр Алексеевич, инженер-изыскатель, принявший участие в проектировании крупнейших железных дорог в 1930-е — 1960-е годы, автор «Нового мира».

15.VII.1963.

Рассказ Солженицына подписан цензурой. Вымарки пустяковые: слово «забастовка» у ребят, еще что-то в этом духе. Тип «волевого руководства» — забрано в кавычки.

16.VII.1963.

В Москву прилетел Виктор Некрасов. Его вызывают 19-го в Киев для разбора его персонального дела и «гражданской казни». Некрасов встречался с Александром Трифоновичем. Тот предложил ему поехать в командировку от «Нового мира» куда-нибудь на Красноярскую ГЭС, пока шум уляжется. Некрасов ехать не хочет.

19.VII.1963 подписан к печати **№ 7.**

В номере:
Е. Драбкина. «Удивительные люди».
А. Солженицын. «Для пользы дела».
Н. Мельников. «Строится мост».
Стихи В. Шефнера, М. Алигер, М. Танка.
Статья Е. Дороша.
Воспоминания о Маяковском.
Рецензии А. Туркова, Ф. Светова, Т. Мотылевой.

23.VII.1963.

В редакции обсуждали (без Александра Трифоновича, он не приехал) повесть С. Залыгина «Перекос». Залыгин рассказал, как пришло ему в голову написать эту вещь. Все, что он читал о коллективизации («Люди на болоте» Мележа, Стаднюк, даже Шолохов) — все его не удовлетворяло, потому что рассказ всюду ведется от лица Давыдовых и Нагульновых, то есть тех, которые проводили коллективизацию, а не тех, которых коллективизировали, не крестьян. Когда же Шолохов изображал «середняка» Майданникова, он выдвигал смехотворную проблему «бычков», тогда как главное — ломка всей психологии, веками сложившегося уклада, а это было ой-ой как больно! В «Перекосе» время показано глазами Степана Чаузова, и оттого так трудно вводить посторонние мотивировки, которые, как хотелось бы Александру Григорьевичу Дементьеву, объясняли смысл коллективизации в целом и т. п.

Обсуждали: Дементьев, Герасимов, Закс, Кондратович, Берзер, Марьямов и я. Все говорили о значении этой вещи, о неожиданной художественной удаче автора. Говорили о том, что пора сказать о 30-м годе громко — ведь это узел всех нынешних проблем деревни.

Обсуждение шло к концу, когда раздался телефонный звонок. Я подошел — Черноуцан разыскивает Твардовского, просит его завтра непременно приехать в ЦК, к Ильичеву.

Я взял машину, поехал к Сацу (там его нет), потом на дачу, во Внуково. Застал Александра Трифоновича ослабевшего, не в форме. Он бранил записки И. Орлова, прочитанные им в готовом номере («вот от чего можно запить»), и упрекал меня, что я не задержал в верстке.

О своей поэме говорил с горькой обидой, что из посторонних источников узнал, будто назначено чтение у Н. С. Хрущева и что «Алеша (Аджубей) будет читать».

Опять возвращался к мыслям об отставке. Говорил, что во время бессонницы думал и даже Марии Илларионовне сказал: «Коли не нужен, уеду в областной город, подготовлюсь и буду преподавать историю литературы».

«Вот Гоголь, Саша, тоже хотел историю преподавать, а что из этого вышло?» — не утерпела Мария Илларионовна.

Порешили, вроде, на том, что завтра он приедет в Москву, чтобы идти к Ильичеву к 2-м часам дня.

26.VII.1963.

Ничуть не бывало. 24-го он не появился, но к следующему дню обрел форму и поехал к Ильичеву. Разговор шел о предстоящей в Ленинграде конференции Европейского сообщества писателей. В этой акции сейчас очень заинтересованы — показать, что Запад не отвернулся от нас после «исторических встреч», и найти в Европе почву для контактов. Александр Трифонович для нашего начальства — «окно в Европу», вот его и вытребывают для консультаций.

Отправился сегодня из дому в редакцию — и вдруг чудесное зрелище: через улицу Чехова идут три ослепительных джентльмена — Твардовский, Некрасов, Солженицын, — все чистенькие, трезвые, деловые. Шли от редакционной суеты потолковать на улице. Позвали меня, и, дойдя до Страстного бульвара, мы расположились на скамейке, спиной к моему дому. Александр Трифонович рассказал кое-что о встрече с Ильичевым. На форуме европейских писателей докладчиками от СП назначены Рюриков и Новиченко, это смешно. Но Ильичев говорил с Александром Трифоновичем в высшей степени любезно, и, как всегда в таких случаях, Твардовский склонен впасть в благодушие и надеется на добрые перемены. Он сговорился в ЦК, что В. Некрасов поедет от журнала в командировку в Красноярск.

Александр Трифонович рассказывал, что в Италии его совсем не знают как поэта, а лишь как редактора либерального журнала. Сейчас там выходит первая его книга, и это... сборник статей. «Ведь я пишу с рифмами, ритм соблюдая, даже содержание обычно есть, — а для них все это не поэзия. Надо писать без рифм и чтобы было непонятно — тогда другое дело».

Насторожила меня одна фраза Твардовского о поэме, что не следует торопиться с ней, надо, чтобы условия созрели... Видно, кто-то его пугнул. Неужели опять будет тянуть? Не к добру это; сделавши первый шаг, показав поэму Лебедеву, надобно делать и второй.

Солженицын, явившийся в белом картузе, в каком в чеховские времена ходили землемеры и помещики средней руки, жаловался на нездоровье, головные боли. Сказал, что пишет нечто, осенью, быть может, привезет показать, и для этой работы пропадает в библиотеке. В Москве оказалось невозможным заниматься, все узнают его, так он приспособился ездить в Ленинград, сидит там в Публичной библиотеке и очень доволен.

Рассылается 6-й номер журнала. Вчера, едучи на электричке с дачи, видел, как в вагоне читали дневники Марка Щеглова. Странное чувство: его уж семь лет как нет, а голос его я въявь слышу.

Окончание следует

Аркадий Ваксберг

СТРАНИЦЫ ОДНОЙ ЖИЗНИ

(ШТРИХИ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ ВЫШИНСКОГО)

5

...На фронте воевали, на Лубянке допрашивали очередных врагов народа, а московские тюрьмы давно опустели. Впрочем, они начали пустеть еще в преддверии войны. Поразительная вещь: тогда как военное ведомство по указанию вождя ничего не предприняло для отражения отнюдь не внезапной агрессии, ведомство Берии проявило разумную предусмотрительность. Сухановскую и Лефортовскую тюрьмы, где были сосредоточены основные «контингенты» врагов народа, начали эвакуировать еще в мае. Но внутренняя тюрьма НКВД по-прежнему испытывала «жилищный кризис»: сюда доставляли все новых и новых арестованных. Здесь ждал решения своей участи приговоренный к смерти великий генетик академик Николай Вавилов. Все следователи по особо важным делам получили «бронь» от призыва на военную службу: их ратные подвиги были нужны здесь, а отнюдь не на поле брани.

Фронт стремительно приближался к Москве — НКВД был озабочен не обороной, но судьбой арестантов: население архипелага ГУЛАГ по-прежнему составляло не один миллион человек, иные из них оказались в непосредственной близости к фронту. В Орловской тюрьме (бывшем, еще при царизме, Орловском централе) сидели и недавние «клиенты» Вышинского — участники последнего из московских процессов Христиан Раковский, Сергей Бессонов и профессор Дмитрий Плетнев; их свезли сюда еще до войны — кого из Соловков, кого из Владимира...

На Лубянке срочно просматривали имена еще не уничтоженных знаменитостей. Их набралось 154. Все они были обитателями Орловской тюрьмы. Список был передан Ульриху, и с оперативной поспешностью армвоенюрист, ставший теперь генерал-полковником, проштамповал на всех заочные приговоры. Каждый из них был обвинен в контрреволюционной агитации и призывах к тюремному бунту, а посему — с учетом «обстановки военного времени» — подлежал расстрелу. 11 сентября обреченных вывели из камер и казнили — кого в подвалах, кого во дворе. (Кроме названных — Марию Спиридонову, Ольгу Каменеву, жену Л. Б. Каменева и сестру Л. Д. Троцкого Варвару Яковлеву и многих других.) На следующий день все остальные погрузились в эшелоны и, спасаясь от немцев, отправились на восток. Орел пал лишь через месяц — 8 октября.

Несмотря даже на эти чрезвычайные меры, Лубянка явно не ожидала крутых поворотов: здесь шла обычная, повседневная жизнь. Еще 15 октября академик (нет, смертник) Вавилов докладывал Берии, какую пользу стране в условиях войны могли бы принести те гигантские по своей всеохватности работы, которые он задумал. Но уже через несколько часов все изменилось.

Передовые части германской армии в нескольких местах прорвали фронт и устремились к Москве. Город охватила паника. Каким-то непостижимым образом информация, подчас сильно преувеличенная, распространилась среди москвичей. Тысячи людей потянулись к вокзалам, а то и просто к дорогам, ведущим на восток. Некоторые грабили кассы и магазины — о расстрелах мародеров (остальным в назидание) сообщали радио и газеты.

Официальная сводка Советского Информбюро была, как всегда, лаконична, но вполне выразительна: она сообщала о боях «на всем фронте,

---

Окончание. Начало см. «Знамя» № 5 за 1990 год.

особенно ожесточенных на Западном направлении... Обе стороны, — завершалась сводка, — несут тяжелые потери».

В ночь на 16 октября началась спешная эвакуация внутренней тюрьмы НКВД. С арестантами в Куйбышев выезжали их «референты» — следователи Особого отдела. Туда же днем 16 октября выехали дипломатический корпус и часть аппарата Наркоминдела во главе с Вышинским. Через два дня (даже для правительственных составов скорость в то время невиданная) эшелоны прибыли в Куйбышев. Молотов был уже здесь, но, обеспечив размещение аппарата и дипломатов, вскоре вернулся в Москву. С этого времени и до конца сорок второго года Вышинский станет «запасным» министром в «запасной» столице, напрямую общаясь со всеми послами и фактически осуществляя всю советскую дипломатию. Молотов будет в Москве — вместе с вождем.

В тот самый день — 28 октября, — когда на окраине Куйбышева, в «населенном пункте» Барбыш (там были дачи областного управления НКВД), без приговора, по личному приказу Берии были казнены крупнейшие советские военачальники — Г. Штерн, Я. Смушкевич, П. Рычагов, А. Локтионов, И. Проскуров и другие, — на сцене Куйбышевского оперного театра начал давать спектакли эвакуированный сюда Большой театр: где правительство, где дипкорпус, там и Большой. Здесь собрались лучшие силы театра — оперные (Барсова, Михайлов, Пирогов, Рейзен), балетные (Лепешинская, Мессерер), дирижеры (Самосуд, Файер, Мелик-Пашаев). Дипломатов пригласили на эту горькую «инаугурацию» — забыться под музыку Верди от тягот провинциального военного лихолетья. С ними был и Вышинский — по долгу службы и зову сердца. В зале — подручные Берии, палачи Шварцман и Родос, неразлучный дуэт.

На следующий день из Москвы прибыли Меркулов и Деканозов: исполнителям-палачам было в чем отчитаться. Свой первый официальный визит вновь прибывшие нанесли Вышинскому. Кроме него, здесь находились еще двое «вице-премьеров»: Николай Вознесенский и Михаил Первухин, но Вышинский был ближе, роднее. Понимал с полуслова. Тут же дал указание местным властям освободить для нужд особого ведомства еще два дома. Но вряд ли узнал он от своих визитеров, что здесь, по соседству, всего лишь вчера были тайно убиты знаменитые генералы — гордость армии и ее надежда. Свой-то свой, но не до такой степени...

Под вечер 6 ноября они снова все собрались в том же театре. Места в президиуме заняли Ворошилов, Калинин, Андреев, Шверник, Вознесенский, Шкирятов, Ярославский, Первухин. С праздничным докладом выступил Вышинский. Впервые за 24 года, сказал он, в Москве не будет торжественного собрания и парада — высокая и горькая честь произнести доклад не в столице, а в славном городе на Волге выпала ему... Зал, значительную часть которого составляли дипломаты, сочувственно аплодировал. После доклада, как водится, был концерт. Но в ложе правительства остался только Вышинский — весь президиум куда-то исчез. Война, работа, не до концертов: кто этого не понимал?..

Между тем президиум в полном составе (лишь Вышинский по протоколу не мог покинуть дипкорпус) направился во Дворец культуры. Там по прямой трансляции передавали из Москвы главный доклад — тот, которого вроде бы не должно было быть. Под землей, на перроне станции метро «Маяковская» (о том, что именно в метро, тогда мало кто знал) выступал Сталин. С ним рядом были те, кто остался в столице: Молотов, Берия, Маленков, Каганович, Микоян, Щербаков, Буденный, Щаденко.

Назавтра, праздничным утром, Вышинский стоял на трибуне — вместе с членами Политбюро, с Меркуловым, со своим коллегой Лозовским. Здесь, в Куйбышеве, парад принимал Ворошилов — в те минуты, когда Сталин на Красной площади осенял уходившие прямо на фронт колонны именами Александра Невского и Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова.

Вечером Вышинский дал свой первый прием. Потом будет их много — тех, где он станет радушным хозяином. Этот был первым и потому историческим. Присутствовал весь дипкорпус, явились военные миссии Англии, Польши, Чехословакии, специальная миссия США. Коммюнике сообщало, что присутствовал и «ряд советских писателей». Среди них — Илья

Эренбург, который впервые имел возможность непринужденно побеседовать с вчерашним прокурором.

Прием удался на славу. Гостей услаждали своим мастерством первоклассные артисты, представлявшие едва ли не все жанры искусства: Вышинский и в лихую годину оставался покровителем муз.

Праздник есть праздник, вслед за ним наступили рабочие будни. Куйбышев стал ареной интенсивной дипломатической деятельности. Одним из первых сюда прибыл глава правительства Польши в изгнании и главнокомандующий рассеянной по миру польской армии генерал Владислав Сикорский. Еще в июле он подписал соглашение о возобновлении дипломатических отношений с Москвой. Предстояло пойти дальше, договориться об участии польских солдат и офицеров в борьбе против общего (теперь уже общего) врага. Но для этого надо было прежде всего их собрать — и солдат, и офицеров. Польский посол профессор Станислав Кот уже несколько раз обращался к Вышинскому. Еще в Москве, в конце сентября и начале октября. Требовал списки плененных русскими польских воинов. Представлял свои списки, желая получить сведения о судьбе тех, кто был там поименован. Диалога не получалось. Вышинский твердил только одно: все пленные освобождены. Для поиска выхода прилетел из Лондона генерал Сикорский.

Накануне посол Кот предупредил Вышинского: «Надеюсь, что генерал Сикорский найдет всех своих офицеров». Вышинский проявил высокие качества дипломата, ответив фразой, которую можно было толковать как угодно: «Мы вам отдадим всех офицеров, которые у нас есть, но мы не можем дать тех, которых у нас нет».

Знал ли он о Катыни? Спросим иначе: мог ли не знать?

На куйбышевском аэродроме Сикорского встречал не только Вышинский — все дипломатические представители стран-союзниц: британский посол Стаффорд Криппс, глава английской военной миссии Макферлан, посол Чехословакии Зденек Фирлингер, поверенный в делах США Торнтон и многие другие. Они были приятно удивлены, когда, приветствуя высокого гостя, Вышинский вдруг заговорил по-польски. Дружеский жест был понят, отмечен — в дипломатии такие ходы дорогого сто́ят. И на новом поприще академик стал набирать очки.

Имя Вышинского снова, как и в тридцатые годы, у всех на слуху. Звучит по радио. Не сходит с газетных страниц. Но уже по другому поводу: встречи, беседы, приемы, проводы. Снова встречи и снова приемы. Внешняя, видимая часть дипломатии, за которой (скажем без всякой иронии) нелегкий труд. Маленький штришок их быта даст нам возможность понять, как протекала в глубоком тылу жизнь узкого круга.

Письмо посла Великобритании Арчибалда Кларка Керра заместителю наркома иностранных дел от 11 мая 1942 г.: «Дорогой господин Вышинский! Ваша посылка была доставлена мне сегодня после обеда. Счастливое бульканье привело в восхищение мое напряжение, мою жажду и мои надежды... Спешу выразить Вам мою искреннюю благодарность. То, что сделали Вы для меня, укрепляет мой организм и дух, но прежде всего оно согрело мое сердце, а за это человек не может не быть слишком благодарным.

Другое вино, присланное Вами, импульс, который вызван тем, что Вы любитель золотого ликера, все это привело меня в восхищение. Я надеюсь, что в ближайшее время буду в состоянии предложить Вам нечто из моей собственной страны, где наши обычаи, я рад заявить это, во многом похожи на обычаи вашего народа».

Бедняга, он принял бульканье золотого ликера за обычай народа... Тем более в те дни: май сорок второго...

Видимо, бесподобная галантность, учтивость и предупредительность заместителя наркома были в достаточно высоких тонах отражены на страницах посольских депеш, и сам сэр Уинстон Черчилль выразил жгучее желание встретиться с легендарным прокурором, оказавшимся (приятная неожиданность!) милым, радушным хозяином. Направляясь в Москву, Черчилль непременно хотел сделать крюк и остановиться в Куйбышеве. Но ему адски не повезло — самолет крюк не сделал. «Я хотел бы выразить Вам мою горячую благодарность за все, что Вы сделали (готовясь к встрече. — **А. В.**) и сообщить Вам о том, как я скорблю, что потерял возможность встретиться с Вами» (письмо Черчилля Вышинскому от 15 августа 1942 г.). Он утешил свою скорбь лишь через два с половиной года, встретившись с Вышинским в Ялте.

Странное дело: юрист-трибун, органически чуждый по самой сути своей профессии какой-либо дипломатии, быстро, легко и естественно «вписывается» в новые условия и новые задачи, в работу совершенно иную, вновь находя и открывая неведомые дотоле грани своих способностей. Кто спорит: их увидел и дал им дорогу Сталин. И, кажется, не ошибся.

Ни одним делом Вышинский не занимался формально — для «галочки», для представительства. В любое входил с головой, неизменно оставаясь самим собой. Вернувшись из дальней или ближней поездки, из самых высоких кабинетов или с переговоров, где решались глобальные проблемы мирового масштаба, он тут же, точно с такой же дотошностью, входил в проблемы сравнительно мелкие, которые, однако, мелкими ему не казались, ибо он все дела, большие и малые, принимал близко к сердцу.

Приведу, пожалуй, отрывок из сохранившейся в архиве и никогда не публиковавшейся стенограммы выступления Вышинского на заседании лекционного бюро Комитета по делам высшей школы при Совнаркоме СССР. Оно состоялось 24 августа 1944 г. Думается, этот отрывок даст нам достаточно отчетливый портрет Вышинского на этом витке его карьеры.

«...Илья Эренбург очень перехваливает в своих публичных лекциях Францию, несмотря на наши предупреждения: не захваливайте де Голля, не кадите чересчур... вы франкофил, но умерьте немножко свой пыл, согласуйте это с общегосударственными задачами... Если объявлена лекция о Франции, там уже сидит весь шпи... пардон, весь дипломатический корпус во всех видах...

Второй пример касается Италии. Один наш лектор, несмотря на то, что одну его лекцию мы забраковали, подвергли жестокой критике, исправили ее, он в своей лекции целый ряд исправлений игнорировал. Когда мы сравнили стенограмму, там оказались 5 или 10 мест, прямо противоположных тому, что мы утвердили. Этот лектор тов. Штейн...

(Штейн: «Я по вашему тексту читал...»)

Вы в десяти пунктах отступили от текста... Я двум экспертам поручил изучить стенограмму лекции, прочитанной вами в Колонном зале, и текст...

(Штейн: «Стенограммы не было»)

Нет, она была. Мы не создаем из этого секрета, все лекции стенографируются... Вы отошли от текста, но мы с вами поговорим особо...»

Как, однако, прорезался прокурорский фальцет!.. Легко представить себе, как поговорили с профессором Штейном. Может быть, намекнули, что играет с огнем. На Штейна в НКВД уже имелось пухлое досье и множество показаний о его «шпионской» деятельности. «Компромата» было достаточно, теперь вот добавился еще один...

Но вернемся к речи Вышинского: есть на чем еще остановить наше внимание. Старейший русский ученый-юрист, на лекции которого еще в начале века сбегалась интеллигентная Москва, профессор Николай Николаевич Полянский, посетовал на то, что из текста подготовленной им лекции цензура выкинула «провидческие строки Гейне». Вышинский немедленно отреагировал:

«...и я бы вычеркнул! Не потому, что я против Гейне, а потому, что считаю неприличным в наших нынешних условиях пропагандировать эти имена. Может быть, и Гейне надо подвергнуть цензурному просмотру... Мы не можем ради красоты слова жертвовать политикой нашего государства».

Наконец, еще одно откровение Вышинского, уже впрямую касающееся актуальной внешнеполитической тактики. Ничего не возражу по сути — здесь интересны **тип** мышления, стиль, фразеология, очень точно отражающие принципы межгосударственных отношений в понимании Сталина — Молотова — Вышинского. Речь идет в данном случае о Болгарии. Не забудем, что советские войска уже стоят на левом берегу Дуная, а до Девятого сентября (день свержения пронацистского режима в Софии) остается чуть больше двух недель.

«...Наши отношения с Болгарией таковы, что мы тоже ведем известную игру... Болгария говорит массу прекрасных слов по отношению к Советскому Союзу: «Это наш освободитель, наш покровитель» и т. д. В дей-

ствительности они сговариваются (с Германией.— **А. В.**), как нас надуть. Но Болгария думает: неплохо бы нас обоих надуть. Однако с этим вопросом выступать в публичной лекции нельзя, потому что это означает спугнуть воробья раньше, чем мы собираемся ему насыпать соли на хвост, а что соли мы ему насыпем, в этом мы не сомневаемся».

Талейран говорил о том, что язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Эта бессмертная формула стала руководством в жизни многих и многих, кому выпал тяжкий жребий жить «под Сталиным», а уж для дипломатов-то и подавно руководством и правилом поведения. На этот раз, похоже, Вышинский ему не следовал и был предельно откровенен. Стиль отношения к другим народам и государствам нашел точное отражение в лексикое: не вести переговоры, не отстаивать свои позиции, не проявлять последовательность и принципиальность, ясность и честность, а сыпать соль на хвост.

Именно этот стиль пышно расцвел в послевоенные годы.

Конец войны обострил бурную внешнеполитическую жизнь, придав ей больший динамизм. В последние дни апреля Вышинский деятельно участвует в конструировании многострадальных советско-польских отношений. После загадочной гибели генерала Сикорского, окончательного разрыва с лондонским эмигрантским правительством, трагедии Варшавского восстания и открытых столкновений с Армией Крайовой наконец наступает, кажется, новая эра в отношениях между двумя государствами: создание базы для них потребовало от Вышинского большого напряжения сил, дипломатии сталинской школы — пряника и кнута. Не случайно, покидая Советский Союз, после подписания договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, премьер-министр Эдвард Осубка-Моравский послал из Бреста телеграмму Вышинскому с выражением «горячей благодарности за сердечный прием» и за его «плодотворные личные усилия», приведшие к конструктивным решениям. «Личные»—слово выбрано не случайно.

Все это кажется обычным дипломатическим протоколом, но только на первый взгляд. За неполных пять лет уже отнюдь не молодой Вышинский не просто освоил новую сложнейшую профессию, но занял в ней ведущее положение, фактически возглавив дипломатию великого государства в критический момент его существования. Конечно, он был не более чем исполнителем верховной воли диктатора, но исполнителем не механическим— творческим. Сочетавшим в себе послушание и самостоятельность, безропотную покорность и высокие бойцовские качества. Вносившим действительно много личного в споры, без которых немыслима дипломатическая арена, и часто разрубавшим благодаря своему искусству запутанные узлы. Что, впрочем, понятно: ведь после уничтожения — с его же ревностной помощью — крупнейших и высококультурных политиков, пользовавшихся огромным авторитетом на международной арене, после отстранения от активной внешнеполитической деятельности таких дипломатов, как Литвинов и Майский, Вышинский оказался самым образованным (а если точнее, единственным образованным) человеком во всем сталинском руководстве. Даже Жданов, роль которого на международной арене была нулевой (Сталин все-таки знал каждому его реальную цену), вряд ли имел высшее образование. А Вышинского (вспомним об этом) оставляли для подготовки к профессорскому званию еще до революции—факт, от которого никуда не деться.

Кто в уцелевшем сталинском окружении знал хоть один иностранный язык? Боюсь, мало кто знал как следует даже русский. А Вышинский говорил на очень хорошем французском, усвоенном в первоклассной царской гимназии. Он знал хуже, но тоже неплохо, еще и английский, и немецкий. По части знаний, необходимых для серьезного государственного деятеля, ему не было равных в сталинском руководстве сороковых годов. Правда, знающим в этом руководстве вообще нечего было делать: с фатальной неизбежностью их выталкивала оттуда на живодерню машина уничтожения. Всех—кроме Вышинского. Потому что доверие Сталина к нему было едва ли не безграничным. Очень большим, если сказать осторожнее. Не поняв

этой уникальности ситуации, мы не поймем истинного места Вышинского на вершине политической пирамиды.

Место это было высоким. Более высоким фактически, чем юридически. Именно тогда, в сорок пятом. Вряд ли об этом может свидетельствовать что бы то ни было с большей наглядностью, чем миссия, которая была на него возложена в исторический день 9 Мая.

Скоростной самолет особого назначения доставил его в поверженный Берлин, в качестве специального эмиссара Сталина, на это законное торжество победившей России.

Эмиссаром Сталина он был здесь только фактически. Юридически на этой церемонии он был просто никем. Господином Вышинским, и только. Советский Союз официально представлял маршал Жуков. Великобританию—главный маршал авиации Теддер. Соединенные Штаты—генерал Спаатс. Францию — генерал де Тассиньи. Представители союзных армий. Армий-победительниц. Перед ними капитулировали представители разгромленной армии рейха Кейтель, Фридебург, Штумпф.

Но посмотрите на снимок, обошедший первые страницы газет всего мира. Тот исторический стол в Карлсхорсте, где подписан акт о безоговорочной капитуляции. За столом четверо полководцев — по одному (на равных) от каждой союзной армии. И рядом с Теддером—пятый: Вышинский. Никого не представляющий. Сам по себе.

Никого не представляющий? О нет, все знали, кого он здесь представляет. И не требовали от него никаких мандатов, никаких полномочий. Миссия его была, разумеется, многогранной. Он должен был выверить текст акта о капитуляции—каждую букву, каждую запятую, дважды, трижды, четырежды проверяя их на прочность, предвидя последствия—возможные и невозможные. Проследить за Жуковым—мало ли что?.. Удостовериться: все в полном порядке.

И все-таки даже не это было первейшей его задачей. Первейшей было представить — осязаемо, зримо, телесно — того, кто его послал. Главного победителя. Властелина и Триумфатора.

В облике Вышинского и под его именем за победным столом в Карлсхорсте сидел, в сущности, сам Сталин.

6

«Конечно, я не знал Андрея Вышинского, когда он был на юридической работе, но в качестве министра Его Величества и будучи на протяжении длительных периодов британским поверенным в делах в Москве—с февраля 1945 по октябрь 1947 года,—я часто виделся с ним в деловой и неформальной обстановке, поскольку он был заместителем министра иностранных дел Вячеслава Молотова».

Так начинает письмо ко мне известный английский дипломат сэр Фрэнк Робертс, с любезного разрешения которого я привожу его полностью. Оно позволяет увидеть одного из руководителей советской внешней политики в военные и послевоенные годы глазами западного коллеги, восстановить по ярким деталям обстановку, в которой Вышинский работал и которую сам создавал, и, наконец, обратить внимание на некоторые черты его характера, без которых постижение этой незаурядной личности было бы неполным, неточным.

«Он хорошо говорил по-французски,—продолжает сэр Фрэнк,—был быстр умом, сообразителен и деловит, всегда хорошо знал существо вопроса. Но если к Молотову я испытывал, вопреки своему желанию, определенное уважение, то по отношению к Вышинскому я ничего такого не чувствовал. В то время все советские чиновники не могли делать ничего другого, кроме как проводить сталинскую политику, не задавая лишних вопросов, но Вышинский, поступая как все, производил на меня впечатление особо раболепного лизоблюда, рвущегося подчиниться хозяину еще до того, как тот выскажет свое желание. Я не мог обвинять его в тогдашних условиях за стремление не брать на себя—настолько, насколько это было возможно — личной ответственности за то или иное решение, но именно по этой и по другим причинам всегда предпочитал иметь дело либо с самим Молотовым, либо с его подчиненными — Новиковым и Ерофеевым из Второго Европейского отдела, ведавшего Соединенным Королевством и Британским

Содружеством. Их «нет» означало именно «нет», а когда время от времени они говорили «да», то это и было «да». С Вышинским же дискуссии всегда затягивались надолго.

Я вспоминаю, в частности, встречу с Вышинским по поводу решения советских военно-морских властей не пускать британского морского атташе и меня в Севастополь для встречи с командующим британским средиземноморским флотом, который должен был прибыть в Севастополь через 48 часов с официальным визитом на крейсере «Ливерпуль». Я просил изменить это решение. Вышинский всячески извивался, чтобы избежать принятия решения, ссылаясь то на отсутствие мест в самолете, то на нехватку мест в севастопольских гостиницах (которые были мне не нужны, так как я жил бы на борту «Ливерпуля»). Но потом неожиданно уступил — когда я сказал, что буду вынужден радировать командующему с просьбой не идти в Севастополь, а повернуть обратно в Средиземное море. Как все наглецы, он знал, когда и как снизить тон.

На дипломатических приемах Вышинский часто хотел показать себя приятным человеком — до такой степени, что однажды у представителя малой соседней страны вырвалось: «Он к нам подлизывается, прежде чем нас же проглотить».

У меня всегда было ощущение, что меньшевистское прошлое Вышинского и его польское и буржуазное происхождение влияли на холопско-подобострастное поведение по отношению к Сталину и — в меньшей степени — к Молотову. Помню, как однажды я был в Большом театре на собрании, где на сцене сидели Сталин, члены Политбюро и двести — триста других советских номенклатурщиков. В какой-то момент у Сталина, видимо, возник вопрос, и он поманил к себе Вышинского, сидевшего на несколько рядов позади. Вышинский покраснел — от удовольствия, что его выделили на глазах публики, и от опасения, что мог не потрафить Сталину, — и кинулся вперед, словно школьник, вызванный к директору и еще не знающий, ждет его похвала или порка.

Еще одна встреча с Вышинским свидетельствует о его внимании к деталям и его природной склонности ставить других в трудное положение. Это был обмен ратификационными грамотами мирного договора, который СССР и Соединенное Королевство подписали с Болгарией. В те дни послевоенного аскетизма британский документ был вложен в обычную картонную папку, а не в золоченую кожаную; сам я, заступив на московскую должность в годы войны, продолжал носить довоенную дипломатическую форму, без дополнительного золотого шитья, положенного мне как министру Его Величества. Между тем Вышинский был наряжен в сильно расшитый золотом мундир, а советский документ покоился в богато украшенном кожаном бюваре. И Вышинский не преминул отчитать меня за отступления от дипломатических традиций мирного времени, хотя в Москве царил куда более суровый аскетизм, нежели тот, который я посмел проявить.

Наконец, последний красноречивый эпизод — на приеме в Букингемском дворце во время конференции министров иностранных дел четырех держав осенью 1947 года. Незадолго до этого я вернулся в Лондон, где стал Главным личным секретарем министра иностранных дел Эрнста Бевина. Как человек, недавно служивший в Москве, я был приставлен к очень молодой тогда принцессе Маргарет, чтобы помогать ей в общении с советскими гостями. Я спросил Ее Королевское Высочество, с кем, в частности, ей хотелось бы побеседовать, ожидая, что в ответ услышу имя Молотова, но она сказала: «С господином Вышинским».

Нет сомнения, он вызывал любопытство принцессы из-за той роли, которую играл на предвоенных московских процессах. Вышинский был удивлен и обрадован, что его таким образом отличили, но был и достаточно умен, чтобы понять истинную причину. Когда я точно по протоколу представил его принцессе как заместителя министра иностранных дел СССР, он немедленно сказал на своем отличном французском: «Но, пожалуйста, добавьте мою прежнюю должность прокурора на знаменитых московских судебных процессах».

Возможно, я всегда скверно чувствовал себя с Вышинским отчасти изза того, что не мог забыть, как он травил свои жертвы на этих процессах, как извращал закон и свидетельские показания, чтобы выставить их виновными. У меня не было такого резкого ощущения при встречах с Молотовым и даже со Сталиным, хотя на их руках было больше крови. Даже сегодня моя первая реакция на имя Вышинского — отчетливое презрение».

Надеюсь, читатель не будет в претензии за столь длинную цитату — она слишком ярка и значительна, чтобы делать купюры. Нам предстоит еще выслушать, но в гораздо более сокращенном виде, мнения виднейших деятелей зарубежной дипломатии о своем знаменитом московском коллеге. Не впечатления (они бывают порой совершенно необъяснимыми), а именно мнения, основанные на фактах и длительном, тесном общении.

Теперь вся жизнь Вышинского шла на виду — не столько на виду у страны, сколько у заграницы. Он метался по белу свету, исполняя специальные и «обычные» поручения. В том смысле обычные, что они представляют собой деловое дипломатическое повседневье: конгрессы, конференции, совещания, заседания, многосторонние и двусторонние встречи. Но любое обычное дело с участием Вышинского превращалось совсем в не обычное — форма, в которую облекалось едва ли не каждое слово, тон, в котором это слово произносилось, превращали его в сенсацию, в центр общественного внимания.

...16 декабря 1945 г. в Москве открылось Совещание министров иностранных дел трех великих держав: посовещаться с Молотовым прибыли Государственный секретарь США Бирнс и британский министр Бевин. В центре переговоров была подготовка к заключению мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. «Правда» опубликовала на первой странице огромные портреты гостей: честь, которой, кажется, не удостаивался еще никто, им равный по рангу. Портреты Бирнса и Бевина в «Правде» свидетельствовали о том, какое значение придавал Сталин этой встрече.

За столом переговоров Вышинский сидел рядом с Молотовым — по правую руку. Рядом с Бирнсом — Чарльз Болен, составивший четкое мнение о Вышинском еще в тридцать восьмом и не имевший с тех пор оснований его изменить. Американская и английская делегации были готовы подписать мирные договоры со всеми германскими сателлитами времен второй мировой войны, но внутреннее положение в некоторых из этих стран, особенно в Румынии и Болгарии, вызывало их беспокойство.

Итогом бурных дебатов явились те, говорящие сами за себя строки согласованного коммюнике, где речь идет о Румынии: «Три правительства готовы дать королю Михаю совет по поводу расширения состава Румынского правительства... Включить в правительство одного члена национал-царанистской партии и одного члена либеральной партии...» Далее говорилось о необходимости дать румынскому народу гарантию «свободных и невоспрепятствованных выборов... на основе всеобщего и тайного голосования...» Реорганизованное правительство должно было дать заверения относительно предоставления свободы печати, слова, религий, собраний. «Как только эти задачи будут разрешены и требуемые заверения будут получены, правительство Румынии... будет признано правительствами США и Соединенного Королевства».

Для выполнения указанных задач — так решило совещание — Вышинский вместе с послом США в Москве Гарриманом и послом Великобритании Керром должен был немедленно (так и сказано в совместной декларации: «немедленно»!) выехать в Бухарест, тем более что Вышинский в конце войны там уже побывал, успешно проведя операцию по назначению премьер-министром утвержденного Сталиным доктора Петру Гроза.

Посмотрев в Большом театре балет Прокофьева «Золушка», пообедав с советскими руководителями, чрезвычайно довольные собой, западные министры покинули Москву. А Вышинский, их проводив, тут же сел в поезд. Его салон-вагон, где разместились еще телохранители, был оборудован по всем правилам европейского шика. В двух других ехали Гарриман и Керр — на расходы «дирекция» не скупилась.

Вместе с «тройкой» отправился поездом и посол СССР в Румынии Сергей Иванович Кавтарадзе. Недавнему (как и Вышинский) заместителю наркома иностранных дел, ему было о чем поговорить со своим «собратом», пока поезд неторопливо пересекал разоренные войной территории России и Украины. Вспоминал ли он годы ссылки — кару за солидарность

с Рютиным? Тюремные подвалы, допросы и пытки? Лагерный ад? Или раннюю — очень давнюю — общую их работу с Вышинским, когда известный троцкист Кавтарадзе был заместителем прокурора Верхсуда СССР? Или касаться таких «меморий» у них не было принято?

Обедали и ужинали все вместе. Дружески. По-простому. За вечерним кофе Гарриман вдруг спросил Вышинского, сколько, по его мнению, собрал бы голосов коалиционный «правительственный фронт», если выборы в Румынии были бы совершенно свободными. «Совершенно свободными?» — переспросил Вышинский и, растопырив пальцы, как бы взял в воздухе фортепианный аккорд. «Если совершенно свободные, то примерно процентов сорок пять...» Тут его пальцы раздвинулись до большой октавы. «Но при известном нажиме — все девяносто...»

Поздно вечером 31 декабря прибыли в Бухарест. До полуночи оставались считанные часы. Новый год встретили вместе, собравшись наскоро, без протокола, — получилось гораздо теплее. Вышинский много шутил — он умел быть обаятельным. Привлекать и располагать.

В первый день Нового года всех троих принял король. Возникли трения вокруг кандидатур — разногласия устранили быстро. Если бы так было всегда!

Тем временем в Москву прибыла болгарская делегация: премьер-министр Кимон Георгиев, министр иностранных дел Петко Стайнов и внутренних — Антон Югов. Их визит был ответом на соглашение трех министров великих держав в части, которая касалась Болгарии: «Советское правительство берет **на себя** (подчеркнуто мною. — **А. В.**) миссию дать дружественный совет болгарскому правительству в отношении желательности включения в формируемое теперь Болгарское правительство Отечественного фронта дополнительно двух представителей других демократических групп. Как только США и Соединенное Королевство убедятся в том, что этот совет принят, они признают правительство Болгарии».

На следующий день после приезда болгары обедали у Сталина в Кремле. Настроение вождя поднималось не столько от глотка любимого грузинского вина, сколько оттого, что дела шли исключительно хорошо. Только-только ему доложили: в Румынии все улажено. Вышинский возвращается в Москву. Сталин приказал соединить его с Бухарестом: «Товарищ Вышинский, у вас есть совершенно неотложные дела в советской столице? — Перед его мысленным взором всплыло обескураженное лицо собеседника, пытающегося на другом конце провода разгадать многоходовый юмор своего непредсказуемого собеседника. — Если нет, то, может быть, вы согласитесь исполнить маленькую просьбу товарища Сталина?» Вышинский забормотал о своей готовности всегда и везде, но Сталин, отпив глоток вина, перебил: «Наши болгарские друзья будут рады встретить вас в Софии... Чтобы помочь утрясти некоторые вопросы... В благоприятном духе...»

Гарриман и Керр отправлялись в Москву. «Дорогой господин Вышинский! — писал Гарриман перед тем, как занять место в салон-вагоне. — По окончании работы Комиссии я хочу поблагодарить Вас за Ваше сотрудничество по выполнению задач Комиссии. Я верю, что Румынское правительство в том виде, как оно сейчас реорганизовано, выполнит решения Московской конференции».

Он верил. Но для веры, как известно, не нужны ни факты, ни доказательства. Вера есть вера.

Вышинский ни во что не верил — он исполнял поручения. Вечером 9 января исполняющий обязанности премьера Добри Терпешев, Георгий Димитров (пока еще просто «частное лицо» — без какого-либо поста, но в ореоле героя Лейпцигского процесса), Васил Коларов и другие болгарские деятели встречали Вышинского на софийском вокзале.

Здесь, в Болгарии, как и всюду, имя его окружали легенды. Теперь, простой и доступный — живой, во плоти! — он приехал сюда, чтобы разрубить все запутанные узлы и решить все проблемы. Мессия — не человек... И действительно, то, на что в Бухаресте ушло девять дней, здесь заняло полтора. Днем 11 января, ко всеобщему удовольствию, составили кабинет, вечером срочно прилетевший из Москвы Кимон Георгиев дал Вышинскому в военном клубе роскошный банкет, и прямо оттуда веселой кавалькадой все отправились на вокзал: Андрей Январьевич спешил в Лондон — с заездом по дороге в поверженную Германию. В город Нюрнберг.

Его путь все время лежал теперь в разные страны. Они мелькали из окна самолета, с трудом отличаясь в его глазах друг от друга. Он по-прежнему оставался любителем искусств, но наслаждаться сокровищами культуры, в изобилии предлагаемыми столицами мира, которые он посещал, на это у него не было ни времени, ни возможностей. Совсем другое искусство волновало его.

Особенно легко чувствовал себя там, где пересекались, сплетаясь в единый узел, обе его ипостаси: юридическая и дипломатическая. Такую возможность предоставила ему судьба в лице великих держав, принявших решение судить главных военных преступников и учредивших для этого Международный военный трибунал в Нюрнберге. Сюда, в Нюрнберг, где уже осенью сорок пятого началась работа трибунала, Вышинский заезжал несколько раз. И всегда вроде бы «по дороге» — то в Лондон, то в Париж. Зачем? Ведь никакого отношения к работе трибунала он, казалось бы, не имел: никаким правительствам ни судьи, ни прокуроры в этом трибунале не подчинялись, никого инспектировать, никому давать указания заместитель министра ни одной из стран, трибунал учредивших, конечно, не мог. Юридически...

Зато фактически Вышинский мог все! Как в Карлсхорсте невесть какую функцию осуществлявший и однако же безропотно принятый всеми, так и здесь, в Нюрнберге, он был никем и вместе с тем всем. Даже для иностранцев, а уж о советских юристах, работавших здесь, не приходится и говорить. Кстати, работали в Нюрнберге люди, стоявшие очень близко к нему: среди судей — участник «больших московских процессов» Иона Никитченко, среди обвинителей, следователей, экспертов и прочая — Марк Рагинский, Соломон Розенблит, Лев Шейнин...

Он был никем... Нет, он не был «никем» — даже юридически. Под величайшим секретом, в абсолютной тайне для иностранцев, да и для «своих» тоже, Сталин дал ему еще один пост особой государственной важности. Сразу же после окончания войны был создан орган, в разных документах именуемый по-разному: «правительственная комиссия по Нюрнбергскому процессу», «правительственная комиссия по организации Суда в Нюрнберге», «комиссия по руководству (! — **А. В.**) Нюрнбергским процессом». Во главе этой сверхсекретной комиссии с функциями особого назначения Сталин поставил Вышинского. Членами комиссии были назначены прокурор СССР Горшенин, председатель Верховного Суда СССР Голяков, нарком юстиции СССР Рычков и три ближайших сподвижника Берии, его заместители Абакумов, Кобулов, Меркулов. Главная цель комиссии состояла в том, чтобы ни при каких условиях не допустить публичного обсуждения любых аспектов советско-германских отношений в 1939 — 1941 гг., прежде всего самого факта наличия, а тем более содержания так называемых «секретных протоколов», дополняющих пакт о ненападении (23 августа 1939 г.) и договор о дружбе (28 сентября 1939 г.). Для того, чтобы обеспечить во время следствия действенность указаний тайной комиссии, в Нюрнберг была отправлена и следственная бригада особого назначения во главе с одним из самых свирепых бериевских палачей полковником М. Т. Лихачевым.

26 ноября 1945 г. комиссия Вышинского по его предложению приняла решение «утвердить... перечень вопросов, которые являются недопустимыми для обсуждения на суде». Прибывший в Нюрнберг Вышинский должен был проявить все свое недюжинное искусство, чтобы внедрить это, необязательное для них, решение в сознание членов трибунала от других стран. Но тревожился он напрасно: иностранные члены были настроены вполне по-союзнически и обострять отношения не хотели. Вышинский одержал очередную победу — ведь в глазах Сталина это он, а никто другой, сумел повлиять на зарубежных коллег. (Подробнее см. очень интересную статью В. Абаринова в журнале «Горизонт», 1989, № 9.)

Участники процесса от союзных держав сохранили воспоминания о редких, но впечатляющих встречах с Вышинским в Нюрнберге. Вот что рассказал мне в Лондоне (декабрь 1988 г.) лорд Хартли Шоукросс — дважды коллега Вышинского: юрист и дипломат. Впоследствии он был Генеральным прокурором Соединенного Королевства и постоянным представителем Англии в ООН, где не раз «скрещивал шпаги» с Вышинским. Лорд Шоукросс любезно разрешил мне печатно использовать запись его рассказа.

«С Вышинским мне пришлось встречаться множество раз в Нюрнберге, а потом в Нью-Йорке. Еще после первой встречи он произвел на меня впечатление человека умного, находчивого, начитанного, обладавшего той эрудицией, которая позволяла ему чувствовать себя совершенно свободно и в публичной полемике, и в приватном разговоре. Во всяком случае, он был на голову выше во всех отношениях других советских юристов, с которыми мне довелось встречаться, — все они в сравнении с ним выглядели весьма бледно. Его выгодно от них отличало и то, что он, это видно было сразу, уполномочен принимать решения сам, тогда как другие (и юристы, и дипломаты) по любому вопросу должны были получать указания из Москвы и сами этого не скрывали.

Мы — я имею в виду англичан, французов и американцев — никак не могли взять в толк, зачем он ездит в Нюрнберг. В конце концов мы решили, не слишком разбираясь в особенностях советской государственной структуры, что он все еще генеральный прокурор и поэтому, скорее всего, дает указания по ходу процесса обвинителям, представляющим советскую сторону. Строго говоря, ему в этом качестве здесь нечего было делать, дать указания из Москвы можно и другим способом, однако — странное дело — его визитам мы почему-то не удивлялись.

Но вот один раз, это я помню точно, изумлению нашему не было границ. Рассказываю это со слов английских членов трибунала. Судьи из четырех стран как-то устроили общий ужин, и вдруг входит Вышинский, пододвигает стул и, никем не приглашенный, садится к столу. Поскольку его считали прокурором и, повторяю, только в этом качестве его приезд в Нюрнберг мог быть как-то оправдан, появление Вышинского за судейским столом было шокирующим. Судьи не могут, не вправе обедать с прокурорами и адвокатами, это нарушает юридическую этику. Но прогнать Вышинского, конечно, никто не решился.

Настроение у всех за столом сразу как-то скисло, Вышинский это почувствовал и попробовал внести оживление. Берет слово для тоста: «Предлагаю выпить за здоровье подсудимых, которых скоро ждет веревка». Это был не просто чудовищно черный юмор, абсолютно неприемлемый для морали цивилизованных людей, сколь бы ни была велика вина подсудимых. Это было еще и нечто немыслимое для правосознания английского юриста. Ведь приговора еще нет и презумпция невиновности действует в трибунале международном точно так же, как и в обычном, национальном суде. Но для Вышинского — с его опытом проведения московских процессов — наш трибунал был не более, чем спектакль, где исход предрешен заранее, так что нечего церемониться. И сдерживать свой черный юмор тоже нечего.

Его вообще все боялись. И тут, в Нюрнберге, и потом — в ООН. Знали, что он сверхдоверенное лицо Сталина, и этим, пожалуй, было сказано все. Наблюдая за ним, я обратил внимание на то, что в разговорах он обычно спокоен, не раздражителен, уверен в себе — по крайней мере при общении с иностранцами. Но, взойдя на трибуну, он почему-то становился громилой и грубияном. Словно отпускалась какая-то невидимая, туго натянутая пружина...

Как всякий человек, отказавшийся от своих идей и перевернувшийся на 180 градусов, он был правовернее Римского папы, но впечатления человека, у которого вообще были какие-то идеи, он не производил. Похоже, он боялся за свою судьбу и поэтому гораздо больше думал о том, что скажут про него в Москве, чем про то, что скажут в Лондоне и Нью-Йорке. Его уверенность в себе поразительно сочеталась со страхом и ожиданием неприятностей. Расправы, если точнее...»

Это его ожидание было вполне обоснованным: палачи уходили вслед за жертвами. Волна арестов, приутихшая было во время войны (аресты, конечно же, продолжались, сейфы ломились от новых и новых папок, но «волн» все же не было — руки не доходили), снова замаячила на горизонте.

Письменные и устные просьбы о помощи шли к Вышинскому непрерывно. Имя его по-прежнему было магическим. Вот парадокс: оно не наводило ужас, а вселяло надежду. Словно связаны были с ним не проклятья, не кары, не казни, а триумф законности, милосердие, справедливость. Такой был создан вокруг ореол...

Особенно чуток он был к обращениям сотрудников МИДа. То у одного, то у другого что-то случалось (да был ли тогда вообще хоть кто-нибудь, у кого ничего не случалось?!): то посадили брата, то прогнали с работы жену, то вышвырнули на улицу из квартиры племянника. Все они шли к Вышинскому — и он немедленно откликался. То есть, проще сказать, давал поручение секретарям переправить жалобу по назначению с его, Вышинского, резолюцией: «Прошу проверить». Иногда такая проверка приводила к положительным результатам. Вот уж об этом узнавали повсюду. Порой с такими подробностями, которых не было и быть не могло. Слава заступника, милостивца, ходатая за униженных все росла и росла.

Не только с этим шли к нему, и не только об этом высказывал он свои суждения. Вот, к примеру, письмо, с которым он обратился к заместителю генерального секретаря правления СП СССР К. Симонову: «Разбирая свой архив, я натолкнулся на стихи тов. Никритина, ...с которыми ввиду занятости я не смог в свое время ознакомиться. На мой взгляд, автор, несомненно, обладает некоторыми способностями, тематика его стихов актуальна». Тут же письмо самого Никритина («Прошу Вас их прочитать и решить возможность их опубликования») и стихи: свидетельство «некоторых способностей» автора, позволяющее нам мысленно (сорок лет спустя) разделить с Симоновым те чувства, которые он испытал, «знакомясь» с рекомендованной Вышинским поэзией.

Товарищу Вышинскому.

К тебе, трибун родной страны Советов,
Чья мысль остра,
Чей зорок глаз,
Чье сердце горячо,
Чье слово, как алмаз,
    Туда, за океан,—
    В страну другого света,
    К тебе летит
    Моя строка привета.
...Сказал ты им, что миру не страшны
Все эти пушки,
Атомные бомбы,
    Что не сломать
    Советской им страны,
    С каким бы ни грозилися
    Апломбом.
...Вот почему, когда ты говорил,
То тут, у нас,
И там, за океаном,
    Огромный мир сердец
    Твои слова ловил,
    Эфир звучал
    Наперекор туманам.

По наведенным мной справкам, эти стихи напечатаны не были, что означает одно из двух: или Симонов нашел в себе смелость не согласиться с литературным вкусом Вышинского, или у них обоих не хватило реальных сил понудить какое-либо издание открыть зарифмованной «актуальной тематике» путь к читателю. «Наперекор туманам» эфир все же не зазвучал...

Эстетические критерии, вкусы и пристрастия Сталина и сталинского окружения — очень любопытная и совершенно не разработанная тема, ждущая своего исследователя. Но Вышинский (напомню еще раз) выделялся из этого круга и происхождением, и образованием, и элементарной культурой. Его потолок в этом смысле был ничуть не ниже уровня среднего дореволюционного интеллигента. Ничуть не ниже это — в сравнении с потолком других членов властвующей элиты — означает весьма высокий. В таком случае решим загадку: полная слепота и глухота или какие-то особые соображения повелевали ему становиться посмешищем, рекомендуя графоманские опусы своих почитателей профессиональным прозаикам и поэтам? Что побудило его, к примеру, послать Фадееву сочинение врача мидовской поликлиники Павлушина, вознамерившегося стать «лауреатом международной сталинской стипендии борьбы за мир», и отметить при этом «важную

тему, так образно и сжато изложенную в прилагаемых стихах»: «Иосиф Мудрый — не библейский, Советский наш, живой, реальный, Рожденный в Гори сын плебейский, Как Царь царей воспетый, Сталин...»?

Что побудило? Думаю, ясно... Даже на собрании сотрудников МИДа по случаю Международного женского дня он поздравил женщин-сотрудниц такими словами: «Каждый раз, когда мы собираемся на наши собрания, будут ли они торжественные или деловые, наши мысли, наш ум, наше сердце всегда обращаются к Великому Сталину».

Животный страх был сильнее здравого смысла.

Прочтем еще один текст, пока не опубликованный, — отрывок из речи Вышинского перед дипсоставом МИД СССР в день 70-летия вождя и учителя — 21 декабря 1949 г.:

«Не только военный гений Сталина, но и хозяйственный, организаторский гений Сталина был источником и гарантией... великой победы...

Нельзя здесь же не отметить и ту исключительную черту сталинского характера, выражающую старые, боевые традиции и дух русского народа, русской военной истории. Я говорю о сталинском юморе, о его крылатых и вдохновляющих словах, поднимавших ратный дух воинов, когда, как это было в приказе 1 мая 1942 года, Сталин, отмечая поражение немцев под Ростовом и Керчью, Москвой и Калинином, под Тихвином и Ленинградом, говорил о «боевом» качестве немцев словами народной поговорки: «Молодец против овец, а против молодца сам овца», или когда он в приказе от 6 ноября 1944 года, объясняя, почему советские люди ненавидят немецких захватчиков, напомнил о народной поговорке: «Не за то волка бьют, что он сер, а за то, что он овцу съел».

...Величайший ученый и мыслитель, величайший организатор государственного социалистического строительства, в любой роли — хозяйственной, политической, культурной или военной; гений в законодательстве и дипломатии, в праве, в военном деле, в искусстве и в критике!»

Поистине он побивал все рекорды.

7

Нет никаких — ни прямых, ни косвенных — свидетельств, что Сталин до самой смерти хоть как-то изменил свое отношение к Вышинскому. Мог изменить? Да, разумеется, в любой момент. И, наверно, проживи он дольше, так бы и случилось. Постепенно устраняя всех соучастников своих злодеяний, он добрался бы и до Вышинского, имея в кармане уже готовую — такую убедительную, понятную и логичную — формулу обвинения: бывший меньшевик, пробравшийся на высокий пост верховного прокурора, по заданию вражеских разведок уничтожал честных большевиков — ленинскую гвардию! Многоактная кровавая пьеса завершилась бы эффектным финалом.

Но — не завершилась. Не успела завершиться. Пока что он будет нужен вождю: единственный в своем роде, готовый на все и незаменимый.

Читая брань министра по адресу зарубежных коллег, иные могут подумать, что в такой, пусть не вполне парламентской, форме он выражал свое отношение к «классовым врагам». Как говорится, грубо, но справедливо...

Но вот один, всего лишь один документ из личного архива Вышинского: думается, он многое скажет о хозяине этого архива, о его натуре.

Письмо большое, привожу из него главные выдержки. Даты нет, но лежит оно в бумагах, относящихся к началу пятидесятых годов.

«Уважаемый Андрей Януарович!

Вчера за ужином, на мое приветствие ко всем, собравшимся за столом, Вы встретили меня словами: «А, фон-барон Остен-Сакен!» Заботясь о Вашем здоровье, я тогда с трудом сдержал себя и не стал отвечать на эту кличку ненавистных для меня фонов и баронов. Эта кличка, которой Вы меня, неизвестно по каким соображениям, неизменно встречаете вот уже 12-й год работы в НКИД и в МИДе (за это время я от Вас ни разу не слышал доброго слова), для меня является кровной обидой. Вся семья Саксиных жестоко пострадала от немецких захватчиков и вместе со всем советским народом вела ожесточенную борьбу с немцами...

Фамилию свою, если даже почему-то она Вам и не нравится, я не могу сменить... У меня нет оснований стыдиться своей фамилии, ибо фамилия Саксиных... ничем себя не запятнала...

Надеюсь, что... от Вас, Андрей Януарович, я больше не услышу этой клички.

Советник Г. Саксин, в прошлом (1916—1926 гг.) питерский рабочий-такелажник и матрос Балтфлота».

Можно представить себе, с каким методичным сладострастием унижал двенадцать лет кряду рядового дипломата его всесильный шеф, если, обрекая себя на начальственный гнев и непредвиденные последствия, попираемый и осмеянный, бывший матрос вспомнил о своем достоинстве и лег на амбразуру! И можно представить себе, как поразил адресата этот крик отчаяния, если он, не убоявшись суда потомков, сохранил обвинительный акт против себя самого в своем персональном архиве!

Топтать и унижать было, видимо, для него не столько страстью, сколько натурой. Воспоминания коллег — и отечественных, и зарубежных — рисуют удручающе похожие друг на друга картины его вседозволенной грубости, даже по отношению к тем, кто формально был на том же уровне. Чем грубее он был с ними, тем подобострастнее с Ним.

Но, несмотря на всю его рабскую преданность, Сталин со своим окружением ни разу — ни разу! — не впустил Вышинского ни в семейный, ни в дружеский круг. Чем-то (чем-то?! наверное, ясно, чем именно) этот франт с элегантно подстриженными усиками, этот перегруженный эрудицией златоуст, этот последний меньшевик, задержавшийся в высшем эшелоне власти, выпирал из их привычного круга, не вписывался, не тянул на равного и родного. Его не звали к столу — разве что к протокольному, не приглашали к общим застольям, не втягивали в общие розыгрыши (незаметно подложить под зад собутыльника помидор — любимая шутка товарища Сталина и его закадычных друзей). Он был слугой — очень нужным, но не приятелем, не соратником, а только слугой.

И, однако, его ожидал последний рывок — звездный час беспримерной судьбы: 16 октября 1952 года, на первом пленуме ЦК, избранного XIX съездом партии, он вместе с Брежневым, с незабвенным философом П. Ф. Юдиным и другими вернейшими стал кандидатом в члены Президиума, то есть взошел наконец на предпоследнюю (все-таки еще кандидат, а не член) ступеньку парадной лестницы. Почти на самую вершину власти.

Моделировать несостоявшуюся историю — безнадежное дело, и, однако, не особенно боясь ошибиться, можно предположить, что, проживи Сталин подольше, Вышинскому было бы еще суждено, прежде чем самому получить пулю в затылок, сыграть последнюю свою роль, обличая с трибуны обвинителя новых «героев» скамьи подсудимых: вчера еще «самых ближайших» и «самых верных».

Но до этого не дошло.

Его пребывание на партийной вершине — скорее формальное, чем реальное — продолжалось сто сорок дней. Столько же оставалось ему обладать министерским портфелем. Эти месяцы были наполнены ужасающей атмосферой ожидания новых катастроф, куда более кошмарных, чем все, что было уже пережито. С наибольшей степенью вероятности можно предполагать, что очередная «банда иностранных наймитов», «террористов» и «заговорщиков» состояла бы теперь из Молотова, Маленкова, Ворошилова, Кагановича и Микояна. Вошел ли бы в нее и Берия? Если да, то чьими руками удалось бы Сталину осуществить свой замысел? Если нет, то с кем бы Берия вступил в союз: с «террористами» или с «вождем»? Обо всем этом мы можем сегодня только гадать.

Еще менее ясно, как бы сложилась на этом витке истории судьба Андрея Вышинского. Никакого процесса, где ему пришлось бы витийствовать на прокурорской трибуне, быть, наверно, уже не могло. Процесс этот некому было готовить. Эпоха судебных спектаклей прошла — наступала пора грандиозных кровавых мистерий, где «народу» отводилась не роль созерцателя, но непосредственного, прямого участника действия, за которым сам Драматург и Постановщик наблюдал бы в бинокль из окна Кремлевского кабинета. Места Вышинскому в этой феерии среди режиссеров уже не нашлось бы. Кто знает, где бы оно нашлось...

Началась новая волна арестов. Один за другим из Кремлевской больницы и поликлиники, где лечился и он, и семья, исчезали врачи. В том числе и те, кто участвовал в экспертизе на процессе Бухарина — Рыкова, именем науки с готовностью подтверждая любой обвинительный бред (профессора Виноградов, Шерешевский), кто участвовал в других фальсификациях, отлично сознавая, конечно, свою обреченность. Выхода не было — разве что пуля в висок. Но этого «выхода» никто и ни от кого требовать, полагаю, не вправе...

Страна тем временем жила в атмосфере страха перед неизвестностью и ненависти к «убийцам в белых халатах». Тысячи людей, нуждавшихся в немедленной медицинской помощи, отказывались лечиться: их не могли успокоить даже вполне благонадежные фамилии врачей — ведь их уже убедили, что едва ли не за каждой «хорошей» фамилией скрывается — в скобках! — «плохая». Мутная волна антисемитизма — вернейший признак глубокого политического кризиса и экономической нестабильности — стремительно набирала высоту, грозя перерасти во всесокрушающий шторм. Именно в это время мудрость вождя сподобила его присудить Международную сталинскую премию мира Илье Эренбургу — торжества по случаю вручения этой премии широко освещала печать. Министр иностранных дел Вышинский получил возможность успокаивать иностранных государственных деятелей и дипломатов, встревоженных ростом антисемитизма, этой «очередной антисоветской клеветы»: он ссылался на премию, присужденную «такому выдающемуся общественному деятелю, депутату Верховного Совета СССР, известному писателю товарищу Эренбургу». Вряд ли, однако, эти опровержения могли произвести впечатление на достаточно искушенных людей. Тем более что на памяти были и «хрустальная ночь», и законы о «чистоте арийской нации», и иные деяния незабвенного Адольфа, одарявшего в то же самое время знаками внимания «государственно полезных» евреев. Среди многих других телеграмму с выражением тревоги и возмущения прислал Вышинскому Альберт Эйнштейн. Но ответа не удостоился даже он.

Тем не менее Вышинский не мог скрыть от Сталина реакции Запада на готовящийся процесс и на то, что должно было за ним последовать. Телеграмма Эйнштейна была тем поводом, который оправдывал это тревожное сообщение. Версия о том, будто Вышинский предлагал отменить или хотя бы отложить этот процесс, не имеет документальной основы, да и не мог Вышинский что бы то ни было рекомендовать Сталину! Изложить заведомо нежелательные для адресата факты — даже в этом уже был немалый риск. Возможно, он просчитал, что гнев вождя обернется не против него — против Молотова, чья жена по-прежнему томилась во Владимирской тюрьме (за «связь» с презренными сионистами: именно в качестве жены главы советской дипломатии она несколько раз встречалась с первым послом Израиля в СССР Голдой Меир).

Каждое утро миллионы людей открывали газеты, ожидая сообщений о начавшемся «процессе врачей». Но готовился отнюдь не процесс — растерзание. Не в переносном — в буквальном смысле. Академик Вышинский тоже готовился — теоретически обосновать этот новый (новый ли?) метод «народного правосудия». Но обосновывать не пришлось: судьба распорядилась иначе.

5 марта 1953 г. стало рубежом не только в жизни мира и в жизни страны, но и в жизни миллионов отдельных людей. Горе и радость у каждого свои. Что испытал Вышинский, потеряв того, кто вознес его на неслыханные высоты и от кого три с половиной десятилетия ежеминутно — ежеминутно! — он ждал ножа в спину? Кому он служил с рабской верностью и кто повергал его в неописуемый страх?

Свои истинные чувства Вышинский бумаге не доверял, но догадаться можно: один страх неизбежно сменился другим. Умный и проницательный человек, он понимал, что одну эпоху сменила другая и разоблачение неизбежно. А уж если верх возьмет Берия со своей бандой, то зачем им нужен Вышинский? Соучастник и соглядатай... Не лучше ли все свалить на него. На вождя и его прокурора?..

Смерть Сталина сразу же принесла Вышинскому должностное крушение. В тот же день «руководящая группа» изгнала его из Президиума ЦК и одновременно лишила министерского портфеля: вместе с Яковом Маликом («на двоих») он стал первым заместителем министра и был отправлен в почетную ссылку — в Нью-Йорк, получив пост постоянного представителя СССР при Организации Объединенных Наций. Кстати, тогда же из Президиума и секретариата ЦК «полетел» и Леонид Ильич Брежнев — «в связи с переходом на работу начальником Политуправления Военно-морского министерства».

...Освобождение врачей, арест Рюмина, ликвидация Берии, то есть зримые и очевидные признаки начавшейся новой полосы в нашей истории, произошли в то время, когда Вышинский уже прочно осел в Нью-Йорке. За грандиозными событиями, происходившими в стране, он следил издалека, не участвуя в них, а довольствуясь созерцанием результатов.

Как раз тогда, летом 53-го года, готовилась к выходу новая книга Вышинского — очередной сборник его статей, докладов и речей. Все они были пропитаны не только обожествлением Сталина, но и льстивым восторгом в адрес «карающего меча» — верного соратника вождя и его любимого ученика, дорогого товарища Берия. Конечно, бдительные редакторы и цензоры сняли бы эти восторги сами, но Вышинский успел их опередить и поступить еще радикальней. «Рассыпьте набор», — приказал он. Политическое чутье не изменило ему, быстрота реакции осталась прежней.

Началась — сначала робко, едва-едва, ощупью — кампания реабилитаций. Пока что как временная кампания. Но тенденция обозначилась совершенно отчетливо. Вышинский и тут был первым. В том смысле, что быстро понял, куда подул ветер. И повернулся в ту же сторону.

Один эпизод, мне кажется, расскажет об этом человеке на последнем витке его жизни и его карьеры больше, чем общие рассуждения.

Среди тех юристов высшего ранга, санкцию на арест которых Вышинский дал в 37-м году, был и главный транспортный прокурор СССР Герман Михайлович Сегал. Ему было тогда 40 лет. Выступая на общем собрании сотрудников Прокуратуры по случаю двадцатилетия Октябрьской революции, Вышинский призвал своих слушателей к повышенной бдительности, чтобы «не допустить проникновения в нашу среду, к надзору за законностью и отправлению правосудия таких контрреволюционеров, как...» Среди «таких, как» он назвал и Сегала.

Главному транспортному прокурору страны вменялось в вину редчайшее из злодейств: он «установил связь со своим отцом»! Чего только я не встречал в документах тех лет, а вот такого — ни разу! Правда, отец у Сегала был не простой — «германский шпион». Он специально имел «связь» с сыном за завтраком или ужином, чтобы лучше готовить диверсии на железных дорогах. Захаживал в гости и друг прокурора — заместитель наркома путей сообщения Полонский. Папа тоже сидел за столом — сын специально заводил разговор «о служебных делах». Об этих «делах» через сына и папу узнавали в Берлине...

В ноябре 37-го семью шпионов и диверсантов расстреляли, а весной 54-го по жалобе вернувшейся из лагеря жены прокурора Людмилы Васильевны Сегал началась проверка. Сфабриковали дело за считанные дни, а проверка шла обстоятельно, неторопливо. Военному прокурору, подполковнику юстиции Прошко пришла в голову счастливая мысль — запросить мнение о Сегале у тех, кто с ним работал. Первым в списке стоял Вышинский.

Андрей Януарьевич ничуть не удивился такому запросу и оперативно дал сдержанный, краткий, но вполне недвусмысленный официальный ответ... «Герман Михайлович Сегал, — отпечатано на бланке первого заместителя министра иностранных дел СССР, — являлся преданным Коммунистической партии человеком и работоспособным юристом». О том, что он был еще и «такой, как», ничего в ответе не говорится.

Поистине этот выдающийся юрист и выдающийся дипломат всегда шел в ногу со временем, исключительно тонко улавливая его изгибы и повороты.

Слушать Вышинского, когда он выступал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН или в ее комитетах, по-прежнему, как и раньше, как всегда, сходились его коллеги из разных стран. Зал был полон, если предстояли

выступления Вышинского. Не только потому, что они всегда превращались в яркое политическое шоу. Теперь, после ухода Сталина со сцены и перемен в Кремле, от представителя СССР каждый раз ждали новых предложений, напряженно вслушивались в каждое слово, пытаясь и в «строках» и «между строк» ощутить новые тенденции внешнеполитического курса одной из великих держав. И, видимо, ощущали: лексика оратора на глазах менялась, постепенно стали сокращаться, а потом и вовсе исчезли бранные клички, грубые эпитеты.

Здесь, в Нью-Йорке, в кругу семьи и ближайших сотрудников, Вышинский скромно отметил свое 70-летие. Пришло известие об очередном ордене Ленина. Шестом — и уже последнем. Из Москвы летели приветственные телеграммы — все больше официальные, но и личные тоже. Главным образом от писателей: Аркадия Первенцева, Александра Корнейчука, Леонида Соболева... Писатель, генерал-лейтенант Алексей Игнатьев нашел особо теплые, проникновенные слова: «Восхищаться вами мало, а вдохновляться рекомендуется...»

Вдохновившихся было немало: многие зарубежные коллеги, особенно из социалистических стран, также прислали ему поздравления. Ожидалось, что хотя бы для избранных — тех, к кому в деловом общении он обращался словом «товарищ», — будет дан небольшой прием, чтобы можно было выразить в неказенных словах те высокие чувства, которые эти «товарищи» питали к бывшему прокурору. Но прием не состоялся.

В нью-йоркском пригороде Гленков, в резиденции советской делегации при ООН, Вышинский устроил ужин «для близких». Но был ли у него действительно хоть один близкий человек, кроме дочери и жены? Искренне близкий, по-человечески близкий... Капитолина Исидоровна и Зинаида Андреевна находились рядом, это главное, — цену остальным он знал хорошо.

Юбилей по символичной иронии судьбы совпал — почти день в день — с судом над Берией и его окружением. Расстрел главного палача сталинской эпохи, с которым Вышинский был неразрывно в одной связке, не мог не заставить его, человека умного и проницательного, задуматься над тем, что́ неизбежно и ему предстоит. Он не мог не понимать, что Молотов, который все еще оставался у власти, охотно проявит давнюю «любовь» к нему и попробует отвести удар от себя, направив его на первого зама. Он не мог не понимать, что другие «сподвижники», тоже судорожно цеплявшиеся за власть, — Маленков, Каганович, Ворошилов и прочие, — что они неударят палец о палец, чтобы его поддержать. Но что он мог в реальности сделать? Оставалось уповать на судьбу.

Впрочем, были известные основания полагать, что судьба снова отнесется к нему благосклонно. Ведь он был ее баловнем, почему же ей ни с того ни с сего ему изменить? На очередных выборах в Верховный Совет СССР он вернул себе депутатский мандат, который Сталин невесть почему отнял у него в 1950 г. То есть, конечно, не **он** вернул, а **ему** вернули. Что бы это могло означать? Опала прошла? Или истек «срок наказания», которое наложил на него Сталин? Или просто сработала «автоматика»: раз мандат положен по должности, — бери, получай? Кто его знает... Все могло повернуться по-разному в те смутные времена.

В летний отпуск 1954 года Вышинский отправился домой на фешенебельном трансатлантическом судне «Куин Элизабет». С ним вместе были жена и дочь. Щелкали камеры репортеров — проводить великого златоуста слетелись корреспонденты едва ли не всех главных газет и журналов: разнесся слух, что больше в Нью-Йорк Вышинский уже не вернется.

Но это был только слух, притом, как случалось не раз, абсолютно фальшивый. Осенью, когда работа Генеральной Ассамблеи и комитетов ООН возобновилась, Вышинский, как ни в чем не бывало, отдохнувший, загоревший и посвежевший, заиял привычное место во главе делегации СССР. В его нью-йоркской квартире с ним неотлучно были, как прежде, жена и дочь. Своей неизменной улыбкой и уверенными манерами Вышинский как бы говорил: он снова в фаворе. Как всегда, как всегда...

В Политическом комитете ООН продолжались дебаты о международном контроле за использованием атомной энергии. Спор сосредоточился вокруг того, будет ли Международное агентство по атомной энергии самостоятельным и автономным или, как предлагал Советский Союз, органом, подотчетным ООН и Совету Безопасности. Смысл поправки был ясен каждо-

му: ее принятие позволяло любой из великих держав (стало быть, и Советскому Союзу) воспользоваться при необходимости правом вето. Вышинский убедительно и спокойно отстаивал эту позицию. Речь, которую он произнес в Политическом комитете 17 ноября, поколебала позицию многих делегатов, готовых было поддержать проект резолюции, предложенный США, Великобританией, Францией, Австралией, Бельгией, Канадой и Южно-Африканским Союзом. Следующее выступление Вышинского было намечено на понедельник 22 ноября: за оставшиеся дни предстояло найти компромисс и попробовать сблизить позиции.

В субботу, 20-го, вся советская делегация уехала в Гленков, где Вышинский собирался готовиться к речи. Воскресным утром внезапно пришла шифровка из Москвы с новыми инструкциями — всю заготовленную речь пришлось переделывать. А тут вдруг Даг Хаммаршельд, генеральный секретарь ООН, внезапно решил дать воскресный обед в честь проезжавшего через Нью-Йорк министра иностранных дел одной из латиноамериканских стран. Уклониться от обеда было никак невозможно, но потеря времени создавала нервозную обстановку: в списке ораторов на понедельник Вышинский значился первым.

Среди гостей на обеде был и польский министр Станислав Кшишевский: Вышинский успел предупредить коллегу о полученных им новых инструкциях, чтобы на следующий день речь советского делегата не застала его врасплох. Видимо, это известие коллегу в восторг не привело: очевидцы вспоминают, что они долго препирались по-польски, недовольные друг другом. В Гленков Вышинский уже не уехал — остался в городе, на Парк-авеню: там находилась не только квартира, но и служебный его кабинет. Вызвал стенографистку Валентину Карасеву: диктовал, правил стенограмму, опять диктовал — он умел работать без устали, себя не щадил и других не щадил тоже.

Ночью почувствовал себя плохо. Вызвали дежурного врача представительства: тот сделал успокаивающий укол и дал снотворное. Все разошлись, оставив Вышинского одного в кабинете; он уснул на диване. Рано утром, проснувшись, почувствовал себя лучше. Был снова бодрым и свежим: последняя правка подготовленной заново речи, и он готов хоть сейчас на трибуну. Попросил повара Ивана Илларионовича сварить кофе покрепче — он еще больше взбодрил его. Стал диктовать Карасевой — вдруг осекся и прошептал: «Мне плохо!»

Истерический крик Карасевой «Помогите!» поднял на ноги весь дом. Прибежал личный врач, живший этажом выше, следом — весь небольшой персонал советского медпункта. Вышинский сидел на вращающемся стуле, рубашка расстегнута, откинута голова. Его перенесли на диван. Он не произносил ни слова — только хрипел. Вызвали дочь и жену. Зинаида Андреевна закричала: «Его убили!»

Началась паника. Все средства, имевшиеся в распоряжении медпункта, были исчерпаны. Жизнь угасала у всех на глазах.

Раздался телефонный звонок. Трубку взял дежурный дипломат. Звонил постоянный представитель США в ООН Генри Кэбот Лодж. «Что у вас происходит?» — спросил он вместо приветствия. Дежурный дипломат опешил: «Ничего, господин посол». — «Вы уверены? — иронично отреагировал Лодж. — Может быть, вам нужна медицинская помощь?» — «Нет, господин посол». — «Хорошо... Если будет нужна, звоните сразу по этому телефону...» (Много позже, когда в здании представительства начнется ремонт, рабочие обнаружат микрофон, вмонтированный в ножку стола, за которым работал Вышинский.)

Кабинет тем временем наполнялся людьми. Хозяин кабинета уже не хрипел — он был мертв. Шел десятый час утра. Через сорок пять — пятьдесят минут Вышинский должен быть на трибуне — его ждали. Тянуть дальше было нельзя. Вызвали реанимационную машину — хотя бы для того, чтобы констатировать смерть. Но охрана, помня инструкции, на территорию представительства «чужих» не пускала. Даже врачей. Препирательство продолжалось. Время шло.

По рации удалось отыскать посла — он был уже в здании ООН, приехал на выступление. Посол распорядился пустить врачей. «Под вашу личную ответственность», — грозно предупредил его начальник охраны. Пока

шло составление протокола, летела шифрограмма в Москву. Горько плакала дочь. Молча, закрыв глаза, стояла жена.

Тело еще не успели перенести в конференц-зал для предстоящей церемонии прощания, а срочно созданной комиссии уже было поручено изъять, собрать и опечатать все оставшиеся бумаги, все документы, черновики и даже личные письма. Вскрыли сейф. Первое, что бросилось сразу в глаза,— большая красная папка и поверх нее заряженный браунинг [1].

В папке был только один документ — письмо, начинавшееся словами: «Дорогой и глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!» Найти подлинник или хотя бы копию этого письма мне не удалось, но о находке слышал от разных людей. Воспроизвожу этот эпизод по записи, сделанной мною в феврале 1988 г. со слов очевидца — того самого дежурного дипломата, который вел телефонный разговор с Лоджем, лично участвовал во вскрытии сейфа Вышинского и описи его бумаг. Сейчас он известнейший дипломат из высшего эшелона. В абсолютной точности его рассказа и его безупречной памяти нет ни малейших сомнений. Свои воспоминания он почти дословно повторил мне в декабре того же года.

Прежде всего запомнилась резолюция — наискось в левом углу. До боли знакомым почерком — он факсимильно воспроизводился в печати множество раз: «Тов. Вышинскому. И. Ст.» И все! Но разве этого мало?

Автором письма был Дмитрий Захарович Мануильский, известный деятель Коминтерна: до самого роспуска в 1943 г. он был членом его исполкома. Многие годы подряд, будучи министром иностранных дел Украины, возглавлял делегации этой республики на Генеральных Ассамблеях ООН, заседая рядом с Вышинским и выступая, само собой разумеется, в поддержку Вышинского. Товарищ по общему делу, по общей борьбе.

С чем же обращался товарищ Мануильский к товарищу Сталину? Он просил его, умолял, заклинал ни в чем не верить товарищу Вышинскому. Абсолютно ни в чем. Жить мне осталось уже немного, писал Мануильский, но я не хочу, чтобы вместе со мной ушла в могилу тайна, которую Вы, конечно, не знаете. Иначе Вы не могли бы оказывать доверие этому лживому человеку.

Так или примерно так писал вождю один из немногих уже большевиков с дореволюционным стажем, вышедший без потерь из жестоких чисток и оставшийся на верхних этажах власти, имевший возможность не раз доказать Сталину свою безграничную верность. Это он на трагическом февральско-мартовском пленуме ЦК 37-го года поддержал предложение Ежова предать Бухарина и Рыкова суду и **расстрелять**. Это он в мае тридцать седьмого на заседании исполкома Коминтерна растоптал Бела Куна «за неуважение к великому Сталину» и обвинил его в связях с румынской охранкой в 1919 г.

Теперь такое же обвинение Мануильский предъявил и Вышинскому. Он писал, что тот был связан с царской охранкой и выдал полиции несколько бакинских большевиков. Автором назывались 4 или 5 фамилий, но поскольку это не были широко известные имена, читавшим письмо они не запомнились. Эта сенсационная информация меня нисколько не удивила: после того, что написано в первой главе этого документального повествования, разоблачения Мануильского представляются весьма достоверными.

Были в письме и такие примерно строки: Вышинский — человек, у которого нет принципов, он готов служить любому руководителю и любым

[1] Возможно, этот факт и породил легенду о том, что, вызванный в Москву, Вышинский счел за благо пустить себе пулю в лоб. Эту легенду без оговорки, что речь идет только о слухе, воспроизводят А. Антонов-Овсеенко (журнал «Театр», 1988, № 8) и О. Горчаков («Огонек», 1990, № 15). Пока это только легенда. Вышинский умер на глазах у двух десятков людей. Некоторые из них здравствуют и по сей день. Совершенно очевидно, что тело любого человека, тем более иностранного дипломата и государственного деятеля столь высокого ранга, внезапно умершего при неизвестных обстоятельствах, не могло быть вывезено из страны без официального медицинского заключения о причине смерти. Версия о самоубийстве Вышинского имеет хождение лишь в Советском Союзе.

идеям, если только это ему обеспечит полнейшую безопасность и шикарную жизнь. Он обуреваем животным страхом и поэтому ненавидит всех, кто находится возле него. Не забудем: Мануильский (и он тоже!) был в 1917—1918 гг. членом коллегии Наркомпрода, работал вместе с Вышинским и, вероятно, знал его лучше, чем многие другие.

Нет ни малейшего основания сомневаться в правдивости свидетельства очевидцев, равно как и в том, что они хорошо запомнили содержание этого документа. Ничуть не удивляет и то, что со свойственным ему виртуозным восточным садизмом Сталин переслал донос тому, на кого он был сделан, наслаждаясь его смятением и тем самым держа на крючке и доносчика, и возможную жертву. Без указаний Сталина Вышинский не мог и вида подать, что ему хоть что-то известно. А Мануильский, ждавший ответа, но не дождавшийся,— оказался точно в таком же положении. Такой был задуман театр. Оба встречались друг с другом едва ли не каждый день. На совещаниях и заседаниях, конференциях и приемах. Изо дня в день — годами...

Письмо датировано сорок седьмым или сорок восьмым годом. Может быть, сорок девятым. Значит, хранилось в сейфе лет пять или семь. Известно, что где-то в конце сороковых, уехав во время отпуска в Карловы Вары, Вышинский вдруг занемог, но совсем не от той болезни, которую приехал сюда лечить. О нервном стрессе Вышинского прознали иностранные журналисты, появились сенсационные сообщения в печати о загадочном недомогании знаменитого дипломата, так что ТАСС был вынужден печатать опровержение. Это всегда служило косвенным доказательством хотя бы частичной обоснованности опровергнутых слухов. Их стало еще больше, когда вдруг Вышинский бросил лечение и вернулся в Москву. А вернулся он для того, чтобы работать в архивах. Что он искал в архивах? Не имена ли тех, кто был назван в письме Мануильского? Не причины ли их ареста царской охранкой? Не пытался ли уничтожить то, что могло его уличить? Скорее всего этих людей Сталин должен был знать по Баку. Что с ними сталось потом? В любом варианте — какой грандиозный драматургический узел! Впрочем, сколько таких, ничуть не менее грандиозных, узлов завязала для нас та эпоха...

Кроме папки и браунинга, лежал в сейфе и еще один документ. Конечно, назвать эту записку — на плотном листе бумаги, фиолетовыми чернилами, печатными буквами,— назвать ее документом можно лишь с очень большой натяжкой. Но теперь, когда каждый листок из архива исторической личности хочешь не хочешь полон значения, такая условность вполне правомерна.

Итак, документ, хранившийся в сейфе. Держу его в руках. Читаю — в десятый, в двадцатый раз. Текст без подписи. По нынешней терминологии — анонимка. Сохраняю точность оригинала — со всеми грамматическими и синтаксическими ошибками.

«Вышинский!

Все знают что ты меньшевик Сталин после того как использует тебя на вышку потому что ты знаешь очень много. Сбежи пока не поздно Memento moris. Пример Ягоды. Твоя судьба: мавр сделал свое дело...»

Вот такой документ... Содержание не удивляет. Удивляет другое: зачем Вышинский его хранил? Притом — где и как хранил! И (это нам знать не дано, но попробуем догадаться) — сколько хранил?

Вероятнее всего, записка отправлена (подброшена?) Вышинскому не на родине, а в Америке. Кем-то из «перемещенных лиц»? Такой вариант представляется мне наиболее вероятным. «Сбежи» — это слово, пожалуй, выдает авторство. Не имя, конечно, а «социальную принадлежность». Но психологическая загадка: зачем Вышинский это хранил? Зная, что всегда — везде и всегда, и в прошлом, и в нынешнем, и в предстоящем — он находится под неусыпным и бдительным наблюдением. И что сейф, даже сверххитроумный, наблюдению не помеха.

Мечтал ли он по неистребимой прокурорской привычке найти наглеца, раскрыть очередное гнездо террористов и диверсантов, сдать их в новые, но все столь же ежовые рукавицы? Или просто привык — на всякий случай — ничего не выбрасывать. Или тянуло его, как магнитом, к этому

«тексту», и он, втайне от себя самого и себе самому ужасаясь, примеривал, продумывал и просчитывал разные варианты своей судьбы?

Обо всем этом можно только гадать. Но документ был. И остался. И стал достоянием узкого круга только теперь, когда адресату уже ничего не грозило.

Во всех центральных советских газетах появилось официальное сообщение ЦК и Совета Министров: «...скоропостижно скончался выдающийся государственный деятель». Он был, говорилось в опубликованном некрологе, «верным сыном Коммунистической партии, самоотверженным в работе, исключительно скромным и требовательным к себе... Светлую память об Андрее Януарьевиче Вышинском,— завершался текст некролога,— навсегда сохранят в своих сердцах советские люди».

Ритуал есть ритуал, придираться к нему не нужно. Но одна деталь обращает на себя внимание: в некрологе (конец 54-го года!) ни слова не сказано о роли усопшего в борьбе с врагами народа и о его никем еще не забытых погромных судебных речах. Ни слова...

В Нью-Йорке тем временем Генеральная Ассамблея собралась на пленарное заседание. В ООН был объявлен траур. Председатель сессии Ван Клеффенс начал читать сообщение о постигшей ООН утрате, и все присутствующие встали. С речами памяти Вышинского выступили делегаты Англии, Франции, США, Ирана, Греции, Польши, Новой Зеландии, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Чехословакии, Южно-Африканского Союза, Бирмы, Канады, Египта, Югославии, Саудовской Аравии, Индонезии, Либерии, Афганистана, Йемена, Эфиопии...

«Мы глубоко опечалены,— сказал представитель Индии Менон,— неожиданной смертью господина Вышинского, выдающегося представителя великой страны... Объединенные Нации потеряли сильнейшего участника прений, человека высокого ума, выдающегося государственного деятеля». Сириец говорил о «сокровищах исполинских знаний», которые умещались в голове почившего. Делегат Ирака оплакивал «очаровательного коллегу — воплощение непосредственности, спортивности и высокой парламентской дисциплинированности». Дипломат из Турции считал его «истинным джентльменом», из Ливана — «одним из величайших, кого Объединенные Нации когда-либо видели и увидят в своих стенах». Делегат Израиля вспомнил его «воистину замечательный голос: плавный, звонкий, проникнутый глубокой привязанностью к задачам и процедуре нашей организации. Это был не просто человек, не одинокая личность,— восклицал в лучших традициях велеречивой патетики дипломат из Тель-Авива,— а целое учреждение, он стал легендой в нашей среде».

От стран Скандинавии выступил делегат Дании — он сравнил смерть Вышинского с падением в лесу дерева-гиганта: «лес скорбит — он осиротел». От имени двадцати стран Латинской Америки говорил делегат Эквадора: «Господин Вышинский истолковал правовой и идейный смысл революции... Среди ораторов ему не было равных... Его смерть побуждает нас забыть о разногласиях и объединиться».

Соболезнования по случаю смерти первого заместителя министра иностранных дел принимало в Вашингтоне и советское посольство. Туда пришли склонить головы премьер-министр и министр иностранных дел Франции Мендес-Франс, генеральный секретарь ООН Хаммаршельд, председатель 9-й сессии Генеральной Ассамблеи Ван Клеффенс... У портрета Вышинского в траурной рамке плакал, уронив голову на свои могучие руки, Поль Робсон...

Гроб с телом летел в Москву. Его сопровождал посол Зарубин. По дороге — в аэропортах Парижа и Берлина — состоялись печальные церемонии. Поздним вечером во Внукове, под Москвой, тело «друга» встречал Молотов. Рядом с ним стоял Громыко.

Назавтра пять медиков (среди них — ни одного, кто был «замешан» в так называемом деле врачей) опубликовали свое сообщение: смерть Вышинского наступила «в результате острого нарушения коронарного кровообращения». В видавший виды Колонный зал Дома союзов шли проститься с Вышинским «делегации предприятий и учреждений, учебных заведений и общественных организаций». Сколько в этом траурном шествии было людей, чья искалеченная судьба — их самих или их близких — была

связана с именем человека, уход которого после ухода Сталина и Берии подводил черту под целой эпохой?

Проститься с великим трибуном пришли Молотов, Хрущев, Маленков, Каганович, Ворошилов, Микоян, Суслов, Булганин, Косыгин. Пришел маршал Жуков, принужденный разделить с ним счастье победы за столом в Карлсхорсте. Пришли академики, пришел дипкорпус. Шесть орденов Ленина, лежавших на атласных подушечках перед гробом, утопавшим в цветах, напоминали о благодеяниях, оказанных Вышинским стране...

Вышинского хоронили на Красной площади, у Кремлевской стены. Все Политбюро собралось на трибуне Мавзолея. Первым выступил Молотов. «Мы, работавшие рядом с ним,— заикаясь, печальным голосом произнес он,— лишились близкого человека, чуткого товарища, дорогого друга...» Фарисейство жило своей обособленной жизнью — слова оставались словами, никак не стыкуясь с реальностью. Партийно-государственный этикет все еще повелевал называть ненавидимого врага дорогим другом.

«Его большие способности,— продолжал Молотов,— разносторонние знания, которые он постоянно пополнял, и исключительная энергия нашли свое плодотворное применение в различных областях советского строительства... Его блестящие выступления в защиту советской законности и памятные всем нам обвинительные речи против врагов Советского государства, против вредителей и иностранной подрывной агентуры, против предательских групп троцкистов и правых — являются его большой и незабываемой заслугой перед советским народом... Он известен как чуткий и принципиальный товарищ... Он оставил много друзей, которые всегда будут с уважением и любовью помнить о нем и его славных делах...»

Молотову вторил президент Академии наук Несмеянов: «У советских ученых Андрей Януарьевич пользовался громадным авторитетом, они ценили в нем... кристального человека».

Гремел артиллерийский салют. Чеканя шаг, прошла воинская часть.

Золотые буквы на черном мраморном квадрате — «Андрей Януарьевич Вышинский» — впечатали его имя в Кремлевскую стену.

Прошло тридцать лет. Недавно один читатель — старый коммунист, ветеран войны и труда — прислал мне письмо, предлагая потребовать, чтобы прах преступного златоуста был выброшен из Кремлевской стены. Думаю, этого делать не нужно. Не только потому, что прах — чей бы то ни было — вообще не стоит тревожить. И место в стене, и звания, и награды, и речи его, и деяния — все это мета эпохи, неизгладимый знак своего времени, и в нем, в своем времени, так и должен остаться. Таким, каким был.

Мне чужд языческий способ символической расправы над прахом. Мне кажется, что страшный ряд черных квадратов в Кремлевской стене, где — как в жизни и как в истории — палачи находятся рядом с жертвами, а герои — с подонками, гораздо больше расскажет о прожитом времени, о кошмаре, постигшем великую страну и великий народ.

Дело, конечно, не в выборе места, где будет покоиться прах Инквизитора. Дело в том, чтобы извлечь — хотя бы однажды — предметный урок из многострадальной нашей истории.

Неужели не горькая шутка, а унылая истина — классический афоризм: «Единственный урок истории состоит в том, что из нее не извлекают никаких уроков»?

Василий Гроссман

УБИЙСТВО ЕВРЕЕВ В БЕРДИЧЕВЕ

В Бердичеве до войны жило 30 тысяч евреев при общем количестве жителей около 60 тысяч. Хотя в юго-западных областях, черте бывшей еврейской оседлости, в большом количестве местечек и городов число евреев составляло 50 и больше процентов к общему населению, Бердичев почему-то считался наиболее еврейским городом на Украине. Мнение это существовало долгие годы, и еще до революции антисемиты и черносотенцы называли Бердичев «еврейской столицей». Немецкие фашисты, изучавшие перед массовым убийством евреев вопрос о расселении евреев на Украине, всегда специально отмечали Бердичев.

Еврейское население жило дружно с русским, украинским и польским населением города и окрестных сел. За все время существования города в нем не было никаких национальных эксцессов, как при царизме, так и во время гетманской и петлюровской власти. Объясняется это тем, что черносотенцы и петлюровцы не смогли найти внутри города и в окрестных селах поддержки в организации погромов, черносотенная и погромная агитация не встретила сочувствия.

Еврейское население работало на заводах: крупнейшем в Советском Союзе кожевенном заводе им. Ильича, машиностроительном заводе «Прогресс», бердичевском сахарном заводе, в десятках и сотнях кожевенных, портняжных, сапожных, шапочных, металлообрабатывающих, картонажных фабрик и мастерских. Еще до революции бердичевские мастера мягких туфель «чувяков» пользовались большой славой, их продукция шла в Ташкент, Самарканд и другие города Средней Азии. Так же широко известны были мастера модельной обуви и специалисты по производству цветной бумаги. Тысячи бердичевских евреев работали каменщиками, печниками, плотниками, ювелирами, часовщиками, оптиками, пекарями, пирожниками, парикмахерами, носильщиками, трубочистами, извозчиками, носильщиками на вокзале, стекольщиками, монтерами, слесарями, водопроводчиками, грузчиками и т. д.

В городе имелась большая еврейская интеллигенция: десятки опытных, старых врачей — терапевтов, хирургов, специалистов по детским болезням, акушеров, дантистов,—бактериологи, химики, провизоры, инженеры, техники, бухгалтеры, преподаватели многочисленных техникумов, средних школ, учительницы иностранных языков, учителя и учительницы музыки, педагогички, работавшие в детских яслях, садах, на детских площадках.

Приход немцев в Бердичев был внезапен: к городу прорвались немецкие танковые войска, и только треть еврейского населения успела эвакуироваться. Немцы вошли в город в понедельник 7 июля, в

Из архива Вас. Гроссмана (ЦГАЛИ, ф. 1710, оп. 1, ед. хр. 104).

7 часов вечера. Солдаты кричали с машин: «Иуд капут!», махали руками и смеялись, они знали, что в городе осталось почти все еврейское население.

Трудно воспроизвести душевное состояние двадцати тысяч людей, внезапно объявленных вне закона, лишенных каких бы то ни было человеческих прав; даже страшные законы, установленные немцами по отношению к жителям оккупированных областей, казались евреям недостижимым благом.

На еврейское население была наложена контрибуция: военный комендант потребовал представить в течение 3 дней 15 пар хромовых сапог, 6 персидских ковров и сто тысяч рублей. Судя по незначительности этой контрибуции, она явилась актом личного грабительства со стороны военного коменданта. При встрече с немцем еврей должен был снимать шапку. Не выполнявших это требование подвергали избиению, заставляли ползать на животе по тротуару, собирать руками мусор с мостовой, старикам резали бороды.

Столяр Герш Гитерман, бежавший на шестой день оккупации из Бердичева и сумевший перебраться через линию фронта, рассказывает о первых преступлениях немцев по отношению к евреям.

Немецкие солдаты выгнали из квартир группу жителей Большой Житомирской, Малой Житомирской, Штейновской улиц; все эти улицы прилегают к Житомирскому шоссе, на котором расположен кожевенный завод. Людей привели в дубильный цех завода и заставили прыгать в огромные ямы, полные едкого дубильного экстракта; сопротивлявшихся пристреливали, и тела их также кидали в ямы. Немцы, участвовавшие в этой экзекуции, считали ее шуточкой: они дубили еврейскую «шкуру».

Такая же «шуточная» экзекуция была проделана в Старом городе — часть Бердичева, расположенная между Житомирским шоссе и рекой Гнилопять. Немцы приказали старикам одеться в талес и тфилин, устроить в старой синагоге богослужение: «молить бога простить грехи, совершенные против немцев». Дверь синагоги заперли и здание подожгли. Третью «шуточную» экзекуцию немцы произвели возле мельницы. Они схватили несколько десятков женщин, приказали им раздеться и объявили несчастным, что переплывшим на тот берег будет дарована жизнь. Река возле мельницы, запруженная каменной плотиной — «греблей»,— очень широка. Большинство женщин утонули, не достигнув берега. Тех, кто переплыл на западный берег, заставили тотчас же плыть обратно. Немцы развлекались, наблюдая, как утопавшие, теряя силы, идут ко дну, до тех пор, пока не утонули все женщины до единой.

Примером такой же немецкой «шутки» может служить история гибели старика Арона Мизора, по профессии резника, жившего на Белопольской улице.

Немецкий офицер, ограбив квартиру Мизора, приказал солдатам унести отобранные им вещи, сам же с двумя солдатами остался развлечься. Он нашел большой нож резника и узнал о профессии Мизора.

— Я хочу посмотреть твою работу,— сказал он и велел солдатам привести трех маленьких детей соседки.— Режь их,— сказал офицер. Мизор думал, что офицер шутит. Но тот ударил старика кулаком по лицу и снова приказал: — Режь!

Жена и невестка стали молить и плакать, тогда офицер сказал:

— Тебе придется зарезать не только детей, но и этих двух женщин. Нож выпал из руки старика, и Мизор упал без сознания на пол. Офицер поднял нож и ударил им старика по лицу. Невестка Мизора Лия Басихес выбежала на улицу, моля встречных спасти старика. Когда люди вошли в квартиру Мизора, то увидели мертвые тела его и

его старухи-жены в луже крови. Офицер сам показал, как надо действовать ножом.

Все эти преступления делались как бы самотеком. Это были бесчинства офицеров и солдат, предателей-полицейских, творимые по их собственной инициативе, в сознании своей полной безнаказанности. Время общей государственной акции против бердичевлян приближалось, но еще не наступило.

Население видело, что издевательства и убийства в первые дни происходили не по приказу, и пыталось обращаться с жалобами, просить помощи против самочинных расправ палачей-добровольцев, грабителей, насильников.

Сознание тысяч людей не могло объять простой и страшной истины, что сама власть, государство стимулирует, одобряет все эти «самочинные» расправы, что евреи поставлены вне закона, что пытки, насилия, убийства, поджоги — все это естественно в применении к евреям, что иначе и не может быть, что иначе и не должно быть. Эта нечеловеческая истина не укладывалась в сознании людей. Они бежали в городское управление, к военному коменданту, заявляли, что в дома к ним врываются громилы, издеваются, убивают, жгут. Представители власти с бранью и насмешками прогоняли жалобщиков, говоря, что все это совершенно их не касается.

Ужас навис над городом. Ужас вошел в каждый дом, он стоял над кроватями спящих, он вставал с солнцем, он ходил ночью по улицам. Тысячи старушечьих и детских сердец замирали, когда в ночи слышался грохот солдатских сапог, громкая немецкая речь. Ужасны были облачные темные ночи и ночи полной луны, ужасным было столь ясное раннее утро, и светлый полдень, и мирный вечер в родном городе.

Так продолжалось 50 дней.

26 августа немецкие власти начали подготовку общей акции. По городу были расклеены объявления, предлагавшие всем евреям переселиться в гетто, организуемое в районе Яток — городского базара. Переселявшимся запрещалось брать с собой мебель. Ятки — это самый бедный район города вдоль немощеных, с вечными, непросыхающими лужами улиц. Стоят там ветхие хибарки, одноэтажные домики, старые, из осыпающегося кирпича постройки, во дворах растет бурьян, валяется мусор, кучи хлама, навоза.

Три дня продолжалось переселение. Люди, нагруженные узлами, чемоданчиками, медленно двигались с Белопольской, Махновской, Училищной, Греческой, Пушкинской, с Большой и Малой Юридики, с Семеновской, Даниловской улиц. Подростки и дети поддерживали дряхлых стариков и больных. Парализованных, безногих несли на одеялах и носилках. Встречный поток двигался из Загребельного района города, находящегося по ту сторону реки Гнилопяти.

Людей поселяли по 5—6 семей в комнату. В маленьких хибарках сгрудилось по многу десятков людей с грудными детьми, лежачими больными, слепыми. Клетушки-комнаты были завалены домашними вещами, перинами, подушками, посудой.

Были объявлены законы вновь организованного гетто. Людям запрещалось, под страхом сурового наказания, выходить из пределов гетто. Покупать продукты на базаре можно было лишь после шести часов вечера, т. е. тогда, когда базар пустел и никаких продуктов на базаре уже не было.

Никто из переселенных в гетто не предполагал, однако, что это переселение является лишь первым шагом к заранее продуманному и разработанному во всех деталях убийству всех двадцати тысяч евреев, оставшихся в Бердичеве.

Бердичевский житель Николай Васильевич Немоловский, посещавший в гетто семью своего друга — инженера Нужного, работавшего до войны на заводе «Прогресс», рассказывает, что жена Нужного много плакала и волновалась по поводу того, что сын ее, десятилетний Гаррик, не сможет продолжать с осени занятия в русской школе.

Протоиерей бердичевского собора отец Николай и старик-священник Гурин все время поддерживали связь с врачами Цурваргом, Барабиным, женщиной-врачом Бланк и другими представителями еврейской интеллигенции. Они пытались выдать им христианские метрические свидетельства либо крестить их. Немецкие центральные власти, находившиеся в Житомире, объявили архиерею, что малейшая попытка со стороны священников спасать евреев будет караться самыми суровыми наказаниями, вплоть до смертной казни.

Бердичевские старики-врачи, как рассказывают священники, жили все время надеждами на возвращение Красной Армии. Одно время их утешала версия, якобы слышанная кем-то по радио, что немецкому правительству передана нота с требованием прекратить бесчинства в отношении евреев.

Но в это время пленные, пригнанные немцами с Лысой горы, начали копать пять глубоких рвов на поле, вблизи аэродрома; там, где кончается Бродская улица и начинается мощеная дорога, ведущая в деревню Романовку.

4 сентября, спустя неделю после организации гетто, немцы и предатели-полицейские предложили отправиться на сельскохозяйственные работы полутора тысячам молодых людей. Молодежь собрала узелки продуктов, хлеб и, простившись с родными, отправилась в путь. В этот же день все полторы тысячи юношей были расстреляны между Лысой горой и деревней Хажино. Палачи умело подготовили казнь, настолько тонко обманули своих жертв, что никто из обреченных до самых последних минут не подозревал готовящегося убийства. Им [так] подробно объяснили, где они будут работать, как их разобьют на группы, когда и где им выдадут лопаты и прочие орудия труда, что ни у кого не возникло [и] тени подозрений. Им даже намекнули на то, что по окончании работ каждому будет разрешено взять немного картошки для стариков, оставшихся в гетто.

И те, кто остались в гетто, так и не узнали в недолгие оставшиеся им дни жизни судьбу, постигшую молодых людей.

— Где ваш сын? — спрашивали у того или другого старика.

— Пошел копать картошку,— был общий ответ стариков.

Бесспорно, что этот расстрел молодежи был первым звеном в цепи заранее продуманных мероприятий по убийству бердичевских евреев. Эта казнь изъяла из гетто почти всех способных к сопротивлению молодых людей. В Ятках остались главным образом старики, старухи, женщины, школьники, школьницы, младенцы. Процент оставшихся мужчин резко снизился, остались лишь мужчины, удрученные заботой о беспомощных детях и стариках. Этим немцы обеспечили себе полную безнаказанность при проведении общей массовой казни.

Подготовка к акции закончилась. Ямы в конце Бродской улицы выкопаны. Немецкий комендант познакомил председателя городского управления Редера — обрусевшего немца и военнопленного первой мировой войны — [и] начальника полиции предателя Королюка с планом операции. Эти лица — Редер и Королюк — принимали активное участие в организации и осуществлении казни. Четырнадцатого сентября в Бердичев прибыли части эсэсовского полка, была мобилизована городская полиция. В ночь с 14 на 15-е весь район гетто был оцеп-

лен войсками. В четыре часа утра, по сигналу, эсэсовцы и полицейские начали врываться в квартиры, подымать людей, выгонять их на базарную площадь. По тому, как вели себя эсэсовцы, люди поняли, что наступил последний день жизни. Многих из тех, кто не мог идти, дряхлых стариков и калек, палачи убивали тут же, в домах. Страшные вопли женщин, плач детей разбудили весь город, на самых отдаленных улицах люди просыпались, со страхом вслушиваясь в стоны тысяч голосов, слившихся в один потрясающий душу звук.

Вскоре базарная площадь заполнилась многими тысячами людей. На небольшом холмике стояли Редер и Королюк, окруженные охраной. К ним партиями подводили людей, и они отбирали из каждой партии 2—3 человека, известных всем, всему городу специалистов.

Отобранных людей отводили в сторону, на ту часть площади, которая прилегала к Большой Житомирской улице. Остальных же, обреченных смерти, строили в колонны и под усиленной охраной эсэсовцев гнали через Старый город к Бродской улице, в сторону аэродрома. Прежде, чем построить людей в колонны, эсэсовцы и полицейские требовали, чтобы обреченные клали на землю драгоценности и документы. Земля в том месте, где стояли Редер и Королюк, стала белой от бумаги — удостоверений, паспортов, справок, профсоюзных билетов.

Отобраны были четыреста человек, среди них старики-врачи: Цурварг, Барабин, Либерман, женщина-врач Бланк, остальные — знаменитые в городе ремесленники и мастера: электро- и радиомонтер Эпельфельд, фотограф Нужный, сапожник Мильмейстер, старик-каменщик Пекелис со своими сыновьями-каменщиками Михелем и Вульфом, известные своим мастерством портные, сапожники, слесари, несколько парикмахеров. Отобранным специалистам разрешили взять с собой семьи. Многие из них не смогли отыскать потерявшихся в огромной толпе жен и детей. По свидетельству очевидцев, здесь происходили потрясающие сцены: люди, стараясь перекричать обезумевшую толпу, выкрикивали имена своих жен и детей, а сотни обреченных матерей протягивали к ним своих сыновей и дочерей, молили признать их своими и этим спасти от смерти.

— Вам все равно, вам не найти в такой толпе своих! — кричали женщины.

Одновременно с пешими колоннами по Бродской улице двигались грузовики: в них везли немощных стариков, малых детей, всех, кто не мог пройти пешком четыре километра, отделяющих Ятки от места казни. Картина этого движения тысячных толп женщин, детей, старух, стариков на казнь была столь ужасна, что и поныне люди, видевшие ее, рассказывая и вспоминая, бледнеют и плачут. Жена священника Гурина, живущая с мужем в доме, мимо которого гнали на казнь, увидев эти тысячи женщин и детей, взывавших о помощи, узнав десятки своих знакомых, помешалась и в течение нескольких месяцев находилась в состоянии душевного помрачения.

Но одновременно находились темные, преступные люди, извлекавшие материальные выгоды из великого несчастья, жадные до наживы, готовые обогатиться за счет жертв немцев. Полицейские, члены их семей, любовницы немецких солдат, прочие темные люди бросились в опустевшие квартиры грабить. На глазах живых мертвецов тащили они платья, подушки, перины; некоторые проходили сквозь оцепление и снимали платки, вязаные шерстяные кофточки с женщин и девушек, ждущих казни.

А в это время голова колонны подошла к аэродрому. Полупьяные эсэсовцы подвели первую партию в сорок человек к краю ямы. Раздались первые автоматные очереди. Нарочно ли так сделали немцы

или не сообразив, но место казни было устроено в 50—60 метрах от дороги, по которой проводили обреченных. Колонна шла мимо плахи, тысячи глаз видели, как падают убитые старики и дети; затем людей гнали к аэродромным ангарам, там ожидали они своей очереди и снова, уже для принятия смерти, шли к месту казни. От аэродромных ангаров к ямам вели группами по сорок человек, надо было пройти около трехсот метров по неровному, кочковатому полю. Пока эсэсовцы убивали одну партию, вторая, уже сняв верхнюю одежду, ожидала очереди в нескольких десятках метров от ям, и третью партию выводили в это время из-за ангаров.

Хотя подавляющее большинство убитых в этот день людей были совершенно немощные старики, дети, женщины с младенцами на руках, эсэсовцы, все же боясь их сопротивления, организовали убийство таким образом, что на месте казни всегда было больше палачей с автоматами, чем безоружных жертв.

Весь день длилось это чудовищное избиение невинных и беспомощных, весь день лилась кровь на глинистую желтую землю. Ямы были полны крови, глинистая почва не впитывала ее, кровь выступала за края ям, огромными лужами стояла на земле, текла ручейками, скапливаясь в низменных местах. Раненые, падая в ямы, гибли не от выстрелов эсэсовцев, а просто захлебывались, тонули в крови, наполнившей ямы. Сапоги палачей промокли от крови, жертвы подходили к могиле по крови.

Весь день безумные крики убиваемых стояли в воздухе, крестьяне окрестных хуторов бежали из своих домов, чтобы не слышать воплей, страданий, которых не может выдержать человеческое сердце. Весь день люди, бесконечной колонной проходившие мимо места казни, видели своих матерей, сестер, детей уже стоящими на краю ямы, той ямы, к которой судьба сулила им подойти через час или два. И весь день воздух оглушали слова прощания.

— Прощайте, прощайте, вскоре мы встретимся,— кричали с шоссе.

— Прощайте! — отвечали те, что стояли над ямой.

Иногда люди издали узнавали своих близких, и тогда новый страшный вопль оглушал воздух; выкрикивались родные имена, раздавались последние напутствия. Старики громко молились, не теряя веру в бога даже в эти страшные часы, отмеченные властью дьявола. В этот день, 15 сентября 1941 года, на поле вблизи бердичевского аэродрома, на дороге, ведущей от Бродской улицы к деревне Романовке, были убиты двенадцать тысяч человек. Подавляющее большинство убитых — это женщины, девушки, дети, старики и старухи. Все пять ям были полны по края телами, пришлось навалить поверх холмы земли, чтобы прикрыть тела. Земля шевелилась, судорожно дышала. Ночью многие из недобитых выползли из-под могильного холма, свежий воздух проник через развороченную землю в верхние слои лежавших и придал сил тем, кто лишь был ранен, чье сердце еще продолжало биться, вернул сознание лежавшим в беспамятстве.

Они расползались по полю, инстинктивно стараясь отползти от ям, большинство из них, теряя силы и истекая кровью, умирали тут же на поле, в нескольких десятках саженей от места казни. Крестьяне, ехавшие на рассвете из Романовки в город, увидели ужасную картину: все поле было покрыто телами в белом окровавленном белье.

Немцы и полиция убрали тела, добили тех, кто еще дышал, и вновь закопали их.

Трижды за короткое время земля над могилами раскрывалась, взорванная давлением изнутри, и кровавая жидкость выступала через края ям, разливалась по полю. Трижды сгоняли немцы крестьян, зас-

тавляли их наваливать новые могильные холмы над огромными могилами.

Есть сведения о двух детях, стоявших на краю этих раскрытых могил и спасшихся.

Один из них—десятилетний сын инженера Нужного, Гаррик. Отец его, мать и младшая шестилетняя сестра были казнены. Когда Гаррик вместе с матерью и сестренкой подошел к краю ямы, мать, желая спасти сына, закричала:

— Этот мальчик русский, он сын моей соседки, он русский, русский! Стоявшие тут же обреченные поддержали ее.

— Он русский, он русский! — кричали они.

Эсэсовец оттолкнул мальчика от стоявших над ямой. Едва отошел он, как раздались очереди автоматов. До темноты пролежал он в кустах у дороги, а затем пошел в город, на Белопольскую улицу, где прожил свою маленькую жизнь.

Он вошел в квартиру Николая Васильевича Немоловского, товарища отца, и едва увидел знакомые лица, как упал в припадке истерических слез.

Он рассказал, как были убиты его отец, мать, сестра, как мать и незнакомые люди, из которых ни одного уже нет в живых, спасли его. Всю ночь рыдал он, вскакивал с постели, порывался вернуться к месту казни.

Десять дней скрывали его Немоловские. На десятый день Немоловский, узнав, что брат инженера Нужного оставлен в живых среди четырехсот ремесленников и мастеров-специалистов, пошел в фотографию, где работал Нужный, и сообщил, что племянник его жив.

Нужный ночью пришел повидаться с мальчиком. Когда Немоловский описывал пишущему эти строки встречу Нужного, потерявшего всю свою семью, с племянником, он разрыдался и сказал:

— Это нельзя рассказать!

Через несколько дней Нужный пришел за племянником и забрал его к себе. Судьба их обоих трагична — при следующем расстреле были казнены и дядя, и племянник.

Вторым ушедшим от места расстрела был десятилетний Хаим Ройтман. На его глазах были убиты отец, мать и младший братик Боря. Когда немец поднял автомат, Хаим, стоя на краю ямы, сказал ему:

— Смотрите, часики,— и указал блестевшее на земле стеклышко. Немец наклонился, чтобы поднять часы, мальчик бросился бежать. Пули немецкого автомата продырявили ему картузик, но мальчик не был ранен. Он бежал до тех пор, пока не упал без памяти. Его спас, спрятал и усыновил Герасим Прокофьевич Остапчук.

Таким образом, пожалуй, он единственный из приведенных на расстрел 15 сентября 1941 года сохранил жизнь и дожил до прихода Красной Армии.

После этого массового расстрела люди, бежавшие из города в деревню, и жители окрестных местечек, где происходило в это время поголовное избиение еврейского населения, пришли на отведенные евреям улицы. Но новое, тотчас же последовавшее избиение уничтожило всех пришедших жить на эти улицы. Немцы и полицейские при этом проявляли необычайную жестокость, превосходящую все представления человека о жестокости.

Маленьким детям разбивали головы о камни мостовой, женщинам отрезали груди. Свидетелем этого избиения был пятнадцатилетний Лева Мильмейстер. Он бежал от места расстрела, раненный в ногу немецкой пулей.

В двадцатых числах октября 1941 года начались облавы на тех, кто тайно проживал в запретных для евреев улицах города. В этих облавах участвовали немцы и полицейские, помогали им доносчики-черносотенцы. К третьему ноября в помещение древнего монастыря монашеского ордена босых кармелитов, стоящего над обрывистым берегом реки и окруженного высокой и толстой крепостной стеной, были согнаны 2000 человек. Сюда же были приведены те 400 человек, специалистов со своими семьями, которых Редер и Королюк отобрали во время расстрела 15 сентября 1941 г.

Третьего ноября согнанным в монастырь людям было объявлено, чтобы они сложили на пол, на специально очерченный круг все имеющиеся у них при себе драгоценности и деньги. Немецкий офицер объявил, что утаившие ценности не подвергнутся расстрелу, а будут заживо закопаны в землю.

После этого стали выводить на расстрел партиями по 150 человек. Людей строили парами и грузили на машины. Сперва были выведены мужчины, около 800 человек, затем женщины и дети. Некоторые, заключенные в монастырь после страшных избиений, мучений, голода и жажды, после четырех месяцев немецкого палачества, после потери близких, были настолько душевно убиты, что шли на смерть, как на избавление. Люди становились в смертный черед, не стараясь еще на час или два отсрочить миг смерти. Какой-то человек, пробившись к выходу, кричал:

— Евреи, пустите меня вперед, пять минут, и готово, чего же бояться!

В этот день были расстреляны 2000 человек, среди них доктора Цурварг, Барабин, зубной врач Бланк, доктор Либерман, зубной врач Рубинштейн и славившаяся своей красотой его семнадцатилетняя дочь. Этот расстрел был произведен за городом, в районе совхоза Сакулино.

При этом расстреле снова были отобраны, уже у самых ям, 150 лучших ремесленников-специалистов. Их поселили в лагере на Лысой горе. Постепенно в этот лагерь были собраны лучшие специалисты, привезенные из других районов. Всего в лагере насчитывалось около 500 человек.

27 апреля 1942 года были расстреляны зарегистрированные и жившие в городе еврейки, находившиеся в браке с русскими, а также дети, рожденные от смешанных браков. Их оказалось около 70.

Лагерь на Лысой горе существовал до июня 1942 года. 15 июня, на рассвете, ремесленников и членов их семей, бывших в лагере, немцы расстреляли из пулеметов. Лагерь закрыли. При этом расстреле вновь у места казни немцы и полицейские отобрали 60 человек, лучших из лучших специалистов: портных, сапожников, монтеров, каменщиков. Они были заключены в тюрьму и работали на личные нужды сотрудников СД и украинской полиции.

Эти последние 60 евреев, оставшиеся в живых, были расстреляны немцами во время первого наступления Красной Армии на Житомир. При этом расстреле погиб известный всему городу старик Эйельфельд.

Так планово немцы казнили двадцатитысячное население Бердичева, от дряхлых стариков до новорожденных детей.

Пережили оккупацию лишь несколько евреев, десять—пятнадцать человек из двадцати тысяч, застигнутых немцами в Бердичеве. Среди спасшихся упомянутые выше пятнадцатилетний Лева Мильмейстер, десятилетний Хаим Ройтман, и братья Вульф и Михель Пекелис, сыновья бердичевского печника.

* * *

В заключение приведем несколько слов, взятых из красноармейской газеты «За честь Родины», напечатанной 13 января 1944 года:

«Одной из первых ворвалась в Бердичев рота гвардии старшего

лейтенанта Башкатова. В этой роте служил рядовым Исаак Шпеер, уроженец Бердичева. Он убил трех немцев-автоматчиков, пока дошел до Белопольской улицы. Красноармеец с замиранием сердца оглядывался вокруг. Перед ним лежали развалины с детства знакомой улицы. Вышли на улицу Шевченко. Вот и родительский дом. Целы стены, цела крыша и ставни. Здесь Шпеер узнал от соседа, что немцы убили его отца, мать, сестру, маленьких Борю и Дору.

На Лысой горе еще держались немцы. Утром бойцы по льду перебрались через Гнилопять, пошли на штурм Лысой горы. В первых рядах шел Исаак Шпеер. Он дополз до немецкого пулемета и гранатами убил двух пулеметчиков. Осколком мины Шпееру оторвало ногу, но он остался в строю. Шпеер застрелил еще одного немца и умер, пронзенный разрывной пулей на Лысой горе, где немцы убили его мать. Рядовой Исаак Шпеер похоронен в родном городе на Белопольской улице».

Бердичев
4 ноября 44 г.

Публикация Михаила Гольденберга

Генрих Бёлль

ПИСЬМО МОЛОДОМУ КАТОЛИКУ

В летние дни 1985 года, когда мы с тревогой и надеждой робко вступали в нынешние перестроечные времена, не ведая, какими переменами они для нас обернутся, пришла горькая весть о кончине Генриха Бёлля, человека и писателя, чей голос на протяжении едва ли не всех послевоенных десятилетий так много для нас значил, хоть мы и сами не всегда толком могли объяснить почему. Привыкшие, да и приученные думать, что Бёлль дорог нам прежде всего как беспощадный противник фашизма и войны, мы, пожалуй, скорее чувствовали, чем осознавали, что смысл его посланий, чудом пробивавшихся к нам сквозь стену идеологических запретов, куда глубже и не сводится лишь к неприятию столь очевидных зол, как фашизм и война. К тому же против этих зол выступали многие, но голос Бёлля всегда выделялся неповторимостью, неся в себе и нечто иное, гораздо более важное. В этом голосе звучала неведомая нам тогда — да и сейчас лишь предвкушаемая — мера свободы, какая дается не милостями социальной системы, а достигнута этой системе наперекор, отвоевана и выстрадана многолетней работой души и воли. Проще говоря, в этом голосе ощущалась свобода от любого идеологического диктата, свобода думать, действовать и жить, подчиняясь лишь одной моральной инстанции — собственной совести.

Попробуем же снова вслушаться в этот голос, прочитав давнюю, 1958 года, публицистическую работу Бёлля, которая в свое время — полагаю, совсем не случайно — до нас не дошла. При всей кажущейся отдаленности и конкретных поводов, и исторических обстоятельств ее возникновения, при всей специфичности религиозных и даже теологических проблем, затрагиваемых в этом письме, адресованном молодому соотечественнику, собрату по вере, которому предстоит призыв в западногерманскую армию (тогда только-только наново сформированную),— думаю, мы и в этом послании Бёлля без труда расслышим слова, обращенные ко всем современникам, а значит — и к нам тоже.

Дорогой господин М.!

Недавно, когда мы познакомились с Вами в доме священника У., Вы как раз вернулись со «дня укрепления веры», какие у нас устраивают для будущих новобранцев. Там Вас остерегали от моральных опасностей солдатской жизни, и, разумеется, как всегда в подобных случаях, мораль отождествлялась прежде всего с моралью сексуальной. Не собираюсь подробно растолковывать Вам, какое грандиозное теологическое заблуждение кроется за этой подменой понятий — оно

и так достаточно очевидно; столь однобоким пониманием морали вот уже почти столетие болен весь европейский католицизм.

В Ваши годы, когда мне было двадцать — а было это в 1938 году,— я тоже, поддавшись на уговоры, принял участие в этом «дне укрепления» для будущих новобранцев. На пригласительной открытке значилось что-то насчет «духовного вооружения для предстоящей армейской службы». Само «укрепление в вере» происходило в одном из тех монастырей, что напоследок подарило нам минувшее столетие: кладка желтого кирпича и темные новоготические коридоры, где застоялся кислый дух унылого, бездумного смирения. Невзрачный монастырь укрывал в своих стенах интернат для молоденьких девушек, коих обучали здесь искусству ведения «респектабельного домашнего хозяйства». Подавать нам завтрак после святой мессы были — очевидно, с особым тщанием — отобраны наименее хорошенькие из них; но какая восемнадцатилетняя девушка покажется дурнушкой на фоне безотрадной архитектуры конца минувшего столетия?

После завтрака началось «духовное вооружение». Сперва говорил священник — очевидно, он был ответственный за все мероприятие,— примерно с полчаса он разглагольствовал о капернаумском сотнике, на чьи слабые плечи вот уже лет сто принято взваливать теологическое оправдание всеобщей воинской повинности. Увы, мертвые беззащитны, так что пришлось капернаумскому бедняге отдуваться за всю ту идеологическую трескотню, которая тогда была в ходу: «народ без пространства», «большевистская угроза», «оправданная оборона»... Мой юный друг, будьте начеку всякий раз, когда теологи начинают рассуждать об оправданной обороне. Это столь громкие и столь пустые слова, что, будь моя воля, я бы их запретил. Внуков тех новобранцев, что погибли в 1914 году, сегодня обучают стрелять из атомных пушек, но и сегодня, сорок четыре года спустя, историки не пришли к единому мнению в вопросе о том, кто тогда, в 1914 году, находился в состоянии оправданной обороны. Какой же прок от этого термина и кого, скажите, он способен утешить? Впрочем, если Вам нужны исторические примеры оправданной обороны, Вы легко отыщете их в недавнем прошлом: Советская Россия в 1941 году, когда на нее вероломно напали войска германского вермахта, находилась в состоянии оправданной обороны, равно как и Дания, Норвегия, Франция,— взгляните на карту Европы, и Вам не составит труда перечислить все остальные страны.

Священник, руководивший нашим укреплением в вере, как выяснилось, и сам имел за плечами кое-какой опыт солдатской жизни: в первую мировую он, оказывается, был фельдфебелем и одним из немногих удостоился креста «Pour le Mérite»[1] унтер-офицерской степени. За вводной частью о капернаумском сотнике — ох уж этот неистребимый пиетет немецкого обывателя перед чинами и званиями! — последовал раздел практических наставлений, в основном состоявший из советов, как во время совершенно неизбежных солдатских попоек уберечься от алкогольного опьянения; уберечься же было необходимо потому, что завершаются подобные попойки и прочие армейские увеселения, как правило, коллективным походом в бордель,— таким вот образом нас предостерегали от «нравственных опасностей», то есть опять-таки от опасностей сексуальных.

В ту пору, летом 1938 года, большинство моих школьных приятелей давно уже вышли из всевозможных католических молодежных общин и переметнулись в гитлерюгенд или в юнгфольк; иных из них я порой встречал, когда они во главе колонны бодро маршировали по улицам — они улыбались мне извиняющейся улыбкой, а колонна

[1] «За заслуги» (франц.).

тем временем во всю горланила: «Пусть кровь еврея брызнет под клинком...» — и на извиняющиеся улыбки я не отвечал. Не знаю, какая нравственная опасность страшней: распевать во главе сотни десятилетних мальчишек «Пусть кровь еврея брызнет под клинком...» или сексуальное прегрешение. За годы, проведенные в рядах вермахта, мне довелось повидать немало мерзостей, но чтобы кого-то понуждали к сексуальным прегрешениям, такого не припомню, чего не было, того не было.

Священник рекомендовал нам перед такими солдатскими вечеринками есть побольше мяса, чем жирней — тем лучше, или сырой фарш и хорошую свиную колбасу — перед выпивкой надо, мол, уплотнить желудок надежной «прокладкой», что позволит избежать опьянения и тем самым уберечься от последующих нравственных опасностей. У меня и сегодня пропадает аппетит, едва вспомню в подробностях эти тошнотворные кулинарные наставления, кстати, не только совершенно безграмотные с медицинской точки зрения, но и практически, по сути, невыполнимые в силу их вопиющей наивности: где, как, скажите Бога ради, несчастный новобранец призыва сорокового или сорок первого года мог раздобыть мясо, да еще в таких количествах?!

Затем последовало — прошу простить, но шлюхи действительно были на первом плане — подробное разъяснение о гнусных повадках этих бесстыжих бестий; ему самому, рассказывал священник, в первую мировую пришлось служить ординарцем у одного беспутного капитана и не однажды приводилось самолично доставлять «дамочек» на квартиру своего командира; видимо, ему ни разу даже в голову не пришло отказаться от выполнения подобного приказа (хотя это было вполне возможно даже с юридической точки зрения, но, надо понимать, приказ начальства — закон для немецкого католика) — вместо этого он теперь расписывал нам тактические уловки, с помощью которых ему удавалось противостоять наглым заигрываниям этих опасных тварей. Он говорил с нами «с солдатской прямотой», и прямота эта была достаточно омерзительна.

Потом был совместный обед и последовали новые наставления, суть которых сводилась к тому, чтобы призвать нас к храбрости и соблюдению армейской дисциплины, все это по излюбленному шаблону: католики всегда в первых рядах, мы не какие-нибудь слюнтяи! Ах, мой юный друг, два, нет, три царства за священника, который найдет в себе мужество защитить слабого, трусоватого, плоскостопого, наконец, просто неуклюжего от этой физкультурной идеологии немецкой нации! Напоследок снова был помянут капернаумский сотник, потом подали кофе. Вправду ли обслуживавшие нас девушки так похорошели, или мне это просто казалось после восьмичасового заточения в монастырских стенах?

Потом нас наконец отпустили. Ни слова о Гитлере, ни слова об антисемитизме, о возможных конфликтах между приказом и совестью. Духовно вооруженные до зубов, мы поплелись домой по унылой пригородной улочке.

Четыре года спустя я состоял переводчиком при военной комендатуре в курортном городишке во Франции, и одной из моих обязанностей была в высшей степени ответственная и благородная миссия: каждое утро, что-то около девяти, отправляться в бордель и забирать там вещи, позабытые ночью в этих тоскливых чертогах Венеры пьяными фельдфебелями, унтер-офицерами и чинами рангом повыше,— бумажники, кошельки, водительские удостоверения, а иной раз бывало, и пистолет или заветный конверт с фотографиями любящей супруги и любимых чад. Сколь тоскливое зрелище являли собой эти

маленькие курортные городки на французском побережье! Население большей частью эвакуировалось, огромные курортные отели гибнут в запустении, пляжи усыпаны битым кирпичом, в казино по игорным столам разгуливают крысы, устраивая карусель на рулетке, на убогом причале ни души, солдаты маются в бункерах, с тоской поглядывая на небо — не летит ли в сторону Англии почтовый голубь. Был специальный приказ — этих «шпионских» голубей отстреливать, то-то было радости у измученных, одуревших от безделия и скуки вояк, когда голубь и вправду появлялся: палили из всех щелей и углов, грохот стоял, как на стрелковом празднике, иногда, правда редко, даже попадали — перехваченные донесения, которые этим красивым птицам надлежало доставить в Англию, тут же лихорадочно расшифровывались в полковых штабах, но сообщалось в них почти всегда одно и то же: моральный дух противника подорван, в частях голод.

Через такой вот унылый, обезлюдевший городишко я и брел каждое утро с карабином за спиной в казарму любви, дабы подобрать трофеи, оставленные на поприще утех славными воителями Венеры всех званий и степеней; пожилая дама с оплывшим лицом ставила передо мной чашечку кофе, а сама по скрипучей, рассохшейся лестнице поднималась наверх, откуда вскоре слышались сердитые, раздраженные голоса усталых после бессонной ночи девушек. В баре, где я обычно дожидался, согревая ладони кофейной чашкой, было еще не прибрано; ранним утром зрелище много повидавшей за ночь питейной стойки — надо ли мне Вам его описывать? Ждать иной раз приходилось долго, я тогда шел на кухню и наливал себе вторую чашечку кофе — мне такое самоуправство дозволялось, ведь мы с мадам почти подружились,— а если очень везло, мне удавалось дождаться прихода уборщицы, молодой крестьянки из соседней деревни, и один вид ее лица, разгоряченного поездкой на велосипеде, ее ладной, крепкой фигуры, один взгляд ее чистых светло-серых глаз согревал мне сердце; я помогал ей составлять стулья на столы, вычищать пепельницы, таскал ей воду — моя подорванная мораль укреплялась от сознания того, что среди всего этого хаоса и разброда я могу сделать хоть что-то осмысленное: составить стулья, вычистить пепельницы, натаскать воды, да еще к тому же для столь миловидной молодой особы. После, когда мадам, спустившись вниз, вручала мне утерянные вещи, мы втроем садились пить кофе, рассуждая о различиях между практикующими и непрактикующими католиками: Жермена, молодая крестьянка, регулярно, как и я, ходила в церковь, а мадам нет. Иногда к нам спускались две-три девушки, которым уже не удалось заснуть, и мы всей компанией завтракали, после чего, пока Жермена продолжала уборку, а мадам шла подсчитывать выручку, я, прихлебывая остывающий кофе, играл с девушками во что-то вроде «братец, не сердись», или мы, покачивая головами, разглядывали семейные фотографии ночных клиентов. Бог мой, вот эта простушка, жена школьного учителя, с прелестной дочуркой на руках, неужели только для того и снялась на веранде, чтобы продемонстрировать своему супругу-лейтенанту, какую шикарную блузку ей сшили из присланного французского шелка?

Нравственная опасность? Таковая, безусловно, была, но исходила она вовсе не от этих профессиональных обольстительниц. Я, кстати, так и не научился презирать клиентов подобных заведений, ибо совершенно не в состоянии презирать то, что по странному недоразумению принято именовать «плотской любовью»; ведь и эта любовь — одна из сущностей святого причастия, и я питаю к ней то же благоговение, что и к неосвященному хлебу, который тоже частица тела Христова; разделение любви на так называемую плотскую и иную

по меньшей мере спорно, чтобы не сказать недопустимо — и в той, и в иной неизбежно присутствует хоть крохотная примесь своей противоположности. Ведь мы, люди, создания отнюдь не только сугубо плотские либо, наоборот, чисто духовные, плоть и дух перемешаны в нас в разных, постоянно меняющихся пропорциях, и, как знать, возможно, ангелы завидуют этому нашему свойству. К примеру, человек пишет письмо — занятие это иной раз сродни чувственному акту: лист бумаги, перо и руки, эти инструменты удивительной, а порой и тончайшей нежности. Некоторых шлюх я, правда, потом стал презирать, но не за их ремесло, а как презираешь священника, способного потешаться над истовостью веры своих прихожан. И если верны утверждения некоторых теологов, что в вине святого причастия растворен дух Бахуса и Диониса, то не логично ли предположить, что и таинство брака осенено дыханием Афродиты и Венеры? А коли так, тогда и так называемая плотская любовь заслуживает иного, отнюдь не столь грубого и презрительного к себе отношения.

Впрочем, в презрении к клиентам и Жермена, и мадам, и сами девушки проявляли столь редкостное и прискорбное единодушие, что вскоре их высокоморальные речи прискучивали мне уже через час, я тщетно надеялся услышать в них хоть намек на сострадание, но, так и не дождавшись, покидал заведение и шел заливать тоску вином.

Сострадал я и молоденькому офицеру инженерных войск, которому было поручено ответственное боевое задание: взорвать несколько отелей и детских пансионатов, поскольку они якобы ограничивали «сектор обстрела» в случае высадки неприятельского десанта. Где-то в наших штабных тылах, как призрак, орудовал некий генерал — за время пребывания во всевозможных училищах, академиях и на прочих курсах военных наук он, судя по всему, кроме понятия «сектор обстрела», мало что усвоил. Вот и взлетали на воздух гостиницы, пансионаты, санатории, а славное немецкое воинство выказывало поистине муравьиное усердие, накануне взрыва подчистую растаскивая из этих зданий все, что можно вынести: постельное белье, одеяла и скатерти, детские игрушки,— под покровом ночи из обреченных строений разворовывалось все, а затем, в строгом соответствии с почтовым предписанием, разнималось на части допустимого к пересылке веса и объема; почтовые весы были в большой цене, так что спустя несколько дней прилежная рука немецкой домохозяйки где-нибудь в Померании, Вюртемберге или на Рейне, разложив на столе лоскуты наподобие детской головоломки, наново сшивала трофей, присланный с чужбины заботливым супругом.

Служить орудием разрушения — что может быть нелепее и абсурднее? Тут уж не спасет никакое «трагическое сознание». Нравственная опасность? Таковая, безусловно, была, и заключалась она в почти полной бессмыслице подобного времяпрепровождения: месяцы, годы тянуть одну и ту же одуряющую лямку — да тут счастьем покажется составлять для Жермены стулья, вычищать пепельницы и играть с полусонными бордельными девицами в «братец, не сердись». Нравственные опасности, угрожающие солдату, действительно велики, но сексуальная опасность — наименьшая среди них, Вы уж поверьте.

Когда мне стало совсем невмоготу от тоски, я сказался больным, выискав себе болезнь, которая требовала поездки в Париж к врачу-специалисту; в Париже я купил книжку «Дневников» Леона Блуа и, сидя на террасе кафе и вооружившись карманным словариком, одолевал страницу за страницей, пока в последнем из дневников не наткнулся на запись, датированную святым праздником Рождества

1916 года, которая начинается фразой: «Нам прислали гуся из Бретани...» — и несколькими строчками ниже прочел: «Удовлетворение мое было бы поистине безмерным, если бы знать с полной уверенностью, что в вечер нашей рождественской трапезы вся Германия подыхает с голоду». Это написано в 1916 году, в канун святого Рождества, в дни, когда моя мать с пятью детьми на руках и вправду была на волосок от голодной смерти, а прочитано в 1942 году, когда в Кельне моя жена, мои родители, мои братья и сестры по нескольку раз на дню подвергались смертельной опасности; а вдруг проклятие Блуа сбудется, и все немцы действительно подохнут если не от голода, то под градом вражеских бомб? Нет, не мог я поверить в коллективную вину всей немецкой нации — иначе бы дезертировал или нашел способ уехать в эмиграцию; а так я гулял теперь по Парижу, и немецкая армия была мне столь же чужда, как и французское население, чья враждебность производила впечатление убийственной именно потому, что распространялась на всех немцев коллективно — без исключений и различий; я заливал тоску вином, иногда на полчасика заходил посидеть в церковь, смотрел кино, а потом шел к себе в гостиницу и писал очередное длинное письмо жене, прежде чем лечь в кровать и еще долго ворочаться без сна. Нелегко мне было отречься от Леона Блуа, но не мог я понять и простить, не мог воспроизвести в себе эту ненависть, ненависть старого уже человека,— и я отрекся от Блуа той ночью в убогой парижской гостинице, один посреди враждебного города, где даже интеллигентные лица иных немецких офицеров были мне столь же чужды, как и холодная ненависть местного населения.

Нравственные опасности? Таковые, друг мой, безусловно, существуют — в абсолютном отчаянии, в осознании полнейшей бессмыслицы подобного образа жизни. Выходы, впрочем, тоже есть — это культура, цинизм, шкурничество. Возьмем первый вариант — культурный: Вы принимаете любую ситуацию как данность и по возможности обогащаетесь духовно — осматриваете соборы и картинные галереи, строя из себя этакого странствующего сноба; тут есть свои бесспорные преимущества: Вы попадаете в хорошую часть, под начало вежливых и понимающих командиров из тех высококультурных и, без всяких кавычек, гуманных офицеров, которые умеют видеть и уважать в Вас интеллигентного человека. Следующая стадия — цинизм — уже на ступеньку откровеннее. Вы с наслаждением отдаетесь превратностям судьбы, предоставив волнам истории нести Вас, куда им вздумается: из роскошной ванной богатой парижской квартиры в смертоносную бойню, какой была война в России. Вы непроницаемы для всякой боли, не позволяете себе страдать, а на страдания других взираете со спокойной и деловитой безучастностью владельца похоронного бюро, который, в конце концов, все же не убийца. Шкурничество: Вы наживаетесь на войне где и сколько возможно; нужен поистине рентгеновский взгляд, чтобы с достоверностью выяснить, сколько состояний нашей благоденствующей республики проистекает из этого источника: вагон швейцарских часов на вокзале в Амьене, два зенитных орудия, загадочным образом исчезнувшие в Одессе, или те фиктивные строительные работы, которые некий смышленый фельдфебель годами поручал фиктивным строителям, начисляя за них отнюдь не фиктивное жалованье; жалованье выплачивалось исправно, его делили между собой все тот же фельдфебель и французские подрядчики. Есть, наконец, и еще один выход: самоубийство. Маленький бледный унтер-офицер с криво нашитыми лычками на погонах — утром часовой обнаружил его возле бункера, он лежал точнехонько на линии прилива, пистолет под боком, перед застывшим взором — серая, бес-

крайняя гладь равнодушного океана. Что он чувствовал в миг своей кончины, этот бледный преподаватель гимназии, наизусть шпаривший своего любимого Плавта?

Дорогой М., не слушайте уверений, будто все это пустяки, будто нравственные опасности исходят лишь от бордельных красоток. Нравственные опасности грозят совсем иначе и с иной стороны. Сейчас вошло в привычку, чуть кто-то усомнится в безупречной позиции официальной католической церкви в Германии времен нацизма, тут же в опровержение перечислять имена католиков, мужчин и женщин, которые были казнены или томились в лагерях и тюрьмах. Но эти люди — прелат Лихтенберг, священник Дельп и многие-многие другие, они ведь действовали не по приказу церкви, а по велению иной инстанции, само упоминание которой стало в наши дни чуть ли не предосудительным,— по велению совести.

Помнится, Вы мне сказали, что одну из прослушанных Вами лекций читал некто майор Ш. Советую Вам: не верьте майору Ш. Он неплохой человек, он не выбрал бы ни один из перечисленных возможных вариантов: культура, цинизм, шкурничество, самоубийство. Я знаю майора Ш. больше двадцати лет: как и многие другие, он тоже распевал во главе своей колонны мальчиков «Пусть кровь еврея брызнет под клинком...» и улыбался мне извиняющейся улыбкой, когда я встречал его на улице за этим доблестным занятием, и притом он был «оппозиционно настроен», то есть при случае где-нибудь в укромном уголке парка пел со своей группой «недозволенные» песни — «На том краю долины стояли их шатры» или еще что-нибудь в этом роде. Такие были времена, что даже это считалось актом невероятного мужества,— надо же было дать выход юношескому духу противоречия, пусть хотя бы в форме «запретных» песен, которые негласно дозволялось петь тайком, дабы этот дух не воспротивился чему-то более существенному: строевой подготовке, военизированным учениям на местности и т. д.

Майор Ш.— вполне добропорядочный католик, без всяких кавычек, просто у него есть парочка мелких недостатков — короткая память, умеренный интеллект,— присущих всякому оппортунисту, но даже в оппортунизме своем он неповинен, это столь же неотъемлемая черта его натуры, как у другого человека, скажем, голубые глаза. Не слишком-то доверяйтесь жизнерадостному и беззаботному «критическому пафосу», который так привлекает Вас в речах майора Ш.— это вроде пения тех запретных песен, которые сами по себе, в сущности, были совершенно безобидны. Майор Ш.— я тем временем тоже имел удовольствие прослушать одну из его лекций — неизменно начинает с критики бундесвера, дабы с ходу завоевать симпатию молодежной аудитории; такая открытость, что и говорить, импонирует, в ней есть вроде бы даже спортивный азарт; я был бы весьма разочарован, узнав, что Вы клюнули на эту удочку. Я знавал сотни таких, как майор Ш.: среди людей этого толка встречаются даже культурные экземпляры — однажды мне пришлось послужить чем-то вроде амурного посредника при молодом лейтенанте, от всего облика которого за три сотни метров исходил сияющий отсвет католического молодежного движения начала века; я должен был устраивать для него рандеву и на первых рандеву исполнять миссию переводчика, то есть воспроизводить по-французски весь его высококультурный треп — от и до, вдоль и поперек, от Гвардини до Эрнста Юнгера, от Ницше до Кароссы, от Мориака и Андре Жида вплоть до «ле Рейх»; то была тяжкая работа, поверьте, в эти дни мне нелегко доставалось мое жалованье обер-ефрейтора, которое я вечерами горько пропивал в укромном кабачке, где хозяин изливал мне свою

коммунистическую душу. Нет, я вовсе не ощущаю за собой морального превосходства, дабы учинять здесь над майором Ш. нечто вроде запоздалой денацификации, я только перечисляю способы жизни, и не пристало мне судить тех, кто пошел по пути наименьшего сопротивления *активно* и во всю глотку распевал «Пусть кровь еврея...» на том лишь основании, что сам я вел себя *пассивно* и ничего подобного *не* совершал; не могу поручиться, что сумел бы сделать окончательные выводы, от меня этого, слава Богу, не потребовалось, так что лично я, пишущий Вам эти строки, не имею за душой никакого морального кредита, кроме разве того, чисто механически-возрастного, что мне было пятнадцать лет, когда государство Ватикан первым установило дипломатические отношения с Гитлером, и двадцать восемь, когда я вернулся домой из американского лагеря для военнопленных.

Вас, конечно, удивит, почему я все это Вам пишу, а не рассказал в тот же вечер, когда мы познакомились в гостях у священника У. На то есть свои причины, и я не собираюсь о них умалчивать: в присутствии священника У. мне претит говорить о вещах, которые я принимаю всерьез; я знаю священника У. больше двадцати лет, в ту пору мы с ним беседовали о Бернаносе и Блуа (причем священник У., как и все, за немногими исключениями, немецкие католики, с завидным постоянством и по сей день пребывает в заблуждении, считая Бернаноса левым католиком, чем доказывает только одно: что можно быть еще правее Бернаноса, но это заблуждение, равно как и многообразные роковые его последствия,— тема особого разговора). Уже тогда священник У. замечательно умел рассказывать самые смешные анекдоты про генеральный викариат, и, разумеется, мне, молодому человеку, было лестно их слушать — я как бы приобщался к сонму посвященных и особо привилегированных лиц. Но анекдоты про генеральный викариат (они, кстати, за истекшие двадцать лет очень мало изменились) — это примерно то же самое, что для майора Ш. его юношеская увлеченность «запретными» песнопениями или его сегодняшняя «критика» бундесвера; не обманывайтесь на сей счет — когда дело доходит до принципиальных вещей, эти люди обнаруживают редкостную увертливость. По-своему я даже ценю священника У.— он остроумен, обаятелен, неплохо разбирается в литературе, предлагает гостям превосходные вина и отличные сигареты, и, поверьте, все эти вещи я очень даже умею ценить, но не более чем они того заслуживают, то есть как сопутствующие; при моем ремесле требуется умение наблюдать, и я наблюдаю за священником У. вот уже больше двадцати лет, пытаюсь совместить его образ с долей того отчаяния, которое, должно быть, испытал бледный молоденький унтер-офицер, когда застрелился в предрассветном тумане, уставясь на серую, бескрайнюю гладь равнодушного океана; или хотя бы с долей шкурничества того интеллигентного фельдфебеля, который на войне наживался. Я, безусловно, многое ценю в священнике У., но разговаривать с ним мне неинтересно; лучше уж я побуду дома и сыграю с детьми в «братец, не сердись».

Немецкие католики — а священник У. до известной степени типичный их представитель — десятилетиями не знают иных забот, кроме забот о совершенствовании литургии и о воспитании вкуса; занятия, что и говорить, весьма похвальные, но я спрашиваю себя, хватит ли этого в качестве алиби для одного, а то и для двух поколений? Стало хорошим тоном, чуть ли не идейной платформой ругать на чем свет стоит главный викариат, епископов, вообще клерус (причем именно клерики усердней других изощряются в ругани), но умонастроения, изъявляющие себя во всех этих модных повадках, ничуть

не серьезней, чем фрондерство шкодливого гимназиста, потешающегося в компании однокашников над своим классным руководителем. За этими детскими шалостями священника У., как и многих других католиков, скрывается безысходное отчаяние: литература, образованность, литургия — все это только средство заглушить угрызения совести; ведь все они достаточно проницательны и умны, чтобы понимать, сколь пагубно почти безраздельное слияние церкви с ХДС, ибо слияние это чревато гибелью теологии; читая сегодня высказывания теологов по политическим вопросам, не испытываешь ничего, кроме неловкости, потому что произносятся все эти высказывания исключительно с оглядкой на Бонн — за каждой фразой только угодливое ожидание покровительственного похлопывания по плечу.

Так что, дорогой М., можете спокойно высказывать в гостях у священника У. любые сомнения в догме о физическом вознесении девы Марии; в ответ Вас деликатно поправят, Вам с мягкой укоризной изложат чрезвычайно тонкое, ловкое — без сучка, без задоринки — теологическое толкование; другое дело, если Вам взбредет на ум высказать сомнение в догме (негласной) о безупречности ХДС,— тут священник У. почему-то сразу занервничает, и с него вмиг слетит вся его деликатность. Вы можете спокойно перевести разговор на богоявление Христа Святому отцу — Вам любезнейшим образом объяснят, что Вы вовсе не обязаны в это верить; но стоит Вам усомниться хоть в одном из речений Святого отца, которое может оправдать возрождение германской армии, разговор опять-таки примет крайне неприятный оборот. А еще в доме священника У. Вы сведете знакомство с рядом весьма любезных и обходительных либералов старого и нового призывов, которые, пройдя через очистительное горнило ХДС, «снова обрели себя в лоне церкви». Разумеется, ни в какую «мистику» эти люди не верят, но на Пасху и на Рождество (на Троицу нет, слишком хороша в июне погода) они ходят на безупречное, совершаемое по всем канонам литургии богослужение в безупречную, по всем канонам древней архитектуры отреставрированную церковь (старинную, по меньшей мере XIII век!) и все решительней склоняются к мысли, что «это совсем не такое уж зряшное дело». Вопрос, действительно ли человек верует, становится в обществе непростительным ляпом; вопрос, соответствуют ли убеждения человека его публичным высказываниям, воспринимается как детское недомыслие. Таких вопросов «просто не задают», это все равно что закапать красным вином белую скатерть. Мы живем в стране оппортунистов, ну, а юношеский дух противоречия — для него всегда можно подыскать отводной клапан.

Когда у нас обсуждался вопрос о возрождении германской армии, правление Союза немецкой католической молодежи выпустило в свет небезынтересную брошюрку: сочинитель ее делится своими мучительными раздумьями о том, какими «формальными параметрами» должен обладать молитвенник будущего немецкого солдата; по его мысли, «необходимые гибкость и прочность» молитвенника следует обеспечить за счет «тончайшей бумаги и эластичного переплета». Вот они — типичные заботы немецких католиков! Тут что ни слово — то перл, и чуть ли не каждое достойно отдельного памфлета: «прочность», «гибкость», «тончайшая бумага», «эластичный переплет»! В России мне довелось видеть слишком много смертей — на боевых позициях и в лазаретах, и я не могу воспринимать эту фразу иначе, как чудовищное надругательство, корни которого я вынужден выводить все из той же озабоченности немецких католиков проблемами вкуса. Перед лицом смерти, которую приняли братья и сестры по вере, которую, возможно, претерпели увезенные в Освенцим соседи

и соученики сочинителя, лишь официально заверенный врачами документ о его слабоумии способен заставить меня ему эту фразу простить, что, однако, ни в коей мере не сняло бы ответственности с правления Союза немецкой католической молодежи, раз уж оно способно доверить написание подобной брошюры слабоумному; между тем два миллиона членов Союза, судя по всему, встретили ее публикацию без малейших возражений, и ни одному из пастырей душ, видимо, и в голову не пришло, сколько поистине дьявольского коварства таит в себе одна эта фраза; к физкультурной теологии у нас, значит, добавилась еще и книгоиздательская. Что ж, подождем, пока в один прекрасный день не потребуют себе специального молитвенника дантисты, графики, изготовители искусственного меда...

Не пекитесь о своем молитвеннике, дорогой М., и никогда не подпевайте тем, кто так любит ругать и вышучивать генеральный викариат и епископов: это недостойно ни Вашего ума, ни Вашей серьезности; принимайте угощения и вина священника У., его навык остроумно поддерживать беседу, его непринужденные и толковые рассуждения о литературе — принимайте все эти приятности, как они того заслуживают, то есть как изящную безделицу, но, ради Бога, не принимайте их слишком всерьез и не ждите надежных советов по части нравственных опасностей, которые, конечно же, Вас не обминуют. Для меня, когда я был в Вашем возрасте, первостепенной нравственной опасностью стал договор, который Ватикан первым из государств заключил с Гитлером; это дипломатическое признание повлекло за собой куда больше последствий, чем если бы сегодня, допустим, Бонн заявил о признании Восточного Берлина. Вскоре после заключения этого договора между Ватиканом и Гитлером стало особым шиком идти к причастию в форме СА; да, это стало шиком и даже модой, но дело не в шике и моде, дело в том, что тут обнажилась своя логика: сходив в форме СА к святой мессе, можно было спокойно отправляться на службу и распевать: «Пусть кровь еврея (русского, поляка) брызнет под клинком...» Тридцать миллионов поляков, русских, евреев приняли смерть в те годы, дорогой М. Нравственные опасности? Им несть числа, стоит только начать думать, а по Вашему лицу я понял, что от раздумий Вам никуда не уйти. И от эластичных переплетов тут толку ни на грош, а тончайшая бумага, возможно, осчастливит Вас лишь тем, что замечательно годится на самокрутки: какая-никакая, но все-таки польза, ибо я надеюсь, что несколько молитв, способных облегчить Вам душу, Вы знаете наизусть. Только не доверяйтесь тому бодряческому оптимизму, тому беззаботному молодецкому энтузиазму, которым лучится физиономия Вашего будущего высшего военачальника — министра обороны, а если теологи начнут талдычить Вам об оправданной обороне, проявите дотошность и спросите у них: а нельзя ли привести конкретные исторические примеры оправданной обороны? Или так: а какие предпосылки делают оборону оправданной? Или еще: кто и когда определяет, где начинается оборона и кончается нападение? Может статься, Вы будете кружить над Европой в элегантном самолете с атомной бомбой на борту, и в Вас заговорит вдруг голос той инстанции, само упоминание о которой стало в наши дни предосудительным,— голос совести. Да, совесть тоже очень громкое слово, я знаю, и инстанция, которая этим словом обозначается, зависит от неисчислимого множества непредсказуемых обстоятельств, но помните: именно к голосу этой инстанции прислушивались те, кто решился оказать Гитлеру сопротивление, и они знали, на что идут и какой ценой придется расплачиваться, и еще — если весьма приблизительное и, в сущности, дурацкое разделение на «правых» и «левых» вконец собьет вас с толку, помните

вот о чем: эти люди пришли в Сопротивление как из крайне левых, так и из крайне правых рядов, а сентиментальная болтовня насчет «безродных левых» — особо подлый вид лицемерия, ибо есть и «безродные правые», которые точно так же не примыкают ни к какой партии; их дух запечатлен в некоторых из тех смельчаков, что 20 июля предприняли отчаянную попытку уничтожить Гитлера. Вся эта болтовня насчет «правых» и «левых» тоже не что иное, как увертки. Игра в правых и левых напоминает футбол, только ворота наглухо заколочены досками; а еще политики бесподобно наловчились играть в милую детскую игру под названием «деревце»: кому не повезло, кто не успел занять свое «деревце», тот «вылетает» — вот тут-то он, прикрыв лицо ладошками, и пускает слезу, объявляя себя «безродным» или оппозиционером. Политика в наши дни — штука жесткая, зато теология явно обмякла. Ересей больше нет, теологи вовлеклись в политические игрища и беспомощно тыркаются между заколоченными воротами. Аденауэр — католик, Штраус и иже с ним — тоже, куда уж дальше ехать?

И вправду, ехать нам дальше некуда, да мы, похоже, и не хотим. Зато у нас теперь вдосталь времени, чтобы предаться излюбленным национальным игрищам: мы истово строим, посвящаем себя дальнейшему развитию вкуса и совершенствованию литургии, тешимся эластичностью гибких и прочных переплетов. Когда мы, интеллигентные католики, бываем в своем кругу, к которому непременно принадлежат и отдельные духовные лица, мы вышучиваем главный викариат, потешаемся над епископами — это же наши сладости, наши конфетки для посвященных, и здесь, в своем кругу, можно даже позволить себе в меру двусмысленную остроту, не подвергаясь при этом нравственной опасности; мы снисходительно посмеиваемся над проповедями, которые — что поделать — приходится выслушивать во время святой мессы, и при этом уверены, что к нам-то они никакого отношения не имеют,— а к кому, позвольте спросить, они тогда имеют хоть какое-то отношение? Чем тогда живут простые смертные, не удостоенные приобщения к этим снобистским конфеткам и к последующему желудочному расстройству, которое, судя по всему, становится главной темой в разговорах между «интеллигентными католиками»?

Будьте воздержаны, дорогой М., не дайте себя обкормить этими сладостями: критикой, анекдотцами, разговорчиками о литературе. Иначе вскоре Вы непременно почувствуете, как бунтует Ваш желудок, требуя хлеба, а не пустопорожних рассуждений о социологии, политике и культуре, которыми нас потчуют все, кому не лень; желудок бунтует, а мозг жаждет, до изнеможения жаждет ясности, ибо людям нужно осознавать непреложность обязательств, но слышат они лишь пустые и необязательные словеса. А уж если Вам хоть разок выпадет сомнительное счастье прослушать одну из «современных» проповедей, сметанных по последней моде очередным умельцем риторической кройки и шитья, насладиться этой жестикуляцией, этой вымученно-многозначительной мимикой, этой словесной мишурой, чтобы не сказать шелухой (все это по многу раз отрепетировано перед зеркалом и наговорено на магнитофон, прежде чем внедриться в Ваши уши, прежде чем поразить Ваши глаза, прежде чем Вас «пронять»),— тогда Вы очень скоро испытаете еще более сильные ощущения: позывы тошноты, ибо от этого просто с души воротит. Так что радуйтесь любому священнику, который еще способен хоть разок запнуться. Не хлебом единым жив человек, но то, что помимо хлеба — Слово — ему, к сожалению, дают слишком редко, и, однако же, много, на удивление много людей взыскуют Слова, такого же простого, как хлеб, Слова, что было в начале и пребудет в конце.

Нравственные опасности, и притом немалые, действительно грозят Вам, дорогой М., ибо та совершенно незаслуженно порицаемая инстанция, что зовется совестью, все равно заявит о себе; и горчайшая из всех тягот солдатской жизни — отупение, о чем Вас, конечно же, забыли предупредить,— все равно подстережет Вас независимо от вида оружия и рода войск. Не верьте стандартным посулам и утешениям, которые Вам будут подсовывать,— всем этим словесам об увлекательной сложности современной военной техники, об армейской физической закалке, а тем паче о духе боевого товарищества, который обожают демонстрировать люди вроде майора Ш.: ободряющее похлопывание по плечу за кружкой пива и снисходительное «Да брось ты, ерунда все это!». Не ходите на богослужения, которые регулярно совершает дивизионный священник; в конце концов никто ведь не организует специальных богослужений, допустим, для зубных врачей, а двое высокорослых причетников в военной форме — всего лишь небольшой оптический спектакль, без которого Вы легко можете обойтись; вообразите аналогичное мероприятие в гимнастическом союзе — оно выглядело бы смешно, в лучшем случае — всего лишь трогательно; но армия — это не гимнастический союз, ей вверен страшнейший из всех уделов, она владычица смерти, распорядительница миллионов людских смертей. Если же Вам нужны образцы для подражания — им несть числа, возьмите любой: например, маленького еврейского мальчика, безымянного, из галицийской деревни, которого прямо из песочницы с игрушками потащили в вагон, а потом на платформе в Биркенау вырвали из рук матери и — невинного младенца — убили на месте. Или, если Вам нужен пример иного рода, пример поступка: пусть это будет граф Шверин фон Шваненфельд, который на заседании чрезвычайного народного суда, когда на него орал Фрайслер, тихим и отчетливым голосом ответил: «Я думал об этих бесконечных убийствах». Христианин и офицер, он связал свою судьбу с людьми, которые и по происхождению, и по политическим убеждениям были полной его противоположностью,— с марксистами и профсоюзными деятелями; дух этого братского союза не сохранился, не вошел в нашу послевоенную политическую жизнь; у нас могла быть своя традиция, вот эта, но не похоже, чтобы ее удалось совместить с современной политикой,— здесь теперь задают тон супермены, примитивные тактики, доблестные мужи, начисто лишенные памяти, витальные здоровяки, не желающие «оглядываться назад» и предаваться пороку, называемому размышлением и именуемому у них не иначе как «бесплодными умствованиями», опиумом для «пресловутых» интеллигентов; со спокойной душой храните в себе способность к умствованию, освободите для нее один из участков Вашего сознания и постарайтесь понять отчаяние того маленького унтер-офицера, который не смог пережить поступь истории.

Католиков в Германии скоро будет объединять с их братьями и сестрами во Христе только одно — вера; да-да, Вы не ошиблись, я так и написал — только; ведь в мире уже нет места для религиозных противоречий, остались одни политические, и даже религиозные поступки, акты совести, обречены на ярлык поступков политических: грядут тощие годы, ибо теологи отказывают нам в том ином — в Слове, чем мы живы, а будет ли у нас завтра хлеб — это и подавно неясно. Нас принуждают жить политикой, а это весьма сомнительная пища: тут, в зависимости от тактических соображений, сегодня дадут конфеты, а завтра — мутную баланду; печь же себе хлеб и печься о Слове мы должны теперь сами. Сердечно обнимаю Вас

Ваш Генрих Белль.

Вступление и перевод с немецкого М. Рудницкого

Публицистика

В. Новобранец

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Автор воспоминаний, предлагаемых вниманию читателя, не дожил до их публикации. Василий Андреевич Новобранец умер в 1984 году.

Перед началом войны он, молодой подполковник, окончил две военные академии, возглавлял информационный отдел Разведуправления Красной Армии. Конечно же, он получал достоверную информацию о подготовке фашистской Германии к нападению на Советский Союз. По причинам, описанным в воспоминаниях, информация эта не доходила до высшего руководства. Тогда на свой страх и риск В. А. Новобранец разослал в войска сводку об истинном положении дел на границе — знаменитую сводку № 8, которая легла также на стол Сталину и Берии.

В старой папке, где хранятся донесения, предупреждающие о нападении фашистской Германии, есть резолюция Берии: «В последнее время многие работники поддаются на наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников... за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией...» Подпись: «Л. Берия, 21 июня 1941 года». И еще — из докладной записки Берии Сталину 21 июня 1941 года: «Начальник Разведуправления где еще недавно действовала банда Берзина, генерал-лейтенант Ф. И. Голиков жалуется на... своего подполковника Новобранца, который тоже врет, будто Гитлер сосредоточил 170 дивизий против нас на нашей западной границе...

Но я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 г. Гитлер на нас не нападет!..»

Едва ли стоит объяснять, почему подполковник В. А. Новобранец был смещен со своего поста.

В публикуемом отрывке из обширных мемуаров В. А. Новобранца рассказывается о его работе в Разведуправлении Красной Армии.

С юношеских лет, когда я еще ходил с пастушеским кнутом, мечтал служить в Красной Армии, и, конечно, не рядовым. А для того, чтобы стать командиром, надо было учиться и учиться. Служить предполагал в обычных войсках — пехоте, артиллерии, коннице, с развитием техники — может быть, в механизированных или в авиации. О разведке не думал. Больше того, работать в разведке я просто не желал и старался быть от нее подальше. У разведки среди офицеров была плохая репутация: там продвижения по службе не дождаться. А мы, молодые офицеры, не были лишены некоторой доли честолюбия, стремились к росту.

Доходили до нас также слухи, что в разведке люди «исчезают» — таинственно, быстро и без следа. Например, в 1937 году исчез начальник Разведотдела штаба Ленинградского военного округа полковник Гродис. Лишь недавно я узнал, что он сидел в концлагере, а годы спустя был реабилитирован. Один за другим «пропали без вести» начальники Разведуправления Ян Берзин, Урицкий, зам. начальника Разведупра Никонов и многие другие. Что ж удивительного в том, что молодые офицеры чурались разведки как черт ладана.

Это была, так сказать, субъективная причина, почему я не хотел даже думать о работе в разведке. Но были и объективные причины.

Мои представления о стратегической разведке, о ее организации и характере работы были весьма примитивны. Специального курса по этой части ни в Ака-

демии имени Фрунзе, ни в Академии Генштаба тогда не было. Познания о разведке я пополнял главным образом из приключенческой литературы типа «Маты Хари», а также из разных брошюр «о коварных методах». За время учебы в двух академиях мне запомнились только два факта из истории разведки. Один — о том, как разведка царской армии купила за крупную сумму золотом «план развертывания японской армии», оказавшийся обычным, не секретным полевым уставом. Другой — о том, как русская разведка путем шантажа заставила начальника австрийской разведки полковника Редля выдать план развертывания австрийской армии. Однако Редль был своевременно разоблачен австрийской контрразведкой, а план переделан. В результате русская армия на театре войны в 1914 году встретила уже совершенно другую группировку австрийской армии и ударила по «пустым местам».

Все же, что касалось советской разведки, было для нас тайной за семью печатями. О ней не полагалось даже говорить. Много мы слышали о «коварных методах» других разведок, но о нашей, о советской, все молчали, будто ее вообще не существовало. Только потом я узнал, что советская военная разведка уже в то время была самой лучшей и самой сильной разведкой в мире.

Мне до сих пор непонятно, почему в академиях не давали будущим работникам крупных штабов хотя бы сокращенных знаний о службе разведки. Пробелы в этой области я особо остро почувствовал в первые дни работы в Разведуправлении Генштаба. Мне удалось за сравнительно короткий срок освоить новое для меня дело, вероятно, благодаря оперативно-стратегическому кругозору, полученному в период работы в штабе ЛВО под руководством Б. М. Шапошникова.

«Сосватали» меня в разведку не совсем обычным образом.

После боев на Халхин-Голе командующий фронтовой группой командарм 1-го ранга Штерн, член Военного совета фронта Бирюков и я — по должности зам. начальника оперативного отдела, в звании майора — приехали в Москву, чтобы доложить Политбюро ВКП(б) план развертывания войск Дальневосточного фронта на 1940 год. Моя роль, конечно, была очень скромной: по мере надобности я передавал оперативные разработки командарму Штерну.

Командование Дальневосточного фронта считало, что халхин-гольская авантюра — только пробный шар, запущенный японской военщиной. В будущем следует ожидать более крупных военных действий, возможно, даже большой войны. Поэтому нам следует держать порох сухим, то есть сверх имеющихся оборонительных сил на границах создать дополнительно несколько фронтовых управлений, свыше десяти полевых армий из нескольких десятков дивизий каждая и несколько механизированных корпусов.

Утверждение этого, казалось бы, необходимого плана на Политбюро проходило в крупных и жарких схватках главным образом со Сталиным и Ворошиловым. Они были основными противниками плана Штерна. Командарм с этих совещаний приезжал очень возбужденный и по-армейски круто и крепко выражал свои чувства. Все же он в конце концов добился своего: Политбюро утвердило план, и все войска к концу 1940 года были развернуты.

Оценивая этот факт сейчас, можно сказать, что еще зимой 1939—40 года были заложены основы нашей декабрьской победы под Москвой в 1941 году. Заслуга в этом принадлежит командарму Штерну, а также бывшему начальнику Оргмоботдела фронта полковнику Ломову, ныне генерал-полковнику, непосредственно разработавшему план. Штерн же при «неизвестных обстоятельствах» исчез.

Трудно себе представить, чем бы закончилось сражение под Москвой, если бы туда не были переброшены готовые к бою дивизии с Дальнего Востока.

Здесь уместно вспомнить донесение Зорге о том, что Япония не выступит против СССР. Есть мнение, что это донесение позволило снять войска и тем самым спасти Москву. Но ведь не будь готовых к бою дивизий на Дальнем Востоке и в Сибири — и донесение Зорге не имело бы решающего значения.

Я не отрицаю значения подвига Зорге. Его донесение придало нашему командованию больше спокойствия и уверенности — в то время, учитывая обстановку всеобщей нервозности, это имело колоссальное значение.

В Москве я встретился с однокашником по Академии Генштаба полковником Пугачевым Григорием Петровичем, рассказал ему о событиях на Халхин-Голе и о цели нашего приезда. На мой вопрос, где он работает, Пугачев ответил невнятно. Прощаясь, пообещал еще встретиться со мной.

Через несколько дней в Генштабе ко мне подошел незнакомый офицер:

— Вы майор Новобранец?

— Да, я.

— С вами хочет побеседовать начальник Разведывательного управления Генштаба генерал-лейтенант Проскуров. Зайдите к нему вот по этому адресу.

Признаюсь, неприятный холодок сжал мое сердце. Чего ради моей персоной заинтересовалась разведка? Больше всего я опасался за служебные перспективы. Командарм Штерн хорошо ко мне относился, ценил меня и уже предназначил на должность начальника штаба армии. А разведка в те времена имела право брать к себе на службу из армии любого офицера и генерала. Очень не хотелось идти к Проскурову. «Но,— подумал я,— в личной беседе докажу ему свою непригодность для работы в разведке».

Поехал по указанному адресу. Дежурный офицер немедленно выписал пропуск, и так же немедленно меня принял начальник Разведупра Генштаба генерал-лейтенант авиации Проскуров.

В небольшом хорошо обставленном кабинете я увидел молодого человека среднего роста, плечистого, со светлыми глазами и волосами. Встретил он меня тепло и, улыбаясь, стал расспрашивать о службе. Не успевал я отвечать на один вопрос, как следовал другой, третий. На некоторые вопросы он сам же и отвечал. Было ясно, что он хорошо знает мою биографию. Затем Проскуров прямо спросил:

— А не хотите ли, майор, пойти на службу в разведку?

— Нет, товарищ генерал, не желаю!

— А почему? Я не собираюсь вас посылать за границу. Будете работать здесь, у меня. По характеру работа будет чисто штабная, а по масштабам — большая, интересная.

— Нет, товарищ генерал, прошу оставить меня в штабе фронтовой группы. Работу там я уже знаю, люди все известны, в Чите мне уже и квартиру выделили. Уходить с этой работы очень не хочется. А вашей работы я не знаю, специальной подготовки не имею и вряд ли буду полноценным работником.

— Ничего, новую работу вы освоите,— успокаивал меня Проскуров,— у вас хороший оперативно-стратегический кругозор, большой опыт оперативной работы в крупных штабах. Подумайте и завтра дайте ответ.

Вышел я от Проскурова в скверном настроении. Конечно, ни завтра, ни послезавтра я к нему не пошел и никакого ответа не дал. А когда дня через два рассказал Штерну о встрече с Проскуровым, он с явной досадой заметил:

— Эх, напрасно вы туда ходили...

Вскоре мы выехали в Читу, и я продолжил работать в штабе фронтовой группы. В феврале или начале марта 1940 года Штерн показал мне только что полученную шифровку: «Откомандировать майора Новобранца в распоряжение Управления кадров. Щаденко».

Я взмолился:

— Товарищ командарм, помогите! Не хочу служить в разведке!

— Нет, майор, теперь уже ничего нельзя сделать.

Со слов Штерна я знал, что он был в хороших отношениях со Сталиным. Переписывался с ним, когда был в Испании. Вернувшись оттуда, был у него на даче. И я сказал:

— Но вы можете помочь, вас же Сталин знает.

— Эх, майор, он знает, да плохо понимает. Меня самого вот-вот отзовут. Нет, ничем вам помочь не могу. Придется ехать.

В апреле 1940 года я приехал в Москву. Начальник Разведупра генерал Проскуров дружелюбно принял меня:

— Ну и долго же ты думал, майор! Вижу — огорчен. Но ничего, не отчаивайся. Скоро сам увидишь, что работа у нас большая и очень интересная. Это работа оперативно-стратегическая. Вам предстоит разгадывать планы наших вероятных противников.

Назначили меня заместителем начальника информационного отдела по Востоку. Начальником отдела был Пугачев.

Так я попал в разведку. Не буду говорить о Разведывательном управлении в целом. В этом нет нужды и, кроме того, об организации разведки в то время, о ее методах и людях не все можно сказать, хотя и прошло столько лет. Да это и не имеет прямого отношения к моей работе в информационном отделе. Буду говорить только о том, что имеет отношение ко мне и о чем можно сказать.

Характер работы в отделе был такой. Поступающая из-за рубежа информация накапливалась на определенных направлениях. Ее нужно было критически оценить, сопоставить с имеющимися данными, отсеять недостоверные факты и вскрыть возможную дезинформацию («дезу»). Накопленные данные периодически группировались по определенным вопросам и освещались в различных информационных документах, разведсводках, справочниках, описаниях и пр.

Мне пришлось начинать с азов. До позднего вечера оставался я в управлении — изучал технику работы, присматривался к людям. Моими товарищами по работе были: заместитель начальника информотдела по Западу полковник (ныне генерал-лейтенант) Онянов, мой подчиненный майор (ныне генерал) Скрынников, майор Лукманов, капитан (ныне полковник) Горценштейн, полковник Дьяков — фамилии других я уже запамятовал.

Все это были хорошо подготовленные и культурные офицеры, работать с ними было легко. Они знали свое дело, но, как это часто случается, установились и некие шаблоны и традиции, мешавшие гибкости информационной работы. Будучи свежим человеком, я довольно быстро увидел некоторые недостатки. Все сведения были распылены. Не было сводных документов, отвечающих, например, на такие вопросы: сколько дивизий может выставить против нас та или иная страна, как они могут быть вооружены, в какой группировке и на каких оперативных направлениях развернуты? А это было очень важно для оперативных работников Генштаба. Я знал это по собственному опыту оперативных разработок в штабе Ленинградского военного округа. Чтобы определить, сколько войск может выставить противник, нужно сделать фундаментальную разработку. На основании точных данных рассчитать военно-экономический потенциал страны. На основании численности населения определить людские военные ресурсы. Проанализировав военно-производственную мощность, определить возможное количество производимого вооружения. В итоге определяется возможное количество развернутых дивизий. Исходя из характеристики театра войны и его подготовки определяются основные операционные направления и возможная группировка войск на каждом направлении.

И я засел за разработку таких обобщенных документов по каждой стране. Они получили название «Мобилизационные записки». Мы практически точно определяли масштабы развертывания. Так, по Японии мы определили возможность развертывания в 100 дивизий. Эти данные подтвердились во время войны. По Германии масштабы развертывания на случай блицкрига определялись в 220 дивизий, из них 20 танковых. Война подтвердила нашу разработку — Германия выставила против нас 214 дивизий, из них 21 танковую. Свой метод расчета военно-экономического потенциала страны я видел уже после войны в Академии имени Фрунзе в качестве учебного пособия, но автор, увы, был другой. Ну что ж, я не предъявил никаких претензий, лишь бы шло на пользу.

Особо надо остановиться на одной очень важной детали в работе разведчика-информатора — он не должен попасть в сети дезинформации противника. Между разведками идет непрерывная война и в мирное, и в военное время. Все разведки стараются обмануть одна другую и засылают по самым различным каналам дезинформационный материал. «Деза» изготовляется очень тонко и коварно. Участвуют в этом все видные государственные деятели, вплоть до глав государств. В дезинформационный материал обязательно вводят правдивые данные, но, конечно, только те, которые уже известны противной стороне. Это и подкупает неопытного разведчика. Установив достоверность какой-то части данных, он считает достоверным и все остальное и поэтому делает ошибочные выводы. Классическим примером может служить наш горький опыт, когда Советскому правительству перед войной германская разведка подсунула «дезу». Но об этом ниже, а сейчас расскажу, как чуть было не попал в сети дезинформации японской разведки. Это случилось вскоре после того, как я начал работать в Разведупре.

Однажды, когда я с головой ушел в составление «Мобзаписок», один офицер принес мне кипу документов — примерно семь томов по 300—400 машинописных страниц — и радостно сообщил:

— Товарищ майор, «соседи» достали мобилизационный план Квантунской армии. Вот он!

Мое сердце радостно затрепетало. «Молодцы «соседи»!»

«Соседями» мы называли зарубежную агентуру НКВД, которая часто направляла нам свои материалы. По традиции эти материалы безоговорочно считались д о с т о в е р н ы м и. И офицер, доставивший мне документы, был в восторге.

Но я тогда еще не знал здешних традиций. Когда радость улеглась, я бегло просмотрел эту гору документов и вдруг вспомнил давнюю историю о том, как разведка царской армии купила однажды за золото японский «мобилизационный план», оказавшийся обыкновенным несекретным полевым уставом.

Начал я сличать присланные материалы с теми данными, которыми мы располагали по японской армии. Оказалось, что ничего нового и важного в них нет. Указаны давно известные номера пехотных дивизий — и ничего больше. Зато очень много философских рассуждений о возможных вариантах отмобилизации и развертывания. Причем направления возможных главных ударов указываются неправдоподобные — на не подготовленном тогда театре войны, где нет дорог, складов, средств связи. Такого рода рассуждения мог изложить в документах любой грамотный штабист, глядя на карту будущих военных действий. Поломав несколько дней голову над материалами «соседей», я понял, что это обыкновенная «деза», к тому же не очень умно составленная.

Отнес весь ворох документов полковнику Пугачеву и сказал:

— Возьмите себе, это обыкновенная «деза».

Он подивился моей дерзости — ведь я нарушил «традицию».

— Ты будь осторожен в оценке! Это документы «соседей». Мы привыкли считать их достоверными.

— Чьи это документы,— отвечаю,— мне не важно. Для нас важно то, что они ничего нового не дают. Это «липа», сплошная вода...— И показал свои выборки и таблицы.

— Нет, этого не может быть! Ты, наверное, ошибся. Нужно еще раз проверить и дать положительный отзыв,— настаивал Пугачев.

— Мы все тщательно изучили, угробили на это две недели. Больше заниматься этой «дезой» не буду. У меня есть дела поважнее.

— Черт возьми! — недоумевал Пугачев.— Что же делать? Ведь нужно дать ответ «соседям». Там уверены, что документ важный. За него заплачено много золота. Ты составь какой-нибудь туманный, обтекаемый, «дипломатический» отзыв.

Поскольку мы были в дружеских отношениях, я ответил:

— Пошел ты к чертям! Бери себе эту «дезу» и составляй на нее сам хоть хвалебную оду!

Полковник Пугачев (ныне умерший) был знающим офицером с хорошим оперативно-стратегическим кругозором. Но по специальности он — авиатор, мобилизационно-оперативных разработок по общевойсковым частям и соединениям никогда не делал и поэтому не знал, как они выглядят и какие сведения содер-

жат. Естественно, он не мог правильно оценить документ «соседей». Однако, приняв мнение своих сотрудников, мужественно заявил «соседям», что они подсунули нам «дезу». Разразился скандал. Начальником отдела назначили генерал-майора Дубинина. Пугачев потом с обидой говорил, что это из-за меня его сняли, но дружба наша не нарушилась.

Говорю об этом для того, чтобы показать, как тяжело и даже опасно было бороться с происками вражеской разведки и с ее дезинформацией. Пугачев в данном случае отделался «легким испугом». А многие разведчики, например, Берзин и Проскуров, поплатились жизнью.

Вскоре в Разведупре произошла «смена кабинета». Генерал-лейтенант Проскуров был снят, а на его место назначен генерал-лейтенант Голиков.

Проскуров, в прошлом летчик-истребитель, служил в авиаполку, начальником штаба которого был Пугачев. В полку они дружили, продолжали дружить и в Разведупре. После войны в Испании старший лейтенант Проскуров стал сразу Героем Советского Союза и генерал-лейтенантом и был назначен начальником Разведупра. А разве мог молодой летчик, хотя и отличившийся в небе Испании, со средним, по существу, авиационно-техническим образованием возглавлять Разведывательное управление Генштаба?! Человек он был скромный, общительный, честный, принципиальный, смелый и прямолинейный в суждениях. Мы его очень любили и помогали ему в работе как могли. Возможно, со временем, обладая хорошими личными способностями, он и освоил бы новое для него дело, но случилась беда.

На одном из заседаний Политбюро и Военного совета обсуждались итоги советско-финской войны 1939—1940 годов. Неподготовленность нашей армии, огромные потери, двухмесячное позорное топтание перед «линией Маннергейма» и многое другое стали известны всему народу. Об этом в полный голос заговорили за рубежом.

Сталину и его приближенным надо было «спасать свое лицо». Этому и было посвящено заседание Политбюро и Военного совета. После бурных прений решили, что причина всех наших бед в советско-финской войне — плохая работа разведки. Это мнение всяческими способами внедрялось и в армии. Сваливать все на разведку не очень оригинальный прием. Никогда еще ни одно правительство, ни один министр обороны или командующий не признавали за собой вины за поражение. Ищут виновных среди «стрелочников», в первую очередь валят на разведку, потом на всякие климатические и географические причины, но отнюдь не на бездарность и невежество правительства и его полководцев. Сталин и в этом не был оригинален. Он тоже решил отыграться на разведке и лично на Проскурове.

Проскуров не стерпел возведенной на разведку напраслины. Он знал, что все необходимые данные о «линии Маннергейма» в войсках имелись, что причина неудач в другом, и смело вступил в пререкания со Сталиным. Назвал все действительные причины неудач. За это поплатился жизнью.

Недавно я прочел в воспоминаниях маршала Рокоссовского о том, как ему пришлось отстаивать намеченную им операцию перед Сталиным. Только очень честный и мужественный человек решался в тех условиях отстаивать свое мнение. Рокоссовский был только что выпущен из концлагеря. Он знал, к чему может привести его несогласие с вождем. И все же он не отступил. Белорусская операция была выиграна.

А теперь позволю себе как свидетелю и участнику многих событий восстановить историческую правду о разведке и о ее мнимых грехах в советско-финской войне.

В то время, когда я работал в оперативном отделе штаба Ленинградского военного округа, мне довелось участвовать в разработке оперативного плана на случай войны. Офицеры оперативных отделов приграничных округов и Генштаба знают, что это за документ и как серьезно он разрабатывался. Хорошо помню, что все мы, работники оперативного отдела, пользовались так называемым «черным альбомом», в котором содержались все исчерпывающие данные по финским укреплениям на Карельском перешейке («линия Маннергейма»). В альбоме были фотоснимки и характеристики каждого ДОТа: толщина стенок, наката, вооружение и т. д.

Позднее, уже работая в Разведупре, я опять-таки видел этот «черный альбом». Он был и в штабах действующих войск на Карельском перешейке. Как же смели руководители правительства утверждать, что таких данных не было? Виновно в неудачных начальных действиях войск само правительство, и в первую очередь нарком обороны Ворошилов и лично Сталин, а не разведка.

А при каких условиях вспыхнула эта никому не нужная и очень непопулярная в народе война?

Первое и самое главное — она не была объективной необходимостью. Это был личный каприз Сталина, вызванный неясными пока причинами.

Второе, и тоже очень важное обстоятельство,— война была объявлена при участии Ворошилова так поспешно, что даже начальник Генштаба Б. М. Шапошников об этом не знал. Он в то время был в отпуске. Конечно, Шапошников немедленно прервал отпуск и прибыл в Москву. Здесь он узнал все подробности. Потрясенный, схватился за голову, бегал по кабинету и с болью в голосе восклицал:

— Боже! Что наделали! Ай-яй-яй! Осрамились на весь мир! Почему же меня не предупредили?!

Да, Борису Михайловичу Шапошникову, военному ученому, написавшему научное исследование о службе Генштаба — «Мозг армии»,— было чему ужасаться. Высокопоставленные невежды начали войну, даже не предупредив своего начальника Генштаба!

Красная Армия вела зимнюю войну в летнем обмундировании. «Гениальные» полководцы Сталин и Ворошилов обрекли ее с первых дней войны на поражение. Я уже не говорю о том, что боеспособность нашей армии, как показал недавний опыт Халхин-Гола, была очень низкой.

Обо всем этом и напомнил Политбюро и Военному совету генерал Проскуров. Вернувшись с заседания, он рассказал полковнику Пугачеву, своему другу, как оно проходило, рассказал и о том, что ничего хорошего для себя не ждет. Когда на следующий день я пришел в Разведуправление и спросил, где Проскуров, Пугачев передал мне его рассказ...

Итогом заседания Политбюро и Военного совета было то, что маршала Ворошилова назначили председателем Комитета обороны, а маршала Тимошенко — наркомом обороны. Теперь Ворошилову стали подчиняться не только нарком обороны, но и нарком Военно-Морского Флота и все наркомы оборонной промышленности. О результатах «оборонной» деятельности Ворошилова можно судить по тому, в каком состоянии наша армия встретила врага на границе в 1941 году...

Новый начальник Разведупра генерал Голиков был за два года *четвертым*. Уже одна такая частая смена руководителей разведки абсолютно недопустима и вредна для государства. Грамотные в военном отношении люди знают, например, что для подготовки нового командира дивизии нужно не менее шести — восьми лет. А подготовка нового начальника разведки еще более сложна. Частые смены даже рядовых работников разведки не могут не нанести ущерб делу. Характер службы в центральных разведывательных органах требует скрупулезного накапливания разведданных, их систематизации и запоминания в логической последовательности. Поэтому умный государственный деятель любовно выращивает кадры разведчиков, создает им все условия для плодотворной и длительной работы. Часто меняя начальников Разведуправления, Сталин парализовал работу разведки. Разгромив собственную разведку, Сталин подрубил сук, на котором сам сидел, и стал жертвой дезинформации немецкой разведки.

Вновь назначенный начальник Разведупра генерал-лейтенант Голиков прибыл к нам из Львова, где он командовал 6-й армией. Как командовал — не знаю, но начальником Разведупра он был плохим. В Разведупре это был единственный человек, который попал в сети дезинформации немецкой разведки и до самого начала войны верил, что войны с Германией не будет.

Близко соприкасаясь по работе, почти ежедневно бывая на докладе, я изучал нового начальника Разведупра. Среднего роста круглолицый блондин, вернее, лысый блондин со светлыми глазами. На лице всегда дежурная улыбка, и не знаешь, чем она вызвана — то ли ты хорошо доложил, то ли плохо. Я не заметил, чтобы он определенно высказывал свое мнение. Давая указания, говорил: «Сделайте так или так...» И я не знал, как же все-таки надо. Если я поступал по своей инициативе или по его указанию, но неудачно, он всегда подчеркивал: «Я вам таких указаний не давал»,— или: «Вы меня неправильно поняли». Он просто не знал, какие дать указания. Мы его не уважали. Голиков часто ходил на доклад к Сталину, после чего вызывал меня и ориентировал в том, что думает «хозяин»; очень боялся, чтобы наша информация не разошлась с мнением Сталина.

Назначенный зимой 1940 года вместо Пугачева начальником информотдела генерал-майор Дубинин по ряду причин, среди которых не последнее место занимали военные приготовления на границе отнюдь не в духе мирного договора, заболел и попал в психиатрическую лечебницу. Голиков назначил врио начальника информотдела меня. К тому времени я закончил «Мобилизационные записки» по восточным странам. Все их Голиков утвердил и отправил в Генштаб.

Новая работа в таких огромных масштабах, как информотдел, меня пугала. Заместителем по Западу был полковник Онянов, и я пытался вместо себя выдвинуть его, тем более что он был выше меня по званию. Однако Голикову почему-то захотелось на должность начальника информотдела посадить именно меня, и он настоял на своем.

Первым делом я стал изучать материал по Западу. Немецкая армия совершала свой триумфальный марш по странам Европы. Главным событием в то время стала недавно закончившаяся франко-германская война. Нам было очень важно изучить ее опыт. Всех удивляли легкие победы фашистов. Все разведки, естественно, и наша, стремились разгадать «секрет» немецких успехов, выявить новое в военном искусстве. Были даны задания всей нашей агентуре. Вскоре поступил на редкость ценный документ из Франции — «Официальный отчет французского Генерального штаба о франко-германской войне 1939—40 гг.». Отчет этот лично вручил нашему военному атташе начальник Генштаба французской армии генерал Гамелен. При этом он сказал: «Возьмите, изучайте и смотрите, чтобы и вас не постигла такая же судьба».

Ознакомившись с отчетом, я пришел в восторг. В нем была показана вся немецкая армия до каждой дивизии и части (больше сотни дивизий) — их состав, вооружение, нумерация и группировка. На схеме был изображен весь ход боевых действий с первого до последнего дня войны.

Естественно, мы накинулись на этот документ, как голодные на пищу. Все указанные дивизии поставили на учет, это давало возможность легко следить за их переброской к нашим границам. Ход боевых действий мы нанесли на карту. Нанесли также группировки сил и средств на каждой стороне. Начали изучать соотношение сил в ходе боя по направлениям и искали, что же нового в оперативном искусстве дали немцы, где и в чем секрет их молниеносной победы. Почему такая крупная страна, как Франция, была разгромлена в течение одного месяца?

Над изучением опыта этой войны работала целая группа офицеров, и вскоре был готов доклад начальнику Генерального штаба генералу Жукову «О франко-немецкой войне 1939—40 гг.».

Что же нового и поучительного мы нашли у немцев?

В оперативном искусстве — ничего нового. Наше оперативное искусство стояло тогда выше немецкого. Метод ведения армейских и фронтовых операций с концентрическими ударами и последующим окружением у нас изучали еще в 1937 году и даже раньше. Средством развития тактического прорыва в оперативный у нас была конно-механизированная группа (КМГ), а у них — танковая армия (4—5 танковых дивизий и 3—4 мотодивизий).

Новым было появление танковой армии — большого оперативно-стратегического танкового объединения. У нас же высшей единицей был механизированный корпус (две танковые бригады и одна стрелково-пулеметная), но накануне войны эти корпуса расформировали. Это была крупная ошибка. Именно немецкие танковые армии пронзили Францию на всю ее глубину от границы до границы. Им не было оказано никакого сопротивления.

Во французской армии не существовало оперативных инженерно-саперных заграждений, крупных противотанковых артиллерийских и больших танковых соединений. Новым в тактике немцев были строго согласованные действия авиации, танков и артиллерии с пехотой. Авиация, танки и артиллерия сопровождали наступление пехоты и обеспечивали успех. Вот как описывал в отчете один французский офицер характер боя: «Впереди против нас двигаются с грохотом тысячи танков, а сверху над нами ревут и воют тысячи самолетов и обрушивают на наши головы тысячи бомб, которые, разрываясь, сотрясают землю. Войска прижались к земле и лежат, как парализованные, не могут даже пошевелиться и поднять голову, не говоря уже о противотанковых пушках, которые бездействовали».

Забегая несколько вперед, скажу, что точно так же было и у нас в первые дни войны. Мы на своих спинах испытали эту новую немецкую тактику. Разница только в том, что мы не все время лежали, прижавшись к земле.

Направив доклад начальнику Генштаба, офицеры разведки полагали, что возглавляющие правительство и наркомат обороны умные люди изучат опыт франко-немецкой войны и примут все меры, чтобы с нашей армией не случилось того, что случилось с французской. Мы на многое надеялись. Надеялись, что будут созданы сильные танковые армии, которые, схлестнувшись с немецкими, не позволят им безнаказанно пройти по всей нашей стране. Что будут созданы крупные артиллерийские противотанковые соединения, а также теоретически разработанные Д. М. Карбышевым еще в 1937 году оперативные инженерно-саперные заграждения. Что будут созданы инженерно-саперные бригады и корпуса. Что против «висящих» над головой самолетов будут созданы дивизии зенитной артиллерии.

Все свои предложения и надежды мы изложили в докладе. Ответ получили такой, что о нем стыдно писать. На нашем докладе стояла резолюция Жукова: «Мне это не нужно. Сообщите, сколько израсходовано заправок горючего на одну колесную машину». Офицеры информотдела пожимали плечами и молча смотрели друг на друга и на меня. Я тоже молчал.

Теперь расскажу о событиях на наших западных границах. Нас интересовало, куда будут перебрасывать немецкую армию из Франции. Если Гитлер решит нанести удар по Англии, форсировать Ламанш, то немецкая армия не уйдет из Франции, а будет группироваться во Фландрии. Если же начнется переброска войск в Восточную Германию и Польшу, то нам следует быть начеку.

Осенью 1940 года наша разведка зафиксировала тщательно скрытые перевозки немецких войск в Чехословакию, Польшу и Восточную Пруссию. Военнослужащие были в гражданской одежде, а военные грузы маскировались под сельскохозяйственные. Уже одно это говорило о многом. Однако высказывать какие-либо подозрения и опасения было рискованно, так как начал действовать заключенный в августе 1939 года с Германией пакт о ненападении и договор о дружбе. Для его подписания Риббентроп прилетел в Москву, и ему под ноги постелили ковровую дорожку от самолета до аэровокзала. Что и как говорили дипломаты, нам неизвестно, но совершенно очевидно, что Гитлеру удалось убедить Сталина и Молотова в своих «честных» намерениях по отношению к Советскому Союзу. Штатные докладчики и все газетные обозреватели на все лады расхваливали пакт и гениальную мудрость Сталина.

Как расценивало наше правительство заключение пакта о ненападении и договора о дружбе с Германией, видно из доклада Молотова на заседании Верховного Совета СССР. Это очень любопытный документ, и я частично приведу его по журналу «Большевик» № 20 за октябрь 1939 года (цитирую по памяти).

«Доклад В. М. Молотова, председателя Совнаркома и Наркома иностранных дел, на заседании Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г.

...Во-первых, надо указать на изменения, происшедшие в отношениях между Советским Союзом и Германией. Со времени заключения 23 августа советско-германского договора о ненападении был положен конец ненормальным отношениям, существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом и Германией. На смену вражды, всячески подогревавшейся со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение и установление дружественных отношений между СССР и Германией. Дальнейшее улучшение этих новых хороших отношений нашло свое выражение в германо-советском договоре о дружбе и границе между СССР и Германией, подписанном 28 сентября в Москве. ...За последние несколько месяцев такие понятия, как «агрессор», «агрессия», получили новое конкретное содержание, приобрели новый смысл. Нетрудно догадаться, что теперь мы не можем пользоваться этими же понятиями в том же смысле, как, скажем, 3—4 месяца назад. Теперь, если говорить о великих державах Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются...

...Теперь наши отношения с Германским государством построены на базе дружественных отношений, на готовности поддержать стремление Германии к миру, вместе с тем — на желании всемерно содействовать развитию советско-германских отношений ко взаимной выгоде обоих государств. Последние хозяйственные переговоры Германской делегации в Москве и происходящие в данный момент переговоры советской хозяйственной делегации в Германии подготовляют широкую базу для развития товарооборота между Советским Союзом и Германией».

За плотной завесой дружеских славословий Молотова нарастали тревожные события на наших западных границах. Немецкие войска, сосредоточенные ранее во Франции, начали постепенно перебрасываться в Польшу и подтягиваться к нашим границам. Вот что об этом говорил после войны немецкий генерал фон Бутлер: уже в июле 1940 года на Восток был переброшен штаб группы армий фельдмаршала фон Бока, а также штабы 4-й, 12-й и 18-й армий. Тогда же сюда было переведено около 30 немецких дивизий. Так были сделаны первые шаги к стратегическому разворачиванию сил, которое заняло довольно продолжительный период времени. Эти переброски были точно установлены нашей разведкой.

Стремясь дезинформировать Советское правительство, Гитлер заявил, что немецкая армия перебрасывается в Восточную Германию и Польшу с целью улучшения условий расквартирования и отдыха после войны во Франции. Однако сосредоточие войск в непосредственной близости от наших границ в густонаселенных местах только ухудшало условия расквартирования.

Наша агентура все время докладывала о нарастании численности войск у наших границ. Открытых перевозок как будто нет, едут только «туристы», а количество дивизий растет и растет. Они вылезают из земли, как грибы. Мы заметили также, что много «туристов» из Германии едет в Финляндию. А вот обратно не возвращаются. Направили под видом железнодорожного кондуктора нашего офицера-разведчика. После нескольких рейсов он доложил, что это не туристы, а немецкие солдаты и офицеры, и они сосредоточиваются в северной части Финляндии. Было установлено, что там уже около 35 тысяч человек.

Это было примерно в декабре 1940 года. Мы фиксировали все данные, брали на учет каждую дивизию. Делали это очень тщательно. Регистрировали номер дивизии, ее организацию, вооруженный состав; знали, кто ею командует. Знали старших офицеров дивизий, их характеры, вкусы. Знали, кто любит вино, кто карты, кто женщин, а кто и весь «букет» офицерских развлечений. Так что наши данные были вполне достоверны. Все накопленные сведения мы включали в разведывательные сводки.

Система информации в нашем отделе была такая. Регулярно раз в месяц выпускали разведсводки, которые составлял и подписывал начальник информотдела, а утверждал начальник Разведупра. Разведсводки рассылали правительству, всем членам Политбюро, Генштабу, центральным военным учреждениям, штабам военных округов и войскам — до штаба корпуса включительно.

Кроме сводок, мы выпускали различные справочники, описания, наставления. По моей инициативе начали составлять доклады о военно-экономическом потенциале страны и о возможном масштабе развертывания армий. Эти доклады, как я уже упоминал, назывались «Мобилизационными записками».

Был у нас еще один вид информации под грифом «Совершенно секретно» — «спецсообщения». В них включали особо важные данные и за подписью начальника Разведупра направляли по особому списку, установленному самим Сталиным. В списке этом были Сталин, Молотов, Маленков, Берия, Ворошилов, Тимошенко, Мерецков и Жуков.

Кроме документальной, существовал еще один вид информации — «живая связь». Офицер разведки оперативного управления не менее одного раза в неделю посещал информационный отдел Разведупра, получал все поступившие новые данные, наносил их на карту и докладывал начальнику Генерального штаба, а затем делал сообщение и всем офицерам оперативного управления. Офицером разведки от оперативного управления был подполковник Гунеев. В разведуправление приходили и из других управлений. Например, от бронетанкового управления у нас регулярно бывал подполковник Шклярук. Помню его последнее посещение. Нанес я на свою карту 70 немецких дивизий (это было в конце 1940-го либо в начале 1941-го), он воскликнул: «Война!» «Да,— говорю,— война!» «Я побегу сейчас к Федоренко»,— и выскочил из кабинета. Позднее мне звонил Федоренко, спрашивал, верно ли то, что принес Шклярук. Я ответил, что все верно. Об этом эпизоде мы со Шкляруком вспоминали уже после войны, когда оба были в отставке.

По телефону часто наводили справки начальник Академии Генштаба комдив Мордвинов и начальник Оперативного управления Генштаба генерал Ватутин.

В результате анализа всех данных разведки мне стало ясно, что Германия готовится напасть на СССР. Я стал спешно готовить «мобзаписку» по Германии. Данных для этого было вполне достаточно.

О положении дел на наших границах я регулярно докладывал генералу Голикову. Он внимательно меня выслушивал, но первое время своего мнения не высказывал. Я объяснял это тем, что он в разведке человек новый, не успел еще во всем разобраться. Правда, однажды он проявил особый интерес к группировке немецких войск в Румынии — мы называли ее тогда «группой Бласковица». Наличие этой группировки в Румынии также красноречиво свидетельствовало о намерениях Германии.

Знаменательные сообщения приходили из Болгарии. В одном из них рассказывалось, как на государственном совете царь Борис с отчаянием и страхом кричал: «Боже мой, боже мой! Что же нам делать? С Запада Гитлер, с Востока Сталин! Куда же нам податься? Пожалуй, лучше все же к Гитлеру, чем к большевикам».

И вскоре наша разведка зафиксировала прибытие в Болгарию немецких «инструкторов» и «туристов».

Запомнилось интересное письмо из-за рубежа. Оно определило наши отношения с Голиковым — он передал мне его на очередном докладе и приказал доложить свое мнение.

Я внимательно изучил письмо. Оно было написано мелким убористым почерком на 6—8 листах ученической тетради.

С первых же строк мне стало ясно, что писал его весьма грамотный в политическом и военном отношении человек, хорошо разбирающийся в сложных международных событиях. Он писал о неизбежности нападения Германии на СССР. Утверждал, что наше правительство совершило крупную ошибку, прервав переговоры с англо-французскими представителями и заключив пакт о ненападении с Германией. По его мнению, этот пакт со стороны Германии — лживый дипломатический шаг: не успели еще высохнуть чернила на подписи Риббентропа, как

Гитлер распорядился перебросить войска из Франции к границам СССР. Советовал Советскому правительству готовить свои вооруженные силы к большой войне, чтобы не получилось так, как во Франции. Писал, что промедление тут смертельно опасно не только для Советского Союза, но и для всех порабощенных народов Европы. Предупреждал, что фашистская чума грозит всем народам мира и что им не на кого больше надеяться, как на СССР. Подпись — «Ваш друг».

На следующий день Голиков спросил меня, что я думаю о письме и о человеке, пославшем его. Я ответил, что полностью разделяю его мнение, что все его соображения подтверждаются нашими данными, и посоветовал отправить письмо правительству в «спецсообщении».

Голиков посмотрел на меня с явным недовольством.

— Да вы что? Вы понимаете, что говорите? Ведь он же хочет столкнуть нас лбами с Германией! Скорей всего немцы будут наносить удар по Англии, форсировать Ламанш. Если поступить так, как советует этот «друг», мы своими военными приготовлениями можем спровоцировать немцев против нас. Так думает и «хозяин».

Поняв, что письмо уже побывало у Сталина и Голиков выражает его точку зрения, я ничего не сказал. Меня все больше мучил душевный разлад. Фактические данные противоречили умонастроениям моего непосредственного начальства и правительства. Я был на стороне фактов, но пока не мог найти формы защиты своей позиции.

Закончив «мобзаписку» по Германии, понес ее Голикову. В «записке» мы определяли масштабы развертывания немецкой армии в двух вариантах: для молниеносной войны (блицкрига) и для длительной. Для молниеносной войны мы определяли количество дивизий около 220, для длительной — 230. И приложили карту-схему, на которой были показаны существующие группировки немецких войск на наших границах и возможные варианты направления их действий.

Меня удивляет заявление Жукова, что «внезапный переход а наступление в таких масштабах, притом сразу всеми имеющимися и заранее развернутыми силами, т. е. характер самого удара во всем объеме нами не был предусмотрен» («Воспоминания и размышления».) А ведь в «Мобилизационных записках по Германии» Разведупра только об этом и толковалось. Что Германия может применить молниеносную войну, суть которой в том, чтобы сокрушить противника одним первым ударом, для чего и применяются все силы. И мы указали, что для этого немцы могут ввести 220 дивизий. Как же начальник Генерального штаба об этом не знал?! Это могло быть только в том случае, если Голиков нашу записку в Генштаб не послал. Тогда какова же роль Голикова?! И Жуков прав, называя его «дезинформатором»!

После этого небольшого отступления возвращаюсь к своему повествованию. Начальник Разведупра долго, с видимым интересом рассматривал схему. Наши мнения во многом разошлись. Он считал, что на первом этапе войны главный удар будет нанесен по Украине в направлении Киева, а на схеме главный удар был показан, исходя из группировки,— на Москву.

Отложив «записку» и схему, Голиков сказал:

— Ваши соображения верны, но это только предположения! Реально втих группировок нет.

— Как нет, товарищ генерал?! — воскликнул я.— Эти группировки не мой вымысел, они вполне реальны. Каждая дивизия нами точно установлена — не только ее дислокация, состав, организация, но даже командир. Как можно сомневаться в таких точных сведениях?!

Генерал положил мою «мобзаписку» в сейф и сухо сказал:

— Можете идти, вы свободны.

Много позже, уже после войны, мне стало известно, что эта «мобзаписка» пролежала у него без движения до самого начала войны, хотя другие «мобзаписки» быстро утверждались и немедленно отсылались в Генштаб.

После этого между мною, вернее, между информотделом и генералом Голиковым установились весьма странные отношения. На каждом докладе генерал «срезал» у меня по нескольку дивизий, снимая их с учета, как пешки с шахматной доски. Никакие возражения на него не действовали. Мне было неприятно ходить к нему на доклад, и я посылал вместо себя начальника немецкого отделения полковника Гусева. Они старые сослуживцы, и я полагал, что Гусеву удастся убедить Голикова в реальности немецких дивизий, в реальности непрерывно нарастающей угрозы. Расхождений в оценке положения у меня с Гусевым не было.

Однако и Гусеву не повезло. У него Голиков «срезáл» еще больше дивизий, чем у меня. Я не выдержал, пошел к Голикову и заявил:

— Товарищ генерал, я не согласен с вашей практикой «срезать» количество дивизий, которые мы указываем. Уже подошло время очередной сводки по Германии, а я не могу ее выпустить с искаженными данными.

Голиков молча извлек из сейфа лист александрийской бумаги, развернул на столе и сказал:

— Вот действительное положение на наших границах. Здесь показано гораздо меньше дивизий, чем у вас.

Я посмотрел на схему. На ней синим карандашом были показаны немецкие дивизии вдоль наших границ.

— Что это за документ? Откуда?

— Его дал нам югославский атташе полковник Путник. Эти же данные подтвердил и наш агент из немецкого посольства в Москве. Этим данным верит «хозяин»,— пояснил Голиков. И уже тоном приказа сказал: — Так что не будем спорить, выпускайте сводку по этим данным.

Я ответил, что без проверки по этим данным выпускать сводку не могу, и попросил схему в отдел для анализа.

При изучении схемы Путника прежде всего бросалось в глаза, что количество дивизий значительно уменьшено, причем в их расположении вдоль нашей границы не было никакой идеи. Нумерация дивизий совпадала с теми данными, которые уже имелись в нашей старой сводке. Нам всем стало ясно, что это обыкновенная немецкая «деза». Стало ясно и другое: наши сводки попадают в немецкую разведку. Мы подозревали, что и наш агент из немецкого посольства тоже дезинформатор. Немецкое посольство в Москве широко и умело развернуло дезинформационную работу и ловко направляло свою «продукцию» в каналы нашей разведки и в правительство. Причем характерно, что дезинформационный материал попадал к нам не из наших источников, а «сверху». Наметились и каналы проникновения дезинформации. Сначала она попадала к «соседям», в агентурную сеть НКВД или в контрразведку. Потом, конечно, с помощью Берии дезинформация докладывалась Сталину. И уже от Сталина шла в Разведуправление Генштаба.

Надо отдать должное немецкой разведке: своей дезинформацией она сумела ловко обмануть наше правительство, скрыть от него военные приготовления против нас.

Работники Разведупра борьбу против дезинформации сосредоточили прежде всего вокруг количества вражеских дивизий, развернутых на наших границах. Мы показывали их истинное количество, а немецкая разведка всячески пыталась скрыть его или уменьшить; кроме того, нас уверяли, что Германия будет наносить удар по Англии. В этой борьбе немецкая разведка нас победила. Советское правительство и военное руководство верили вражеской дезинформации, а не собственной разведке. Не верил ей даже сам начальник Разведупра и систематически, с каждой неделей все больше и больше «срезáл» количество немецких дивизий, подгоняя наши разведданные под сообщение Путника.

В воспоминаниях маршала Жукова сказано, что на 4 апреля 1941 года по данным Генштаба против СССР находилось 72—73 дивизии[1]. Вот это и есть данные Путника.

Советская военная разведка еще в декабре 1940 года докладывала в разведсводке № 8, что против СССР сосредоточено 110 дивизий, из них 11 танко-

[1] Г. К. Жуков упоминает еще 10 дивизий в Румынии. (Прим. ред.).

вых. Как же получилось, что по состоянию на апрель 1941 года их было 73? На 38 дивизий меньше?!!

Это уже работа начальника Разведуправления генерала Голикова. Он просто «снял» 38 дивизий с учета и подсунул Генштабу «дезу» Путника. На схеме расположения немецких войск на наших границах, приведенной в книге маршала Жукова, не показаны группировки и направления главных ударов. В разведсводке № 8 и в «Мобилизационных записках по Германии» они показаны на основании документальных данных. В схеме же, опубликованной маршалом Жуковым, я узнаю схему Путника.

Конечно, далеко не все в Генштабе думали так, как Сталин, Голиков и другие. Были люди, которые трезво оценивали положение дел на наших границах. Но об этом ниже.

Изучив схему Путника и сняв с нее копию, я вернул ее генералу Голикову. Доложил твердо и по форме вполне официально, что схема эта — дезинформация.

Голиков пытался убедить меня, что в ней все весьма правдоподобно и логично. Главные силы Германии, как он считает, находятся во Франции и готовятся нанести решающий удар по Англии. Доказательство тому — усиленная бомбардировка Лондона и подготовка к форсированию Ламанша. Голиков дал мне понять, что так думает Сталин.

Мы, работники Разведупра, этому никогда не верили, предполагали, что возня немцев около Ламанша — особая форма дезинформации. Теперь известно, что эта дезинформация была капитально разработана как операция против Англии и носила название «Морской лев», а позднее «Хайфиш». Были даже посланы разведывательные группы к Британским островам — все эти группы погибли.

Отдав в жертву дезинформации десяток своих солдат, Гитлер сумел всучить ее Сталину и его «любимым ученикам».

До сего времени адмирал Кузнецов, тогда военно-морской министр, верит, что операция «Морской лев» была недезинформационной. В своих мемуарах он подтверждает, что верили в это также Жданов и Молотов. Вся трагедия в том и заключается, что все партийные, советские и военные руководители верили в то, что Гитлер будет наносить удар по Англии, а не по СССР. Все наше руководство находилось в плену немецкой дезинформации. А что из себя представляла операция «Морской лев», красноречиво рассказывает в своих воспоминаниях немецкий генерал Циммерман:

«В начале июня в ставку главного командования немецкими войсками Запада прибыл порученец начальника генерального штаба сухопутных войск и сообщил собравшимся офицерам, что все проделанные подготовительные работы являются просто мероприятием, необходимым для введения противника в заблуждение, и что теперь их можно прекратить... Все эти приготовления проводились только в целях маскировки готовящейся Восточной кампании, которая в ту пору являлась для Верховного главнокомандующего уже решенным делом».

Эту дезинформацию *путем несложных расчетов мы разоблачили*. Дело в том, что у немцев не хватало десантных перевозочных средств, и фактически операция не могла быть осуществлена. После Дюнкерка в Англию возвратилась 300-тысячная армия. На ее базе англичане сформировали около 40 дивизий, из них 5 танковых; была построена мощная береговая оборона. Чтобы преодолеть сопротивление английской армии, нужно было перебросить не менее 60 немецких дивизий, из них 8—10 танковых. Для этого требовалось много десантных средств. Я уже не помню цифр, полученных при наших расчетах, но, по подсчетам самих немцев, для переброски в первом эшелоне 30 дивизий требовалось 145 пароходов, 1800 барж, 400 буксиров, 900 катеров, 100 парусных судов, не считая флота для прикрытия и поддержки операции. Таких судов у немцев не было. Поэтому Гитлер никогда и не помышлял о вторжении на Британские острова. У него были другие планы: склонить Англию к миру — отсюда и миссия Гесса[1],— а напасть на Советский Союз. Так что дезинформацию мог лег-

[1] Рудольф *Гесс* — один из главных немецко-фашистских преступников, личный секретарь Гитлера, а затем его заместитель по партии, в 1941 году прилетел в Великобританию с предложением мира (*Прим. ред.*).

ко разоблачить военно-морской министр со своим штабом и доказать Сталину ее сущность. К сожалению, сделано это не было. Все верили, что Гитлер нападет на Англию, и проявили беспечность в отношении своих границ.

Гитлер же и не ставил своей военно-политической целью разгром Англии. Вот что он об этом писал: «Если мы разгромим Англию в военном отношении, то Британская империя распадется, однако Германия от этого ничего не выиграет; разгром Англии будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут Япония, Америка и другие».

Однажды офицер из другого отдела предложил мне:

— Есть возможность на основе взаимности послать разведчика на машине из Москвы в Берлин и обратно. Укажите желательный маршрут.

Ничего не скажешь, весьма оригинальный способ взаимной разведки! Немцы, узнав маршрут нашего разведчика, примут все меры, чтобы замаскировать свои дивизии. То же самое, конечно, предпримем и мы. Все же я дал маршрут через главную группировку немецких войск на Минском направлении. Я полагал, что 50—60 тысяч войск не иголка, их не спрячешь. Опытный разведчик по многим признакам сможет определить, обычный ли здесь гарнизон или большое сосредоточение войск.

Каково же было мое удивление, когда через некоторое время по внутреннему телефону сообщили, что наш разведчик ничего не увидел.

— Значит, он шляпа! — воскликнул я возмущенно.

— Да,— ответили мне,— согласны, шляпа, но шляпа не наша, а «соседей»!

Нас усиленно успокаивали, уводили в сторону наше внимание, а тревожные вести нарастали. Было получено донесение о полевой поездке в ноябре 1940 года генерал-фельдмаршала Браухича с высшими генералами в Польше и в Восточной Пруссии для изучения возможных вариантов военных действий против СССР. К донесению была приложена стенограмма выступлений Браухича на разборе поездки. Несомненно, уже осенью 1940 года на местности разыгрывались элементы «плана Барбаросса». Эта стенограмма была направлена Сталину.

Подходило время выпускать сводку по Германии, а у нас еще продолжались долгие и мучительные дискуссии о том, сколько же немецких дивизий на наших границах и куда Гитлер нацеливает удар — на Англию или на СССР?

Однажды полковник Гусев после очередного доклада Голикову ворвался ко мне в кабинет красный от ярости. Размахивая бумагами и картой, матерно ругаясь, закричал:

— Опять срезал!

— Сколько?

— Пятнадцать дивизий!

Я понял, что дальше медлить и терпеть нельзя. Необходимо принять какое-то твердое решение. А какое? В угоду начальству дать сведения Путника? Это будет предательством Родины! А дать достоверные сведения — значит пойти на острый конфликт с начальством и официальным курсом, то есть в конечном счете пойти против мнения Сталина, значит пойти на риск исчезнуть при неизвестных обстоятельствах, как исчез генерал Проскуров. Прямо как в сказке: «Пойдешь направо — медведь задерет, пойдешь налево — волки съедят». Было о чем подумать. Нет-нет да мелькала трусливая мыслишка: «Не лучше ли поступить, как начальство приказывает?!» Была также надежда, что Сталин ничего не знает об истинном положении, что его обманывают. И я наметил свой, обходной путь.

Приказал полковнику Гусеву заготовить материал для сводки по нашим данным. Гусев с радостью взялся за работу. Через день я составил сводку. Это была сводка № 8 за декабрь 1940 года. Несомненно, она хранится в архиве. Историки смогут ее прочитать. Повторяю: *Разведывательная сводка № 8; официальный документ, изданный Разведупром.*

Общее резюме в сводке было такое (цитирую по памяти):

«За последнее время отмечаются массовые переброски немецких войск к нашим границам. Эти переброски тщательно скрываются. По состоянию на декабрь

1940 года, на наших границах сосредоточено около ста десяти дивизий, из них одиннадцать танковых...»

На схеме мы показали все немецкие войска — до дивизии и отдельной части включительно. В выводах я писал: это огромное количество войск сосредоточено не для улучшения условий расквартирования, как об этом заявил Гитлер, а для войны против СССР. Поэтому наши войска должны быть бдительны и готовы к отражению военного нападения Германии.

Подпись была такой: Врио начальника Информационного отдела Разведывательного управления Генштаба подполковник Новобранец.

Сводка готова. Как ее довести до Сталина и войск? Голиков легко может мне помешать. Пока я раздумывал, открылась дверь и ко мне в кабинет вошел генерал-майор Рыбалко. Он работал в нашей системе и часто заходил ко мне. Мы были товарищами по выпуску из Академии имени Фрунзе. Каждый раз при встрече делились сокровенными думами. Рыбалко был старый коммунист, комиссар времен гражданской войны. В Академии он был старостой нашего курса и пользовался большим авторитетом. Он успешно окончил Академию, обладал большим политическим и военным кругозором. Человек он был прямой, смелый, честный и объективный.

Я поделился с Рыбалко своими раздумьями. Показал ему нашу сводку и схему. Показал и копию схемы югославского полковника Путника.

— Ну, что, по-твоему, мне делать? — спросил я старого друга.

— Д-да,— сказал он, внимательно изучив схему,— положение твое, как говорили в старину, хуже губернаторского. Советовать тебе сделать подлость и поместить в сводку данные Путника не могу. А за правдивую информацию, имей в виду, могут голову снести. Сталин тебе не поверит и прикажет Берии тобой заняться...— А потом Рыбалко высказал такие мысли, которые и мне приходили на ум, но которых я сам боялся:

— Черт знает, что у нас происходит! Самые лучшие командиры армии уничтожены, самых лучших членов партии сажают. Армия, можно это считать как факт, обезглавлена, не боеспособна. На Халхин-Голе и в Финляндии мы опозорились на весь мир. Армией командуют неграмотные люди — командиры эскадронов, вахмистры без образования и опыта. Чтобы далеко не ходить, вот тебе пример: командующий Шестой армией генерал Музыченко. Я знаю его по гражданской войне. Хороший боевой командир эскадрона, но полком командовать не может. А ему доверили современную армию! И в то же время сотни образованных офицеров, окончивших Академию, сидят в штабах на второстепенных должностях. Держат их в черном теле. Почему спрашивается? Будто нарочно все делается так, чтобы проиграть будущую войну...

Под конец Рыбалко высказал совсем уж страшные предположения.

— Действует у нас какая-то вражеская сила, врагов ищут не там, где надо. Говорят о «пятой колонне» и корни ее находят среди старых членов партии. А я думаю, что дело в какой-то иной колонне — фашистского типа... Чтобы тебе не стать подлецом, советую дать правдивую сводку и попытаться направить ее в войска, минуя начальство. Пусть хоть армия и народ знают, что их ожидает. Если уж умирать, так за правое дело!

После разговора с Рыбалко я окончательно утвердился в мнении, что над страной нависла грозная опасность. И уже без колебаний принял решение довести сводку до войск. Но как это сделать?

У нас была такая практика: все информационные документы, в том числе и сводки, составлял и подписывал начальник информотдела. Сигнальный экземпляр докладывался начальнику Разведупра. Только после его утверждения весь тираж рассылали в войска. Разведсводки рассылались в части до корпуса (иногда дивизии) включительно, во все штабы округов, в Генштаб, в Академии, в центральные военные управления Наркомата обороны. Правительству — по особому списку: Сталину, Молотову, Маленкову, Ворошилову, Тимошенко, Берии, Мерецкову, Жукову [1].

[1] Рассылка по особому списку документами не подтверждается. (Прим. ред.).

Я решил отправить сводку без ведома начальника Разведупра. Случай беспрецедентный, но иного выхода не было. Вызвал начальника типографии полковника Серебрякова, вручил ему сводку и приказал срочно отпечатать, а сигнальный экземпляр доставить мне для доклада генералу Голикову. Серебряков просмотрел материал, понял всю его серьезность и, организовав круглосуточную работу в типографии, через два дня доложил, что сводка готова.

— Передай,— говорю ему,— в экспедицию для рассылки.

— А как же сигнальный экземпляр? Будем докладывать Голикову перед рассылкой? — спрашивает он.

— Да, конечно. Принеси сигнал мне, я сам доложу, а тираж передавай в экспедицию.

Серебряков принес сигнал и сообщил, что весь тираж сдан в экспедицию. Я положил сигнальный экземпляр в сейф, позвонил начальнику экспедиции и попросил возможно быстрей направить сводку в войска. Для Москвы рекомендовал отправить в последнюю очередь: здесь, говорю, всегда успеют ее получить.

Через три-четыре дня из округов поступили сообщения, что сводка получена.

Теперь мне предстояло пережить немало скверных минут. Решил: при любых обстоятельствах буду сохранять спокойствие и достоинство члена партии и офицера.

Взяв сигнальный экземпляр, пошел на доклад к Голикову. Молча положил перед ним сводку. Голиков стал ее листать, посмотрел схему.

Я стою молча, смотрю на него. Сначала его лицо выразило удивление, потом недоумение, а потом разразилась гроза.

— Вы что-о? Вы хотите спровоцировать нас на войну с Германией? Что мне с вами делать, упрямый вы хохол? — Генерал выскочил из-за стола, пробежался по кабинету.— Не-ет! Я не утверждаю эту сводку! Запрещаю ее рассылать в войска! Приказываю уничтожить весь тираж!

Спокойным, ровным голосом говорю:

— Товарищ генерал, это невозможно: сводка уже в войсках.

Голиков побагровел, задохнулся, долго не мог говорить. А потом снова взорвался:

— Ка-ак? Вы... вы отправили сводку без моего разрешения?

— Да, товарищ генерал, отправил. Я считаю это дело очень серьезным, всякое промедление в данном случае — преступление.

Генерал задыхался. Трудно, с хрипом выдавил:

— Да как вы смели? Да вы с ума сошли... я вас...— Дальше пошли такие ругательства, каких бумага уже не терпит.

Не вытерпел и я:

— Товарищ генерал, вы на меня не кричите. Я начальник информационного отдела. Я подписываю сводку и отвечаю за нее головой. Положение на западной границе весьма серьезное, и молчать об этом нельзя. А так как наши взгляды на положение дел разошлись, прошу вас устроить мне личный доклад начальнику Генштаба. Иначе буду искать другие пути.

На раскаленного генерала будто водой плеснули. Мигом остыл. Сел за стол, удивленно посмотрел на меня и стал вдруг сверх меры корректен.

— Хорошо, товарищ подполковник, я устрою вам личный доклад начальнику Генерального штаба! — в голосе слышалась скрытая угроза: — Можете идти, вы свободны.

Пошел я в свой отдел и стал спешно готовиться к докладу. Написал его обстоятельно и убедительно. Кроме того, заготовил спецсообщение Сталину, Молотову, Маленкову, Ворошилову, Тимошенко и Берии, в котором изложил основную суть сводки и доклада с общим выводом о реально нависшей угрозе со стороны Германии, и приложил сводку № 8.

Через несколько дней после рассылки сводки я получил весьма показательный отклик на нее. Позвонил начальник Академии Генштаба генерал-лейтенант Мордвинов:

— Слушайте, товарищ подполковник, я получил вашу последнюю продукцию. Действительно ли положение так серьезно, как указано у вас?

— Да, товарищ генерал, еще серьезней, чем написано.

— Да как же так? Ко мне в Академию ездят разные докладчики и говорят совершенно другое.

В то время, как я уже писал, был заключен пакт о дружбе с Германией и договор. С Мордвиновым мы были в хороших отношениях, и потому я позволил себе шутливо ответить:

— Гоните их в шею ко всем чертям, товарищ генерал! Они все врут.

Мордвинов засмеялся:

— Шеи у них толстые, не прошибешь... Ну ладно, будем разбираться.

...Но мне было не до смеха: стало ясно, что «докладчики» обрабатывают генштабистов по указанию свыше.

Через несколько дней (примерно в конце декабря) часа в два ночи (был такой дикий обычай работать по ночам!) в моем кабинете раздался звонок телефона. Подниваю трубку. Голос Голикова:

— Вас ожидает для доклада начальник Генерального штаба.

— Товарищ генерал,— возражаю я,— да как же так можно? Надо же было предупредить меня, чтобы я подготовил доклад.

— Ничего не знаю. Вас ожидает начальник Генштаба! — с подчеркнутой резкостью сказал Голиков и бросил трубку.

Я порадовался своей предусмотрительности. «Ну,— думаю,— подвел бы ты меня, товарищ генерал, если бы я не подготовил материал заранее». И бегом в Генеральный штаб. Был я, конечно, очень взволнован, ведь стоял вопрос не только о моей личной судьбе как разведчика, но и о судьбе Родины.

Вбегаю в кабинет запыхавшись. Вижу — у стола стоят начальник Генштаба генерал армии Мерецков и его заместитель генерал Василевский[1]. Василевский тотчас пошел мне навстречу.

— Что с тобой? Что у тебя? — берет и осматривает мою левую руку. На пальце кровь. Когда и где я рассадил его — не заметил.

— Ну-ка сюда, к аптечке! — говорит Василевский. Залил йодом палец, быстро и ловко забинтовал.— Ну вот, а теперь докладывай, что у тебя накипело...

На большом столе я разложил карту и весь свой материал. Докладываю. Меня внимательно слушают, не прерывают. Закончил доклад часа в три ночи.

Мерецков и Василевский «ползали» по моей карте, внимательно изучая группировки немецких войск. Прикидывали, в каком направлении могут быть введены главные силы фашистов. Мерецков спросил меня:

— Когда, по вашему мнению, можно ожидать перехода немцев в наступление?

— Немцы,— отвечаю,— боятся наших весенних дорог, распутицы. Как только подсохнут дороги, в конце мая — начале июня можно ждать удара.

— Да, пожалуй, вы правы.

Мерецков и Василевский начали накоротке обмениваться между собой мыслями, прикидывать необходимое время для развертывания армии и приведения страны в боевую готовность. Говорили они тихо, но я услышал, что Василевский называл срок: шесть месяцев.

— Да, времени у нас в обрез,— сказал Мерецков,— надо немедленно будить Тимошенко и докладывать Сталину.

— Товарищ генерал! — обрадованный удачным результатом воскликнул я.— Если вы думаете изложить ему этот доклад, то он у него будет через два часа. Я направил ему такой же доклад фельдъегерской связью. В шесть часов утра он его получит, а два часа погоды не сделают и ничего не изменят.

— Ах так! Вы уже направили ему доклад?

— Да, конечно. И не только ему. Доклад и сводки посланы Сталину, Ворошилову, Маленкову, Берии и другим.

---

[1] А. М. Василевский в то время был зам. начальника оперативного управления. (Прим. ред.)

— Значит, к утру все будут знать о положении дел на границе?

— Конечно.

— Очень хорошо! Спасибо! — Мерецков пожал мне руку.— Вы свободны, идите отдыхать.

Из Генштаба я не шел, а летел на крыльях. Утренний морозец охлаждал разгоряченное лицо. «Вот хорошо,— думал,— есть в Генштабе светлые головы. Сегодня утром Мерецков и Василевский доложат Тимошенко, а затем Сталину о положении дел на границе. Будет, конечно, созвано экстренное заседание Политбюро, и оно примет важные решения о скрытой мобилизации, о развертывании армии и перестройке промышленности. Опыт войны во Франции будет изучен, и будут приняты решительные меры для повышения боевой подготовки армии, оснащения ее большим количеством артиллерии, противотанковыми и противовоздушными средствами. Будут созданы танковые армии; схлестнувшись с немецкой танковой армией, они должны разбить ее наголову». Мечтал я и о том, что учение Д. М. Карбышева о применении оперативных инженерно-саперных заграждений типа «саперная армия» против танковых масс найдет свое отражение в армии. «Теперь,— думал,— вы, господа Браухичи и Рундштедты, получите по зубам. Это вам не Франция!».

Увы! Мечтам моим не суждено было сбыться даже в малой доле.

На совместном совещании Военного совета и Политбюро Мерецков заявил, что война с Германией неизбежна, что нужно переводить на военное положение армию и страну, укреплять границы. Его посчитали «паникером войны» и сняли с должности начальника Генерального штаба. Не знаю, каким чудом уцелел Василевский, ведь он придерживался одних взглядов с Мерецковым и многими другими. Это просто счастье, что Василевского не арестовали! Неизвестно, как сложился бы ход войны, если бы не было Василевского. А в то время он тяжело заболел, что, возможно, и спасло его от расправы.

В информационном отделе было заведено круглосуточное дежурство. Дежурный офицер получал ночную зарубежную информацию. Это было важно для немедленной фиксации всех передвижений немецких частей и тыловых учреждений, например, подвижных полевых госпиталей. Такая, казалось бы, «мелочь», как прибытие полевых передвижных госпиталей, могла служить сигналом готовности немецкой армии к наступлению. Подвижные госпитали в мирное время не развертываются — потребность армии удовлетворяется стационарными, а при подготовке к наступлению они развертываются, готовятся к маршу, занимают исходное положение. Важно было зарегистрировать этот момент выдвижения. Поэтому мы и следили за немцами круглые сутки.

Голиков вызвал меня и грубо приказал отменить дежурства:

— Довольно мне здесь воевать и разводить панику.

Между тем сообщения о новых перебросках немецких войск на наши западные рубежи продолжали поступать. Наша тревога усиливалась. Не выдержав, я решил проверить, что же делается для обороны страны.

В оперативном управлении Генштаба работало несколько моих товарищей по Академии Генштаба. Среди них начальник Среднеазиатского отдела полковник Шарохин, начальник Западного генерал-майор Кокарев, начальник по тылу полковник Костин.

Шарохин на мой вопрос, что делается на наших западных границах, ответил:

— Знаю, что положение опасное, но что предпринимается с нашей стороны — не знаю. Может быть, я не в курсе. Зайди к Кокареву.

— А-а! — весело и радушно встретил меня Кокарев.— Разведка пришла. Здорово! Честь и место. А теперь скажи, что ты нас своими сводками пугаешь?

— Не я пугаю, а немцы. И не только пугают, а скоро бить нас будут.

Улыбка исчезла с лица Кокарева.

— Да, ты прав. Весной немцы ударят, а мы, как страусы, сунули головы в ворох бумаг, в «пакт о ненападении» и прочие немецкие «мирные заверения», и кричим о мире. А кто против — так те «паникеры» и «провокаторы войны».

Новое начальство таких выгоняет. На границе у нас ничего нет. Наберется, может быть, 40 дивизий, да и те занимаются не тем, чем следовало бы...

— Для первого случая,— говорю я,— нужно не меньше ста дивизий.

— Что ты! Попробовали заикнуться еще при Мерецкове, но нам ответили, что для перемены дислокации только одной дивизии потребуются миллионы рублей. Ворошилов запретил даже говорить об этом...

Началась крутая расправа со всеми «паникерами» и «провокаторами войны», которые указывали на возможность военного нападения Германии. Коснулось это и разведки. Стали вызывать из-за рубежа всех «провинившихся».

Получил основательную нахлобучку помощник военного атташе по авиации в Берлине полковник Скорняков. Отозвали и другого помощника военного атташе — по бронетанковому делу — полковника Бажанова: тоже дали нахлобучку и демобилизовали. Нервное потрясение так подействовало на Бажанова, что он скончался.

От одного работника из Японии мне пришлось отводить удар. Мы считали этот источник информации очень хорошим. Он тоже подавал сигналы о неизбежности войны с Германией. Однажды мы получили из Японии сообщение, что Гитлер подписал приказ о войне против СССР.

Наше начальство оценило эту информацию как «паникерскую» и решило отозвать пославшего ее. Борьбу с «врагами народа» и «паникерами» в нашем управлении возглавлял заместитель начальника Разведупра генерал-майор Ильичев И. И. Он не умел да и не хотел думать и слепо следовал по указанному Сталиным пути: раз классовая борьба обостряется, то проще всего в каждом работнике видеть потенциального врага народа, шпиона. Особенно в то время, в начале 1941 года, были вредны и опасны «паникеры», которые кричали о близкой и неизбежной войне с фашистами.

Однажды ко мне пришел, кажется, майор Мельников (не решаюсь утверждать с полной уверенностью).

— Ильичев требует дать отрицательную характеристику на источник «Рамзай» и подобрать на него материал. Он будет отозван.

— Почему отрицательную? Вы лично уверены, что «Рамзай» дезинформатор?

— Нет, наоборот. Мы считаем его самым лучшим источником. Его надо всеми силами оберегать. Если мы его угробим, все наше хозяйство по этой стране развалится. Я прошу вас дать о его сообщениях совершенно объективный отзыв.

Я проверил все донесения «Рамзая» и убедился в их достоверности. Особенно убедительно было его сообщение об одном нашем полковнике, перешедшем на службу в японскую армию. В донесении сообщались все подробности о деятельности этого перебежчика в качестве советника японской армии.

Я знал его, этого перебежчика — его фамилия Фронт,—учились на одном курсе в Академии имени Фрунзе. После окончания Академии он попал советником в Монгольскую народную армию. Из Монголии перебежал к японцам.

Информация источника «Рамзай» была точной. В этом духе я и дал свой отзыв с таким выводом: «Нет никаких оснований подозревать источник «Рамзай» в дезинформации».

Не знаю, сыграло ли мое заключение какую-либо роль, но Зорге («Рамзай») не был отозван. До сего времени неизвестны причины его провала. И, кроме того, правительство ничего не предприняло для его спасения. Три года после своего провала Зорге просидел в тюрьме. За это время можно было принять меры для его спасения — обменять на японского агента или как-нибудь иначе, дипломатическим путем. Но это не было сделано. Зачем? Чтобы иметь живого свидетеля своего преступления?.. А история с награждением?! Только через 20 лет после смерти Зорге наградили — присвоили звание Героя Советского Союза, и то лишь потому, что о его подвиге узнали американцы. О Зорге заговорил весь мир. А ведь об этом подвиге было у нас известно давно. Нет, не хотел Сталин награждать Зорге! Гораздо проще было уничтожить такого важного свидетеля своей несостоятельности...

Помню еще двух товарищей, которым угрожала расправа.

Однажды Ильичев по телефону дал мне такое распоряжение:

— К вам сейчас зайдет полковник Савченко. Поговорите с ним и сообщите, имеет ли он какую-либо ценность для разведки. Предупреждаю, мы его считаем человеком неблагонадежным. Есть указание его демобилизовать.

— Хорошо, товарищ генерал,— отвечаю,— поговорю, выясню.

Через несколько минут зашел полковник Савченко. После взаимных приветствий усаживаю его в кресло. Закурили. Молча изучаю его. Внешне очень симпатичный человек. В глазах усталость и тревога. И почему он «неблагонадежный»? Слово-то какое гнусное, старорежимное! Первым нарушил молчание Савченко:

— Я к вам «наниматься»,— и улыбнулся. Улыбка горькая, вымученная. Я решил поддержать эту горькую шутку.

— Хорошо,— говорю тоже с улыбкой,— а какая же ваша специальность и квалификация?

— Бывший военный атташе в Афганистане.

— Хорошая работа. А что же вам там не понравилось, почему оттуда ушли?

— Не я ушел, а меня «ушли».

Краснея и бледнея, прерывающимся от волнения голосом рассказал он о своей беде. Один из агентов ведомства Берии написал на него донос: якобы живет не по средствам, наверно, шпион. Подозрение ни на чем не основанное, все дело в том, что Савченко хорошо зарабатывал (жена его тоже работала) и купил себе дорогой радиоприемник.

В те времена отвести удар «стукача», что-либо доказать, было очень трудно, почти невозможно. Не смог этого сделать и Савченко. Его сняли с работы и представили к демобилизации.

Убедившись, что Савченко — очередная жертва нашей «бдительности», что человек он честный, преданный партии и Родине, я решил ему помочь. Позвонил Ильичеву, доложил: Савченко хорошо знает афганский язык (фарси), знает Восток, он из золотого фонда наших кадров, и увольнять его из армии не следует, я беру его в свой отдел.

Ильичев возразил: делать этого нельзя, Савченко политически ненадежен. Тогда я сказал, что беру ответственность на себя. В то время можно было брать на работу в информотдел любого офицера с любой политически отрицательной характеристикой, данной органами, но за этого офицера я отвечал головой.

— Ну-ну, смотрите,— сказал Ильичев и положил трубку.

Я не ошибся в Савченко. В информотделе он работал до самой войны, потом был на фронте, хорошо воевал. Возможно, он и не знает, что ему тогда грозило.

Еще в более тяжелом положении, чем Савченко, оказался полковник Тагиев. Он, хоть и был хороший работник, «провалился», как Зорге,— не всегда везет, однако ему удалось избежать ареста и скрыться. Потеряв связи с Центром, оставшись без средств, он был вынужден длительное время под видом дервиша скитаться по странам Востока. Все же ему удалось связаться с нашими работниками в одной из этих стран, и он возвратился в СССР.

А на родине его встретили как врага. Квартиру давно заняли, вещи разграбили, а самого представили к демобилизации.

И опять Ильичев лицемерно направил Тагиева ко мне для выяснения его деловых качеств. От волнения, тяжких воспоминаний, обиды этот сильный, мужественный человек, опытный разведчик не мог сначала даже говорить со мной, плакал. Выслушав его трагическую историю, я был возмущен, мне было горько и стыдно за наше руководство, так бездушно относящееся к своим работникам. Полковник Тагиев прекрасно знал восточные языки, почти все восточные предполагаемые театры военных действий прошел собственными ногами. Его наблюдения были чрезвычайно ценны.

И опять я стал «отбивать» хорошего работника у Ильичева. Он возражал, предупреждал меня, говорил о «бдительности». Но я не поддался. Высказал свое возмущение и генералу Голикову. Надо в данном случае отдать ему справедливость. Он согласился принять Тагиева в информотдел, помог ему вернуть квартиру и возместить потерю имущества. Тагиев работал в информотделе над военно-географическим описанием ряда восточных стран и показал себя ценным сотрудником.

После нескольких столкновений с руководством я, продолжая отстаивать свою «паникерскую» позицию, почувствовал, что надо мной собираются тучи. Со дня на день я ждал, когда будет разрядка, гадал: насмерть убьет или только «оглушит»?

И вот в начале мая 1941 года входит ко мне незнакомый генерал.

— Я новый начальник информотдела генерал-майор Дронов,— представился он,— кажется, это для вас неожиданность?

— Да,— отвечаю, пытаясь скрыть волнение,— приказа об этом я не читал, меня даже устно не предупредили. Разрешите позвонить генералу Голикову.

— Пожалуйста.

Звоню:

— Товарищ генерал, когда прикажете сдавать дела генерал-майору Дронову?

— Сдавайте сейчас же.

— Есть сдавать сейчас же.

Передал я Дронову бумаги, книги, сейф и вышел из кабинета. «Ну вот,— думаю,— началось... Чем дальше угощать будут?»

Долго ждать не пришлось. Вызвали в отдел кадров.

— Не желаете ли поехать в отпуск? — спросил меня его начальник полковник Кондратов.

— Но я же был в отпуске в этом году... По закону два отпуска в год не полагается.

— Ничего,— успокаивает Кондратов,— в нашей системе полагается. Начальство...— с нажимом на это слово сказал он,—...начальство предлагает вам выехать в Одессу в дом отдыха Разведупра.

Если начальство так обо мне «заботится» — разве можно возражать?

В начале июня я выехал в Одессу. С какими чувствами — можете сами догадаться...

Я жил в период начала и расцвета культа личности Сталина и являюсь живым свидетелем его последствий. При мне происходили массовые аресты, при мне физически уничтожали неугодных Сталину и его приближенным ни в чем не повинных людей, в первую очередь офицерские кадры. Я был маленький человек, незаметный разведчик — подполковник, но по долгу службы в Разведупре знал много государственных тайн и имел некоторое представление о центральном партийном, советском и военном руководстве. Кроме того, числился «паникером» и «провокатором войны», к тому же непокорным, смеющим «свое суждение иметь». Так что было ясно, что со мной поступят так же, как поступали со многими другими разведчиками...

В июне по воле начальства я отдыхал в Одессе.

Одесский дом отдыха закрытого типа, куда меня «сослали» до поры до времени, был расположен на прибрежном крутояре в густом чудесном парке. Дом был полупустым. Среди отдыхающих — несколько разведчиков из-за рубежа, а большинство — члены семей. Все условия для отдыха были выше всякой придирчивой и капризной критики. Но я приехал с тяжелым грузом тревог и сомнений, и меня не привлекали ни тенистые аллеи парка, ни пляж. Под впечатлением столкновений с начальством я был подавлен, переживал за судьбу Родины, видел нависшую над ней опасность. В глубине души тревожил меня червячок сомнений: а вдруг я ошибаюсь?! Однако сколько и как, можно сказать, «с пристрастием» я ни проверял себя и свои поступки, все и всегда сводилось к одному: нет, я не ошибся, как член партии и гражданин Советского Союза не мог и не имел права поступать иначе. Тревожила меня мысль о том, что наши войска не успеют развернуться и последует сокрушительный внезапный удар.

Настроение немного поднялось, когда я встретился с начальником разведотдела Одесского военного округа полковником Гаевым, приехавшим навестить жену. Он был моим товарищем по Академии имени Фрунзе, кроме того, мы работали в одной системе. Положение на границе Гаев расценивал так же, как и я. Он рассказал, что войска Одесского военного округа под видом учений развернуты на границе и взяли с собой боеприпасы. Стало легче на душе. «Ну,— думаю,— если все округа так поступили, то это хоть в малой степени предупредит внезапный удар фашистов».

В Одесском доме отдыха Разведупра были собраны «на отдых» все «провокаторы войны», которые слишком назойливо писали о неизбежности нападения Германии,— по-видимому, для того, чтобы они здесь «подумали» и покаялись в своих «заблуждениях». И мне была предоставлена возможность подумать и покаяться, а если «нет», то предстояло исчезнуть навсегда. Жил я в одной комнате с одним нашим резидентом. Он прибыл «на отдых» из-за рубежа тоже не по своей воле. Полностью раскрываться нам, разведчикам, не полагалось, и я мог только догадываться, что приехал он из Германии.

Очень нелегко давалась ему работа резидента. Почти мой ровесник, он выглядел хилым стариком — худой, морщинистый, руки дрожат. Объяснялось это, по мнению врачей, истощением нервной системы. Его вызвали из Германии «отдыхать», поскольку он слишком настойчиво и активно доказывал, что фашисты вскоре нападут на Советский Союз. Перед тем как отправить его в Одессу, начальник Разведупра Голиков сделал ему строгое внушение «за паникерство».

Как резидент он имел хорошую «крышу» — был директором ремонтной автотранспортной фирмы. Так вот, этот «директор фирмы» повторял — со многими дополнениями — те сведения, которые мне уже были известны. Я не раскрывал своего прежнего служебного положения и того, что тоже отнесен к категории «паникеров». «Директор фирмы» возмущался близорукостью начальства и страстно уверял меня в неизбежности войны с Германией. Сетовал он и на то, что одни оскорбления получал в награду за правдивую и точную информацию, за многолетнюю без провалов службу, от которой стал преждевременно инвалидом. Я сочувствовал ему, понимая, что нелегальная работа за рубежом пожирает все физические силы разведчика.

Убежден, что нет большего подвига на благо Родины, чем труд разведчика. И в то же время мало по отношению к кому было столь неблагодарно наше сталинское правительство, как к разведчикам. Открытое признание героизма Зорге, хотя бы посмертно,— первый случай в нашей истории, и, по-видимому, объясняется это только тем, что о нем заговорила мировая общественность.

Было немного смешно, что «директор фирмы» всерьез возмущался нераспорядительностью начальства, которое вызвало его в Москву, не позаботившись о передаче фирмы кому-либо.

— У меня же «крыша» может развалиться! — возмущался он.— Я же директор фирмы. У меня рабочие и служащие. Дело я вел без убытков, были даже доходы. Надо было так ликвидировать дело, чтобы не понести убытков. Зачем же пропадать государственному добру?

Развал «фирмы» его огорчал не меньше, чем политическая близорукость начальства. Делами «фирмы» он без конца морочил мне голову.

14 июня я сидел в палате, раздумывая, что же будет, как станут развиваться военные события. Тут мне принесли «Правду». Читаю сообщение ТАСС. Черным по белому напечатано: «...Германия так же неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз... Слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы» (снова цитирую по памяти).

Прочитав, я остолбенел. Да что же это? Немецкая дезинформация совсем ослепила Сталина. И что теперь будет со мной, паникером и провокатором войны (уже без кавычек)? Расстреляют.

Пришел мой сосед, «директор фирмы». Даю ему газету.

— Вот ты предупреждал о неизбежности войны с Германией... На, читай сообщение ТАСС — никакой войны не будет!

Он прочел и говорит:

— Дураки они, эти работники ТАСС... Да нет, дураки повыше!

— Ага, значит, и ты считаешь, что война неизбежна. Я раньше тебя это понял — и за это сюда попал... Что же нас теперь ожидает? Да ладно, поживем — увидим! Пошли купаться!

Больше к этому разговору мы не возвращались.

Утром 22 июня мы с «директором фирмы» тоже пошли на пляж. Погода стояла чудесная, солнечная, тихая. На пляже было уже много народу. Я люблю море, люблю заплывать далеко-далеко. А мой спутник плавать не умел. Я дал ему наказ:

— Загорай и стереги мою одежду.

Плавал в полное свое удовольствие часа два. Возвращаясь к берегу, увидел, что пляж, с утра покрытый цветными пятнами зонтиков и женских купальников, совершенно пуст. Только моя одежда лежала сиротливо. В полном недоумении, предчувствуя какую-то беду, я оделся и побежал к дому отдыха. А навстречу мне бежал «директор фирмы» и кричал:

— Василий Андреевич! Война! Выступал Молотов. Немецкая авиация бомбила наши города. Вот тебе и ТАСС! — Выпалив новость торжествующе и растерянно, он ждал, какое впечатление она произвела на меня.

Признаюсь, эта новость ударила меня, как дубина. Психологически я был готов к ней, но где-то в глубине души теплилась надежда на ТАСС: а может быть, правительство больше знает и «минует нас чаша сия». Вопреки фактам хотелось верить в это как в некое чудо. Пытаясь самому себе придать бодрости, я сказал:

— Ну что ж, директор, теперь нас уже не расстреляют как провокаторов войны, а если что и пропало, так это твоя «фирма». Списывай все убытки на войну.

Время было обеденное. Только мы уселись за стол, директор дома отдыха принес мне радиограмму из Москвы — приказ Разведупра: «Немедленно выехать к месту новой службы город Львов начальником Разведотдела Шестой армии. Кондратов».

Вот и решилась моя судьба.

Публикация А. В. Новобранца

КОММЕНТАРИИ КАНДИДАТА ВОЕННЫХ НАУК ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЗОРЯ

По роду своих занятий мне пришлось изучать материалы Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, и я имел доступ к документам, которые свидетельствовали о подготовке гитлеровской Германии к нападению на СССР. Уже в военные и послевоенные годы было ясно, что внезапность войны — это миф, культивируемый сталинским руководством, однако миф этот оказался настолько живуч и жизнестоек, что многие верят в него и сегодня.

Мы только делаем попытки сказать правду о тех годах, в то время как наиболее добросовестные западные историки, давно уже продвинувшись дальше нас в этом вопросе, сделали свои выводы, заявив однозначно: не было внезапного нападения на СССР, советская разведка информировала сталинское руководство не только о подготовке Германии к войне, но и о времени ее начала.

В 1973 году в США вышла книга американского исследователя Бартона Уэлея «Под кодовым названием «Барбаросса», и в ней автор пишет: «Сталину докладывали о признаках и времени готовящегося Гитлером нападения на СССР. На фоне этих докладов кажется невероятным, что Сталин оказался неспособным осознать опасность и не предпринять каких-либо действий по ее предупреждению...»

Говоря о том, что советская разведка сумела заблаговременно вскрыть подготовку Гитлера к войне, американский исследователь делает вывод, что в неудачах начального периода войны главная вина лежит на Сталине и его окружении, не принявших во внимание данных советской военной разведки, попавших в ловушку, расставленную Гитлером.

Подобный вывод в значительной мере подтверждает и маршал Г. К. Жуков. В своих воспоминаниях он рассказывает о проведении в декабре 1940 года военно-стратегической игры, которой руководил начальник Генерального штаба К. А. Мерецков. Эта игра отражала соотношение сил СССР и Германии и учитывала все особенности действий немецко-фашистских войск в Европе. Данные о противнике подготовила военная разведка. Многое в этой игре предопределило то, с чем в начальный период войны пришлось столкнуться нашим войскам. Ее результаты могли бы стать основой для прогнозирования операций будущих сражений, однако этого не случилось, поскольку ни Сталин, ни его ближайшее окружение не приняли оценки противника, сделанной Генеральным штабом на основе данных нашей военной разведки. Более того, работа военной разведки вызывала недоверие у Сталина, и не одна сотня разведчиков была уничтожена по его указанию.

Сразу же по окончании военно-стратегической игры был смещен с должности начальника Генерального штаба К. А. Мерецков, а на его место назначили Г. К. Жукова, для которого Сталин в то время был величайшим, непогрешимым авторитетом. Все это дает повод считать, что подобное развитие событий после военной игры было одним из наиболее существенных просчетов руководства страны, приведших к трагическим последствиям начального периода Великой Отечественной войны.

Исходя из того, что «Разведывательная сводка № 8» за подписью В. А. Новобранца была подготовлена к декабрю 1940 года, можно считать, что и она была положена в основу оценки противника при планировании проводившейся в том же декабре военно-стратегической игры. Подлинными документами подтвержден и факт его доклада «О франко-германской войне 1939—40 гг.», подготовленного для руководства страны. Сопоставляя данные «Разведывательной сводки № 8» со ставшими известными документами верховного главнокомандования германских вооруженных сил, можно сделать вывод, что наша военная разведка еще до подписания Гитлером Директивы № 21 по варианту «Барбаросса», в которой речь шла о непосредственной агрессии на СССР, еще на ранней стадии вскрыла факты непосредственной подготовки Германии к войне.

Вот как об этом пишет в своей книге Бартон Уэлей: «Во время войны для Сталина стало очевидным, что ГРУ (Главное разведывательное управление.— Ю. З.) является основным источником надежной информации, обеспечивающим поступление большого количества точных, своевременных сведений, по существу, по всем замыслам германского верховного главнокомандования. Оно добыло в том числе заблаговременно полные и точные данные по плану «Барбаросса...»

Вскрыть факт подготовки Германии к агрессии на самой ранней стадии было делом сложным. Но еще труднее было сделать это в условиях активно и целенаправленно проводимой нацистами дезинформации, которая, надо это признать, была весьма изощренной. Обвиняя Гитлера в коварстве и вероломстве, следует признать высокий профессионализм немецкой разведки в планировании и проведении дезинформационных мероприятий, их умение учитывать слабые стороны нашего военно-политического руководства.

Вот несколько выдержек из «Документальной хроники непосредственной подготовки вооруженных сил гитлеровской Германии к нападению на СССР (июнь 1940 — 22 июня 1941)», составленной по документам верховного главнокомандования вооруженных сил Германии. Большая их часть прошла международную юридическую экспертизу во время Нюрнбергского процесса и, на мой взгляд, весьма красноречиво свидетельствует о масштабах дезинформационных мероприятий.

«...Директива верховного главнокомандования вооруженных сил относитель-

но мероприятий по введению противника в заблуждение...» «...Независимо от того, будем ли мы... осуществлять высадку в Англии, необходимо постоянно оказывать соответствующее давление на английский народ и вооруженные силы Англии... Обеспечение единообразия... сообщений, которые должны доходить до противника различными путями (в частности, через военного атташе), является задачей... заграничной контрразведки...

В ходе приготовлений речь может идти о введении запрета в определенных районах для передвижения гражданских лиц, чтобы повысить степень достоверности приготовлений... Лица, которым поручено вести соответствующую работу, не должны, кроме круга лиц, определенных главнокомандующими видами вооруженных сил, знать, что речь идет о мерах по введению противника в заблуждение...» (7 августа 1940 г.)

«...Указания ОКВ. Управлению военной разведки и контрразведки.

В ближайшие недели концентрация войск на Востоке значительно увеличится... Из этих наших перегруппировок у России ни в коем случае не должно сложиться впечатление, что мы подготавливаем наступление на Восток... Для работы собственной разведки, как и для возможных ответов на запросы русской разведки, следует руководствоваться следующими основными принципиальными положениями.

1. Маскировать общую численность немецких войск на Востоке, по возможности, распространением слухов и известий о якобы интенсивной замене войсковых соединений, происходящей в этом районе. Передвижения войск обосновывать их переводом в учебные лагеря, переформированием...

2. Создавать впечатление, что основное направление в наших перемещениях сдвинуто в южные районы генерал-губернаторства... и что концентрация войск на Севере относительно невелика...

...5. Работы по улучшению сети шоссейных и железных дорог и аэродромов объяснять необходимостью развития вновь завоеванных восточных областей, ссылаясь при этом на то, что они ведутся нормальными темпами и служат главным образом экономическим целям...» (27 августа 1940 г.)

«...Директива верховного главнокомандования вооруженных сил об отсрочке проведения операции «Морской лев» до весны 1941 года.

1. Фюрер принял решение о том, чтобы приготовления к высадке в Англию с настоящего времени и до весны сохранялись лишь как средство политического давления на Англию.

...а) необходимо у англичан сохранять впечатление, что мы продолжаем готовить высадку широким фронтом...» (27 октября 1940 г.)

«...Директива № 21. «План Барбаросса».

...Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Советского Союза я отдам в случае необходимости за восемь недель до намеченного срока начала операций.

Приготовления, требующие более продолжительного времени, если они еще не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.1941 г.

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не были разгаданы...

Число офицеров, привлекаемых для первоначальных приготовлений, должно быть максимально ограниченным. Остальных сотрудников, участие которых необходимо, следует привлекать к работе как можно позже и знакомить только с частными сторонами подготовки, необходимыми для исполнения служебных обязанностей... Иначе имеется опасность возникновения серьезнейших политических и военных осложнений в результате раскрытия наших приготовлений, сроки которых еще не назначены...

Адольф Гитлер». (18 декабря 1940 г.)

«Руководящие указани начальника штаба верховного главнокомандования по маскировке подготовки агрессии против Советского Союза.

...Цель маскировки — скрыть от противника подготовку к операции «Барбаросса». Эта главная цель и определяет все меры, направленные на введение противника в заблуждение.

Чтобы выполнить поставленную задачу, необходимо на первом этапе, т. е. приблизительно до середины апреля, сохранять ту неопределенность информации о наших намерениях, которая существует в настоящее время...

...Порядок осуществления дезинформации.

1. Информационная служба (организуется начальником управления разведки и контрразведки). Принцип: экономное использование версии об общей тенденции нашей политики и только по тем каналам и теми способами, которые будут указаны начальником управления разведки и контрразведки.

Последний организует также передачу нашим атташе в нейтральных странах и атташе нейтральных стран в Берлине дезинформационных сведений. Эти сведения должны носить отрывочный характер, но отвечать одной общей тенденции.

...4. По мере накопления на Востоке все более крупных сил нужно будет предпринимать такие меры, которые способны запутать представления о наших дальнейших планах...» (15 февраля 1941 г.)

«...Распоряжение начальника штаба верховного главнокомандования вооруженных сил от 12 мая 1941 г. по проведению второй фазы дезинформации противника в целях сохранения скрытности сосредоточения сил против Советского Союза.

1. Вторая фаза дезинформации противника начинается с введением максимально уплотненного графика движения эшелонов 22 мая. В этот момент усилия высших штабов и прочих участвующих в дезинформации органов должны быть в повышенной мере направлены на то, чтобы представить сосредоточение сил к операции «Барбаросса» как широко задуманный маневр с целью ввести в заблуждение... противника. По этой же причине необходимо особенно энергично продолжать подготовку к нападению на Англию. Принцип таков: чем ближе день начала операций, тем грубее могут быть средства, используемые для маскировки наших намерений...

2. Все наши усилия окажутся напрасными, если немецкие войска определенно узнают о предстоящем нападении и распространят эти сведения по стране... Распоряжения по этому вопросу должны разрабатываться для всех вооруженных сил в централизованном порядке...

...4. ...вскоре на ряд министерств будут возложены задания, связанные с демонстративными действиями против Англии...»

Американский историк Бартон Уэлей, работая над своей книгой, опирался на библиографический материал и документы из архивов США, Великобритании, ФРГ и других западных стран, что дало ему возможность проанализировать более 100 вариантов информации о подготовке германской агрессии против СССР, добытой нашими разведчиками, а также примерно 70 эпизодов, связанных с мероприятиями, которые проводили нацисты с целью дезинформировать руководство нашей страны. Вот что пишет Бартон Уэлей о работе германской разведки: «Ошибочная оценка Сталиным положения накануне войны была прямым следствием проводившейся Гитлером дезинформации, при которой умело использовалась некоторая часть достоверных данных, домыслы и слухи. С помощью такой дезинформации достигалась маскировка направления и времени удара, а также скрывалось само намерение нанести его...»

Нужно отметить, что дезинформация поступала по многим каналам, в том числе и по тем, которые использовались нашей военной разведкой. Например, тот служащий германского посольства в Москве, который упоминается В. А. Новобранцем, наряду с достоверными сведениями сообщал данные, поступавшие в посольство в результате централизованной дезинформации. Материалы подобного характера шли в руководство и через органы наркоматов иностранных и внутренних дел, и зачастую их передавали Сталину непосредственно, без соответствующего анализа, который могла квалифицированно сделать только военная разведка. И она делала его вопреки Сталину, что нередко приводило к трагиче-

скому для наших разведчиков финалу. Например, только война спасла от гибели В. А. Новобранца.

Из-за страха разоблачения мифа о «внезапности» войны были арестованы и многие годы провели в сталинских лагерях сотни разведчиков, чьи имена кануnи в Лету. Замалчивалась деятельность Шандора Радо, Леопольда Треппера, Рихарда Зорге и многих других. Долгие годы считалось, что, к примеру, «Красная капелла» — мифическая, никогда не существовавшая разведывательная организация, чуть ли не выдуманная гитлеровцами. В этом утверждении правда лишь то, что название это придумано гестаповцами, хотя организация советской военной разведки в Германии существовала и действовала.

Времена меняются, и мы наконец начинаем узнавать о событиях нашей истории не только из иностранных источников, но и по воспоминаниям участников этих событий, которые подтверждаются имеющимися документами. Хотя воспоминания В. А. Новобранца не раскрывают структуру, организацию и методы работы нашей военной разведки, однако о ее деятельности в предвоенный период сказано немало и правдиво. Особый интерес заслуживает его рассказ о том, как обрабатывалась и докладывалась руководству информация о противнике накануне войны. Теперь, когда мы знаем о том, чего это стоило нашим разведчикам, их работа обретает трагически высокий смысл.

Немецкая разведка сделала свое дело. 22 июня 1941 года генерал Гальдер записал в своем дневнике: «...Все армии... перешли в наступление согласно плану. Наступление наших войск явилось для противника полной тактической внезапностью. Пограничные мосты через р. Буг и другие реки всюду захвачены нашими войсками без боя и в полной сохранности. О полной неожиданности нашего наступления для противника свидетельствует тот факт, что части были захвачены врасплох в казарменном расположении, самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им делать. Можно ожидать еще большего влияния элемента внезапности на дальнейший ход событий в результате быстрого продвижения наших подвижных частей...»

К чему привело преступное небрежение Сталина работой советских разведчиков, его недальновидность и неспособность оценить военную и политическую ситуацию того времени, говорит не только этот фрагмент из дневника Гальдера, но и весь ход боевых действий начала войны.

Войны, в которой наш народ понес величайшие потери.

В. Селюнин

РЫНОК: ХИМЕРЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Как известно, научные вопросы не решаются голосованием. Они решаются на митингах. Доказательство тому — события вокруг недавней Всесоюзной научно-практической конференции по вопросам экономической реформы. У Колонного зала, где проходила конференция, выстроились пикеты, организованные Объединенным фронтом трудящихся. Многие из нас успели прочесть с экранов телевизоров лозунги, поднятые пикетчиками: «Прекратить абалканизацию страны!», «Семь раз отмерь, но Шмелеву не верь!», «Социализм и частная собственность несовместимы!», «Экономисты-западники! Россия — не полигон для ваших испытаний!», «Нет распродаже Родины!».

И это еще не главные лозунги. Летописец ОФТ Анатолий Салуцкий (он прославился еще и тем, что нашел истинную причину гибели российской деревни — оказывается, погубила ее социолог Т. И. Заславская) повествует: «Но главное требование пикетчиков состояло в том, чтобы трибуну конференции предоставили профессору Сергееву — ведущему экономисту реальной школы» («Литературная Россия» № 49, 1989). Что же это за школа? А. Салуцкий объясняет: «Ныне в экономической науке оформились два мощных течения... Одно течение можно назвать академическим, поскольку в него входят прежде всего специалисты из академических институтов и оно консолидируется вокруг академического журнала «Вопросы экономики». Другое течение представлено экономистами так называемой реальной школы, в основном вузовской, университетской наукой. «Реалисты» сплотились вокруг научно-теоретического журнала «Экономические науки». Если академическое направление парит где-то близ вершин власти, оказывая сильнейшее влияние на формирование экономической политики перестройки, то их оппоненты не имеют доступа к главным источникам гласности, изолированы от круга экономических советников правительства».

Сторонников первого направления автор называет поименно: Л. Абалкин, Г. Попов, П. Бунич, А. Аганбегян, Н. Шмелев, Т. Заславская, Г. Лисичкин, Н. Петраков. Что ж, имена почтенные, репутация устоявшаяся. Сколь ни различны экономические воззрения этих людей, все они выступают за глубокие экономические реформы. Собственно, не просто выступают — они готовили эти реформы задолго до перестройки. Альтернативное направление представлено в публикации одним именем: заведующий кафедрой политэкономии Высшей школы профдвижения Алексей Алексеевич Сергеев — тот самый, за кого сражались пикетчики. Впрочем, из рассказа Салуцкого можно понять, что особой нужды в заступничестве митингующих не было: профессора Сергеева и без того пригласили на конференцию, но как-то не так пригласили, недостаточно почтительно.

Дальше события развивались следующим образом: «...профессору Сергееву удалось пробиться — именно пробиться! — на трибуну Колонного зала. И его выступление завершилось долгой овацией», «...впервые за годы перестройки официально, с высокой трибуны прозвучал голос экономиста альтернативной школы!», «...если бы не блестящее выступление профессора Сергеева, устроители конференции просто-напросто утаили бы и от общественности, и от политического руководства наличие альтернативных точек зрения, создали бы видимость показ-

ного единодушия», «...заканчивая свое триумфальное выступление в Колонном зале, профессор Сергеев обратился к представителям академической школы с просьбой хотя бы на полступа подвинуться на экранах телевизоров, в средствах массовой информации, чтобы общественность могла познакомиться с альтернативой». Увы, средства массовой информации, «испугавшись триумфального выхода Сергеева на высокую трибуну, принялись срочно наклеивать на его концепцию замудрые ярлыки, свидетельствующие об одном — о теоретическом бессилии самих «наклейщиков».

Что же такого сообщил высокому собранию изгой науки, простой профессор, самый обыкновенный на первый взгляд доктор экономических наук, вроде бы непритязательный завкафедрой политэкономии?

Пожалуем на пир мысли.

Выступление профессора и впрямь сильно отличалось от речей других участников конференции. Иные-прочие «замудро» ломали голову над тем, как приостановить распад потребительского рынка. События идут пока в неблагоприятную сторону. Есть у экономистов такое понятие: горячие деньги. Это те сбережения, которые жгут руки,— дай товар, и люди в миг истратят накопленное. К началу 1989 года сумма горячих денег оценивалась в 70—100 миллиардов рублей, к нынешнему январю их стало никак не меньше 165 миллиардов. Общие сбережения — около 500 миллиардов, что примерно равно годовым денежным доходам населения: среднестатистическая душа может год не работать, деньги на прожитье есть. И вся эта астрономическая сумма горячеет, накаляется: когда товары дорожают, исчезают из продажи, мы с вами готовы покупать что попало,— иначе как бы не пришлось потом оклеивать купюрами стены. В таких условиях возрастет ли выпуск товаров внутри страны, приобретут ли ширпотреб за границей — все проваливается в ажиотажный спрос, как в черную дыру. Дело идет к тому, что все 500 миллиардов сбережений хлынут на потребительский рынок. Тогда катастрофа — придется закрыть магазины за ненадобностью. А куда станем девать получку, чем жить?

Для профессора Сергеева тут проблемы нет: надо просто отнять деньги у богатых. Предлагается и механизм экспроприации: денежная реформа. До десяти тысяч рублей на душу старые деньги беспрепятственно обмениваются на новые рубль за рубль, а сверх этой суммы — только если докажешь честное происхождение накоплений. По словам профессора, «совбуры» (советские буржуи), подпольные миллионеры располагают капиталом минимум в 500 миллиардов. Происхождение этой цифры неизвестно. Впрочем, один расчет профессор обнародовал: всего лишь три процента вкладчиков сконцентрировали в своих руках 80 процентов суммы вкладов в Сбербанке, средняя величина их вкладов 25—30 тысяч рублей. Этот расчет теперь то и дело оглашают на митингах, на него неоднократно ссылался один из вдохновителей Ленинградского объединенного фронта трудящихся Б. Гидаспов. Но ведь цифры нетрудно проверить. Статистика определенно указывает: на вклады величиной свыше 25 тысяч рублей падает лишь 0,6, а не 80 процентов сбережений. Объявленная А. Сергеевым цифра подпольных капиталов (500 миллиардов) подозрительно точно совпадает с общими сбережениями населения, которые, как уже сказано, «горячеют» и дезорганизуют рынок. Намек ясен: пошерстим миллионеров — и ситуация в торговле сразу стабилизируется. Шариковский лозунг «Грабь награбленное» на крутых поворотах истории действует безотказно, это мы проходили.

Строго говоря, чрезвычайной нужды в обмене денег нет — денежная реформа уже происходит, только не так, как учит нас профессор, а ползучим способом. За два последних года номинальные доходы населения выросли на 105 миллиардов, или примерно по тысяче на семью из трех человек, товаров же практически не прибавилось, кроме разве что водки. А в оборот поступают новые мешки купюр — Гознак вдвое сократил производство орденов, сильно уменьшил выпуск партбилетов и переключил мощности на печатание денег. Если и дальше дело пойдет так, нынешние, да и будущие сбережения обратятся в труху,— это уже бывало в истории. Тогда отмена старых денег и введение новых станет чисто формальным безболезненным актом.

И вот при денежном половодье профессор предложил... что бы вы думали? Не повышать в ближайшие годы норм выработки и не снижать расценок на предприятиях. Иными словами, быстро и постоянно увеличивать зарплату всему рабочему классу без какого-либо прироста продукции в расчете на рубль заработка. Что же это будут за выплаты, что на них купишь? Ведь цены на товары неизбежно начнут галопировать. Нет, этого профессор не желает. Он вносит предложение снижать цены, для чего, по его мнению, достаточно доводить до предприятий-товаропроизводителей строжайшие задания на сей счет.

По поводу этой «наработки» ОФТ известный экономист В. Гуревич рассудительно заметил в печати: если бы в нормальной стране кто-то сказал, будто ему известен механизм снижения цен в условиях всеобщего дефицита, то из вежливости его попросили бы приоткрыть великую тайну; а услышав, что надо, мол, спускать предприятиям вместо показателя прибыли показатель снижения цен, при всем плюрализме, такого мыслителя лишили бы слова навсегда. Ибо стой не стой в пикетах, никаких показателей в тех странах предприятиям спускать не станут. Триумфальное, блестящее и какое там еще выступление А. Сергеева, по честной оценке, есть эклектический набор нереальных, бессмысленных, но весьма привлекательных и потому беспроигрышно популярных мер. А уж что из них выйдет, не его забота — за последствия пусть отвечают те, кто «парит где-то близ вершин власти».

Конечно, выступление на конференции еще не научный труд, многое поневоле приходится излагать тезисно. Однако я не поленился прочесть объемистые статьи А. Сергеева в журнале «Экономические науки» и его беседу с тем же восторженным поклонником А. Салуцким, напечатанную в журнале «Наш современник» (1989, № 10). Хоть поверьте, хоть проверьте — чего-либо нового сравнительно с речью в Колонном зале там не содержится, кроме разве что обычных ныне нападок на кооператоров да экспрессивных призывов к восстановлению централистского управления хозяйством (автор проектирует создание целого «стратегического эшелона, функционирующего в особом планово-централизованном режиме»; эшелон расписывал бы, кто и что должен производить, делил бы ресурсы, контролировал бы через сеть информаторов исполнение директив центра).

Профессор не одинок в подобных суждениях и рекомендациях. Действительно, в последнее время сложилась целая школа экономистов и обществоведов, по всем значимым пунктам противостоящая перестройке народного хозяйства, переменам в обществе. Салуцкий назвал ее реальной в отличие от академической. Пусть будет так, дело не в имени. Однако совершенно неосновательно сетовать, будто «реалисты» не имеют доступа к главным источникам гласности. Помимо журнала «Экономические науки», в их полном распоряжении такие массовые издания, как «Литературная Россия», «Советская Россия», «Наш современник», «Молодая гвардия». «Реалистов» не спутаешь ни с кем — они узнаются уже по манере письма: крайняя агрессивность, нетерпимость к инакомыслящим, предельная простота и решительность в подходе к проблемам жизни.

Как мне представляется, руководящую экономическую концепцию этой школы четче и последовательнее других изложил экономист Владимир Якушев в статье «Нужна ли ВЧК перестройке!» («Молодая гвардия», 1989, № 7). Вникнем в ход его рассуждений — они того заслуживают.

Развитие экономики, по мысли автора, во все времена и в любом обществе проходит один и тот же ряд последовательных этапов: натуральное хозяйство — простое товарное производство — капиталистическое товарное производство — товарное производство периода империализма, когда свободный рынок уже не действует,— и, наконец, непосредственно общественное, то есть социалистическое производство. Если отбросить первый этап (натуральное хозяйство, которого давно нет), то получается однонаправленный исторический процесс: движе-

ние от товарных отношений к нетоварным, когда хозяйство регулируется уже не рынком, а планом.

Автор рассматривает этот процесс как безусловно положительный, открывающий простор для развития производительных сил. Но тогда встает каверзный вопрос: судьей теории служит практика, а она вроде бы не подтвердила особых достоинств нетоварной, плановой модели? В. Якушев не уходит от ответа: «Действительно, существующая хозяйственная система работает плохо. Причины этому может быть две: либо она имеет изначальные пороки в конструкции, делающие ее непригодной, либо она по каким-то причинам испортилась, скажем, засорилась чем-то». Нет, конструкция хороша, и пока ее не трогали, дела шли как надо: «Компас марксистско-ленинской теории указывал на необходимость двигаться в направлении уменьшения роли товарно-денежных отношений. До 1958 года этот курс выдерживался. Шаг за шагом были вытеснены из экономики такие системные признаки товарного производства, как рынок, конкуренция, свободное ценообразование, торговля средствами производства, ориентация производителей на прибыль». Случались, правда, и ошибки, вроде нэпа, но с этим чужеродным явлением в ту пору «сравнительно быстро разобрались».

Итак, все хорошо.

Тогда почему все плохо?

В послесталинский период, как рыжий в цирке, выскочили экономисты-товарники и начали крушить замечательную конструкцию. Они подготовили реформу 1965 года, с которой и начались все беды: дефицит товаров, рост цен, растранжиривание труда, торможение научно-технического прогресса, ведомственность, ухудшение планирования. «...Все эти «цветы» произрастают из одного корня — из решения усилить роль товарно-денежных отношений в то время, когда материальные основы для них уже исчезли.

Поставив во главу угла стоимостные показатели, реформа тем самым создала ложные ориентиры в деятельности предприятий. Эти показатели, собственно, и явились теми «чужеродными телами», которые как клин были вбиты в основание системы централизованного управления экономикой. Система не смогла их полностью отторгнуть, и они создали постоянно действующий фактор дезорганизации экономики».

Что всего вреднее — уже в наши дни рыночники задают тон науке и практике (В. Якушев называет ту же обойму имен). Они пролезли в печать, на радио, телевидение со своими предложениями. «Суть их сводится к тому, чтобы клин из «чужеродных тел», уже вбитый в централизованную систему управления, пробить до конца, «рассыпать» систему и построить отношения между «атомизированными» экономически самостоятельными предприятиями на рыночной основе».

Ладно, чего не надо делать, теперь ясно. А что надо? Ну как вы не понимаете — вернуться к старой доброй системе, вытравив из нее присутствовавшие прежде стоимостные показатели, чтоб не смущали душу. Предприятиям следует задавать планы прямо в натуре — в парах обуви, тоннах металла, метрах ткани и т. д. Учет произведенного пойдет уже не в рублях, а сразу в часах рабочего времени. За свой труд люди поимеют расписки, квитанции, по которым и получат от общества все, что надобно для жизни. Лишь по традиции эти расписки будут называться деньгами. Распределять квитанции («трудовые деньги») автор предлагает так: одна часть оплаты труда гарантирована, другая, бóльшая, зависит от успехов в социалистическом соревновании.

Вот, собственно, и все. Остается лишь добавить, что в своих логических построениях и рекомендациях автор ни на миллиметр не отклонился от экономической теории основоположников «единственно верного учения». Если бы на сей счет понадобилось зачем-то еще и мое подтверждение, охотно свидетельствую, концепция классиков объяснена абсолютно верно, цитаты из них, оснастившие статью, точны и уместны. Кто сомневается, пусть прочтет хотя бы несколько работ основоположников — особенно идут к делу «Анти-Дюринг», «Нищета философии», «Маркс и Родбертус», «Критика Готской программы». Один к од-

ному со статьей В. Якушева! В этом смысле наш теоретик-реалист выгодно отличается от многих экономистов-перестройщиков, которые желают как-то так усовершенствовать, осовременить идейных учителей, чтобы те благословили из могил сегодняшние поиски путей в будущее. Пустая затея!

В спор с современными утопистами нечего и ввязываться — вы никогда не уличите их в логических противоречиях, подобно тому как самый искусный патентовед, случается, не в силах найти изъяны в хитроумном проекте вечного двигателя (а заявки на такие изобретения до сих пор поступают десятками). К несчастью для страны, лучший из всех мыслимых проектов, так сказать, вечного двигателя экономики был принят у нас к исполнению, утопия пришла к власти и растрачивает силы одного поколения за другим на построение механизма, призванного облагодетельствовать человечество. Сколько б ни случилось неудач, объяснение наготове: мы не так строили, отклонились от чертежей (или, напротив того, слишком буквально поняли проект, тогда как в нем содержалось иносказание). Вот тот же В. Якушев в согласии с классиками предлагает планировать производство в натуре, в так называемых потребительских стоимостях. Спроси его, откуда планировщики загодя узнают, сколько людям понадобится рубах в синий горошек, колготок с обезьянами, садовых тракторов, оконных блоков и еще 25 миллионов видов продукции,— теоретик научно ответит: «Переход к показателям учета и оценке результатов труда на основе потребительской стоимости рассматривается в теории марксизма в качестве одного из основных условий социалистического преобразования общества».

Не возразишь — и впрямь рассматривается. Но даже если допустить на минутку, что технически это возможно, то сколько же плановиков и контролеров за планами понадобится? А сколько надо, столько и будет: «Это те люди, которые, что называется, «крутят колеса», и перестань они делать свое дело — машина встанет». Пусть так, но на Западе вручную административные колеса не крутят, а вроде бы живут не тужат? Как же, много вы понимаете: «Рыночный механизм может эффективно обслуживать только слаборазвитые производительные силы... На первый взгляд это утверждение опровергается опытом развитых капиталистических стран. Но... там повсеместно идет замена рыночной координации административной, и она, по оценкам западных специалистов, является многократно более эффективной, чем рыночная. Вот так! В то время как мы пытаемся из административной системы сделать рыночную, в развитых капиталистических странах поступают наоборот». А что? Не постеснялся же известный писатель заявить, будто настоящий социализм построен не у нас, а как раз на Западе. Теперь мы знаем, как они там исхитрились свершить такое: всего-навсего буквально следовали Карлу Марксу и Владимиру Якушеву. Вот-вот начнут планировать из Белого дома выпуск виски, автомобилей и прочего добра, распределять все это среди бестолковых американцев и американок по талончикам, квитанциям, в крайнем случае по «трудовым деньгам» (там их будут называть, очевидно, трудодолларами).

Но пошутили — и будет. Если дискутировать с «реалистами» можно не раньше, чем скушавши пуд гороху, если бесполезно тыкать им в нос цифры, факты, доказывающие, что плановая система никогда, ни в одной стране не была эффективной (они не услышат вас, на всю оставшуюся жизнь верные ортодоксальной теории), то отнюдь не бесполезно выявить, где оппоненты действительно правы, в чем их критика академической школы и верна, и глубока.

В той борьбе, которая сотрясает наше общество до глубинных основ, зачинщики перестройки сознательно занимают центристскую позицию. Сам М. С. Горбачев при каждом очередном конфликте старательно дистанцируется как от консервативных сил, так и от радикальных. Позиция удобная и в общем-то практичная. Во всяком случае, она позволяла великому мастеру компромисса М. С. Горбачеву владеть событиями, упреждать открытые схватки противоборствующих сил с непредсказуемыми последствиями. А что такое вообще политика,

как не искусство компромисса? Однако еще мудрый Гете предупреждал: «Говорят, что посредине между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоим образом! Между ними лежит проблема...» И она, эта проблема, сегодня в том, что общество стремительно поляризуется, происходит размежевание масс, которые вчера еще были всего лишь объектом истории.

В самом деле, чем силен Горбачев? Наступали правые — он смещался влево, поддерживал своим огромным авторитетом теснимых радикалов. И наоборот. Всякий раз восстанавливалось некоторое хрупкое равновесие, относительное спокойствие, желательное для проведения неспешных реформ. Социальной базой центристов служат слабополитизированные слои населения — их умелый политик может повести за собой и туда, и сюда. С поляризацией общества сжимается, скукоживается пространство для маневра. Нам толкуют: все мы в одной лодке, и не надо ее раскачивать. Но смахивает на то, нет у нас больше никакой лодки, а есть доска, поставленная на ребро. На ней долго не побалансируешь, центристам нужно спешно определяться — иначе они станут получать удары справа и слева, как оно и бывает в драке. Девиз кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно» — больше не проходит.

Бесплодность центризма проявилась в экономических преобразованиях, пожалуй, раньше, нежели в иных сферах бытия. Перестройку начинали люди не с улицы, а из высших эшелонов власти. За десятилетия практики они лучше других постигли, сколь неэффективна планово-административная система. Однако им была еще более чужда западная рыночная модель...— да что там темнить, назовем вещи своими именами: современная капиталистическая организация производства, в основе которой лежит рынок, хотя бы и регулируемый государством. Вот и был сконструирован умозрительный кентавр, именуемый социалистическим рынком. В принципе он устраивал всех. Одни считали: раз рынок, значит прогресс. Другие подчеркивали слово «социалистический» — не надо, мол, паниковать, потрясения основ не предвидится.

Все дело в том, возможен ли такой кентавр, не является ли он лишь химерным уродцем блудливой мысли? Короче, совместимы ли план и рынок? Единственное (но немалое!) достижение «реальной школы» я вижу в том, что она поставила эти вопросы и выдала верный ответ. Послушаем В. Якушева: «...в теории утвердилась и продолжает доминировать точка зрения, что планомерность и товарность не противостоят друг другу, как полагали классики, а дополняют. Эта точка зрения импонировала здравому смыслу, склонному искать истину посредине, и большинство теоретиков поспешило устроиться в «золотой середине», где удобно себя чувствуют и поныне». Другой «реалист» чеканит: «Непосредственно общественные отношения и отношения, опосредованные рынком, деньгами, противоположны, несовместимы, отрицают друг друга. Всякие попытки их как-то соединить, сочетать, дополнить одну другой есть эклектизм в теории, беспринципное шараханье в практике» («Экономические науки», 1987, № 8, стр. 51).

Раз одно с другим несовместимо, надо делать выбор. Свой выбор «реалисты» объявили: никакого рынка, только возрождение и усиление плановой командно-административной системы. Иначе говоря, эти экономисты заняли позицию справа от центра. Они противники перестройки в принципе и в таком качестве обслуживают консервативный, ретроградный стан, набирающий силу буквально на глазах.

Однако фантом социалистического рынка можно отвергать и слева, с позиций последовательно рыночных. Так поступают радикалы, или, по более выразительной терминологии, «экстремисты». Они известны мне и лично, и по печатным трудам, но называть имена, пожалуй, не стоит: гласность гласностью, а при случае шарахнут такого начальнической цитатой по голове — не вдруг очухается. Приведу поэтому мнения людей, недоступных карающей деснице. Венгерский реформатор М. Пулаи назвал попытки изобрести особый «социалистический рынок» детской болезнью. В его стране пришли к выводу: надобно сменить и экономическую модель, и политическую систему. А вот заявление Председателя правительства Чехословакии Мариана Чалфы: «Долгосрочной экономической целью правительства национального согласия является подготовка перехода к рыночной экономике, потому что только та способна создать рациональное народное хозяйство, повысить жизненный уровень народа и разумно использовать природные ресурсы. Мы не можем позволить себе экспериментировать с какой-то до сих пор никем не проверенной экономической моделью, основанной на комбинации принципов, сама совместимость которых нигде не была доказана. Рыночную экономику мы должны принимать со всеми ее достоинствами и недостатками» («Правда», 12 января 1990 г.). Вот это мужской разговор.

Раньше чем сделать выбор, давайте наконец разберемся, вокруг чего ломаются копья, что это за штука такая — рынок, отчего одни на дух его не принимают, а другие и склонны бы допустить, но в особой, нашенской форме. На первый взгляд дело проще пареной репы: производители материальных благ — частники, кооператоры, государственные предприятия — работают не на план, не по директиве сверху, а сами, на свой риск и страх, определяют, какую продукцию изготовлять. Естественно, ту, в которой нуждается покупатель и которую можно продать подороже. Между продавцами возникает конкуренция, борьба за покупателя, богатеет и процветает тот, кто предложил товар дефицитный, лучшего качества и по доступной цене.

Так что ж тут дурного? Нам, покупателям, того и надо. И что за злыдни эти «реалисты», как они смеют препятствовать очевидным нашим выгодам? Однако не все так просто. Под собирательным понятием «рынок» действует разом не один, а целых три рынка: рынок товаров (мы его только что описали), рынок капитала и рынок труда. Подобно божественной троице, они единосущны, то есть поодиночке невозможны. Глубокое теоретическое заблуждение облеченных властью экономистов академической школы заключается, на мой взгляд, как раз в том, что, по их определенно выраженному мнению, мыслимо выхватить из этой троицы одну, самую привлекательную ипостась, а именно товарный рынок, который через конкуренцию производителей насытит торговлю, удовлетворит нужды и капризы потребителей. В действительности этот рынок есть лишь заключительный этап товарного производства. Он, так сказать, оборудует ту витрину западного способа производства, перед которой любят стоять разинув рты наши туристы. Но блеску витрин супермаркетов предшествует будничная, внешне неприметная работа, исполняемая двумя другими рынками — капитала и труда. Глянем на них.

В недавней поездке по ФРГ я побывал на фондовой бирже в Штутгарте. Это и есть рынок капитала. Голосистые маклеры, расположившись на кафедрах, выкрикивают, по какой цене они готовы купить или продать те или иные акции. Если партнер сыскался, оба идут в кабинку за трибунами и оформляют сделку. Но, боюсь, читатель мало чего понял из этого описания. Привычные на Западе слова «маклер», «акция», «дивиденд» у нас прочно забыты за ненадобностью, так что давайте-ка с самого начала и попроще. Допустим, у вас есть свободные деньги. Можно хранить их в чулке, если происходит инфляция, то есть обесценение денег. Разумнее положить деньги в банк, где на них будут начислять процент. Велик ли процент? А это смотря в каком банке, там их в каждом крупном городе десятки, а может, и сотни. Есть государственные, есть частные с вековой историей и, значит, с солидной репутацией. Такие обычно не платят вкладчикам рекордного процента, но зато вы можете быть уверены в сохранности вклада. Где процент выше, там и риску больше.

Само собой, банкиры собирают деньги не для того, чтобы, подобно скупому рыцарю, любоваться ими на досуге («Хочу сегодня пир себе устроить: Зажгу свечу пред каждым сундуком. И все их отопру, и стану сам средь них глядеть на блещущие груды. Я царствую!.. Какой волшебный блеск!»). Нет, банки пускают чужие деньги в оборот. Например, финансируют такие производства, которые принесут больший доход, нежели плата вкладчикам по процентам. Как остроумно выразился крупный американский финансист, банк есть предприятие, которое производит особую продукцию — деньги. Механика проста: банк покупает через посредников (маклеров) акции — ценные бумаги, удостоверяющие, что их владе-

лец приобрел пай в стоимости данного предприятия. Теперь он вправе получать доход (дивиденд) с каждой акции. Любой вкладчик может поручить банку купить на его имя акции определенного предприятия.

На бирже в Штутгарте мне подарили курсовой бюллетень, в котором указана стоимость акций тысяч и тысяч предприятий. Цена различается многократно. Отчего так? Вот тут-то и заключена движущая пружина рыночного хозяйства. Допустим, мы с вами купили по одинаковой цене (по сто немецких марок) акции двух разных фирм. Через год моя принесла обычный средний доход, скажем, 10 процентов (10 марок), а ваша — вдвое больше, то есть 20 марок. Мне и вам понадобились живые деньги, и мы решили продать наши ценные бумаги. За мою мне вернули ту же сотню марок, что я уплатил год назад, а вы получили двести марок. Несправедливо? Но ведь покупателю все равно, приобрести ли две такие акции, как моя, или одну вашу — в том и другом случае, при прочих равных условиях он получит одинаковый «припек» — 20 марок.

На первый взгляд тут происходят чисто спекулятивные операции: вот же паразиты — не работают, а богатеют. Что ж, можно рассуждать и так, рыночная модель обеспечивает не справедливость, а всего лишь эффективность экономики. Фирмы, чьи акции дорожают, непрерывно подпитываются капиталом. Они имеют возможность быстрее других обновлять и расширять производство у себя, приобретать чужие предприятия, чтобы организовать там дело по-современному. Происходит как бы естественный отбор наиболее жизнеспособных фирм. Это решающий стимул технического и организационного прогресса: отстал — разорился. И не надо горевать о неудачниках — видно, не за свое дело взялись.

Сейчас вот, например, теснит конкурентов японский капитал. Ученый-экономист, у которого я жил под Кельном, купил японскую автомашину. Как он рассказал, соседи пристыдили его: не патриот, мол, раз не поддерживаешь немецких промышленников. Патриотизм — дело хорошее, но больно уж велик соблазн. Японцы первыми оснастили новые модели машин катализаторами — устройствами для поглощения выхлопных газов. По законам ФРГ, владельцы таких машин на пять лет освобождаются от экологического налога, а это шестьсот марок в год (средняя недельная зарплата!). Кроме того, японские фирмы первыми ввели бесплатное техобслуживание машин в течение двух лет.

Теперь, надеюсь, понятно взаимодействие рынка капитала и рынка товаров. Товарный рынок, как сверхчувствительный прибор, отслеживает, вынюхивает неутоленный спрос и посылает сигналы рынку капитала, то есть фондовым биржам: дефицит там-то и там-то, на покрытии его можно хорошо заработать. Товарный рынок угадывает едва обозначившиеся, а то еще и вовсе неведомые потребности покупателя — в видеомагнитофонах, переносных телефонах без проводов, автоматических фотоаппаратах, автомобилях с бортовым компьютером, думающих роботах, а фондовые биржи воспринимают импульсы, поступающие из торговли, весьма наглядно: в виде повышения курса акций тех предприятий, которые готовы заполнить бреши дефицита, или, напротив, падения цен акций, если каким-либо товаром рынок перенасыщен. Перемещение, перелив капитала из одних отраслей и производств в другие — вот движитель саморазвития, самонастройки и рыночной экономики.

И нам бы так. Да вот беда: капитал не бывает ничьим. Покупая акцию, человек приобретает не просто красивую бумагу с водяными знаками, а часть предприятия. Он становится собственником этой доли и вправе распорядиться ею, как того пожелает,— продать, подарить, передать по наследству. Иначе говоря, на рынке товаров могут конкурировать только собственники средств производства. Да, на поверхности явлений рынок есть постоянный и добровольный обмен между собственником денег и собственником товара. Однако в последнем счете, в крайнем звене цепочки обменов собственником товара выступает собственник средств производства, на которых этот товар изготовлен. И если мы желаем в какой-то перспективе иметь по-западному насыщенный рынок жизненных благ, нам безнадежно мало объявленной ныне свободной конкуренции товаропроизводителей — требуется приватизация средств производства. Товарный рынок существует там, тогда и постольку, где, когда и поскольку действует рынок капитала, на котором собственность переходит из рук в руки.

Вот здесь-то все мы, сверху донизу, и повязаны идеологическими догмами. Как сказано в «Коммунистическом манифесте», «...коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности» [1]. Экономика императивно требует утверждения частной собственности, идеология — ее уничтожения. Часто говорят: страна на краю пропасти. Продолжим этот образ: на узком мостике над пропастью сошлись экономика и идеология, уперлись лоб в лоб, той и другой обратного ходу нет — не развернешься. Кому-то лететь в бездну. Компромисс исключен, он означал бы просто бездействие — авось, мол, противостояние как-то само собой разрешится. Этого не будет.

Уже сегодня фантом особого, социалистического рынка мало кого вдохновляет. В сущности, это попытка совместить привлекательный товарный рынок с государственной собственностью на средства производства. «Далеко не всегда,— утверждает ненавистный «реалистам» академик Л. Абалкин,— для того, чтобы быть хозяином, надо быть собственником, хотя такое понимание довольно широко сегодня укоренилось и распространилось в общественном мнении. Совершенно ясно, что за государством остается практически исключительное положение в формировании производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающей целостность народного хозяйства...» Но что такое в этом тексте «исключительное положение» государства, как не исключение самой мысли о рынке капитала, недопущение даже намека на неподконтрольный аппарату перелив средств в производство нужных рынку товаров?

Раз рыночный регулятор отвергнут, государство и впредь оставляет за собою обязанность перемещения, переброски капиталов из отрасли в отрасль, из одного производства в другое. Делается это через так называемые приоритеты: производства, объявленные предпочтительными, получают льготы в финансировании расширенного воспроизводства, в обеспечении ресурсами, на их продукцию назначаются выгодные цены, работникам — повышенная зарплата и т. п. Вспомним приоритет тяжелой промышленности, пятилетку химии, пятилетку машиностроения, теперешние приоритеты сельского хозяйства и потребительского сектора экономики. Но предпочтение одним — это всегда, если можно так выразиться, недопочтение другим. Покамест государство стягивает ресурсы в приоритетные отрасли, другие приходят в упадок, их в свой черед приходится объявлять ударными. Мы получили в итоге неизбывные дефициты, скособоченную экономику, работающую на самое себя и неспособную обслуживать человека.

Теперь нам сулят: отныне станем планировать правильно, выберем приоритеты истинные, распределим капиталы по-научному. Как по-научному? Этот секрет раскрыл нам министр финансов В. Павлов. Оказывается, прежние планы никуда не годились по той причине, что составляли их в неверных ценах. На одни товары назначали такие цены, что изготовители без особых усилий получали сверхприбыль, тогда как другие не вылезали из убытков, хоть пупок порви от усердия. Государство вынуждено было выравнивать условия посредством повышенных нормативов отчислений в бюджет от прибыли предприятий-счастливчиков и дотаций неудачникам. Индивидуальные нормативы — это чистый произвол. Стало быть, нужен единый норматив. А он возможен, по мнению министра, если действует правило «Равная прибыль на равный капитал». С этим расчетом и следует установить цену, а уж тогда, при научных ценах, легко будет сверстать правильную, научную пятилетку (и, добавим от себя, провалить ее по всем правилам в тринадцатый раз).

Таково последнее слово реформаторов из академической школы, теоретиков социалистического рынка. Читатель, даже не сведущий в тонкостях экономики, давно, полагаю, сообразил: нормальная экономика, вся без остатка, держится как раз на том, что производители получают *разную* прибыль на равный капитал. Разную, а не равную. Деньги, вложенные в перспективное, хорошо поставленное дело, приносят и повышенный дивиденд. В противном случае соб-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 4, стр. 438.

ственникам денег было бы совершенно безразлично, какие акции покупать — любая приносит один и тот же доход. Тогда переливов капитала не происходило бы, на равных финансировались бы предприятия как закрывающие дефицит, так и выпускающие ненужную продукцию. А это летаргия, затем смерть экономики.

Между прочим, теория рыночного социализма нисколько не нова. Еще в тридцатые годы ее выдвинул западный экономист Оскар Ланге, причем его модель предусматривала в точности то же, что предлагает нам сегодня академическая школа: некое центральное плановое бюро устанавливает правильные цены, которые предопределяют правильное поведение предприятий. Обсуждение этого проекта светилами мировой экономической мысли получило тогда название Великой Дискуссии. Теоретики показали несостоятельность проекта, а много позже практика реформ в социалистических странах убедила, что ничего, кроме бюрократизации экономики, из этой затеи не выходит. Всемирно известный венгерский ученый Я. Корнаи ехидно заметил: «Модель Ланге базируется на ошибочных допущениях, касающихся природы «плановиков». Служащие его Центрального планового бюро являют живое воплощение платоновых философов, олицетворение единства, бескорыстия и мудрости... Такое не от мира сего чиновничество никогда не существовало и существовать не будет».

А главное, у чиновников нет управленческого инструментария, сравнимого с рыночными регуляторами. Достоинство рынка капитала заключается еще и в том, что он настраивает производство с изумительной точностью — нужны не просто легковые автомобили, а с катализаторами, особо прибыльно изготовление не всяких телевизоров, а с повышенной четкостью изображения и с дистанционным управлением без проводов. Плановая настройка хозяйства много грубее исходно, в принципе. В самом деле, к чему толкает экономику баланс, справедливо считающийся сегодня самым важным,— между денежными доходами населения и их товарным покрытием? Единственно к насыщению платежеспособного спроса в валовке, в стоимостном выражении. Если цифры доходов и товарного вала сошлись, то вроде бы все в порядке. Но чем, каким товаром наполнены рубли валовки? Ведь нехватку мыла не покроешь изобилием ковров, электродрели не заменяют мяса. Последующие плановые расшифровки общего задания на товарные группы (столько-то пар обуви, столько-то магнитофонов) не спасают положения — на душу населения можно нашлепать обуви больше всех в мире, а на ноги... сами знаете. Ситуация сродни той, что описал Чехов в «Жалобной книге»: «Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов». «Лопай, что дают».

Лопаем, куда денешься. И это еще не худший из вариантов. За четыре года пятилетки выпуск потребительских товаров возрос на 68 миллиардов рублей, а ныне запланировали прибавить 66 миллиардов — почти столько, сколько за весь предыдущий период. Можно не сомневаться: будет произведена увеличенная цифра, не более того. Предприятия станут еще нахальнее вздувать цены, чтобы исполнить неподъемные планы, а государство в очередной раз закроет глаза на эти маленькие хитрости. Других способов сколько-то соблюсти баланс доходов и расходов населения все равно нет. Независимо от намерений начальства планирование год за годом, десятилетием за десятилетием демонстрирует полную неспособность рационализировать структуру отраслей, заставить экономику работать на человека. Эту задачу способен решить только раскрепощенный, выпущенный на волю капитал. Различия в норме прибыли безошибочно указывают, куда он должен переместиться в интересах покупателей и общества в целом.

Прокламированный ныне товарный рынок без рынка капитала создает конкуренцию особого рода: предприятия и отрасли улещают не покупателя, но государство, казну, соревнуясь, кто больше оттяпает лимитов, дотаций, денег в долг без отдачи, инвестиций, кто изловчится выцыганить план помене, льгот поболе, цены пожирнее. Реформаторы подменили право собственности на средства производства вздорным понятием самостоятельности трудовых коллективов. Это поистине безумие: сохранить средства производства за государством и в то же время дать людям самостоятельность в их использовании — как хочешь, так и

распоряжайся чужим добром. Результаты не заставили себя ждать. Даже официальная статистика сигнализирует о затухании прироста производственного потенциала страны. В 1970 году ввод основных производственных фондов составил 10,5 процента от их наличия, выбытие — 2,3 процента. Разница между этими величинами (8,2 процента) характеризует чистую прибавку фондов. В 1985 году эта прибавка снизилась до 5,4, в 1988-м — до 4,6 процента. Из анализа плана на 1990 год видно, что средства, расходуемые на расширенное воспроизводство, ныне сократятся в 1,2 раза сравнительно с 1988 годом.

Это по официальным данным. В действительности положение гораздо хуже. По нашим расчетам, стоимость строительства возрастает как минимум на 30 процентов каждую пятилетку, а в последние два года цены на инвестиционные товары будто с цепи сорвались. Между тем новые фонды засчитываются в баланс по их номинальной стоимости и приплюсовываются к действующим фондам, оцененным в свое время другими, более весомыми рублями. Если пересчитать все добро в сопоставимые рубли (в так называемую восстановительную стоимость) да сверх того учесть скрытое выбытие (фонды еще не списаны, но устарели и не приносят должной отдачи), то станет очевидно: вводы фондов далеко не покрывают их выбытия, мы проматываем главное материальное богатство страны — ведем себя как перед концом Света.

Казенное, бесхозное — да кто ж его станет беречь и приумножать? Урвать побольше заработка с казенного завода, урвать немедля, пока хозяин не застукал,— вот это славно, это по-нашенски, по-люмпенски, однова живем. Сейчас государство-собственник спохватилось и отменило выборность директоров — их снова будут назначать. Станет ли лучше? Навряд ли. Нам все не впрок, пока собственность казенная. Действительно, за рубежом на акционерных предприятиях работники руководителей не выбирают. Наблюдательный совет подбирает, нанимает таких директоров, которые не приведут производство к упадку — иначе акции быстренько обратятся в макулатуру.

Но вот я вспоминаю прелестный рассказ Бориса Шергина «Ничтожный срок». Дело было в старину на артельной верфи в архангелогородском Поморье. Корабельные мастера и работные люди от пяти берегов Двинской губы собрались выслушать отчет своих выборных. Один доложил: «Я удоволил анбары дорогим припасом, красным лесом. Хватит на два года при большом расходе». Службу эту он управил за девять месяцев. Собрание поблагодарило его — и только. Другой за этот же срок обеспечил верфь инструментом. И ему сказали: «Что ж, ты исполнил свою должность. Но ничего восхитительного тут нет». Третий начал с вопроса: «Известен ли вам художественный мастер и мореходец Маркел Ушаков?» Собрание отвечает: «Ты бы еще спросил, известны ли нам отцы наши и матери! Мореходные и судостроительные чертежи Маркела Ушакова друг у друга отымаем». Тогда докладчик объявил: «Я уговорил Маркела Ушакова принять в свое смотрительное руководство нашу Лисестровскую верфь. Придет сюда на постоянное житье. Но, чтобы расположить Маркела, мне понадобился долгий срок». «Сколь долгий?» — спрашивает собрание. «Девять лет...» Триста человек как один всплеснули руками, встали, закричали: «Мало, совсем мало времени потратил ты, Панкрат Падиногин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок». Так вот как это назвать — выборы, назначение, приглашение? В том ли суть? Можно поступать так и эдак, смотря по обстоятельствам. Важно, кто назначает или выбирает — собственники или поденщики, хозяева или временщики. Ладно, отныне у нас директоров станут назначать. И что? Назначенцы будут смотреть в рот вышестоящим, служить партийно-государственному аппарату, а он так и не доказал за семьдесят лет своих способностей сносно распорядиться казенным имуществом.

Нет уж, без приватизации средств производства, как ни крути, не наладить нам здорового хозяйства. Такая перспектива для «реалистов» невыносима. «Мы перестанем быть сами собой, если поступимся нашими социалистическими ценностями, позволим яростным псевдодемократам дурачить людей сладенькими сказками о «народном капитализме», безграничной демократии и беспартийной

гласности»,— дает установку руководитель ленинградских коммунистов Б. Гидаспов («Ленинградская правда», 8 декабря 1989). «В ослеплении мы не видим, что уже на крючке. Еще движение — и мы окажемся на раскаленной сковородке: наши заводы и земли, банки, школы, лечебные учреждения и прочее станут добычей грабителей-толстосумов» — нагнетает эмоции ответственный партработник из Белоруссии Э. Скобелев («Литературная Россия», № 45, 1989). «Наши «товарники-экстремисты» рвут и мечут, доказывая необходимость всеобъемлющего рынка, хотя осуществление их рекомендаций грозит полным развалом советской экономики»,— доносит М. Антонов и по законам жанра называет главного экстремиста — академика Л. Абалкина («Наш современник», 1989, № 8).

Да будет шуметь-то по пустякам! Спешу успокоить тех, кто держал перед Колонным залом плакатик «Прекратить абалканизацию страны!». Академик сто раз клялся, что у него и в мыслях нет приватизировать сколько-то значимые средства производства, допустить рынок капитала. А без этого и товарный рынок невозможен. Стало быть, все останется по-старому, по-вашему.

Согласие скандальных «реалистов» с умеренными и аккуратными реформистами царит и в вопросе о рынке рабочей силы. Понимающий газетчик спросил Л. Абалкина: «Значит, не может быть речи о наемном труде?» «Наемный труд,— отрезал академик,— не расхожий термин, а строго научное понятие, парное понятию капитала. Поэтому считаю, что наемный труд и социализм несовместимы». Как видите, и с этой стороны угроз нашему строю не предвидится. Вопреки мнению радикально настроенных законодателей и как раз по настоянию Л. Абалкина в первую же статью нового Закона о собственности в СССР включена такая запись: «Использование любой формы собственности должно исключать... эксплуатацию человека человеком».

Разберемся, что тут к чему. В чеканной формулировке Закона исключена, заметьте, не вообще эксплуатация человека, а только другим человеком. Государством — это пожалуйста, в том греха нет. Эксплуатация означает, все равно на Западе или у нас, безвозмездное присвоение кем-то части продукта, созданного работником. Остроумна, но теоретически несостоятельна притча о том, как побеседовали японец и наш, советский. «Я работаю шесть часов,—объявил первый.— Два часа на себя, два часа на хозяина и два часа на Японию». Собеседник ответил: «А я работаю два часа, и только на себя. Хозяина у меня нет, а зачем мне работать на Японию?» Будь так, за счет чего страна содержала бы армию, милицию, школы, больницы? На какие шиши мы строили бы жилье и заводы? В этом смысле эксплуатация работника — обязательное условие жизнеспособности общества. Но чем ниже продуктивность труда, чем расточительнее ведется хозяйство, тем большую долю продукта приходится отнимать у производителя, чтобы насытить потребности общества. Тем выше, стало быть, степень эксплуатации. В рыночных экономиках от 60 до 80 процентов времени человек трудится на себя и только 20—40 процентов рабочего дня — на общество. У нас пропорция обратная: примерно две трети созданного чистого продукта непосредственно производителю не оплачивается и поступает в распоряжение государства.

Тамошний работник находится в предпочтительном положении не потому, что хозяева предприятий добры и сострадательны. Рабочая сила там такой же товар, как и всякий другой. Она имеет свою цену, которая в развитых странах, по нашим понятиям, баснословно высока (что выгодно, между прочим, и сообществу предпринимателей — иначе кому бы они продавали автомобили, квартиры, бытовую технику?). Человек имеет возможность продавать на рынке труда свою рабочую силу, будучи ее собственником. Дарованная природой и умноженная обучением рабочая сила — важнейший вид собственности. Это главная производительная сила, создающая богатства общества.

Однако едва государство забирает в свои руки средства производства, как оно фактически экспроприирует и собственников рабочей силы, то есть все трудоспособное население. Человек теперь не может прокормиться иначе, как пойдя в наем к государству. Оно становится монопольным покупателем рабочей силы и как всякий монополист произвольно назначает на этот важнейший товар

цену, какую пожелает (через оклады, тарифные ставки, расценки, нормативы и т. п.). Рынок труда упраздняется, торговаться о цене товара больше не с кем — монополист скупает всю рабочую силу.

Теперь представьте себе, что рядом с единственным покупателем появляется конкурент и начинает набивать цену на этот товар. В прошлом году среднемесячная зарплата в народном хозяйстве составила 240 рублей, а в кооперативах — 500 рублей. Предлагая двойную цену, кооператоры перехватывают у государства работников. Зарождается рынок труда. Потерпит ли государство, привыкшее распоряжаться по своему усмотрению всеми ресурсами труда, рядом с собою конкурента, пусть пока и слабенького, но такого настырного? Ответ каждодневно дает жизнь — кооператоров только что в ступе не толкут.

Такова суть дела. Она затуманена, затушевана словесами об эксплуатации. Действительно, эксплуатация человека человеком звучит некрасиво. Выразим то же самое спокойнее, как это сделал академик Л. Абалкин в помянутом интервью: речь идет о запрещении наемного труда, и ни о чем больше. Наконец, определим смысл понятия третьим способом: государство запрещает нам, естественным собственникам своей рабочей силы, продавать ее кому бы то ни было, кроме как ему, государству. Вот теперь сказано, как надо. В этих условиях рыночная экономика снова невозможна. Есть такая восточная легенда. Падишах велел архитектору построить дворец. Зная порядки в том царстве, зодчий попросил письменный указ и с фирманом под мышкой пошел покупать стройматериалы. Стража схватила его: нарушаешь, мол. Тот показывает шахскую бумагу — нет, не годится, тебе велено строить, вот и строй, а про кирпич и мрамор ничего не сказано. Ладно, выправил мастер еще бумагу, купил, что надо, и стал нанимать строителей. А стража опять тут как тут: пройдемте, гражданин. Зодчий опять к шаху: мол, ваше величество, напиши ты мне такой фирман, чтобы я в своей работе был полный шах. Повелитель подумал и отказал: бог с ним, с дворцом,— если каждый в своем деле будет шахом, тогда зачем я, шах?

Правда, хорошо? Мы толковали уже о движущей пружине рыночной экономики — о перемещении капиталов из одних производств в другие, более полезные и выгодные. Но рынок капитала гроша ломаного не стоит, если нельзя свободно купить рабочую силу для растущих и процветающих производств, если вся она монополизирована шахом или, в нашем случае, государством.

Возможность товарного рынка без рынков капитала и труда — в лучшем случае теоретическое заблуждение, а в худшем — сознательный обман ради успокоения общества, выпускания пара из клокочущего котла.

Прав Л. Абалкин: существующий у нас строй и наемный труд несовместимы. Но ведь то же самое пишут и «реалисты». Идеолог реальной школы В. Якушев с предельной точностью называет условия, при которых только и может действовать рыночная модель: «Это наличие обособленных частных товаропроизводителей, ориентированных на прибыль, конкуренции, свободного ценообразования, рынка средств производства и предметов потребления и, наконец, рынка труда и безработицы». Эти условия «реалисты» считают для нас неприемлемыми столь же определенно, как и реформист № 1 академик Л. Абалкин, как его школа экономистов. Общий знаменатель той и другой школы — сохранение и укрепление существующей системы хозяйства. Разногласия лишь в частностях. Сегодня модно призывать к гражданскому миру. Широко известный «реалист» Александр Проханов рекомендует даже «устроить братание и великое целование» («Литературная Россия» № 1, 1990). Вот и подходящий случай для такого лобызания. Конечно, академическая школа не едина. В обойму имен, составленную ее противниками, довольно-таки произвольно включены мыслители, весьма различные по взглядам. Но даже тех, с кем я решительно не согласен, както не хочется ставить на одну доску с их оппонентами хотя бы уже потому, что одни — широко образованные интеллигенты, другие компенсируют нехватку знаний агрессивностью в полемике. Однако, как говаривали в старину, Платон мне друг, но истина дороже.

М. Кураев

ЧЕХОВ С НАМИ?

ЗАМЕТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ

Со школьных времен, штудируя классику, мы свято помнили о необходимости указать на «историческую ограниченность» самых светлых умов, самых великих талантов. Ордер на «историческую ограниченность» Гоголя, Достоевского, Толстого был заверен высоким авторитетом Белинского, Горького, Ленина. Ордер этот сообщал чувство «исторического превосходства», чувство, едва ли не руководящее при сооружении здания самодовольного невежества.

Много лет назад, в студенческую пору, в самом начале 60-х, мной была подготовлена и опубликована работа «Чехов на экране», содержавшая ряд наблюдений литературоведческого характера, комментарий к «охотничьим рассказам» Чехова.

Беря в руки произведения писателя в 1990 году, когда широко отмечается 130-летие со дня его рождения, невозможно умолчать о тех открытиях, которые делаешь, сравнивая себя, читающего Чехова сегодня и тридцать лет назад. Перечитывая, казалось бы, давно знакомые рассказы и пьесы, вдруг обнаруживаешь собственную «историческую ограниченность», открывающуюся в таком обширном многообразии, что ограниченность эта становится как бы сопутствующим сюжетом при чтении.

Можно ли отнести подобное ощущение — будто читано раньше было по складам при свете лучины — лишь к субъективным обстоятельствам? Конечно, можно, но гораздо интересней и существенней, пожалуй, иное.

Еще тридцать лет назад Чехова читало общество, успешно завершившее борьбу с либерализмом. В связи с этой исторической победой сразу же обнаружилась острая нехватка просто порядочных людей. Для закрепления победы и гражданского умиротворения само понятие «порядочность» было выведено из употребления. «Словарь по этике» 1963 года такого понятия не имеет, зато знаменует собой триумф политизации этики.

Что старое-то поминать... Старое? Читаем в юбилейном сборнике 1990 года: «При политической нейтральности Чехов оставался этически безукоризнен: все его поступки были поступками величайше порядочного интеллигентного человека. Не меньше, но и не больше». Вот так!

Да, от Моцарта мы ожидали большего. Но могли ли мы мечтать и желать большего, чем порядочность, от т. Сталина или т. Брежнева?

Примат политики над этикой вошел в нашу плоть, как уголь в легкие шахтера. Навсегда.

Этический ригоризм и прагматизм — все это нашло исчерпывающее выражение в крылатой формуле: «Кто не с нами — тот против нас».

А с кем Чехов?

«Моя святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновенье, любовь и абсолютнейшая свобода от лжи и силы, в чем бы последние ни выражались»,— назвав эти слова своей программой, Чехов остается ей верен всегда и до конца.

Чехов был «с нами», когда он был против «старого мира», его пережитков, предрассудков, верований, заблуждений и преступлений. Аполитизм, «беспартийность» его гуманизма, либерализм как раз и были многие годы свидетельством социальной и исторической ограниченности автора, ограниченности с точки зрения общества, поставившего ложь и насилие в ранг инструментов устроения всеобщего благоденствия.

Самый «чеховский» театр, МХАТ, сделавший своей эмблемой чайку, был назван именем Горького. Крестные отцы рассудили совершенно последовательно: «Чайка хорошо, а буревестник — лучше».

Бессмысленно убитая чайка, убитая охотником, ищущим новое в жизни и искусстве, или гордый буревестник, призывающий всесокрушающую бурю... Нам, свидетелям конца века, нетрудно представить, какой из этих символов полнее и прозорливей выразил горестную суть нарождающегося XX века.

Охотник убил чайку, а потом убил себя. Прожитый век заставил нас услышать три выстрела Треплева — в чайку и дважды в себя — как скорбный салют по уходящему веку. Не будем приписывать Антону Павловичу Чехову магических прозрений, достаточно и того, что он с беспощадной точностью прочертил путь мятущейся души, лишенной опоры, лишенной тверди.

Именно горький опыт XX века заставил нас совершенно по-новому почувствовать и осознать единство всего живого. Единство жизни и судьбы — «по ком звонит колокол...», единство жизни и судьбы — убивающий живое, убивает себя.

Вот такая охота. Охотник, преследующий и травящий самого себя. До Чехова таких «охотничьих» сюжетов, кажется, не было.

Молва приписывает Чехову репутацию такого, знаете ли, задушевного-задушевного, тихого, нежного, из деликатности даже скрывающего свои мысли, прячущего их в какие-то такие потаенные глубины, куда под силу занырнуть только «изощренному» читателю. Однако во всех пьесах Антона Павловича «Тишайшего» гремит пальба, брящают оружием: стреляет в себя Иванов, дважды стреляет в себя Треплев, еще и птицу подстрелил, дважды палит из револьвера в профессора тихий дядя Ваня, Соленый свалил на дуэли барона... Гремят оружием герои «Медведя», в «Вишневом саде» Шарлотта выносит на сцену ружье, которое вразрез «чеховским» правилам не стреляет, хотя автор и признавался в искушении написать водевиль с убийством. Впрочем, «Чайку» он назвал комедией.

Возвращение человеческого достоинства отдельной личности, попытки пробудить или привить деморализованному обществу «внеклассовые» моральные категории — стыд, совесть, честность, порядочность и т. д., мне кажется, требуют пересмотра привычного взгляда на Чехова как на писателя «исторически ограниченного», «правильно ставящего вопросы», но оставляющего их без разрешения, тоскующего по «общей идее», но так ее и не обретающего, искренне сострадающего человечеству, но ничего, кроме «неба в алмазах», лет через триста, ему не обещающего. Не лежит ли на всех этих привычных формулировках тень обстоятельств, характерной чертой которых была тотальная девальвация нравственности?

Режиссерские штудии старого МХАТа... Не вам ли мы обязаны множеством предрассудков в чтении Чехова? В чеховские сокровенности как заветный «сим-сим» открывает любые запоры словечко «подтекст», занесенное в литературоведение из актерских репетиционных.

Сложился целый «чеховский норматив», по которому идет отбор наследников Чехова: «подтекст», «недоговоренность», «открытый финал», «печаль», «задушевный голос»...

«Груба жизнь, груба жизнь» — на разные голоса намекают на свое высокое родство грустные и, разумеется, бесконечно одинокие переживатели собственных невзгод, выставляя на всеобщее обозрение свои неудачные женитьбы, разводы, болезни; уныла, как жалоба соседа, «исповедальная» литература многочисленных наследников Чехова, не подозревающих, что сам Чехов считал, что даже просто воспитанные люди не должны быть болтливы и не должны лезть «с откровенностями, когда их не спрашивают».

По моему убеждению, в отличие от пишущих «под Чехова», сам Чехов как раз исповедует ясность, определенность, бежит от тумана многозначительности и недомолвок, имитирующих работу мысли, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, «которая давила его своей пошлостью».

Иной раз начинает казаться, что Чехов «не знал», «не договаривал», «не давал ответов на вопросы, которые правильно ставил», лишь потому, что ответы были бы неприемлемы для общества, потому, что был выработан и поддерживался стойкий иммунитет в отношении к «внеклассовым» моральным ценностям.

Диалог XX века с Чеховым, на мой взгляд, был очень похож на разговор Михаила Львовича Астрова с Еленой Андреевной Серебряковой. Астров говорит: «Мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование; это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания... Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего... Я по лицу вижу, что вам это неинтересно.

— Но я в этом так мало понимаю...— говорит Елена Андреевна.

— И понимать тут нечего, просто неинтересно».

Так же как Елене Андреевне, поглощенной заботами своего сердца, неинтересно слушать об отчаянии людей, доведенных до полуживотного состояния, так же и нам неинтересно слушать и слышать предупреждение о грозящем вырождении общества. Нам интересней искать подтекст, коллекционировать оттенки, полутона и неинтересно с такой же серьезностью вчитываться в предложенную нам историю деградации интеллигенции, разложения крестьянства, спаивания рабочих...

Мы и по сей день продолжаем повторять заклинания, свидетельствующие о нашей читательской утонченности: «Мудрость Чехова, его представление о жизни и людях выражались не в чьих-то монологах»[1]... «Чеховские произведения не поле провозглашения «устами» героев нужных автору идей и мнений»... «Как бы основательно, красиво, афористично и т. д. ни звучала фраза героя в чеховской пьесе или повести, авторский смысл не в ней, он вне ее»... Вот так вот!

Эта давняя, как видно сегодня, имеющая под собой весьма основательную почву традиция порождена как раз обширной практикой «наследников» Чехо-

[1] Не так важно авторство цитат, как дата — 1989 г.

ва, у которых «авторский смысл» вполне резонно искать вне пределов сочинения.

Быть может, как раз практические опыты поиска смысла чеховских произведений где-то за пределами их текста, временами доходившие до умения и вовсе обходиться без текста, в свое время обнаружились в ходе моих горестных наблюдений над экранизациями рассказов Чехова.

«Охотничий рассказ» у Чехова. Есть ли смысл в столь узком «тематическом» взгляде на творчество писателя?

Изначально, когда-то мне представлялось интересным проследить, как материал, материал традиционно фельетонный — «Петров день», «Двадцать девятое июня» — становится темой, вырастает в образ, в многозначный, емкий образ «охоты на человека». Сегодня же складывается убеждение, что именно этот образ, образ «охоты на человека», играет существенную роль в формировании цельной этической концепции, внерелигиозной нравственной философии Антона Павловича Чехова, философии цельной, последовательной, подтвержденной опытом собственной жизни и смерти.

Вот такая цепь: материал, тема, образ, концепция, нравственная философия, жизнь...

Уморительно смешной рассказ о кутерьме и дурашливой неразберихе, в которую превратили открытие охотничьего сезона отставной корнет Обтемперанский и его приятели,— отправная точка «охотничьей» темы. И вот уже через год тот же Петров день, только в заголовке обозначенной календарной датой «29 июня». Но как разительно изменилась картина! Если в первом рассказе герои были погружены в забавную суету и веселую бестолковщину, если там царила безобидная глупость, то во второй версии охота на куликов и лягушек становится поводом и фоном для картины взаимного унижения, помыкательства, мелочной тирании — всего, что может быть названо охотой друг за другом. И еще не ведая о предуготованной ему репутации писателя намеков и упрятывания смысла в недоступные смертному тайники, автор завершает рассказ об испоганенном празднике признанием, достойным прямоты Астрова, Тригорина, Чимши-Гималайского: «Дня через три мы поругались насмерть, а через пять пускали вместе фейерверки... Мы ссоримся, сплетничаем, ненавидим, презираем друг друга, но разойтись мы не можем. Не удивляйтесь и не смейтесь, читатель! Поезжайте в Отлетаевку... Глушь — не столица... В Отлетаевке рак — рыба, Фома — человек и ссора — живое слово...»

На примере «Драмы на охоте» можно проследить, как фельетонные и пародийно взятые коллизии прорастают живым драматическим содержанием. Именно в этом сочинении, где автор постоянно меняет свои маски, «охота на человека» названа прямым, не требующим подглядывания в «подтекст» словом: «Погоня была глупа и смешна, как хорошая карикатура... но никто не мог подумать, что мальчишеская погоня кончится нравственным падением одних, гибелью других и преступлением третьих!»

«Драма на охоте» в чем-то сродни пьесе без названия («Платоновым» окрестил ее в свое время Жан Вилар), где без труда просматриваются как бы в эскизном и смешанном виде рассказы и пьесы, которым еще предстоит оформиться индивидуально. В «Драме на охоте» автор находит ключевой мотив своих «охотничьих» сюжетов — переход понятий: охотник и жертва, охотник и добыча.

«На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия расположились на ночлег запоздалые охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин...»

Так начинается рассказ «Человек в футляре».

Экранизаторы решили в свое время вообще отказаться от «охотничьего» контекста рассказа, впрочем, так же, как и другие кинематографисты, растаскивавшие по кускам «Крыжовник» и «О любви», откуда вырезали «куски получше», оставляя за ненадобностью и Чимшу-Гималайского с его философемами и Буркина с его рефреном «про другую оперу».

Нет оснований сомневаться в том, что автор сознательно не хотел ограничиться изложением поучительных историй Беликова или помещика Алехина. Контекст «охоты», повторяющийся из рассказа в рассказ, становится уже «о б р а з о м ж и з н и», соединяющим в себе социальный и эстетический смысл.

В письме к издателю Марксу Чехов пишет о том, что «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви» относятся к далеко не законченной серии рассказов, предназначенных для XI и XII томов собрания сочинений. Первые публикации этих рассказов идут с цифровыми обозначениями рядом с заголовком: I, II, III... Надо думать, что перспектива «охотничьих» странствий ветеринара и учителя виделась автору весьма значительной.

Собственно, охоты ни в одном из рассказов нет. И нет ни единого выстрела.

Фигуры Ивана Ивановича, способного запомниться только своей громоздкой фамилией, словно ширмой прикрывающей автора, и учителя Буркина существуют лишь на просцениуме, чем-то напоминают вестников из старинных пьес. И если один из них воистину персонаж-рупор, рупор разбуженной совести, то второй — нечто вроде консервативной сурдины, стремящейся все приглушить, смягчить, существо равнодушное и ординарное.

Именно контекст охоты позволяет, на мой взгляд, выявить, сделать явным самое важное для автора, увидеть в привычном неочевидное.

В центре рассказа, как известно, учитель Беликов по прозвищу «антропос», всего боящийся, вечно прячущийся, все время укрывающийся. Добыча? Жертва? «Как бы чего не вышло?» — предупреждающий палец вверх. И все? Ничего подобного! Читаем: «Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном маленьком лице — знаете, маленьком лице, как у хорька,— он давил нас всех, и мы уступали... сажали под арест и в конце концов исключали...» (Заметим любителям «подтекста», что Астров Елену Андреевну тоже сравнит с хорьком.) Нет, Беликов не жертва на охоте, он сам охотится на все живое, на саму жизнь. Вот что такое Беликов. Вне «охотничьего» сюжета история Беликова — это история жалкой, трусливой мыши. Но хорек не мышь, это звереныш, хищный, пакостный, убивающий больше, чем может сожрать. Беликов умер, охотник погиб. Может быть, победила жизнь? Нет, для этого и понадобился второй сюжет, сюжет рассказчиков, чтобы бросить обвинение прямое, страстное, без полутонов, без намеков. «Мыслящие, порядочные люди, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же: терпели... То-то вот оно и есть».

Известно, что у великого грека Сократа нос был совсем не «греческий», так же и самый сокровенный художник в русской литературе о самом сокровенном любил говорить «не по-чеховски», то есть открыто и прямо. И в заключительном монологе Чимша-Гималайский прямо говорит о том, как мы сами себя загоняем в футляр, живем среди «бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор... Видеть и слышать, как лгут... и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь: сносить обиды, унижения...» «Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч,— сказал учитель.— Давайте спать».

И в «Крыжовнике» Буркин снова обронит: «Это вы уже из другой оперы». А может быть, в этой как раз «другой опере» и смысл, и суть «охотничьих» сюжетов?

«Крыжовник» — рассказ об охотнике за счастьем, охотнике удачливом, достигшем цели. Не адресуя свои сочинения лишь читателям репетиционных комнат, где ищут непременно «подтекст», Чехов вписывает для наглядности историю этой удачной охоты в «другую оперу». Напомню «арию» из этой оперы: «К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивается что-то грустное; теперь же, при виде счастливого человека, мною овладевает тяжелое чувство, близкое к отчаянию... Как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила!» — писал, будто видел эту ликующую, подавляющую силу, толпы осчастливленных мановением руки вождя или вырванным у судьбы садово-огородным участком. Слушаем же и дальше: «Счастья нет и не должно быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл и цель вовсе не в этом счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!»

Это нам, охотникам, сообщается: счастья нет и не должно быть. Мы уже слышали о том, что счастья нет, но легко соглашались на «покой и волю». А здесь — «нет и не должно быть». И только — неволя добра. А может быть, воля к добру? Вот такая опера! Чимша-Гималайский поднял ружье на самую дорогую иллюзию человечества. Впрочем, если верить ученым наставлениям, авторский смысл искать в этой фразе не надо, «он вне ее».

Замечателен и третий «охотничий» эпизод — «О любви».

Помещику Алехину не очень интересен разговор забредших к нему охотников о ловушках из лжи и обмана, расставленных перед каждым из нас. Не умея и не испытывая потребности взглянуть на себя со стороны, приподняться над эмпиризмом, попытаться осмыслить свою жизнь, он так и не понял, в какую ловушку угодил сам. Охотник и жертва в этом сюжете заключены в одном лице, в самом Алехине. Ему некого винить, кроме себя самого, в том, что он поставил мелочные деспотические предрассудки выше правды подлинных чувств, отдав любимую женщину, жившую искренним ответным чувством, человеку пошлому, ординарному, с лакейской душой. Герой сам обкладывает себя красными флажками предрассудков, прописей, презираемой им же расхожей рассудительности, парализующей его волю, чувства; он загоняет себя в пустоту, обрекая на существование заполненное лишь разговорами о сене, крупе и дегте.

Если в сочинениях сострадающих человечеству авторов во все времена человек выступал как жертва внеположных сил или собственных трагических заблуждений, опять же этими внеположными силами порожденных, то Чехов, быть может, впервые с такой глубиной и доказательностью ставит проблему вины и ответственности человека перед самим собой за самого себя, за свою жизнь.

Личная ответственность, быть может, самая острая, самая актуальная моральная и социальная проблема, поставленная сегодня на повестку дня нашей историей. Ставшие орудием произвола и бесправия «выходцы из рабочих», «выходцы из крестьян», «... из трудовой интеллигенции» как бы заранее освобождались от личной ответственности. Чехов отыскивает и выволакивает наружу того самого трусливого зайца, что прячется в наших душах, сочиняет оправдания слабостям, сделкам с совестью, уживчивости с подлостью, нашей готовности ради мелкой сиюминутной выгоды поступиться и честью, и совестью (понятия-то внеклассовые!). Самые потаенные зигзаги и петли, по которым, изворачиваясь, нас опутывает малодушие, Чехов делает явными.

«Охотничий» сюжет стал для Чехова, по моему убеждению, средством, способом прямого выхода к обобщению, к открытому, именно открытому, утвержде-

нию своей этической программы, выстраивающей фундамент нравственных законов человека XX века. Чехов выступает здесь перед читателем как оригинальный мыслитель, страстный проповедник, словом и делом утверждающий нравственную философию личности. Творец новой веры, веры в человека, Чехов попросту не замечает социологизированной и политизированной морали, ставящей человека в униженное, рабское положение, в сущности, безответственное. Замечательно, что моральные истины Чехов не вручает какой-то одной среде, обществу, классу, справедливо рассматривая всё разделяющее людей как преходящее.

Д. С. Лихачев высказал мысль о том, что с западноевропейской точки зрения философов и богословов в России как бы и нет: «Они растворены в художественном творчестве всех родов... Русская философия очень конкретна, чуждается абстрактной мысли и направлена на познание мира, а не на гносеологические проблемы. Познание же мира как целого связано прежде всего с художественным осмыслением».

Мы тщательно собираем, изучаем и храним отрывочные и бездоказательные постулаты натурфилософского характера о «перво-воде» или «перво-огне», храним в памяти и комментируем «этику» какого-нибудь выдающегося мерзавца вроде коринфского тирана Периандра, развратника и убийцы, завещавшего элегические наставления вроде: «Наслаждение бренно — честь бессмертна».

Быть может, нам несколько непривычно читать чеховскую прозу и драматургию как развернутую перед нами в движении, в становлении развитую философскую систему, отвечающую современной ступени знания о мире и человеке.

Не побоимся того, что предложение Д. С. Лихачева, его оценка отечественной философии должны отодвинуть нас как бы к ветхозаветным временам синкретического познания мира, когда научное и художественное сознание существовало в нерасчлененном виде.

Размышляя именно над чеховскими сочинениями, приходишь к выводу о том, что художественное творчество в высших своих образцах — наиболее предпочтительный метод нравственной философии, позволяющей сохранить цельность живой жизни, о чем говорил Лихачев.

Может показаться, что это лишь общее место, поскольку большинство религиозно-нравственных сочинений, имевших огромное историческое влияние, облачены в художественную форму, начиная, положим, с мифа о Гильгамеше, Илиады и кончая сочинениями Ницше.

Однако применительно к отечественной традиции мы видим, что нравственная проповедь не только подчиняет себе художественное сознание, но нравственный мыслитель, философ способны убить художника.

Платон изгнал поэтов из своего Государства, но Гоголь убил поэта в себе; философ и художник не могли ужиться в Толстом; судьбы Достоевского, Лескова, Блока по-своему освещают драму мыслителя и художника...

Именно в этом ряду Чехов представляется удивительно гармоничным соединением гениального художника и выдающегося мыслителя, и то, что о самых важных, самых сложных вещах он умел говорить просто и ясно, не должно умалять его значения в глазах присяжных мудрецов.

Когда читаешь доверчивые ссылки на самого автора, свидетельствующего, что ставить вопросы — главная задача писателя, а ответы не его забота, разумеется, сразу же встает в памяти фигура непревзойденного вопрошателя человечества — Сократа.

Чехов и Сократ, великие искатели правды о человеке и для человека, великие граждане своих отечеств, закутавшись в непроницаемые одежды иронии, быть может, одинаково озабочены одним и тем же — научиться самим и научить других искать ответы. Именно — научиться искать!

Моральные истины обретают общественную ценность лишь как опыт, а не как знание. Что из того, что готовыми «ответами», правилами человеческого поведения переполнены библиотеки, начиная с размышлений Марка Аврелия «Что важно для самого себя» и кончая, быть может, сочинением чеховского современника И. Ясинского «Этика повседневной жизни»?.. Не узнать ответы, а прийти к ответам, научить их находить во все времена в этой изменчивой и многоликой жизни — вот в чем, быть может, самая большая трудность нравственной философии. Не напастись правил и ответов на все времена, времена текучи, подвижны и неповторимы. Человеческое сообщество едва ли не самая мобильная и динамичная структура в природе. Повторяемость процессов и ситуаций, если мы признаем единственность и неповторимость каждой отдельной личности, каждой жизни, практически равна нулю.

В поисках тверди в этой текучей, непрестанно меняющейся, непредсказуемой жизни человечество было вынуждено искать опору за пределами земного бытия, во внеземной вечности. И Платон первым отделил мир сущностей от чувственно постигаемого мира, и все это ради поисков незыблемого и прочного.

Религия с ее вечными и бессмертными богами взяла на себя роль проводника незыблемых, вневременных нравственных истин.

Родство мировоззрения Чехова и основоположника нравственной философии Сократа обнаруживается еще и в том, что у обоих понятие «Бог» лишено традиционного религиозного содержания.

Оставаясь правоверным афинянином и отдавая всем греческим богам богово, Сократ вполне обходился без вмешательства мистических и в земных сил в своих рассуждениях об истинном и ложном, о справедливом и несправедливом. Так же и Чехов не ищет нравственных оснований в мистических предначертаниях и загробном воздаянии. Если у Сократа бог, «даймон», скорее всего лишь образ, синоним еще не сформулированного, не найденного человечеством понятия «совесть», то и у Чехова религия в позитивном смысле рассматривается, на мой взгляд, как живое, реальное свидетельство попытки найти выражение духовному родству, единству земных людей, основанному на возможности понять боль другого человека, на способности к состраданию. Здесь ищет писатель образ «общей идеи», и она, эта идея, обретает живую историческую реальность.

В естественных науках уже давно известно, что метод стоит открытия...

Сократ и Чехов оба ставили вопросы, ставили так, что уже самой постановкой вопроса помогали избавиться, освободиться от предрассудков, заблуждений, оба любили при этом уверять современников, что ответы на поставленные вопросы им неведомы, но, что удивительно, при этом оба жизнью своей, жизнью целеустремленной, последовательной, бескомпромиссной доказали и подтвердили собственной смертью владение непреложными нравственными истинами.

Гражданская история Сократа, украшавшего родные Афины статуями, защищавшего их честь и независимость с оружием в руках, не уронившего и собственной чести участием в неправедных судах, принимавшего свою великую родину всю целиком, даже вместе с чашечкой цикуты, предназначенной для непокорных,— величественное предание о сыне своего отечества, о сыне своего времени.

Опьяненные призраком будущего, мы с растерянностью обнаружили неумение жить в сегодняшнем времени.

Опыт Чехова, именно как пример высокой, достойной жизни в своем времени и для своего времени, поистине бесценен. Здесь-то и обнаруживается, что честное, уважительное, сострадательное отношение к своему современнику имеет вневременную ценность, это уже и есть звено и суть той «общей идеи», «общей цепи», которая соединяет человечество.

Покушения Чехова на уводящие от понимания существа предметов и явлений стереотипы, интеллектуальные клише, заменяющие живую мысль, достойны отдельного изучения. Вот пример: раб, традиционно сострадательная фигура, персонаж, сочувствие которому гарантирует читательские доверие и симпатию к автору. И вдруг Николай Степанович в «Скучной истории»: «Во мне происходит что-то такое, что прилично только рабам». «Прилично рабам!» На память приходит из Элиана: «Клазомейцам разрешается вести себя неприлично». Чехов жертву социальной и исторической несправедливости оценивает как реальность: раб — это «злые мысли», раб — «это низкие чувства». Раб — это только источник вируса, рабство же — болезнь, поражающая и тех, кто числится или сам по недоумству считает себя свободным.

Еще. «Служение общему благу». Не на этот ли алтарь приносились неисчислимые жертвы, не этими ли словами оправдывались неслыханные жестокости и произвол в отношении отдельного человека, частной личности? Интересы коллектива, интересы организации, наконец, интересы государства всегда были достаточным основанием в пользу подавления и даже расправы над личностью. Справедливость этого порядка вещей была вычисленной и неопровержимо теоретически доказанной; в формах как полицейских, так и художественных нам преподносилось это как краеугольный камень коммунистической морали и сознательности.

У Чехова читаем: «Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья, если же оно проистекает не отсюда, а из теоретических или иных соображений, то оно не то». Вот это неохватное «НЕ ТО» мы и пытаемся сегодня осознать и хоть немного изменить.

Принцип индивидуализма был атакован и дискредитирован коллективистскими социальными теориями. Индивидуализм стал словом с дурной репутацией, от него пахло жестокостью и эгоизмом, и стало позволительно забыть, что гуманистическая концепция Ренессанса основывалась на освобождении **личности**, она последовательно вела линию: Перикла — Сократа, Цицерона — Тацита, Эразма — Монтеня. А в истории нашего отечества, быть может, в самой полной и здоровой форме самосознание свободной личности выразилось в Пушкине, Герцене и Чехове.

Свобода общественного человека — это ли не величайший, вечный вопрос человечества?

А вот последнее слово чеховедения — из «Чеховианы», изданной в 1990 году.

«Чехов не называл никакого постулата, не ставил «вечных вопросов».

«Чехов, который был скорее холоден, чем горяч, не оперировал глобальными категориями, не создавал универсальных концепций. Он даже не звал к идеалу жизни, какая она должна быть, так как не ведал его...» Вот так!

Как же, «не ведая» идеала жизни, то бишь, живя наобум святых, Чехову удалось каким-то образом прожить жизнь, по мнению той же «Чеховианы», «этически безукоризненную»?

Не возьмусь судить о «глобальных» масштабах, но такими категориями нравственной философии, как Время, Личность, Жизнь, Смерть, Смысл Жизни, Труд, Правда, Совесть, Ложь, Эгоизм, Любовь,— Чехов не только «оперировал», но и очищал их от предрассудков, наполняя содержанием, отвечающим требованиям современного цивилизованного человека.

Пространство этих заметок не дает воз-

можности проследить, как складывались и обретали определенность моральных постулатов в произведениях Чехова основополагающие категории нравственной философии, как складывалась вся сумма, совокупность требований, предъявляемых к поведению людей, к их общественным и личным отношениям. Ненормативный, неоценочный, нерецептурный характер нравственных доктрин Чехова обеспечивает их высочайшую жизнеспособность, а в известном смысле и универсальность; жизнеспособность и естественность произведений Чехова позволяют нам, читателям, воспринимать их как часть нашего реального жизненного опыта.

Сегодня нам приходится искать ответ на вопрос: почему всемирно-исторический эксперимент, обещавший уже к середине XX века осуществление вековечной мечты человечества, пошел какими-то непредсказуемыми, трагическими путями?

«Человека забыли...» Так ответил на этот вопрос художник и мыслитель Чехов.

Повторяющиеся мотивы и темы в сочинениях Чехова дают возможность увидеть в творческом наследии писателя, как он ищет, находит и сохраняет те путеводные нити, что позволяют ему прийти к глубокому и верному, обобщенному взгляду на жизнь, на человека.

В открытии охотничьего сезона в рассказе «Петров день» участвует архангельский мещанин дед Кузьма Больва, умеющий попадать в подброшенный двугривенный из своей двадцатипятифунтовой двустволки. Девяностолетнего Больву забыли в лесу. Здесь же мелькнет слуга без возраста и лица по имени Фирс, которому предстоит остаться в заколоченном доме четверть века спустя... Забудут и владыку, его преосвященство, в рассказе «Архиерей»...

Сегодня мы пытаемся вспомнить, кто мы, откуда мы родом, куда идем. Но вспоминать — значит думать о высшем назначении человека, о его праве на достойную, справедливую, ответственную жизнь, без иллюзий и без кивков на времена, которые не выбирают.

Есть люди на все времена, и среди них — Чехов.

Если бы мне было дозволено из всех томов сочинений и писем Чехова взять только две строчки, я бы взял вот эти, из «Степи»:

«— Вы тутошние? — спросил он великанов.

— Не, из Глинова... Мы глиновские».

Вокруг нас мир непредсказуемый, непонятный, движущийся путями самыми неожиданными, на двор заходит безвременье, торжествуют двунадесять лжеучений... И мы, как Егорушка, живем молвой, преданиями и спешим уверить себя в том, что все вокруг тайна, загадка, сплошной подтекст.

Но вдруг великаны с длинными пиками, «люди громадных размеров, с закрытыми лицами» превращаются в людей обыкновенных, в батраков.

Будем же благодарны тем, кто в худые времена не приспосабливался к ним, но неустанно искал «общую идею», протягивая руки через века к тем, кто ушел, и к тем, кто идет следом, а если нам их мудрость не по плечу, так это не что иное, как все та же «историческая ограниченность» читателя, которую я получил возможность продемонстрировать.

Алексей Шмелев

ПО ЗАКОНАМ ПАРОДИИ?

(И. ШАФАРЕВИЧ И ЕГО «РУСОФОБИЯ»)

При чтении «Русофобии» возникает и все усиливается чувство недоумения. Причин тому, по-видимому, сразу несколько.

Самое удивительное — то, что критические стрелы автора то и дело задевают предметы, священные для многих русских людей. Странно читать у И. Р. Шафаревича, многие годы мужественно боровшегося за права верующих, высказывания, могущие оскорбить чьи-то религиозные чувства.

И тем не менее в начале главы 9 ставится риторический вопрос: «Какой другой народ воспитывался из поколения в поколение на таких заветах?» — и приводятся цитаты из Ветхого Завета, очевидно, призванные иллюстрировать веру евреев в то, что им «предназначена власть над миром».

Но ведь ответ на поставленный риторический вопрос слишком ясен: ветхозаветные тексты являются священными для всех христианских народов, включая русский. Приведенные отрывки из книги пророка Исаии включены Церковью в число паримий Великой Субботы, так что «воспитывались» на них в первую очередь те русские люди, которые придерживались благочестивого обычая ходить к богослужениям Страстной седмицы. Третья книга Ездры, упоминаемая Шафаревичем, не включена ни в православный канон, ни в Масоретский текст Библии, принятый у евреев. Евреям можно лишь инкриминировать, что эти тексты родились в еврейской среде (Шафаревич так и пишет: «У кого можно встретить подобные чувства?»). Но, во-первых, авторы всех книг Св. Писания Ветхого и Нового Завета (кроме св. евангелиста Луки) — евреи; и, во-вторых, тексты, отражающие националистические чувства, рождаются в среде самых разных народов.

Здесь же автор проводит сопоставление еврейского праздника Пурим с тем, как если «католики ежегодно праздновали бы ночь св. Варфоломея», и это выглядит не менее странно. Про Варфоломеевскую ночь не говорится ни в какой из священных католических книг, а события, отмечаемые во время праздника Пурим, описаны в книге Есфирь, которая входит в Священное Писание как у евреев, так и у католиков. Попутно следует отметить, что праздник Пурим посвящен не умерщвлению 75 000 неприятелей, а избавлению от погибели, замысленной Аманом. Потому и праздник называется Пурим, так как Аман бросал жребий (*пур*) об истреблении и погублении иудеев. Про умерщвление евреями женщин и детей (о чем пишет Шафаревич) в книге Есфирь ничего не говорится, сообщается только, что царь п о з в о л и л убить детей и жен,— но царь позволил и разграбить имение, а иудеи «на грабеж не простерли руки своей». Наконец, отметим, что Пурим праздновался и Ветхозаветною церковью. Кстати, ряд богословов считает, что безымянный иудейский праздник, упоминаемый в Евангелии от Иоанна, во время которого Иисус исцелил больного у купальни у Овечьих ворот, был именно Пурим, и, таким образом, Спаситель освятил этот праздник Своим участием.

Обличая жестокость царя Давида, Шафаревич закрывает глаза на то, что Давид всегда сохранял в глазах русского народа нравственное обаяние, несмотря на все свои грехи («Давидски согрешаем, да не давидски каемся»,— говорит пословица). А если учесть, что русский народ считал царя Давида также и образцом кротости (у Даля в «Пословицах русского народа» читаем: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!»), то придется признать, что и здесь критическая стрела попадает в сторону, едва ли не противоположную той, в которую метил автор «Русофобии».

Когда Шафаревич цитирует слова отца Михаила Аксенова-Меерсона о «магизме и суеверии крестьянского православия» и замечает в скобках: «И это пишет че-

---

Алексей Шмелев — москвич. Родился в 1957 году. Кандидат филологических наук. Доцент Московского государственного пединститута имени В. И. Ленина. Автор более 70 научных работ по лингвистике. Его статьи выходили в сборниках издательств «Наука», «Просвещение».

Статья написана в 1987 г., когда «Русофобия» читалась в самиздате. После публикации «Русофобии» в «Нашем современнике» (№№ 6, 11, 1989) сделаны добавления. Статья печатается с небольшими сокращениями.

ловек, рукоположенный в сан православного священника! — то интонация отчетливо напоминает Достоевского, полемизирующего со «свящ. Касторским» в «Дневнике писателя»: «Духовное лицо, а так раздражительны! Стыдно, г. Касторский». Но отчетливо видно и различие. Ведь Достоевский оговорился: «Если бы вы были в самом деле священником, я, несмотря на все ваши грубости, которые в конце вашей статьи доходят до какого-то победоносно-семинарского ржанья,— все-таки ответил бы вам «с соблюдением»,— не из личного к вам уважения, а из уважения к вашему высокому сану, к высокой идее, которая в нем заключается». Шафаревич же не привел никаких особенных «грубостей» о. Михаила, равно как и никаких его слов, противопоказанных православному священнику. Пережитки язычества и суеверия в народе отмечались на протяжении 1000 лет многими духовными лицами; хорошо известны бытовавшие в народе тексты, представляющие собою смесь заговоров и молитв [1].

После того как Шафаревич столь решительно расправляется с тем, что чтит Православная Церковь, трудно ожидать от него особой щепетильности по отношению к Талмуду. Шафаревич пишет: «Хорошо известны высказывания Талмуда и комментариев к нему, в которых с разных точек зрения разъясняется, что иноверца (акума) нельзя рассматривать как человека: по этой причине не следует бояться осквернить их могилы; в случае смерти слуги-акума не следует обращаться с утешением к его господину, но выразить надежду, что Бог возместит его убыток — как в случае падежа скота; по той же причине брак с акумом не имеет силы, его семя — все равно, что семя скота, акумы — это животные с человеческими лицами и т. д. и т. п.»,— но не приводит ссылки ни на талмудические трактаты, ни на какие-либо иные источники. Но ведь полемика по вопросу о том, действительно ли в Талмуде содержатся такие высказывания или они придуманы антисемитами, имеет давнюю историю — достаточно посмотреть хотя бы известную статью Вл. Соловьева «Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии и Германии». Аналогичные обвинения по адресу Талмуда с «цитатами» из талмудических трактатов мы встречаем и в «Письме Солженицыну» Ивана Самолвина, а М. Агурский, опубликовавший это письмо в статье «Неонацистская опасность в Советском Союзе» («Новый журнал», № 118, 1975), дает примечание: «Все цитаты, исполненные искажений, воспроизведены по оригиналу, который заимствован из такой антисемитской литературы дореволюционного периода, как книги А. Шмакова, И. Лютостанского и др».

Не пользовался ли Шафаревич этим же оригиналом? Или он обнаружил какие-то новые данные, не известные ни Вл. Соловьеву, ни М. Агурскому?

Обращает на себя внимание и еще одна странность: сугубо «арифметический» подход ко многим вопросам. Шафаревич упрекает своих оппонентов за то, что они сосредоточились на проблемах меньшинства и забывают о не менее острых проблемах большей части народа. Но при этом, похоже, сам Шафаревич полагает важность проблемы прямо пропорциональной количеству людей, которых она касается. Это приводит его к совсем уж странным высказываниям. Например, он сетует: «Если говорится о положении заключенных, то почти исключительно политзаключенных, хотя они составляют вряд ли больше 1% общего числа». Както неловко напоминать известному правозащитнику, что политзаключенные в нашей стране — это не революционеры, не террористы, а по большей части невинно страдающие люди. Но и безотносительно ко всему: неужели, прежде чем призывать к состраданию каким-то людям, следует подсчитать, какого процента сострадания эти люди заслуживают?

Такой «арифметический» подход проявляется в «Русофобии» то тут, то там. Так, рассуждая о «непонятной власти», которую «еврейский вопрос приобрел над умами», автор замечает, что китайцев в мире в 50 раз больше, чем евреев. Означает ли это, что, по мнению Шафаревича, «китайский вопрос» в 50 раз важнее «еврейского»?

Очевидно, для автора интересы и мнения большинства народа имеют приоритет над интересами меньшинства (хотя Шафаревич объявляет себя вовсе не таким уж горячим поклонником демократии). Эта готовность предпочесть большинство меньшинству особенно ярко проявляется в концепции «Малого Народа», заимствованной из работ О. Кошена. Сам термин «Малый Народ» представляется не вполне удачным — можно подумать, что речь идет о какой-то немногочисленной нации (именно в этом смысле часто говорят о малых народах). На самом деле «Малый Народ» — это идейная группа, противопоставившая себя остальной части народа («Большому Народу»). Жизненные установки этой группы противоположны всему, что составляло мировоззрение «Большого Народа», которое «Малый Народ» считает «мертвым грузом предрассудков» и от которого он стремится освободиться. Кошен выделяет «Малый Народ» в эпоху, предшествующую Великой французской революции (так называемые просветители). Собственно, революция и рассматривается как победа «Малого Народа» над «Большим Народом».

Шафаревич стремится распространить

[1] В новейшей работе Шафаревича («Новый мир», № 7, 1989) читаем, что крестьянское православие впитало «гораздо более древние земледельческие культуры». Таким образом, самый факт наличия языческого субстрата Шафаревич сомнению не подвергает; но странно ожидать от православного священника иной оценки этого субстрата нежели та, которую дает о. Михаил.

эту концепцию на более широкий круг исторических явлений и высказывает гипотезу, что «в каждый кризисный переломный период жизни народа возникает такой же «Малый Народ» <...>, для которого все то, что органически выросло в течение веков, все корни духовной жизни нации, ее религия, традиционное государственное устройство, нравственные принципы, уклад жизни — все это враждебно, представляется смешными и грязными предрассудками, требующими бескомпромиссного отрицания». Влияние «Малого Народа» всегда пагубно, поскольку его отношение к «Большому Народу» «не ограничено никакими нравственными нормами, состраданием или жалостью». Мировоззрение «Малого Народа» Шафаревич усматривает у пуритан в Англии, в либеральном и нигилистическом движении России второй половины XIX в., а также у современных публицистов, с которыми он полемизирует.

В связи с этим неизбежно возникают ассоциации, ведущие к новым недоуменным вопросам. Господь называет Своих учеников «малым стадом». И действительно, первые христиане были немногочисленны. У Церкви первых веков христианства есть и другие признаки «Малого Народа»: ее члены порывают с жизненным строем иудейского и особенно языческого мира, они воспринимают себя как общество «святых», они не имеют земного отечества, поскольку их подлинное отечество не принадлежит земному миру (сравни у Г. С. Померанца: «Мы всюду не совсем свои»). В то же время нельзя же говорить, что они не были ограничены «никакими нравственными нормами, состраданием или жалостью». Можно ли считать первых христиан «Малым Народом»? Шафаревич не говорит по этому поводу ни слова. Не проясняет дела и его беглое замечание, что представление о евреях как об «избранном народе», отраженное в Ветхом Завете, «явилось прототипом идеологии «Малого Народа» во всех его исторических воплощениях». С одной стороны, в каком-то смысле самосознание Церкви как Нового Израиля восходит к самосознанию Ветхого Израиля, так что можно было бы считать «Малый Народ» пародией как на новозаветную, так и на ветхозаветную Церковь. С другой стороны, ясно, что Ветхий Израиль в меньшей степени походит на «Малый Народ», чем, скажем, община первых христиан. Ведь существование «Малого Народа» обусловлено его противопоставленностью «Большому Народу»; иными словами, «Малый Народ» — это всегда меньшинство внутри устоявшегося органического общественно-культурного образования. А обетования Ветхого Завета давались всему еврейскому народу, так что считать Ветхий Израиль «Малым Народом» можно только в том случае, если относить к «Большому Народу» все тогдашнее языческое человечество! По-видимому, разумно вслед за Шафаревичем «не углубляться в эту цепь загадок»; приходится признать, что в понятии «Малый Народ» остается много неясного.

Еще одна загадка, связанная с концепцией «Малого Народа», состоит в том, что автор никак не поясняет соотношение психологии «Малого Народа» с социализмом. От автора «Социализма» можно было бы ожидать ответа на вопрос, чем же все-таки является коммунизм в России: проявлением социализма как всемирного феномена — социально-исторически реализуемого инстинкта смерти, победой «Малого Народа» над «Большим» или (как мы узнаем из работы Шафаревича в седьмом номере «Нового мира» за 1989 г.) реализацией технократической утопии? Может быть, все эти факторы (своего рода «три составные части») сплелись и в совокупности обеспечили победу коммунизма? Но как эти факторы связаны между собой? Имеют ли они общую основу или их соединение случайно?

Возможно, Шафаревич просто подыскивает объяснение тому парадоксальному факту, что российским коммунизмом, несмотря на всю его непривлекательность, соблазнилось множество людей — у нас в стране и за границей, и он исследует те явления социальной психологии, которые «подземная канцелярия» использует в качестве приманки для человеческих душ? Кто-то увлекся грандиозной картиной технократического преобразования мира, у кого-то развита подсознательная тяга к смерти, а кого-то соблазнило ощущение собственной избранности?

Во всяком случае, концепция «Малого Народа» хотя и выглядит недостаточно разработанной, но заслуживала бы внимания и изучения. Однако работа Шафаревича называется не «Малый Народ», а «Русофобия». Значит, понятие «Малого Народа» не объект, а инструмент исследования, а в качестве объекта выступает «русофобия» — ненависть или неприязнь к русскому народу, сопряженная со страхом.

Но странным образом автор совсем не касается ситуации в Восточной Европе — Венгрии, Польше, Эстонии, Чехословакии и др. А ведь известно, что именно там русофобия действительно широко распространена, захватила как образованный класс, так и простой народ. Характерны высказывания Милана Кундеры, готового возложить вину за советские танки на русский характер и чуть ли не на Достоевского (достаточно вспомнить статью И. Бродского «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому» в «Континенте», № 50). Не требуется специального исследования для того, чтобы установить причины такой русофобии. Русские ассоциируются в Восточной Европе с танками и коммунизмом. Не вызывает удивления и отношение к русским в советских мусульманских республиках, в которых разрушение национальных традиций и принудитель-

ная советизация проводятся на русском языке и нередко воспринимаются как русификация. Так ведь и у русских (особенно старшего поколения), несмотря на то, что вторая мировая война кончилась более сорока лет назад, можно встретить неприязненное отношение к немцам, а распространение антисемитизма в 20-е годы очевидным образом связано с тем, что власть большевиков ассоциировалась с евреями (смотри В. В. Шульгин. Что нам в них не нравится. Об антисемитизме в России. Париж, 1929).

Но Шафаревич, по-видимому, и не претендует на всесторонний анализ русофобии как умонастроения, в известной степени распространенного в современном мире. Он сосредоточил свое внимание на пользующихся определенной популярностью, но не слишком влиятельных авторах (они «вряд ли и сейчас хорошо известны»,— признается Шафаревич), которые почему-то подаются в работе как представители некоего единого мощного течения. Интересные и содержательные, но несколько импрессионистические сочинения Г. С. Померанца вряд ли можно считать изложением каких-либо «четких концепций». Книга Б. Шрагина «Противостояние духа», на мой взгляд, никак не свидетельствует о глубоких познаниях ее автора в русской истории, и это может раздражать взыскательного читателя. Однако в целом суждения Шрагина нередко остаются в рамках здравого смысла. Чего не скажешь о работах А. Янова, который располагает богатыми, но, я бы сказал, совершенно фантастическими сведениями из русской истории. И уж совсем, на мой взгляд, не является серьезным предметом для полемики книга Р. Пайпса «Россия при старом режиме»; у Шафаревича в главе 2 прорывается сходная оценка («Концепция Р. Пайпса, конечно, является всего лишь анекдотом...»).

Стремясь представить идеи, развиваемые в рассматриваемых работах, как единую концепцию, Шафаревич приводит «сжатое изложение основных положений, высказываемых в этих публикациях». Правда, многие приводимые им цитаты трудно назвать «положениями»: («рабская психология», «холуйская смесь злобы, зависти и преклонения перед чужой властью», «вселенская русская спесь», «варварская история России»); скорее, это просто ругательства, направленные против русских. Конечно, можно и на них реагировать со смирением, подумать, не связаны ли они с какими-то нашими действительными пороками (как рекомендует Солженицын, приводя пословицу: «Всякую ложь к себе приложь»), но странно всерьез полемизировать с ними. А Шафаревич делает именно это — он всерьез разбирает подобные нападки и пространно доказывает их необоснованность. Поскольку «основные положения» взяты из разных авторов, нетрудно заметить, что они не вполне согласуются друг с другом. Человек, без всякого сочувствия относящийся к Московскому царству и преклоняющийся перед европеизированной культурой, вряд ли будет столь же отрицательно относиться к Петру I. Обвинение русских в рабской психологии, готовности подчиняться власти не очень-то совместимо с утверждением, что революция закономерно вытекает из русской истории. Несогласованность утверждений различных представителей «единого мощного течения» не проходит мимо внимания Шафаревича, и он с удивлением отмечает, что взгляды демократических социалистов, участвующих в сборнике «Демократические альтернативы»,— это «как раз то, против чего так страстно борется Янов. Как же тогда понять его участие в этом сборнике?» — недоумевает Шафаревич. Казалось бы, участие в одном издании предполагает, может быть, сходство направления, но никак не единомыслие по всем пунктам.

Если авторов, сотрудничающих в одном издании, считать полными единомышленниками, то, пользуясь выражением Шафаревича, «вот прием, при помощи которого можно доказать решительно все, что желательно!».

Например, соавтор Шафаревича по сборнику «Из-под глыб» М. Агурский предупреждал о «неонацистской опасности в СССР» и в качестве авторов, высказывающих неонацистские взгляды, назвал В. Бегуна, Е. Евсеева. А С. Куняев в статье, опубликованной в том же номере «Нашего современника», что и «Русофобия», берет их взгляды под защиту и называет В. Бегуна «серьезным ученым». Тот же М. Агурский опубликовал когда-то в «Вестнике РХД» статью, в которой, приводя примеры нападок на Ветхий Завет и ветхозаветных персонажей в дореволюционной русской правой («черносотенной») печати, показывает их враждебность учению Церкви и предсказывает, что подобные нападки могут появиться и в будущем,— как будто заглянул в 3-й номер журнала «Наш современник» за 1989 год (заметка А. Кузьмина). Будем ли недоумевать: почему Шафаревич не попытается сначала переубедить своих единомышленников (уж не знаю, М. Агурского или С. Куняева и А. Кузьмина)?

Вообще (заметим в скобках) прошлогодний шестой номер «Нашего современника» (как, впрочем, и многие другие номера) изобилует «как раз тем, против чего так страстно борется» Шафаревич. Спросим: «Как же тогда понять его участие в журнале?» Вот Шафаревич с возмущением пишет, что «Плющ называет Кутузова «реакционным деятелем»» — Шафаревич видит в этом элемент «выливания помоев на всех, кто играл какую-то роль в судьбах России». А полутора десятками страниц ранее Николай Бурляев упоминает в одном ряду с Гитлером и Муссолини... адмирала Колчака! При этом Колчаку инкриминируется прежде всего принадлежность к масо-

нам! С такой точки зрения, почему бы и Кутузова не включить в эту компанию? Шафаревич обличает Вас. Гроссмана, который, «развенчивая Сталина и Ленина», использует по отношению к Троцкому эпитеты «блестящий», «бурный, великолепный», «почти гениальный»[1]. Но разве лучше сочувственное цитирование Маркса и Ленина как высших авторитетов, к которому прибегает Бурляев (да и многие другие авторы, печатавшиеся в «Нашем современнике»)? Шафаревич в журнале «Искусство кино» (№ 6, 1988) резко критически (пожалуй, справедливо) отзывается о фильме Э. Климова «Агония», в котором черными красками или откровенно карикатурно изображено русское общество начала века. А в шестом номере «Нашего современника» напечатаны «исторические миниатюры» Пикуля, автора скандально известного романа «У последней черты» (кстати, тоже опубликованного в «Нашем современнике»), в котором Пикуль уж поистине «выливает помои» на нашу историю и глумится над покойными государем и государыней. Заключительные параграфы «Русофобии» напечатаны в 11-м номере «Нашего современника» за 1989 г., и там же продолжается «выливание помоев» на русское прошлое. Литература, история, религия уже достаточно подвергались нападкам — теперь принялись за науку и дружно воспротивились робкой попытке реабилитации Тимофеева-Ресовского («Зубра»).

Независимо от всех противоречий, обнаруживаемых в «сжатом изложении основных положений» анализируемого течения, выраженные в нем взгляды не выдерживают никакой критики. Можно ли всерьез говорить, что «русские только продемонстрировали свою историческую импотенцию»? Как будто не в русской земле просияло целое созвездие святых! Более того, именно в России открылись новые аспекты понятия святости, так что «даже в Византии, духовной наставнице русской церкви в первые века ее истории, далеко не всегда понимали те основания, которые выдвигались русской стороной как главные при попытках канонизации святых» (В. Н. Топоров). Как будто не русская литература заняла в XIX в. ведущее мировое положение![2]

[1] Такие оценки психологически понятны (кстати, высказывает их не Гроссман, а его вполне русский персонаж). Столь набили оскомину лишенные малейшей тени правдоподобия обличения Троцкого в лживой советской историографии! О похожем феномене пишет и Солженицын «Единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официального радио, а именно их <...> опробовали как невылазную назойливую ложь или трусливую утайку. <...> Ненавистническая осточертелая агитация по системе «кто не с нами, тот против нас» никогда не отличала позиции Марии Спиридоновой от Николая II, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского рейхстага»

[2] В 1927 году Арнольд Беннет решил назвать 12 лучших романов за всю историю мировой литературы Все 12 оказались принадлежащими перу русских писателей!

В это «сжатое изложение» словно нарочно не включены более серьезные обвинения по адресу русского народа. Один из героев М. Булгакова говорит: «Разве это народ! Ведь это бандиты. Профессиональный союз цареубийц». Казалось бы, склонность бунтовать против законной власти куда более существенный порок, нежели «рабская покорность», которую, скажем, апостол Павел вообще считал добродетелью! В приведенном Шафаревичем списке обвинений против русского народа упоминаются действительные и мнимые жестокости царских властей, но ничего не говорится о пугачевщине, зверства которой как раз связаны с народным движением. Можно упомянуть и о мнении В. В. Шульгина, что пресловутая «широта русской натуры» проявляется, в частности, и в нежелании считать количество человеческих жизней, которые надобно принести в жертву для достижения той или иной цели.

Но Шафаревич выбирает только такие критические высказывания по адресу русского народа, которые можно было бы охарактеризовать его же словами: «бессмыслица», приведенная «лишь затем, чтобы ее было проще опровергнуть». Но такой выбор оспариваемых аргументов не проходит даром, можно незаметным образом самому очутиться с ними на одном уровне, а то и ниже. Мы уже несколько раз сталкивались с тем, что формулировки Шафаревича отлетают к нему же рикошетом. Рассмотрев еще раз с этой точки зрения всю работу, мы заметим, что это не случайность, а закономерность.

Вот Шафаревич упрекает своих оппонентов, что они способны мыслить только бинарными оппозициями и все время предлагают выбор только из двух возможностей. Но мышление антитезами характерно и для самого Шафаревича (достаточно упомянуть ключевую для его работы оппозицию «Малый Народ» — «Большой Народ»); среди множества возможных взглядов на общество он предлагает учитывать только два: органический и механический (т. е. выбирать именно из двух возможностей).

Комментируя высказывание Янова о том, что демократии «не 1000 лет, а едва 200», Шафаревич пишет: «Трудно себе представить человека, рассуждающего об истории и не слыхавшего о демократии в Греции, Риме или Флоренции, не читавшего посвященных ей страниц Фукидида, Платона, Аристотеля, Полибия, Макиавелли!» Но дальше мы с удивлением читаем, как, обсуждая недостатки демократической формы правления, Шафаревич указывает («привлекая к сравнению античную демократию»), что «200 лет — это предельный срок ее жизни. Но как раз столько и существует многопартийная демократия в Западной Европе и США». Насколько убедителен вывод из указанного соображения, что западная демократия накануне гибе-

ли,— вопрос спорный. Но, кроме того, ведь трудно предположить, что Шафаревич ничего не читал о демократии в Швейцарии (Швейцарский Союз заключен в 1291 г.). Неужели мимо его внимания прошел хотя бы очерк Солженицына о кантоне Аппенцель?

Шафаревич замечает, что анализируемые авторы «чуть ли не с пеной у рта доказывают <...> что демократия западного типа абсолютно чужда духу и истории нашего народа,— и столь же темпераментно настаивают, чтобы мы приняли именно эту государственную форму». В этом Шафаревич видит их пренебрежение к нашим историческим традициям и проявление механического подхода к обществу. Но Шафаревич, кажется, спорит с обоими высказанными взглядами: представление, что демократия чужда русским, считает «очернением истории и всего облика нашего народа» и в то же время пространно обсуждает недостатки демократической формы правления, очевидно, с целью показать, что нашему народу стоило бы поискать иных форм. Получающаяся в результате конструкция зеркально отражает конструкцию оппонентов и также может восприниматься как нежелание считаться с нашими историческими традициями.

Чрезмерная забота об исторических традициях сама по себе вряд ли выглядит обоснованной. Историческими традициями можно оправдать самые разные решения. Так, мы знаем из летописей, что наше государство началось с призвания варягов. Предлагаемую Яновым модель, которую Шафаревич характеризует как проект «оккупации» России западным интеллектуальным обществом, выступающим в роли нашего арбитра и учителя, можно рассматривать как развитие именно этой традиции. А если бы верно было представление Померанца: «Русский народ трепещет и пятится перед грозным самодержцем, который режет его на части как Иванушку и спекает заново. Потом, когда спечется,— признает хозяином своим и служит верой-правдой»,— то «механический» взгляд на русский народ (готовность «смело резать и кроить его живое тело»), который Шафаревич приписывает оппонентам, также оказался бы вполне в духе наших исторических традиций.

К тому же опора на исторические традиции могла бы считаться оправданной, если признать, что революция и семьдесят с лишним лет коммунистической власти явились органической частью русской истории. Но как будто Шафаревич так не считает. Он сознает, что «была разорвана связь поколений». Но если так, то хороши или плохи наши исторические традиции, они уже прерваны. Неужели в этой ситуации мы должны б..ть больше всего озабочены тем, чтобы непременно «искать какой-то свой путь» — связывая его с восстановлением этнографических особенностей? А похоже, именно так можно понять возражения Шафаревича против мысли Н. Я. Мандельштам, что нельзя борьбу за духовную свободу подменять тем, чтобы «напиваться до бесчувствия <...> собирать иконы и мариновать капусту». Может быть, Шафаревич считает, что русские люди найдут «свой путь» в том, что будут мариновать капусту (действие само по себе вполне похвальное), напиваться до бесчувствия (действие, безусловно, предосудительное) и собирать иконы (что в зависимости от обстоятельств может быть и похвальным, и предосудительным)?

И все время мы сталкиваемся с тем, что Шафаревич, критикуя построения оппонентов, сам использует те же построения, только меняя оценки на противоположные. Вот он обнаруживает пристрастность Янова: «Янов описывает русскую националистическую группу, провозгласившую в своей программе неприкосновенность свободы личности, свободу всех методов распространения истины, демонстраций и собраний и т. д. Тем не менее Янов считает, что это — начало пути, который неизбежно приведет к деспотизму — только потому, что они говорили о духовном возрождении и русском пути, употребляя выражение «Великая Россия», и предлагали обеспечить особую роль Православия в будущей России. Но ведь все эти черты — и не в виде мечтаний 30 молодых людей, а в реальности — можно наблюдать в государстве Израиль! Считает ли Янов, что оно неизбежно пойдет по пути деспотизма? Однако Израиль упоминается в его книгах лишь однажды — и как пример демократического государства». Но представляется, что Шафаревич склонен к *такой же пристрастности* (только «наоборот») и с сочувствием относится к планам упомянутой группы молодых людей, а Израиль (в котором «все эти черты... можно наблюдать» «в реальности») у него особых симпатий не вызывает, иначе к чему бы упоминание «расстрелов арабских крестьян, как в деревне Дейр-Ясин»?

Создается впечатление, что Шафаревич просто пародирует образ мысли и стиль аргументации своих оппонентов. Особенно ярко *пародийный характер* его работы проявляется при обсуждении национальных проблем. Так, приступая к обсуждению «еврейского вопроса» (здесь автор не вполне логичен: недоумевая, почему «еврейский вопрос» «приобрел непонятную власть над умами», он сам посвящает этому вопросу целых четыре главы (из 10) своей работы — «Национальный аспект», «Больной вопрос», «Еврейское влияние в «революционный век» и «Прошлое и настоящее»), Шафаревич сетует: «Всякая мысль, будто когда-нибудь или где-нибудь действия каких-то евреев принесли вред другим народам, да даже всякое объективное исследование, не исключающее с самого начала возможность такого вывода,— объявляется реакционным, не-

интеллигентным, нечистоплотным. Взаимоотношения между любыми нациями: немцами и французами, англичанами и ирландцами или персами и курдами — можно свободно обсуждать и указывать на случаи, когда одна сторона пострадала от другой <...> Но по отношению к евреям подобные суждения <...> — в принципе запрещены». Даже дать отрицательному персонажу в художественном произведении еврейские имя и фамилию, считает он, опасно — Шафаревич вспоминает, что «А. Суконик, напечатавший в «Континенте» рассказ, где выведен несимпатичный еврей, немедленно был обвинен в «антисемитизме»». Замечание, на мой взгляд, справедливое. Евреи, безусловно, занимают выделенное место в общественном сознании, действительная или мнимая враждебность по отношению к евреям воспринимается особенно болезненно. После национал-социализма бесстрастно обсуждать, насколько благотворно или пагубно совместное проживание с евреями, психологически трудно — так же трудно, как после чернобыльской аварии спокойно и беспристрастно рассматривать вопрос об экологических достоинствах и недостатках атомных электростанций в сравнении с электростанциями других видов. Для христиан особая роль евреев обусловлена еще и тем, что это (по словам одного из героев Солженицына) «нация, через которую пришел к нам Христос». Шафаревича не устраивает «привилегированное» положение евреев. Но, похоже, он хотел бы создать именно такое «привилегированное» положение для русских. Поэтому Шафаревич обнаруживает «русофобию» не только в разбираемых им публицистических работах, но и «в театре, кино, песенках бардов, у эстрадных рассказчиков и даже в анекдотах». Он признает: «Обычная форма такова, что можно еще и поспорить: это пьяница, хулиган, тупой чинуша вообще, не только русский»,— но продолжает: «Но говор-то у них чисто русский. И имена — коренные русские, сейчас даже редко встречающиеся». Подход многообещающий. Если он возобладает, то авторам придется, чтобы избежать обвинений в той или иной «фобии», по остроумному предложению Л. Лиходеева, «показывать в виде отрицательных персонажей только марсиан без определенных занятий. Чтобы у отрицательного типа не было: а) профессии; б) места жительства; в) возраста; г) пола; д) национальности; е) семейного положения; ж) всего прочего, что может попасться под руку».

«Русофобские» настроения Шафаревич обнаруживает у самых разных писателей, которых объединяет, пожалуй, только еврейское происхождение большинства из них. В одну кучу валятся Багрицкий с его (антигуманной, явно большевистской) поэмой «Февраль», Ильф и Петров, Бабель, Н. Я. Мандельштам, Коржавин, Галич. И все только затем, чтобы обосновать представление о том, что со всех сторон на нас льется ненависть к русским, глумливое отношение к русскому народу. Именно эта ненависть объясняет, по мнению Шафаревича, различные фактические и логические ошибки, обнаруженные им в работах оппонентов. Когда-то Солженицын, говоря о статьях из 97-го номера «Вестника РСХД», высказывал мнение, что допущенные их авторами искажения недавней русской истории могут быть вызваны или невежеством, или злым умыслом. Третьей возможности Солженицын не видел. Шафаревич находит эту третью возможность. Его объяснение: эти и другие авторы данного лагеря ослеплены ненавистью и потому не способны логически анализировать факты. «Именно этими эмоциями,— пишет Шафаревич,— а не элементарной неграмотностью следует, вероятно, объяснить те грубые логические и фактические ошибки, на которые мы обратили внимание в § 2. Неправдоподобно, например, чтобы Янов полагал, будто Белинский — «классик славянофильства». Скорее всего это проявление брезгливого отталкивания, когда и славянофилы и западники — одинаково омерзительны».

Пытаясь обнаружить эту ненависть, Шафаревич приписывает мнения персонажей авторам произведений (уже упоминавшиеся оценки из «Все течет» Вас. Гроссмана, «песня ненависти» Грозного из поэмы Х. Бялика), вырывает высказывания из контекста — например, строчки Галича: «Что ни год — лихолетье, что ни враль — то Мессия» взяты из песни, кончающейся признанием в любви к России и мольбой: «Я молю тебя, выдюжи! Будь и в тленье живой, чтобы хоть в сердце, как в Китеже, слышать благовест твой». Галич вообще почему-то вызывает особую неприязнь автора. В одном из примечаний к тексту Шафаревич пишет: «Галичу (Рабиновичу) куда лучше должен быть бы знаком тип пробивного, умеющего втереться в моду драматурга и сценариста (совсем не обязательно такого уж коренного русака), получившего премию за сценарий фильма о чекистах и приобретающего славу песенками с диссидентским душком». Здесь трудно не высказать предположение, что Шафаревичу известна настоящая фамилия Галича (Гинзбург), но имеет место «проявление брезгливого отталкивания», когда что Гинзбург, что Рабинович — одинаково омерзительно![1] Видимо, «одинаково омерзительны» для

[1] Данное примечание содержится только в самиздатских версиях «Русофобии». В публикациях ошибка исправлена. Но ведь не сочтешь ее опечаткой, не припишешь неграмотности переписчика. Кстати, орфографических и пунктуационных ошибок в самиздатских копиях «Русофобии» тоже очень много. Разумеется, автор за них не отвечает, но они могут служить показателем культурного уровня той среды, в которой «Русофобия» распространялась. В этой связи трогательной выглядит орфографическая требовательность Шафаревича и его претензия к написанию «архитипический» (вместо «архетипический») в книге Шрагина.

Шафаревича Коржавин (Мандель) и Губерман, и четверостишие последнего он приписывает «поэту Н. Коржавину — Э. Манделю». (Это замечание устранено в «Нашем современнике», но сохранилось в западных публикациях «Русофобии».)

Может быть, верно самое элементарное объяснение ошибок в работах критикуемых в «Русофобии» авторов — многие оппоненты Шафаревича просто недостаточно образованны? Шафаревич удивляется: «А ведь все они — люди с гуманитарным образованием...» Похоже, он не учитывает особенностей гуманитарного образования в нашей стране, когда учащимся внушается, что для оценки исторической концепции факты совсем не нужны (иной подход был бы губителен для марксизма). Но ведь зато от Шафаревича, имеющего заслуженную репутацию математика, который не допускает ошибок, мы могли бы ожидать большей логичности изложения и строгости доказательств. Оказывается, что беззаботность автора по части логики удивительна.

Не вполне все ясно с термином «мессианизм». Более всего соответствует его «внутренней форме» (от еврейского «Мессия», что на греческий переводится как «Христос») определение, данное игуменом Геннадием (Эйкаловичем): «Мессианизм есть историософская идеология, согласно которой жизнь народа во всех ее областях должна **посильно** опираться на принципы христианской жизни» (из статьи «Теодицея мессианизма», опубликованной в 116-м номере «Вестника РХД» — кстати, там же, где и работа Шафаревича «О некоторых тенденциях развития математики»). Разумеется, можно дать какое-то другое определение термину «мессианизм» и следовать ему. Шафаревич понимает мессианизм как «веру некоторой социальной группы (нации, церкви, класса, партии...) в то, что ей предназначено определить судьбу человечества, стать его спасителем». Такое понимание достаточно широко распространено, и, по-видимому, именно из него исходят критикуемые Шафаревичем авторы, говорящие о «русском мессианизме»; поэтому то, что Шафаревич выбирает именно это понимание, представляется вполне оправданным. Но тогда незачем углубляться в этимологию и вспоминать, откуда происходит термин «мессианизм». А именно это делает Шафаревич, восклицающий: «Но ведь «Мессия» — не русское слово!» Ясно, что делается это для того, чтобы переадресовать обвинение в мессианизме евреям. Автор сочувственно упоминает точку зрения Бердяева, согласно которой всякий мессианизм — подражание еврейскому. Правда, можно отметить, что если у других народов «мессианизм» (в таком понимании) всегда имеет привкус национальной гордыни, то в отношении евреев их «избранность» неоднократно засвидетельствована в Слове Божием и признается не только ими, но и всеми христианами. Это относится как к Ветхому Израилю, которому «принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их отцы, и от них Христос по плоти» (Рим. 9, 4—5), так и к евреям, живущим после пришествия Христа: «мы, христиане, к какой бы нации или крови мы ни принадлежали, мы вместе с апостолом Павлом ожидаем, что последнее свершение, последнее завершение в вере придет от Израиля» (владыка Антоний Блум). Конечно, и еврейский мессианизм может вылиться в национальную гордыню — как справедливо пишет по другому поводу Шафаревич, у всех «сил, действующих в жизни народа <...> есть своя опасность, возможность болезненного развития (или соблазн)». Но поскольку болезненного пути можно и избежать, то Шафаревичу обвинение евреев в таком мессианизме (в соответствии с вышеприведенным определением, принимаемым и Шафаревичем, еврейский мессианизм — это вера евреев в то, что им предназначено определить судьбу человечества, стать его спасителями) представляется недостаточным, и содержание еврейского мессианизма он определяет уже совсем по-другому: «Учение о Мессии (Помазаннике), который и установит власть «Избранного народа» над миром». А ведь подмена в ходе рассуждения одного понимания термина другим — известная логическая ошибка.

Шафаревич то и дело высказывает в разных местах противоречащие друг другу суждения: то, что ему нужно в данном месте для построения аргументации или чтобы уязвить оппонентов,— то и идет в ход. Доказывая неправильность понимания «интеллигенции» как узкой группы людей, по взглядам близкой «Малому Народу», он указывает на то, что «жизненные взгляды миллионов учителей, врачей, инженеров, агрономов и т. д. совершенно иные». Может быть, он и прав, но все же любопытно знать, откуда Шафаревичу известны их жизненные взгляды и как совместить это с его утверждением (с которого и начинается работа) о трудности судить о жизненных взглядах нашего народа («социологические обследования на эту тему, кажется, не проводятся, да и сомнительно, что они дали бы ответ»).

Оценки, которые Шафаревич дает в разных местах работы, тоже нередко противоречат одна другой. В главе 4 Салтыков-Щедрин рассматривается как представитель «Малого Народа», высмеявший «Могучую кучку», а в главе 5 он уже «великий русский писатель». И эти положения соседствуют в одной работе!

Ощущение контраста противоречащих друг другу оценок усилится, если мы привлечем для сопоставления другие работы И. Р. Шафаревича. Всем, кто читал «Социализм», памятно, что Шафаревич считает социализм проявлением инстинкта смерти по Фрейду. И куда как

странно читать в «Русофобии»: «...Пониманию наших потомков будет недоступно влияние Фрейда как ученого...»! Здесь же объясняется, что такие дутые репутации, как у Фрейда, создаются и поддерживаются только благодаря клаке. Значит ли это, что в «Социализме» Шафаревич выступал в роли клакера?

В одной из статей в сборнике «Из-под глыб» Шафаревич называл книгу Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (впрочем, полемизируя с ней) «одним из самых ярких и умных произведений, которые дала русская мысль после революции». Однако сколь неумеренной выглядела эта похвала, столь же необоснованным выглядит отлучение Амальрика от русской мысли вообще, когда Шафаревич цитирует его в разделе «Они о нас». Неужели нелестное суждение о русском народе и русской истории уже выводит автора этого суждения за рамки русской культуры? Интересно, куда в таком случае Шафаревич отнесет Чаадаева? А поскольку Шафаревич готов проделать такую операцию не только с публицистами и эссеистами, но и с поэтами, прозаиками, драматургами, то ведь надо учесть, что мало у кого из русских писателей не найдешь суждения, не слишком-то льстящие нашему национальному самолюбию.

Едва ли не самым ярким примером может служить творчество Александра Солженицына. Думаю, нет нужды приводить многочисленные примеры его нелицеприятных высказываний о России и ее исторических традициях, нас уже неоднократно ткнули в них как официальная советская печать, в которой обвинение Солженицына в ненависти к своему народу всегда было общим местом, так и националистически настроенные авторы самиздата. Особенно часто в этой связи упоминались «Август Четырнадцатого» и «Архипелаг ГУЛАГ», но досталось и другим произведениям (так, по поводу «Ракового корпуса» Иван Самолвин писал: «...Мне было неприятно уже одно то, что самому отрицательному персонажу Вы дали многозначительное имя «Русанов» (от «русский»?) Самый положительный у вас — хирург с волосатыми руками, еврей, посмеивающийся над процессом врачей»). Для объяснения такой «ненависти к русским» (слово «русофобия» еще не было в ходу), якобы свойственной Солженицыну, подобные авторы тоже выдвигали гипотезу о влиянии еврейских национальных чувств. Солженицына называли «сионистом» и Емельянов, и анонимный автор «Критических заметок русского человека о патриотическом журнале "Вече"» [1]; партийные лекторы неоднократно намекали на еврейское происхождение Солженицына, обыгрывали отчество Исаевич; Иван Самолвин в «Письме Солженицыну» сомневался: «Я не знаю точно, кто вы — русский или еврей? <...> Может быть, Вы русский человек, на которого давит окружение, жена-еврейка».

[1] Впрочем, не щадит этот автор и Шафаревича: «Позором для журнала является перепечатка заявлений Сахарова, Шафаревича и прочей сиониствующей своры ученых и псевдоученых, воюющих о свободе печати» (см. М. Агурский. Неонацистская опасность в Советском Союзе).

В последнее время хор голосов, отлучающих Солженицына от русской культуры как заклятого врага русского народа, примолк. Действительно, как писал Н. А. Струве, «кто сделал в наши дни больше для русского слова, для русской славы, для просветления сознания у себя на родине или за рубежом, пусть смело шагнет вперед. Думаю, что немного найдется охотников выступить из рядов». Но сама методология жива. И, как ни печально, в заголовке «Они о нас» можно видеть отголосок этой тенденции. Игра на местоимениях запутывает дело, и хочется спросить словами Галича: «Кто же мы и с какой стороны они?»

А между тем недоброжелательная и пристрастная, а иногда и озлобленная критика России и русской жизни достаточно сильна и очевидна в отечественной традиции. Ничего нового в этом отношении в 70-е гг. нашего века не произошло, и непонятно, почему в результате знакомства с анализируемыми в работе статьями, печатавшимися в самиздате и в эмигрантских журналах начиная с конца 60-х гг., Шафаревичу открылась, как он пишет в главе 1, «совершенно неожиданная картина: [...] обрисовалась одна четкая концепция, которую естественно счесть выражением взглядов сложившегося, сплоченного течения [...] Приглядевшись, можно заметить, что те же взгляды широко разлиты в нашей жизни». Ясно, что эти взгляды (а по большей части — неосознанные умонастроения) возникли никак не в 60—70-е гг. нашего столетия. Шафаревич сам упоминает «государственную русофобию» 20-х гг., проводит аналогию между анализируемыми статьями и взглядами нигилистов второй половины XIX в. А на самом деле такие настроения проявлялись в русской мысли и раньше. Кто только не цитировал печеринское «как сладостно отчизну ненавидеть»! Нередки эмоциональные антироссийские высказывания у Белинского. Конечно, можно было бы и его отнести к родоначальникам направления, с которым полемизирует Шафаревич, и посчитать репутацию великого русского критика раздутой [1]. Но если пойти по этой дороге, то из русской культуры придется вычеркнуть и Вл. Соловьева (который в свое время обращал внимание на то, что идеальное славянофильство при подходе к решению прак-

[1] Интересно, что, когда в начале нашего века Ю. И. Айхенвальд подверг репутацию Белинского сомнению, огромный хор голосов стал, наоборот, защищать русскую культуру от посягательств Айхенвальда (т. е. реакция была в какой-то степени сходна с реакцией на «Прогулки с Пушкиным»). Впрочем, полемика велась корректно с обеих сторон и никому не пришло в голову помещать высказывания Айхенвальда в рубрику «Они о нас».

тических вопросов странным образом приводит к религиозной нетерпимости и шовинизму, т. е. явился предшественником критикуемых в главах 2 и 6 «Русофобии» взглядов Янова), и Бердяева (Шафаревич сам отмечает, что к работам Бердяева восходит теория о связи «русского мессианизма» и идеи всемирной социалистической революции, начатой Россией), и Розанова (у которого вообще можно найти утверждения на любой вкус, в том числе и выглядящие «антирусскими»). Механизм такого «очищения» русской культуры (в результате «исчезающей на глазах как от пассов факира») прекрасно вскрыт С. С. Аверинцевым в предисловии к публикации статей Вл. Соловьева в «Новом мире» (1989, № 1). Не вполне ясно, что же в результате такой операции останется,— не окажется ли (говоря слогом Шафаревича), что большинство представителей русской культуры к ней не принадлежит? [1] Ведь и у Достоевского, которого Шафаревич не раз сочувственно цитирует, можно найти высказывания, дополняющие список инвектив по адресу русских. Например, следующее высказывание можно представить как обвинение русских в пристрастии ко лжи: «Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества [...] Все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины...» И в произведениях авторов славянофильского направления такие высказывания нередки, а Хомякову принадлежит характеристика России, которая могла бы рассматриваться как поэтическое резюме разнообразных обвинений по ее адресу: «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена; безбожной лести, лжи тлетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна». Эта характеристика чрезвычайно напоминает характеристику, данную Галичем в уже цитированной песне: «Переполнена скверною от покрышки до дна». Здесь выражается одно и то же ощущение несоответствия между высоким идеальным призванием России [2] и ее текущим положением. Хомяков так и писал: «Но помни: быть орудьем Бога земным созданьям тяжело... А на тебя, увы! как много грехов ужасных налегло!» Конечно, в наше время это ощущение обогатилось новыми штрихами. На фоне того падения, которое постигло Россию в XX в., уже кажутся незначительными «ужасные грехи», о которых говорил Хомяков; сохранить веру в Россию становится куда труднее. Но разве не одно и то же чувство контраста между идеальным обликом России и ее незавидным состоянием и вопреки всему вера в нее обусловили и упомянутую песню Галича, и лагерное стихотворение Солженицына «Россия» (выраженные в нем настроения, по словам Солженицына, разделялись впоследствии и друзьями направления «Из-под глыб»)? У Галича идеальная Россия («где родятся счастливыми и отходят в смиреньи; где как лебеди, девицы, где под ласковым небом каждый с каждым поделится Божьим словом и хлебом») противопоставляется России согрешившей, «переполненной скверною», и мольба, завершающая песню («чтоб хоть в сердце, как в Китеже, слышать благовест твой»), свидетельствует, что вера в России не угасла. Точно так же строится и стихотворение Солженицына. Автор подчеркивает несоответствие идеального представления о России и того, что он видит вокруг («среди соплеменников диких России я не нахожу»). Он подробно рисует ту Россию, «что всех дороже»: «где в драке и гневный не станет лежачего добивать, где вспомнят не только при брани, что есть у каждого мать... где рабство не стало потребой». Некоторые черты дают хороший урок нынешним сторонникам национальной исключительности и «собственного пути», зачастую нетерпимым к иноверцам (отголоски этого можно видеть в выпадах против иудаизма в националистической печати): «где <...> чужой почитают обряд <...> не ломятся в спор до издоха, что наше одно гожо». И далее — по контрасту: «Татарщин родимые пятна и сталинской гили гнусь — на всех нас! во всех нас!» И поэтому: «Треклятно становится имя Русь». «Мы стали всем ненавистны». И лишь в заключительных строках («О как ты хрупка и тонка, единственная Россия, неслышимая пока!») проглядывает надежда на то, что едва угадываемая идеальная Россия еще проявит себя.

Не всегда легко отделить конструктивную критику от поношений, в которых нет любви. А бывает, что подлинная боль за отечество переплетается с раздражением и недобрыми чувствами. Как определить, какие чувства в большей степени отразились в высказывании Б. Хазанова, цитируемом Шафаревичем: «Та Россия, которую я люблю, есть платоновская идея <...> Россия, которую я вижу вокруг себя, мне отвратительна»? Не похожи ли настроения, которые могли отразиться в пресловутых словах Синявского («Россия-Мать, Россия-Сука») и у Солженицына («Какая ты к черту родина, какая ты мать, позор»)?

[1] В главе «Современный вариант «Малого Народа»» Шафаревич оспаривает утверждение своих оппонентов, согласно которому интеллигенция должна непременно противопоставлять себя народу. Не окажется ли при таком подходе, что большинство интеллигенции к ней не принадлежит? — задается вопросом Шафаревич, не замечая, что допускает тут логическую ошибку: подмену одного понимания термина «интеллигенция» на другое (свое) в пределах одного рассуждения (ведь люди, не принадлежащие к интеллигенции, тем самым и не является ее большинством).

[2] В. А. Жуковский замечал, говоря о сочетании С в я т а я Р у с ь: «...Сказанное теперь (в противоположность тому, что в наших глазах повсеместно творится) не изумляет ли оно своею новостию и своею истиною? <...> Подобных наименований <...> отечества, кажется, ни один европейский народ не имеет».

Все эти вопросы особенно важны, потому что критерию наличия истинной любви к России Шафаревич придает едва ли не юридическое значение. Он цитирует сборник «Россия и евреи»: «Одно из двух: либо иностранцы без политических прав, либо русское гражданство, основанное на любви к родине». Но то, что является оправданным при авторефлексии, при отчужденном цитировании вызывает вопрос: не предполагается ли декларируемая любовь к родине условием для получения политических прав? Ясно, что это было бы полной профанацией всякой любви.

Надо сказать, что в заключительных параграфах «Русофобии» «пародийный» характер работы становится все ощутимее. Когда автор в главе 2 опровергает тезис, что революция и социализм в России имеют истоки в традициях русской истории, аргументы Шафаревича кажутся почти общим местом и не останавливают внимания [1]. Действительно, нам привычно думать, что коммунизм враждебен л ю б о й национальной идее. И вдруг мы с удивлением читаем в главе 9, что Шафаревич все же обнаруживает национальные корни у российской коммунистической революции, только корни эти еврейские. Похоже, к этому и шла вся аргументация в главах 6 — 8. Здесь даже непонятно становится, почему автор с сочувствием цитирует сборник «Россия и евреи» (называя его «честной и мужественной попыткой разобраться в том, что произошло»),— ведь авторы этого сборника доказывают, что коммунистическая революция никак не полезна еврейству, враждебна подлинным интересам евреев и не вытекает из еврейского духа, а, скорее, противоречит ему. При этом Шафаревичу то и дело отказывает чувство соразмерности. Автор готов приравнять литераторов, высказывающих нелестные (или прямо враждебные) суждения о русском народе, к создателям и руководителям ГУЛАГа [2]. Он отметает объяснение чувств этих литераторов испытаниями, которые выпали на их долю или на долю их близких («стихи Бялика написаны под впечатлением погромов, у Д. Маркиша отец расстрелян при Сталине по «процессу сионистов»...»), заявляя, что «сама постановка такого вопроса вряд ли имеет смысл: оправдывает ли унижение немцев по Версальскому миру национал-социализм?» Но ведь ясно, что недовольство несправедливым мирным договором едва ли может переживаться так же остро, как страдания и насильственная смерть близких людей [1]; с другой стороны, выражение враждебных чувств в литературной форме — совсем не то же, что уничтожение миллионов людей в газовых камерах.

Четырех евреев, осужденных в СССР по так называемому «самолетному делу» (за неосуществленный замысел угона самолета б е з п а с с а ж и р о в) и освобожденных в апреле 1979 г., Шафаревич называет «еврейскими террористами». Тут уж разводишь руками. Осужденных по «самолетному делу», не совершивших и малейшего насильственного деяния, не называла «террористами», насколько я знаю, даже советская пресса. Да не писалось ли это около 1980 г., когда двое осужденных по этому делу (Федоров и Мурженко) еще томились в заключении?

Несообразности такого рода мешают оценить действительно важные вопросы, которые ставятся в заключительных главах. Например, почему столько евреев с энтузиазмом включились в революционное движение и в конечном счете «оказались среди начальствующих головорезов»? По-видимому, Шафаревич прав, когда обращает внимание на то, что «кризис нашей истории протекал в совершенно уникальный момент»: жизнь местечковых общин распалась, но евреи еще не успели ассимилироваться с остальным населением. Впитанная с раннего детства («часто совершенно бессознательно, из интонаций в разговорах взрослых, из случайно услышанных и запомнившихся на всю жизнь замечаний») враждебная отчужденность от окружающей жизни наложилась на утрату «Бога в сердце», т. е. религиозных основ жизни, без которых возможным оказалось то, чего авторы сборника «Россия и евреи» «всего менее ожидали встретить в еврейской среде: жестокость, садизм, насильничание». Но, пожалуй, подход Шафаревича все же слишком прямолинеен; он сродни подходу его оппонентов к похожему вопросу: почему коммунистическая революция победила именно в России? Причина такой прямолинейности, по-видимому в том, что и оппоненты Шафаревича, и он сам интуитивно чувствуют глубокие религиозные корни наблюдаемых исторических событий, но предпочитают касаться их лишь с внешней стороны.

В. А. Жуковский выделял три рода историков. Первый просто описывает

[1] И, вероятно, напрасно. Ведь если социализм реализует инстинктивную волю к смерти, то эта воля, очевидно, присуща всем людям, независимо от национальной принадлежности, и, значит, социализму было на что опереться и в России. А публикации последнего времени позволяют поставить и еще один вопрос: как Шафаревич относится к воззрениям своего нового союзника и соавтора Михаила Антонова, приверженного идеям социализма? Считает ли их враждебными русской традиции?

[2] Поэтому трудно с полным сочувствием воспринимать упреки Шафаревича, адресованные критикуемым им авторам, в недостаточной толерантности, когда они «не проявляют терпимости и уважения к чужому мнению, но без обиняков объявляют своих оппонентов фашистами и чуть ли не убийцами», а «любые неприятные высказывания перекрашивают под призывы к погрому».

[1] «Никакой нормальный человек не может простить убийства своего отца».— замечал Солженицын («Октябрь Шестнадцатого»).

происходящие события, не заботясь о причинах и следствиях. Он описывает то, что видит; это не историк, а летописец. Второй представляет события в целом, отвлекаясь от подробностей; его истина есть результат ума, творящего из подробностей целое. Третий не только представляет события в целом, но видит их причины и угадывает следствия; он «соединяет судьбу настоящего с намерениями Промысла; он изъясняет тайную власть неизменяемого Бога посреди изменяющегося потока событий». Все три типа исторических описаний имеют право на существование; без анналов, добросовестно составленных историком первого типа, нельзя было бы получить и общей картины.

Шафаревич неоднократно декларирует, что предпочитает не углубляться в цепь догадок, воздерживается от «оценочных суждений», не собирается никого судить, а только пытается «понять, что же происходило?» Отсюда можно было бы заключить, что он выступает в роли историка второго типа. Однако мы видим, что на практике Шафаревич не выдерживает этой роли (подобно тому, как, по его наблюдениям, «Янов не выдерживает роли профессора, бесстрастно анализирующего интересный социальный феномен»): трудно представить себе, чтобы такие выражения, как «обивали пороги ОВИРа, добиваясь своей визы», «злобные и недобросовестные нападки», «злобность и злопамятность, которые видны на каждой странице этого дневника», «пробивной, умеющий втереться в моду драматург и сценарист», не содержали никакой оценки. Да и во многих случаях автор выдвигает весьма нетривиальные гипотезы о движущих силах исторических событий, уж никак не удерживаясь в рамках чисто позитивного подхода к истории. Но и к историкам третьего типа Шафаревича в «Русофобии» отнести нельзя. Искать промыслительное значение исторических событий он не стремится. Пожалуй, здесь надо согласиться с его самооценкой: «Мы <...> соглашаемся, на худой конец, не игнорировать роль религии — но в основном как политического фактора <...> В истории действуют <...> мощные силы духовного характера — но мы не способны их обсуждать, их не ухватывает наш «научный» язык». Но, не оставаясь в рамках позитивного подхода и не желая углубляться в подлинные причины исторических событий, Шафаревич поневоле подменяет поиски смысла русской истории «журналистской публицистикой», стремящейся внушить читателю некоторые заданные мысли и чувства, т. е. как раз тем, что он усмотрел в работах оппонентов.

Поэтому неудивительно, что Шафаревич не ограничивается анализом идей своих оппонентов, он стремится их скомпрометировать, уличить в сотрудничестве с коммунистами. В подстрочных примечаниях к работе сообщает, что А. Левитин-Краснов принимал активное участие в движении обновленцев, что Плющ — марксист, против ареста которого протестовал вождь французской компартии, что Шрагин и Янов были членами КПСС и при этом Шрагин секретарем своей организации, а Янов — любимым автором журнала «Молодой коммунист» (и вывод — Шрагин и Янов были типичными «работниками идеологического сектора» [1]). [Впрочем, для «идеологически подкованных» читателей «Нашего современника» все эти данные вряд ли окончательно дискредитируют обсуждаемых авторов, недаром редакция посчитала нужным снять указание на выступление вождя французской компартии в защиту Плюща.]

Вообще аргументы Шафаревича часто бьют мимо цели. Вот он цитирует высказывание Синявского об антисемитизме в России («Здесь уместно сказать несколько слов в защиту антисемитизма в России. То есть: что хорошее скрыто в психологическом смысле в русском недружелюбии [...] к евреям») и комментирует: «И уж от такого защитника читатель принимает на веру, без единого доказательства, утверждение о том, что «недружелюбие» русских к евреям как нации действительно существует [...] В каком другом вопросе такой же трюк сошел бы с рук?» Если бы существование антисемитизма в России было выдумкою Синявского и других «русофобов», то можно было бы говорить, что Синявский использует «трюк», особый демагогический прием. Но всякий человек, знающий жизнь нашей страны, конечно, понимает, что антисемитизм у русских иногда встречается. Иначе зачем бы партийные пропагандисты пытались намекать на якобы еврейское происхождение Солженицына? (Полагаю, что и фамилия Шафаревич могла вызывать у известного рода людей соответствующие подозрения и враждебность.) В. В. Шульгин посвятил антисемитизму в России целую книгу («Что нам в них не нравится», Париж, 1929). Любопытно, что Шульгин свидетельствует: в течение долгого времени существование антисемитизма у русских подвергалось сомнению в либеральной журналистике, считалось выдумкой «правых», националистов, «черносотенцев», царского правительства. И Шульгин с торжеством (но и с тревогой) отмечает, что сведения, приходящие из Советской России, убедили всех в том, что националисты были правы: антисемитизм там силен как никогда, хотя ни царского правительства, ни правых националистов уже нет. В настоящее время ситуация переменилась, и вот уже националистически настроенные авторы объявляют существование антисемитизма в России злонамеренной выдумкой «русофобов».

---

[1] Интересно, что Солженицын, полемизируя со Шрагиным в одном из номеров «Вестника РХД», счел нужным заметить: «Это мужественный человек, открыто выступавший в СССР, я всегда его искренне уважал».

Тем не менее мне кажется, что сколь бы ни было трудно судить о настроениях, распространенных в нашем обществе, здесь специальные социологические исследования не нужны, и по зрелом размышлении Шафаревич согласится, что речь не идет исключительно о выдумке.

Само объяснение Синявским психологического источника такого «недружелюбия» Шафаревич высмеивает: Синявский «разъясняет, что сколько бы бед русский человек ни натворил, он просто не в силах постичь, что все это получилось от его же собственных действий, и валит грех на каких-то «вредителей», в частности на евреев. [...] Видите, автор даже берет русских под защиту, старается, сколь возможно, извинить их антисемитизм...» Но по закону пародии мы можем ожидать, что сам Шафаревич тоже прибегнет к такому же «психологическому» объяснению. И, действительно, в чем же Шафаревич видит источник обнаруженной им «русофобии» у националистически настроенных евреев? Он подробно перечисляет факты, свидетельствующие о причастности большого числа евреев к большевистским преступлениям, о роли большевиков еврейского происхождения в создании и функционировании карательной системы советского государства. И далее высказывает предположение, что нежелание вспомнить и признать участие в этих преступлениях приводит к попыткам свалить все на Россию: «если и было что-то <...> не совсем гуманное, то в этом виноваты сами русские, такая у них страна <...> у них жестокость в крови, такова вся их история. Именно этот лейтмотив и придает такой яркий антирусский оттенок идеологии современного нам «Малого Народа», именно поэтому возникает необходимость снова и снова доказывать жестокость и варварство русских». И Шафаревич готов, подобно Синявскому, если не извинить, то понять своих оппонентов, он пишет: «В такой реакции нет ничего специфически еврейского: в прошлом каждого человека и каждого народа есть эпизоды, о которых вспоминать не хочется»,— чтобы затем снова не находить для них иных слов, кроме таких, как «злобные и недобросовестные нападки» и т. п. Легко заметить, что здесь мы сталкиваемся просто с зеркальным отражением подхода Синявского.

Ощущение пародийности преследует нас до самого конца работы. Потому вряд ли стоит обсуждать разные частные вопросы, высказывать замечания, возникающие по ходу чтения.

Упомяну лишь пассаж из «Заключения»: «Что же мы можем противопоставить этой угрозе? Казалось бы, с мыслями можно бороться мыслями, слову противопоставить слово. Однако дело обстоит не так просто». И далее речь идет о необходимости «создания оружия духовной самозащиты» народа. Каким же видит Шафаревич это «оружие»? Если недостаточно мыслей и слов, то, очевидно, предполагается прибегнуть к каким-то более действенным методам? [1]

Итак, мы имеем дело с пародией? Но последние фразы «Русофобии» развевают это впечатление: «...СКАЗАТЬ ПРАВДУ, произнести наконец боязливо умалчиваемые слова. Я не мог бы спокойно умереть, не попытавшись этого сделать». Простая серьезность этих слов противоречит предположению о пародийном характере «Русофобии». Так пародии не заканчивают.

Что ж, а нам остается, снова окинув взглядом «Русофобию», выразить надежду, что Господь пошлет Игорю Ростиславовичу Шафаревичу долгие годы жизни, а может быть, и силы написать еще много работ, достойных его сложившейся в 70-е годы репутации поборника религиозной свободы и глубокого политического мыслителя. Что же касается до «Русофобии», в ней, на мой взгляд, едва ли высказана такая «правда», чтобы эту работу считать делом всей жизни.

P. S. Возможно, заслуживали бы более подробного обсуждения по существу и критического разбора две действительно важные проблемы, затронутые в «Русофобии»: насколько коммунистический период является закономерным продолжением русской истории и какова роль евреев в русской революции и последовавших событиях. Но представляется, что в нынешней накаленной обстановке даже самое академическое обсуждение этих вопросов способно послужить только разжиганию страстей. Мы видим, что правы были авторы сборника «Из-под глыб» (в том числе и Шафаревич), предсказывавшие, что демократические преобразования в СССР могут быть подорваны межнациональными столкновениями и кровопролитием. Тем более странно, что именно в 1989 году Шафаревич счел уместной публикацию «Русофобии». Идеи Шафаревича стали фактом политической жизни, и обвинением в «русофобии» теперь пользуются как политическим оружием.

---

[1] При виде подписи Шафаревича под коллективными письмами последнего времени может возникнуть впечатление, что надежда связывается с методом административного воздействия на лиц, занимающих неугодную позицию. Хочется все же верить, что это впечатление ложно.

«Каков я прежде был...»

Мое личное знакомство с Давидом Самойловичем было эпизодическим. Но и одной беседы было достаточно, чтобы ощутить присущую ему наполненность жизнью — неотъемлемое качество его поэзии. Известие о смерти поэта не отменило, а только усилило это ощущение, которое, как я надеюсь, передает рецензия, написанная еще при жизни мастера. И после его кончины мне настоятельно хотелось ничего в ней не менять, оставить все так, как и было «при Самойлове».

Сборник «Горсть» (куда вошли стихи, написанные в 1985—1987 гг.) представляет самый свежий срез лирики Самойлова, новые годовые кольца его поэзии. Когда же читаешь двухтомник «Избранного», куда «Горсть» вошла как один из разделов, то видишь, насколько она естественно продолжила сделанное поэтом раньше, как упрочила уже сложившийся в читательском сознании образ Самойлова.

Его стихи последних лет, как и стихи прежних десятилетий, производят редкое по своей полноте впечатление свободы и нескованности в реакциях на события жизни, на людей, на впечатления искусства. Перед нами тот самый поэт, который прежде говорил о себе:

Я рос соответственно времени.
В детстве был ребенком.
В юности юношей.
В зрелости зрелым.

Тот самый Самойлов, который уже во «Втором перевале» показал нам образец спокойного самонаблюдения:

Странно стариться,
Очень странно.
Недоступно то, что желанно.
Но зато бесплотное весомо —
Мысль, любовь и дальний отзвун грома.

Автор «Горсти» — это и автор «Цыгановых», его торжественное отношение к жизни, к смерти, к красоте неизменно.

Давид Самойлов. Избранные произведения в двух томах. М., Художественная литература, 1989.
Д. Самойлов. Горсть. Книга стихов. М., Советский писатель, 1989.

Заметим, что здесь нет и тени расслабляющего трепета, а есть некая, я бы сказала, человечная свойскость, трогавшая и удивлявшая нас уже в прежних стихах («Сороковые», «Перебирая наши даты»)... В полной мере мы чувствуем ее и теперь:

И вдруг бомбежка. «Мессершмитты».
Мы бросились в кювет. Убиты
Был рядом грязный мальчуган
И старец грозный, величавый.
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман».

Я был живой. Девчонки тоже.
Туманно было, но погоже.
Вокзал взрывался, как вулкан.
И дымы поднялись курчавы.
«Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман».

Я уже сказала о достоинстве — но и горечи! — стихов Самойлова о возрасте, старении, старости, наконец.

«Я люблю ощущенье ушедших годов...» — как бы продолжает Самойлов утверждать себя в правах старости. А наивысшие из этих прав такие: с трезвой болью осознавать свой возраст — это с одной стороны; с другой же — избегать «малодушных укоризн» в адрес чужой молодости.

Не для меня вдевают серьги в ушки
И в зеркало глядятся...

Не для меня небрежна эта складка,
Блеск янтаря на шейке.
О милая! Так улыбайтесь сладко,
Цветите, хорошейте.

Я бы сказала (рискуя быть неверно истолкованной), что Самойлов (как и кое-кто еще из его поколения, из стихотворцев его судьбы) — настоящий мужчина в поэзии. Есть в его способности не роптать на годы, на судьбу, на людей, в умении просто вести и оценивать себя перед лицом самых ответственных моментов жизни подлинная мужественность:

Мне выпало счастье быть русским поэтом.
Мне выпала честь прикасаться к победам.
Мне выпало горе родиться в двадцатом,
В проклятом году и в столетье проклятом.
Мне выпало все. И при этом я выпал,
Как пьяный из фуры,
в походе великом.

Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети.

В этих стихах есть трагизм, но в них нет безнадежности. Нет потому, что, проживая свою индивидуальную судьбу, со всеми выпавшими лично ему испытаниями, поэт никогда не терял чувства общности с русской культурой, своим поколением. Я сознаю, что сказанное мной о Самойлове стало уже общим местом, трюизмом в разговоре о нем. Что ж поделаешь! И в этой важнейшей составляющей своей духовной биографии поэт остался верен себе, не изменился.

Творчеству Самойлова присуща прежде всего свобода ориентации в культурном и литературном наследии, выражающаяся, скажем, в гибкости обращения с размером, когда, например, сочетание разностопных строк в стихе способно выразить какие-то серьезные сломы и перепады внутренних состояний, в содержательности рифмовки — строгой и точной, с изредка мелькающей на этом фоне выразительно неполной, неточной рифмой.

Но ценнее всего у поэта его гражданская незакомплексованность, самостоятельность души, осознающей свое предназначение и свою ответственность. Чувство человеческого и культурного единства с миром диктовало поэту строки:

Вы меня хлебом пшеничным, я вас зерном слова —
Мы друг друга кормим.
Есть и у слова своя полова.
Но и оно растет корнем.

Иных критиков Самойлова раздражала эта уверенность в себе, эта гордость... Думаю, что тут все то же: проявление спокойной самооценки зрелого человека, мастера своего дела. Именно в качестве зрелого человека, мужчины, мастера — то есть в полном смысле слова гражданина — Самойлов считает себя вправе говорить соотечественникам нелицеприятные истины:

А обобрав репей приставший,
Очистить волю и судьбу,
Чтоб отвечал за нас не старший,
Не в пядях о семи во лбу.
Без фанфаронства самохвала,
Без злобы и впаденья в раж —
А надо начинать сначала:
Хоть с азбуки и с «Отче наш»!

Перед нами неподдельно раскованный, живой и темпераментный поэт. Примечательно, однако, что в наши дни, когда откровенным, открытым и темпераментным быть легко и между людьми пищущими происходит порою что-то вроде соревнования в хлесткости обличительных высказываний, Самойлов считает за благо иногда и «придержать» себя. Читателя он тоже призывает к самообладанию и трезвости:

Поверить новым временам
Не так легко при ста обманах.
И впрямь нужна ли правда нам
В разоблачительных романах?
И нужно ли разоблачать
То, что давно уже знакомо:
Умение не замечать
Попранье права и закона?
И неужели в том открытье,
Что мы должны во все поры
Правдиво отражать событье,
А там пусть хоть в тартарары?!

Не только мне, наверное, мила такая сдержанность — сдержанность опыта, ума и духовной силы. Этого качества как раз болезненно не хватает сейчас нашему обществу. И не надо путать позицию, подобную самойловской, с позицией неучастия и чистоплюйства: поколение, к которому принадлежит поэт, участвовало во всем, что только происходило в жизни и в литературе. В «Попытке воспоминания» — очерке, посвященном Сергею Наровчатову (я забыла сказать, что двухтомник наряду с обязательными для самойловского издания разделами «Баллады» и «Поэмы» включает раздел «Портреты», содержащий очерки о П. Антокольском, В. Яне, М. Петровых, В. Высоцком...),— так вот в очерке о Наровчатове сказано: «Мы хотели не воспевать, а совершать и представлять современность...». И в другом месте: «Одной из главных особенностей нашего поколения Наровчатов считал отсутствие гения. Все поколение — по его мнению — должно было осуществить дело гения. И оно создало поэзию гениальную». Эта идея у Самойлова поэтически оформилась следующим образом:

Если бы я мог из ста поэтов
Взять по одному стихотворенью
(Большего от нас не остается),
Вышел бы пронзительный поэт.

. . . .

Гений роковых сороковых,
И пятидесятых полосатых,
И шестидесятых дрожжевых,
И загадочных семидесятых,
И восьмидесятых межевых!..

Вот в таком виде и существует у поэта пафос общего дела. Он существовал всегда — и всегда одновременно с энергично выраженной у Самойлова тягой к

индивидуальному самоопределению в литературе, к собственному пути. Ведь общее дело — это выполненное на пределе личного умения и мастерства свое собственное жизненное и творческое задание. Нет ничего удивительного в том, что так понимаемый профессионализм оказался связанным у поэта с даром правильной нравственной ориентации, четкого различения должного и недолжного. Поставленный перед лицом зла, Самойлов, этот иронист, высказывается с однозначной, хоть и сдержанной твердостью:

И Пастернак отпастерначил,
Оттвардовал Твардовский.
И Мелкий бес кривляться начал
В своей игре бесовской.
Он напустил геенской серы,
Он ввел закон кулачный.
И свищет муза птичкой серой
На веточке невзрачной.

Так имеет право писать человек, сумевший и в самые сумеречные времена развиваться естественно и свободно. Думаю, что подобный путь развития отдельной личности есть в определенном смысле залог, обещание нормального общественного становления.

Елена Степанян

Сломанная печать

По свидетельству Солженицына, одним из худших лагерных кошмаров были подростки. От их озверелых стай, бродивших по ГУЛАГу, приходилось ежечасно ждать самой изуверской жестокости. Взрослым зекам они внушали ужас, доходивший до желания истребить маленьких чудовищ, в которых даже глаз писателя не различал ничего человеческого.

Автобиографическая повесть И. Поляка — о тех же временах и, в сущности, о таких же детях. Только повествователь смотрит на них не со стороны. Десятилетним мальчишкой после ареста матери, попав в детский приемник-распределитель, он на собственном опыте познает законы нищего полутюремного житья, превращающего ребят в трусливых, хитрых и злобных тварей. Детский приемник-распределитель не оставляет им даже имени: если великовозрастный вожак, всех кругом застращавший, еще может зваться Николой, то прочим суждено довольствоваться кличками. Дух, Лапоть, Царь и другие бедолаги, похоже, успели забыть, что когда-то их называли иначе.

Главный герой не избегает общего удела. Он — Пигмей, Фитиль, Рахит, иного имени ему здесь не дано. Итак, слабейший... Последний в местной блатной иерархии. Безответный в начале и бунтующий в конце повести, этот мальчик остается жертвой, не торжествует над своими мучителями, не собирает вокруг себя других, таких же угнетенных. Жив остался — и на том спасибо. Сумел десятилетия спустя поведать о тогдашних событиях — и то чудо.

Впрямь есть что-то от чуда в отваге и вдохновении И. Поляка, описавшего неописуемое. Отроческие впечатления Пигмея таковы, что отнюдь не слабонервный писатель Р. Киреев, рекомендуя «Песни задрипанного ДПР» сегодняшнему видавшему виды читателю, считает нужным предварить: «Автор ничего не утаил, ничего не упустил в угоду ложно понятому приличию или беллетристическим канонам. Он и себя не щадит...»

В повести немало страниц, которые тяжело, почти физически больно читать. Кошмарны сцены расправ, на какие горазды Никола и его приближенные. Омерзительны оргии залетных взрослых воров, впрочем, на время избавивших обитателей приемника от Николиной тирании. Тягостны картины быта, заставляющего маленького пленника ДПР ностальгически вспоминать блокадные дни, когда муки голода были те же, но вместо воспитателей-надсмотрщиков рядом была мама, вместо вызверившихся ровесников — братик и сестренка. Даже когда на долю Пигмея выпадает счастливое мгновение, у читателя и тут перехватывает горло, ибо нет иной реакции на бешеную радость ребенка, которому удалось пробраться в конюшню, чтобы второпях набить рот приготовленными для лошади отрубями — «прогорклой, отдающей плесенью и мышиным пометом пищей богов».

Налицо, кажется, все признаки того, что нынче зовут «жестокой прозой», хотя это определение, на глазах обретающее статус термина, мало что объясняет там, где жестокость не прихоть авторской фантазии, а одна из главных примет действительности. Если бы только прошлого! Но увы: нет причин утешаться мыслью, будто писатель рассказывает об ужасах, возможных «только при старом режиме». Отрубей теперь (хочется верить) не едят, но дикое угнетение младших ребят старшими, воровство, проституция — эти несчастья послевоенного ДПР, нестерпимо наглядно описанные И. Поляком, знакомы и сегодняшним сиротам. Недавно об этом с телеэкрана говорил сотрудник одного из московских, то есть, надо полагать, не самых «задрипанных», детдомов. Энергичный, молодой, но уже измученный, он старался держаться спокойно. А в глазах стояло отчаяние. Он твердил, что ничего не удается сделать, детдомовские беды предопределены устоявшейся порочной системой, до слома которой далеко. Но, оказалось, дети думают иначе. Они все пытались объяснить, как чудесно переменилась их жизнь с появлением этого человека, считающего свои усилия бесплодными. И было понятно: он судит о происходящем с точки зрения нормы, этим ребятам неведомой, они же — с точки зрения привычного горя, научившего их изголодавшиеся души принимать за «пищу богов» самые скудные крохи человечности.

Когда читаешь повесть, подобных сопоставлений не избежать. Но требует их наше неблагополучное бытие, а не авторский замысел, направленный, как мне кажется, на другое. Автор размышляет скорее о трагизме человеческого удела, чем о конкретных проблемах прошлого или настоящего. Правда, черты изображаемой эпохи, психологические и бытовые, схвачены им превосходно. Но больше всех потрясающих фактов, душераздирающих подробностей поражает неистовая и торжественная сосредоточенность, с какой писатель вглядывается, вслушивается в былое. Это сосредоточенность человека, побывавшего в аду. Испытавшего, кроме телесных, неимоверные нравственные муки. В десятилетнем возрасте узнав такое, что с этим знанием, кажется, и жить-то нельзя, он годы спустя претворяет свой мрачный опыт в слово. И его свидетельство вдруг оказывается... поэтическим.

Да, проза И. Поляка, рискованно сочетающая высокую книжную лексику и низкопробный жаргон, перегруженная натуралистическими деталями, не блещущая искусством композиции, несет мощный заряд поэзии. Красота живет в пейзажах повести, угрюмых, тревожных, но не дающих забыть, что мир велик, а душа крылата. Живет и там, где ей вроде бы вовсе не место: в несообразностях стиля, контрастах наивной метафоричности и жесткой исследовательской логики, в задыхающемся ритме повествования. То, что в ином случае было бы пороками авторской манеры, оказывается вдруг яркими достоинствами. Очевидно, потому, что каноны изящной словесности не выдерживают рассказа о том, как дети «трясущимися доходягами прилухали на смердящих матрасах, порабощенные неодолимым страхом дикой тьмы с ее вечными законами силы; о негаснувшем огоньке надежды, о заоконном мире с бесстрастной колокольней, о тоске и грезах, о нестерпимой боли в заплаканных глазах мамы. Эту боль я понес с собой вместе с предначертанием, звучащим во мне, как набат судьбы: написать, донести обо всем!»

Эта лихорадочная и, пожалуй, уже необязательная тирада вырывается у повествователя в финале после того, как Пигмей едва не заплатил жизнью за донос: сообщив начальнице о тайной системе поборов, обрекающей большинство ребят на медленное умирание, а группе вожаков обеспечившей власть и сытость, герой повести потрясает основы уклада ДПР. За предательство ему полагается смерть.

Нехитрый конфликт, знакомый еще по «Республике Шкид», оборачивается драмой не только кровавой, но и невероятно запутанной психологически. Маленький герой повести на протяжении действия испытывает чудовищную душевную ломку. Против него — сплоченность «кодлы», как-никак заменившей мальчику отнятую семью. Это не одни кулаки да ножи, здесь есть свои идеалы, принципы, мечты, песни. Своя романтика, пьянящая и утешающая там, где, кажется, уже невозможно утешение. Страх постепенно приучает жить, «даже в душе раболепствуя» перед силой, разжигая в сердце истерическую преданность главарям. Ведь если посчастливится, попадешь в любимчики, а это лишняя пайка, относительная безопасность, шанс дожить до «светлого будущего» — геройской карьеры настоящего вора или скромной путевки в детдом, где, говорят, не так голодно и есть школа...

Эта коллизия для нашей литературы не нова. Достаточно вспомнить, например, с каким безупречным чувством вкуса и меры подходит к подобной ситуации В. Лакшин в «Законе палаты», как решительно атакует свою трудную тему Л. Габышев в повести «Одлян, или Воздух свободы». В первом случае перед нами образец зрелого, отточенного мастерства, не пасующего ни перед каким материалом. Во втором — бесхитростный, подкупающий мужественной прямотой рассказ о пережитом. И там и здесь отношения повествователя к изображаемой драме, искусства — к реальности установлены достаточно четко. В повести И. Поляка иначе: изображение никогда не равно себе, отсюда сильный и сложный эффект двойного зрения.

Глазами затравленного подростка глядя на обступающих его врагов, мы видим, до чего страшно, когда «топорная морда Николы угрожающе напряглась», как мерзко слышать, что опять «взвизгнул», «забрехал», «зашелся звериным воем» Николин прихвостень Горбатый.

Илья Поляк. Песни задрипанного ДПР. Повесть. Октябрь. № 1, 1990.

Они даже поют не по-людски: «вся группа протяжно завыла». ...Похоже, Пигмей на свой лад мстит обидчикам, с тайным удовлетворением отмечая их уродства, черты болезненности, ущербности. Такая брезгливая зоркость ненависти приводит на память стилистику астафьевского «Печального детектива» — романа, прославленного своей беспощадностью. Там люди «дна» под уничтожающим взором героя-милиционера предстают нечистью, с которой Сошнин охотно бы покончил — жаль, нельзя! Кстати, начальница ДПР с тем же примерно чувством смотрит на своих подопечных. Педагогической деятельности этой дамы тоже ужасно мешает «мягкость» советских законов: конечно, никто не запрещает ей «раздеть... и не кормить» провинившегося мальчишку, но ведь так хочется еще и «проучить... палкой, сквозь строй прогнать!»

В тесном пространстве ДПР воздух, как испарениями «параши», насыщен злобой. Ею отравлены взрослые и дети, притеснители и гонимые. Каждый видит вокруг себя не человеческие существа, а скопище грязных выродков — в таком видении воплощена общая для всех беспощадная истина. А вот необщее, особенное, чего «кодла» так и не сумела до конца выбить из героя повести,— это способность даже во врагах замечать что-то заслуживающее сочувствия. То вдруг маленький блокадник угадает по одутловатому лицу и гноящимся глазам Николы: так выглядят те, кто пережил долгую голодовку, кому уж не оправиться. То прислушается к рассказу главаря, вспомнившего, как девять лет назад черный воронок увез в никуда его родителей. То без злорадства подивится детской надежде Горбатого, что «распрямит бог» его, стоит только десять раз переписать «святое письмо».

Образы повести двоятся, под скотскими мордами приоткрываются человеческие лица: лица детей, над которыми с изуверством компрачикоса поработала лихая эпоха. «Мы дети заводов и пашен»,— кривляется, дразня воспитательницу, Горбатый. Но ведь так и есть! Блатной кодекс ДПР неспроста отмечен родственным сходством с пресловутой пролетарской моралью — тот же культ верности и единства превыше совести и разума, то же требование безмерного терпения: что бы ни творили над тобой «свои», умри, но не смей звать на помощь «чужих».

Для И. Поляка, художнически чуткого к языку, здесь важно и другое. Речь этих ребят, убогая, корявая, заштампована не хуже партийных лозунгов и газетных передовиц: там и здесь стереотип — знак лояльности к установленному порядку. Слово, что где-то когда-то «было Бог», в ДПР — раб, насилу ковыляющий в колодках одних и тех же смрадных поговорок да похабных каламбуров. Надо быть глухим, чтобы принять это сквернословие за распущенность, вольность без предела. Нет, здесь царит железная дисциплина. Даже упоминание о маме и папе под запретом — этим, как сказал бы философ, «слишком человеческим» словам позволено звучать лишь в слезных воровских песнях.

Природа насилия над словом и личностью в повести И. Поляка одна. Кроме простой сюжетной связи: у детей отнимают хлеб, а они принуждены молчать,— здесь ощущается зависимость более глубокая, мировоззренческая. Это она делает донос Пигмея чрезвычайным событием, хотя он не первым восстает против произвола. В свирепых драках, один на целую ораву, пытался защитить свою пайку крепыш Лапоть. Не желал знать блатных правил Царь — удивительный мальчик, местный святой, не поднимавший глаз от книжки. Но на самое страшное ДПР'овское табу не посягнул ни тот, ни другой.

Выдать «тайны», разбить печать молчания отваживается только один — с этой минуты он отверженный, обреченный, но больше не Пигмей. Так совершается спасение не пайки — души. Что делать, если в извращенном мире оно принимает постыдную форму доноса? Однако прежде чем это произойдет, прежде чем читатель угадает суть авторского умысла, И. Поляк вводит в повествование вставную новеллу о другой сломанной печати. О том, как ночью увели мать, а квартиру с детьми опечатали. Милиционер уперся: «Вскрывать такую печать не имею права». Идут сутки. Вторые. Третьи. Добрая соседка мыкается под дверью, слушая крики детей, гибнущих от голода и ужаса. Сорвать ломом замок проще простого, но — эта «бумажная полоска с круглым, бледно-сиреневым оттиском...»

Самые зачарованные, неприкосновенные печати в повести И. Поляка разлетаются не потому, что находится богатырь-спаситель. Автор знает: здесь гаснет любая воля, слабеет всякая мощь. В были, рассказанной писателем, как в мудрых сказках англичанина Толкиена, черную магию бесчеловечных запретов одолевают люди смирные. Те, над кем властны естественные побуждения сердца. Вот почему невозможно назвать повесть И. Поляка жестокой. Она страшная, да. Но, по правде говоря, я давно не читала ничего добрее.

Ирина Васюченко

От Абрамова до Яшина

Как уточнить даты жизни Анатолия Кузнецова или Андрея Амальрика? Как называются книги Юрия Мамлеева? А как будет отчество Геннадия Айги или Юрия Кублановского?

Такие вопросы то и дело возникают у критиков и литературоведов, журналистов и редакторов, да и просто у любознательных читателей. В отечественных справочных изданиях ответов на них пока не найти. Не будем предаваться сетованиям по поводу качества наших литературных словарей и энциклопедий — тем более что убедительная их критика уже дана на страницах «Литературного обозрения» (1989, № 4) Ириной Стафф. Поговорим о словаре, вышедшем в «заморском» издательстве (именно так буквально переводится слово «overseas») и составленном авторитетным литературоведом, директором Института славистики Кельнского университета, профессором Вольфгангом Казаком.

Помимо уже ставшего знаменитым «Энциклопедического словаря», В. Казаку принадлежит немало книг, переводов. Каждому серьезному исследователю русской литературы советского периода известна серия «Труды и тексты по славистике, изданные Вольфгангом Казаком»: в ней выходили ранняя проза Булгакова, стихи А. Введенского и Г. Айги. Нашли в этой серии приют произведения таких «беспризорных» и притом весьма своеобразных авторов, как поэт Георгий Оболдуев и прозаик Владимир Казаков, что свидетельствует о самостоятельности научной и издательской позиции В. Казака: он идет не только за громкими и прославленными именами, но и отстаивает значение тех непривычно-индивидуальных талантов, которые ему лично особенно интересны. Без такого «субъективного» элемента невозможна и полнота объективного отражения литературной реальности.

Кстати, «Вопросы литературы», печатая статью В. Казака «Зарубежные публикации русской литературы», сопроводили ее редакционной припиской, где статья названа «откровенно полемичной» и выражено предположение, «что позиция нашего зарубежного коллеги вызовет, в свою очередь, полемические отклики». Тут мне как-то сразу вспомнился фрагмент из знаменитого диалога: «Видите ли, профессор,— принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз,— мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.— А не надо никаких точек зрения! — ответил странный профессор,— просто он существовал, и больше ничего».

Он существовал — абсолютный приоритет западной славистики в области публикации и исследования «запрещенных» текстов, и я, право же, не понимаю, какие тут могут быть еще «полемические отклики» и «точки зрения». Статья В. Казака всего-навсего фиксирует, перечисляет основные линии развития тамиздата, имена «крамольных» авторов, названия отвергнутых или «сокращенных» на родине произведений. Приходится ли спорить с тем, что Гумилев и Ходасевич после 1922 и вплоть до 1988 года издавались только за границей, что отечественные издания Пастернака и Ахматовой, Волошина и Клюева до самого последнего времени были, очень мягко выражаясь, неполны, а Мандельштама и сегодня по-человечески читать может только счастливый обладатель четырехтомника, вышедшего в Вашингтоне — Нью-Йорке — Париже под редакцией Г. Струве и Б. Филиппова при участии Н. Струве?

Конечно, все это настраивает на весьма грустные раздумья о тяжелых последствиях политики «раскультуривания». Но мы сегодня можем найти утешение в том, что ценности, отторгнутые официальной советской культурой и сегодня возвращаемые читателю, все эти годы были частью культуры мировой, что мировая культура их приютила и сохранила. И мы не можем не быть благодарны тем, кто практически осуществлял эту миссию. Есть культурная аксиома, сформулированная римлянином Стацием: «Vestigia semper adora» — «Всегда уважай следы». Приходится отмечать, что следы эти порой советскими текстологами не только не уважаются, но и старательно вытаптываются. Свидетельство тому — множество пиратских (чтобы не сказать: мародерских) «публикаций», якобы впервые осуществляемых. Высказанная на страницах «Вопросов литературы» (1988, № 10) мысль Е. Г. Эткинда о единстве русской поэзии, о неразделыюсти ее советского и зарубежного потоков применима и к литературе в целом. А значит — и к критике, литературоведению, включая сюда и текстологию.

Словарь с его «азбучным порядком» иллюстрирует тезис о единстве русской пореволюционной литературы с особенной наглядностью. За Гайдаром следует Галансков, за Сашей Соколовым — Соколов-Микитов. Надо сказать, что словарь читается не только выборочно как справочник, но и сплошь, как единая книга — от Абрамова до Яшина (имена

Вольфганг Казак. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Перевели с немецкого Елена Варгафтик и Игорь Бурихин. London, Overseas Publications Interchange. Ltd., 1988; Зарубежные публикации русской литературы. Вопросы литературы, № 3, 1989.

этих писателей, близких друг другу творчески и биографически, волею алфавитного фатализма стали в словаре начальной и конечной вехами). Этому способствует и разнообразие состава словаря, включающего, помимо «персональных» статей, очерки и заметки о периодических изданиях, литературных кружках и группах, о формах и обстоятельствах функционирования литературы (Самиздат, Тамиздат, Цензура). Энциклопедическая строгая форма требовала от автора не беллетристически-памфлетных, а точных историко-литературных характеристик таких категорий, как «партийность», «социалистический реализм», «теория бесконфликтности», и, как мне кажется, эти характеристики В. Казаку вполне удались.

По прочтении словаря В. Казака мне почему-то вспомнились «Персидские письма» Монтескье, где автор смотрит на Францию глазами выдуманных им чужеземцев. Взгляд и интонация иностранца очень способствуют эффекту остранения: мы по-новому тогда можем оценить то, что все время мелькает перед глазами и становится неощутимым. Как-то в годы застоя иностранное радио сообщило, что делегатам партсъезда в спецмагазине продавали «бараньи тулупы». Так комментатор назвал престижные дубленки — и сразу вдруг высветилась не только недемократичность этой купли-продажи, но и комическая ничтожность подобных сделок. В тексте В. Казака для меня таким остраняющим «тулупом» оказалось слово «функционер». Для нас оно размашистое ругательство, а тут — нейтральный термин, характеризующий реальность советского литературного быта. О С. Сартакове сказано: «лит. функционер, писатель», о М. Шолохове — в другом порядке: «писатель, литературный функционер» (что делать: именно таковы этапы большого пути, пройденного советским классиком).

«Глядя из Лондона» (или из Кельна), можно немало высмотреть того, что мы по забывчивости или по небрежности не замечаем. Но, наверное, для полноты картин может быть полезен и уточняющий взгляд из Москвы. Поэтому я перехожу к разговору о том, чего мне не достает в словаре В. Казака, к которому я обращаюсь постоянно как к одной из настольных книг.

Не берусь оспаривать ни одну из 619 «персоналий» словаря, хотя к некоторым его персонажам очень подходят слова: «Я такого не хочу даже вставить в книжку». Стратегия справочного издания — полнота, и «вычеркивать» из истории литературы никого нельзя. А вот пополнить список «действующих лиц» словаря очень даже можно было. Интуитивно улавливая критерий, по которому имена включаются в словарь, я полагаю, что этому критерию соответствуют не 619, а по меньшей мере тысяча писателей. Многие «ряды» и «периоды» разработанной В. Казаком системы литературных «элементов» могут быть органично продолжены и пополнены (отчасти это уже намечено в замыкающей словарь статье «Дополнения по поводу перестройки в СССР»).

Не сомневаюсь, что в следующих изданиях словаря появится статья об Анатолии Жигулине и Анатолии Марченко. Думаю, что по чистой случайности «выпали» Леонид Добычин, Илья Зверев, Виктор Курочкин. Некоторые добавления напрашиваются сами собой по принципу: если сказано «а», должно быть сказано и «б». Если в ряду деревенских прозаиков присутствует В. Афонин, то не обойтись и без Б. Екимова. Если представлены драматурги «новой волны» Л. Петрушевская, В. Славкин и А. Галин, то нужен и В. Арро. Наряду с бывшими «сорокалетними» В. Маканиным и А. Кимом вполне смотрелись бы статьи об А. Афанасьеве, С. Есине, Р. Кирееве, А. Курчаткине, ленинградце Валерии Попове: именно о нем, а не об авторе «Стали и шлака» Владимире Попове спорили мы с Л. Аннинским в 1982 году в «Литгазете» (в словаре эти статьи подключены к библиографии «того» Попова). Кстати, о Валерии Попове, которого также не следует путать с Поповым Евгением, постоянно пишут П. Вайль и А. Генис, книга которых о современной русской прозе упомянута В. Казаком в списке источников. Евгений Попов, в свою очередь, тянет за собой Виктора Ерофеева, которого в словаре стоит решительно «развести» с Ерофеевым Венедиктом: о Венедикте есть отдельная статья, Виктор упоминается в статьях «Метрополь» и «Тамиздат», в алфавитном же указателе они слились в единое целое. Вообще, мне кажется, там, где составляется словарь, должен висеть плакат по технике безопасности со словами: «Берегись однофамильцев!»

Да, вслед за многими «а» требуются соответствующие «б». Коли уж есть в словаре М. Алексеев, С. Викулов, В. Кочетов, А. Софронов, то нужны и Ю. Кузнецов, С. Куняев, В. Фирсов, Ф. Чуев. Если есть такие давно забытые детские писатели, как В. Любимова и А. Мусатов, то почему бы не быть известным В. Берестову и Б. Заходеру, В. Голявкину и В. Драгунскому, Ю. Ковалю и Э. Успенскому? Если есть Валентин Овечкин, то как обойтись без нынешних аграрных публицистов А. Стреляного и Ю. Черниченко? А сатирики? Полагаю, что М. Жванецкий и М. Задорнов вполне достигли уровня Л. Ленча, и подозреваю, что они даже превысили его. Может быть, я чересчур пристрастен в привязанности к мастерам острого слова, но мне очень не хватает в словаре А. Бухова и А. Флита, Н. Ильиной и В. Лифшица. Спасибо, конечно, за А. Архангельского и А. Раскина, но хочу также напомнить про Николая Глазкова, про пародиста Александра Иванова.

В статье «Самиздат» упоминается одна из форм этого явления: применение магнитофонной техники для записи стихов и песен. Есть в словаре статьи о Высоцком, Галиче и Окуджаве. Но, может быть, об **авторской песне** и ее общественно-литературной роли нужна отдельная статья с упоминанием многих имен? Думаю, что на «персональные» статьи потянули бы Ю. Визбор, А. Городницкий, Ю. Ким.

В начале словаря оговорено, что за его пределами остаются литературоведы, критики, переводчики. Что ж, на то авторская воля, да какие-то условные ограничения неизбежны. Но живую литературу — в отличие от Союза писателей — трудно с абсолютной точностью расчленить на жанровые подразделения. Ю. Тынянов и В. Шкловский «прошли» в словарь В. Казака благодаря своим прозаическим произведениям, а вот перед Б. Эйхенбаумом, как перед «чистым», ученым шлагбаум захлопнулся, хотя разве его «Мой временник» не является фактом литературы? Да, кстати, и роман у него есть — «Маршрут в бессмертие». Жертвой жанровой дискриминации невольно оказался и М. Бахтин, воспринимаемый у нас не только как ученый, но и как писатель. Вслед за статьями о Льве Гинзбурге и Евгении Гинзбург вполне естественна была бы и статья о Лидии Гинзбург, которая, помимо литературоведческих книг, пишет эссеистику и мемуары. Кстати, в статье о Льве Гинзбурге В. Казак, отклоняясь от принятого им правила, высоко оценивает переводы этого автора: так, может быть, места в словаре заслуживают и, скажем, Вера Маркова, чьи переводы — факт поэзии, и Николай Любимов, настоящий прозаик, давший нам на русском языке Боккаччо, Рабле и Сервантеса? Словом, возможен подход не только цеховой, но и индивидуальный.

Что же касается «людей, о коих не сужу, затем, что к ним принадлежу» — критиков, то им я «пробивать» персональные статьи не берусь. А вот предметную статью В. Казака «Критика» прочел бы с огромным интересом — пусть в ней нашему цеху и досталось бы по первое число

Закономерен вопрос: а где на все эти дополнения взять место? Сейчас скажу. Я вижу возможность сэкономить место за счет оценочных суждений вроде такого: поэт «ищет необычное, подлинное, открывающееся в природе и повседневности, так, чтобы это узнал внимательный читатель». Едва ли относится к необходимым справочным сведениям сообщение о том, что рассказы прозаика «очень различны, хотя преобладают у него темы войны, природы, любви, детей; он показывает людей всех слоев общества, занятий и возрастных групп, описывая различные местности СССР». Качество русского языка в приведенных примерах досадно приближается к стилистике надписей на упаковке импортных товаров. Лучше всего таки ассажи просто сократить.

Встречается в словаре и немало избыточных сведений бытового характера, даваемых вне какого-то системного принципа. Так, в статье о Высоцком читаем: «Его ранняя смерть, вызванная и неумеренным употреблением алкоголя, не получила официального оглашения, но откликнулась народной скорбью...» И коряво сказано, и не совсем деликатно. «Неумеренное употребление алкоголя» ускорило смерть очень многих писателей, недаром А. Гладилин назвал недавно этот недуг «профессиональной болезнью русского литератора». Почему же один Высоцкий выделен в словаре по данному признаку?

Необязательные или неверные сведения не только перегружают статьи — порой они ведут к досаднейшим искажениям. Своеобразный рекорд путаницы — статья о В. Богомолове, где, в частности, утверждается: «...в 1958 году закончил отделение журналистики Высшей партийной школы и живет в доме инвалидов войны в Москве. Сборник стихов Б. для детей, вышедший в 1955 в Сталинграде, прошел незамеченным». Ну что тут сказать? Владимир Осипович Богомолов не только не учился в партийной школе, но и никогда не был членом КПСС. В доме инвалидов ему бывать также не доводилось. А сборник стихов, вышедший некогда в Сталинграде, принадлежит однофамильцу — Владимиру Максимовичу Богомолову. Далее читаем: «В последующие годы Б. писал немного, что было обусловлено состоянием его здоровья...» Откуда взялись сведения насчет здоровья? Исключительно из вымышленного факта о доме инвалидов. Так сказать, продолжение легенды. А попробуйте что-нибудь понять во фразе: «Сюжет Б. ненавязчив, но скрепляет целостность повествования и своею искренностью расширяет для читателя пределы рассказываемого». Впрочем, это уже пустяки на фоне того достаточно «навязчивого» сюжета, что развернут в статье. Поставьте себя на место прозаика, который ведет независимый образ жизни, сосредоточенно работает, сторонясь суеты не желая состоять даже в Союзе писателей. Прозаика, чьи книги любимы миллионами читателей в СССР и за рубежом, но чья частная жизнь мало кому известна. И вот его на весь мир объявляют бывшим партийным функционером, да еще к тому же автором неудачного стихотворного сборника! Всего этого могло не быть, если бы статья в словаре содержала только проверенные сведения, а лишнее и сомнительное было бы сразу отброшено.

Надеюсь, проф. В. Казак не посетует на мои предложения, дополнения и уточнения. Ведь его словарю суждена еще долгая жизнь, книга будет расти и совершенствоваться. Стало известно, что готовится издание словаря в СССР. Хочется, чтобы этот необходимый всем нам справочник предстал перед читателем без сучка и задоринки.

Вл. Новиков

Алексей Зверев

Советую прочитать

Всякий бум имеет свои негативные стороны, сегодняшний журнальный — тоже. Физически невозможно прочесть все, что прочесть следовало бы, и книги ставятся на полку в ожидании передышки от публикаций, немедленное знакомство с которыми обязательно. Периодика просматривается выборочно и больше по именам, которые у всех на слуху. Многое из напечатанного остается незамеченным — и зря. Попробую в этом убедить на нескольких примерах.

В. В. Вересаев. В тупике. Лениздат, 1989.

Шестьдесят лет лежала под спудом эта книга. В спецхранах ее выдавали по документу, где написано, что она понадобилась «для научных занятий». Критика упоминала о ней глухо и смутно. Существовал образцово цельный Вересаев: демократ, бичующий кошмары царизма, энтузиаст Октября, радостно встречающий наступившую новую жизнь. Таким он запечатлен на памятнике в Туле — бронзовый исполин, который орлиным оком оглядывает раскинувшийся горизонт. Официозная мифология выражена тут с чарующей прямотой.

Но вот недавно «Огонек» (1988, № 30) напечатал любопытную стенограмму: в Кремле обсуждают, надо ли вообще выпускать вересаевский роман о революции и гражданской войне. Тогда, в 1923 году, пронесло. За роман, как ни странно, заступился Дзержинский. Да и Сталин был в общем не против (поскольку очень против был Каменев, возмущенный описанием «якобы ужасов ЧК»). Книга вышла, но под грозные комментарии насторожившихся идеологических часовых. Вересаева тут же обвинили в клевете. Демьян Бедный не упустил случая ругнуть «сопливую интеллигенцию».

Да, Вересаев был русским интеллигентом, как ни кололи ему этим глаза ревнители классовой чистоты. И когда в Крыму, где он провел годы усобицы, победители расстреляли тысячи белых офицеров, по своей воле явившихся на регистрацию, его потрясло это свидетельство «пролетарского правосознания». Благородно веривший в прогресс и социальную справедливость, он ощутил себя поистине «в тупике». Подобно тогдашнему Горькому или Короленко, которые точно так же призывали бурю, а затем отшатнулись от «эксцессов», с горечью убеждаясь, что в их неизбежности — трагическая правда.

По характеру дарования Вересаев мог выразить эту правду только средствами романа. Он и написал традиционный семейный роман, развернутый на фоне гражданской смуты, которая разорвала естественные человеческие связи, каждого заставив так или иначе решить одну и ту же нравственную коллизию: отвергнуть или принять порядок вещей, когда, по слову одного боевого матроса, «никакого человечества! Борьба классов!» Когда важны лишь цвет знамени и социальное происхождение, а все остальное решают чрезвычайки и контрразведки. Когда катится жизнь «дикая, жестокая и жуткая, сбросившая с душ все сдержки, разнуздавшая самые темные страсти».

Сила Вересаева в объективности. Действие охватывает несколько месяцев; герои успевают побывать под красными, под белыми, и оказывается, что различие только в лозунгах, не в методах. Что тем, что другим необходим террор, «эта атмосфера ужаса, грозящая ответственностью за самое отдаленное касательство». И без касательства.

Об «атмосфере ужаса» говорит в романе фанатик революции Воронько. У него найдутся единомышленники в офицерских погонах, но автору важнее тип утверждающийся, а не уходящий. Ему важнее люди в буденовках, оправдывающие провокацию, если она помогает обнаружить классового врага, казнящие тамбовских мужиков, а о морали отзывающиеся решительно: «В помойку выкинуть эти окурки».

Таким людям принадлежит будущее. Они прочно овладели властью. И принесли свои убеждения — прямолинейные, как шомпол.

Под прессом этой власти обществу предстояло жить десятилетия.

Одно из наших самых укоренившихся верований заключается в том, что нельзя «сопоставлять репрессии, имевшие место в экстремальных условиях революции и гражданской войны, с репрессиями сталинского периода». К тому же «масштабы репрессий совершенно несопоставимы: тысячи против миллионов» (цитирую открытое письмо ветерана войны Д. Я. Шифрина главному редактору «Молодой гвардии» А. С. Иванову — «Даугава», № 1, 1990). Не говоря об аморальности подобной арифметики, мягко выражаясь, наивна сама антитеза.

Прочтите Вересаева все, кто на ней настаивает.

Андре Жид. Возвращение из СССР и поправки к моему «Возвращению из СССР». Перевод А. Лапченко. Звезда, № 8, 1989.

В 1936 г. Андре Жид ехал в СССР как триумфатор. У нас было издано его четырехтомное собрание сочинений. Выпущен посвященный ему номер «Интернациональной литературы». Отпечатана открытка с его портретом.

Французский писатель числился среди «друзей Октября, социализма и прогресса» — титул неофициальный, но в высшей степени престижный. Соответственно его и принимали. На Кавказ он отправился в специальном вагоне, оборудованном по-царски. На похоронах Горького он стоял рядом со Сталиным и произносил речь с Мавзолея. Роскошество приемов в его честь превосходило всякую меру. Его высказывания публиковала «Правда», кое-что убрав и добавив комплиментов гению всех времен.

Впрочем, это была чисто косметическая редактура. Жид прибыл к нам заранее восхищенным, как до него Барбюс, Роллан, Шоу, а после Фейхтвангер и многие другие. Все они с экзальтированностью влюбленной отроковицы взирали на «беспрецедентный эксперимент» и «решительно связывали со славным будущим СССР будущее самой культуры». Все были готовы извинить любые наши несовершенства сложностями превращения утопии в реальность, как из благоустроенной, но, понятно, загнивающей Европы виделось происходящее в стране исполнившейся мечты.

Фантастическую эту наивность впоследствии объяснят Кёстлер и Оруэлл, смолоду сами ею отличавшиеся, но первое отрезвляющее слово произнес Жид. Он сделал нечто невозможное по тогдашней атмосфере на Западе — взглянул на советскую жизнь без предубеждения. Его не остановили советы молчать, дабы не навредить великой идее и не сделаться пособником реакции.

Истину он увидел, конечно, не всю. О лагерях у него нет ни слова — упоминания террора появятся лишь в дополнении, когда Жид рассчитывался со своими критиками. Наблюдательный, желчный, он, однако, может написать и такое: «Преимущества, связанные с пребыванием в колхозе, настолько очевидны для всех, что каждый старается в него вступить».

Но увидел и высказал он все-таки достаточно. К неудовольствию «левых» на Западе, Жид заговорил о тотальной подозрительности, о диктатуре бюрократии, своекорыстно преданной вождю, о засилье «всегда правильно думающих конформистов», о «всеобщей в СССР тенденции к утрате личностного начала» и о том, что здесь «счастье всех достигается за счет счастья каждого».

Нам все это теперь не в новость, но не забудем, что книжка помечена 1936 годом. Ее последствия для автора были предсказуемы: из когорты друзей он переместился в стан махровых антисоветчиков, злобных клеветников и — уж это само собой явствует — сионистов. В каковом качестве и фигурировал на обложке позорно знаменитого номера «Крокодила», вышедшего в разгар борьбы с «космополитами».

Ежи Анджеевский. Страстная неделя. Перевод С. Тонконоговой. Новый мир, № 12, 1989.

От Анджеевского мы были отлучены долго, на десятилетия. Людям постарше, конечно, запомнился «Пепел и алмаз» — если не роман, так сделанный по нему фильм Анджея Вайды. Фильм порой появлялся на наших экранах, имя сценариста не упоминали в обзорах польской прозы хотя бы через запятую. Дошло до того, что даже солидный академический том «Вторая мировая война в литературах зарубежных стран» (1985) хранит об Анджеевском молчание.

Вынужденное молчание. К тому времени нельзя было называть и Вайду. И по той же причине: оба — режиссер и писатель — стояли у истоков «Солидарности». Этого оказалось достаточно, чтобы их творческий авторитет сделался сущей эфемерностью для аппаратчиков, решавших, что нам читать и что смотреть.

Анджеевского они запрещали с какой-то особой методичностью. Даже его смерть в 1983 г. не сняла табу, наложенного на книги этого писателя. Теперь, когда переведены «Страстная неделя», «Врата рая» («Иностранная литература», 1990, № 1) и готовится двухтомник, причина подобной нетерпимости становится понятнее. Помимо «политических ошибок», как называлась на чиновничьем языке любая попытка приблизиться к демократическому государству, Анджеевский не укладывался в казенные представления о том, что должен выражать художник, живущий при социализме. Он выражал то, чего официально не существовало.

Официально среди многого другого не существовало антисемитизма. То есть он существовал, но где-то там, за морями. У нас же и в сопредельных державах он стал давним прошлым «в результате работы, проделанной по искоренению».

Восстания в варшавском гетто весной 1943 г. официально тоже не было. То есть оно было в том смысле, что немцы сожгли дотла несколько кварталов, обнесенных стеной, а уцелевших обитателей сожгли чуть позже, в Освенциме. Однако это, разумеется, только ничтожный эпизод в грандиозной хронике войны. И вспоминать о нем совсем не нужно.

Уж тем более не нужно вспоминать подробности вроде толпы зевак, с любопытством наблюдающих, как немецкие танки сносят в пылающем гетто этаж за этажом, или тогдашние варшавские разговоры о том, что подобные «методы борьбы» отвратительны, но сама борьба правильна, поскольку когда-то надо же решать «еврейский вопрос». Что «поляк, который прячет у себя еврея, просто, прошу прощения, свинья»,— где это видано, чтобы «из-за одного еврея гибли добрые католики».

По Пулавской, где тогда были сплошь лачуги да огороды, свора мальчишек гонит, как фокстерьеры лисенка, перепачканного копотью оборванца, который вырвался из гетто, своего сверстника, и швыряет в него камнями, и вопит: «Еврей! Еврей!» — пока тот не напорется на солдата, тут же выстрелившего раз-другой в упор.

Мне кажется, эта по фабуле необязательная зарисовка — самый центр повести Анджеевского, ее кульминация. О главном сказано всего одной — но какой! — деталью: эти подростки и г р а ю т. А взрослые —

те попросту смотрят за их игрой, пока не подошел трамвай.

Кончается Страстная неделя, битком набиты соборы, а весна в Варшаве удивительно ранняя, щедрая. И многим ли дело до того, что запах гари подмешивается в пьянящем апрельском воздухе к вкусному запаху булочек, которые пекут на праздник. Рядом погибают, но ведь рядом, не у нас, и гибнут чужие, к тому же проклятая раса. Какие-то безумцы пытаются им помочь — пустое фанфаронство: «Все так называемые гуманные взгляды тут абсолютно неуместны!»

Для Анджеевского, конечно, они в такой ситуации уместнее всех прочих. Своей героиней он сделал еврейку, для которой уже не осталось иных вопросов, кроме «предаст или не предаст?» Как не осталось различия между немцами и поляками: есть только арийцы и парии. Как не осталось неповинных, потому что существование отзывчивых людей не снимает вины с тех, других.

Она, по всей видимости, погибнет, Ирена Лильен. А эта психология затравленных сохранится. И сохранится питающая ее почва. Повесть Анджеевского написана по горячим следам событий почти полвека назад. Считается, что только время, предоставляя новые подтверждения насущности коллизий, которых коснулся писатель, продлевает живую жизнь старой книги. Если так, то актуальность «Страстной недели» обеспечена. Боюсь, еще очень надолго.

Сергей Довлатов. Марш одиноких. Голос. Радуга (Таллинн), № 5, 1989. Рассказы из книги «Чемодан». Октябрь, № 7, 1989. Филиал. Звезда, № 10, 1989.

О Довлатове до прошлого года знали, может быть, только очень внимательные читатели «старой» периодики, главным образом таллиннской. Впрочем, по-настоящему Довлатова не знали и они, потому что как писатель он состоялся в эмиграции. В этой «лаборатории свободы» и «филиале будущей России», как изъясняются на калифорнийских симпозиумах по русским проблемам.

Насчет «лаборатории» и вообще о «филиале» Довлатов имеет собственное мнение: скептическое. Его взгляд сугубо ироничен. От иронии в его прозе не укрыться ничему и никому, включая автора.

Все повествование Довлатова — сплошная ирония, не в смысле передразнивания и насмешки, а в смысле, если угодно, философском: таков его способ видеть мир и себя в этом мире. Довлатову не с руки ни эзопов язык, ни увесистый бич сатиры. Он не разоблачает и не клеймит. Он просто владеет способностью чувствовать абсурд там, где для большинства всего лишь обыкновенный быт, обыкновенные отношения.

У него редкий дар немедленно опознавать комическое за серьезным и ложь за мнимыми безусловностями, будь то армейский устав караульной службы, романтика любви в пленившем наших шестидесятников хемингуэевском стиле или «футурологическое моделирование» русского посткоммунистического общества, происходящее в Лос-Анджелесе под свару «почвенников» с «либералами», такую знакомую.

Любители потолковать о безверии как универсальном состоянии современного человека, об «аксиологическом вакууме» и пр. почерпнут в рассказах Довлатова обильный материал. Но эти рассуждения выглядели бы такими же анекдотическими вывертами, как куртка Фернана Леже на плечах литсотрудника ленинградской многотиражки и почти бомжа по своей психологии. Философствуют другие, а Довлатов распаковывает чемодан, перед отъездом наспех набитый старым барахлом и перетянутый бельевой веревкой. И этого ему вполне достаточно, чтобы каждая извлекаемая оттуда вещь потянула за собой на новом жительстве цепочку воспоминаний, а с нею вытянулась и другая цепочка: трагикомических происшествий, будничных нелепостей, ставших привычными неудач, сделавшихся обыденностью фарсов. Чтобы возникла мозаика вроде бы мимолетных штрихов, а на самом деле — эскиз действительности, где все — и понятия, и нравы — перевернуто с ног на голову, причем никто этого не замечает или, во всяком случае, не находит в этом неестественности.

В Америке Довлатова поддержал Курт Воннегут не случайно: между ними немало общего, вплоть до пристрастия к фрагменту вместо целостных картин, к микроэпизодам, соединенным неочевидными ассоциациями. Такая форма повествования очень распространена на радость теоретикам постмодернизма. Довлатов верней всего со временем тоже будет зачислен в постмодернисты — сюжет вполне в его духе. Сам-то он мог бы с полным правом заявить о себе, как один его герой, что пишет «не для славистов. Я пишу для нормальных людей». И — продолжу — о нормальных людях, которые лишь отчасти повинны в том, что ненормальная жизнь превратила их кого в неврастеников, кого в циников или в алкашей.

Под конец «Филиала» довлатовского автобиографического героя посещают такие мысли: «Бог дал мне то, о чем я его просил. Он сделал меня рядовым литератором, вернее — журналистом. Когда же мне удалось им стать, то выяснилось, что я претендую на большее. Но было поздно».

Думаю, последняя фраза добавлена из скромности.

* * *

Книги, о которых шла речь, совсем недавно обсуждали разве что в приятельском кругу, не задавая друг другу вопросов, как их удалось раздобыть. Извлеченная теперь на свет, такая литература заняла в нашем чтении главное место.

Мы еще не насытились знанием, которого были годами лишены. Когда насытимся,— а это, думаю, произойдет скоро,— будет другая литературная ситуация.

Но пока о ней еще рано говорить.

А ЧТО ЧИТАЮТ ОНИ?

АНКЕТА ГАЗЕТЫ «ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ»

Как помнит читатель, в первом номере этого года мы опубликовали ответы видных советских писателей на вопросы «Знамени»: какая из публикаций недавнего времени показалась наиболее значительной и какое новое имя вы для себя открыли? Примерно в те же сроки проводила подобный опрос и английская газета «Дейли телеграф» — с тем отличием, что вопрос был адресован десяти писателям из разных стран мира и даже разных континентов: **что из прочитанного вами в последнее время доставило наибольшее наслаждение?** Советский Союз представлял в этой десятке Евгений ЕВТУШЕНКО, его ответ в целом совпадает с ответом на анкету «Знамени». Предлагаем показавшиеся нам наиболее интересными выдержки из ответов писателей, опубликованных в «Дейли телеграф».

Энтони ПАУЭЛЛ (Великобритания)

Мы платим дорогую цену за свой писательский профессионализм. Навсегда утерян целомудренный подход к книге — когда испытываешь внезапную радость, прочитав что-то впервые,— столь знакомый всем в юности. Вместо этого нас привлекают в книге лишь те или иные ее стороны [...]

Основу моего чтения составляет рецензирование для «Дэйли телеграф»: приблизительно четыре серьезные книги в месяц. А вечером я не засыпаю, не прочитав несколько страниц какой-либо шекспировской пьесы и немного поэзии.

Чтобы не оттолкнуть вас излишней серьезностью, добавлю, что я с удовольствием читаю и детективы, как хорошие, так и всякие [...] Недавно мой внук играл в школьном спектакле по пьесе Рэймонда Чандлера. Я тут же нашел и прочитал один из романов Чандлера и немедленно попал в сети Филиппа Марлоу, знаменитого лос-анджелесского сыщика. Я прочитал с полдюжины историй о Марлоу с огромным удовольствием [...]

Карлос ФУЭНТЕС (Мексика)

«Магический реализм» — термин, изобретенный кубинским романистом Алехо Карпентьером, чей великолепный роман «Концерт в стиле барокко» будет опубликован в Англии в будущем году. Карпентьер хотел показать, что Латинская Америка обладает своего рода сюрреализмом «avant la lettre»[1]. Этим отличительным знаком латиноамериканской литературы теперь часто награждают писателей, которые под него совершенно не подходят.

Но он стал личной печатью одного великого писателя — Габриэля Гарсиа Маркеса. Первые главы его нового романа «Генерал в лабиринте» озадачивают меня как раз полным отсутствием «магического реализма». Это довольно прямолинейное, иногда политически локализованное повествование. Удивительно то, что его линейное, исторически ограниченное начало быстро распускается пышным цветом, превращаясь в трепетную и печальную сказку об иллюзии власти и предательстве тела.

По мере того как Гарсиа Маркес следует за освободителем Южной Америки Симоном Боливаром по его пути к смерти, мы знакомимся с Боливаром-страдальцем, чьей величайшей миссией, пожалуй, было ссадить Латинскую Америку с коня вековечной навязчивой идеи Утопии. Утопия для Латинской Америки — прекрасная мечта и тяжкая ноша. Гарсиа Маркес расправляется с обеими: уходит в могилу бренное больное тело генерала и предательски тащит за собой несбывшуюся политическую мечту беспокойного ума.

Если бы мне пришлось ограничить читательские впечатления лишь прошедшим годом, то я бы сказал, что английская беллетристика возвращает себе былую славу.

Пожалуй, только эксцентричностью японца, пишущего по-английски, мог быть продиктован истинно английский великосветский комический детектив в духе «вперед-дворецкий» («вперед-Дживз»). Я имею в виду мастерски написанный Казуо Ишигуро «Остаток дня» [...]

[1] Букв.: «до слова», «до литературы»; здесь: неосознанным, заключенным в самой жизни (фр.).

Ишигуро доказывает, что литературное воображение способно понять и высветить суть политической жизни лучше, чем политики и историки.

Рядом с Ишигуро «Первый свет» Питера Акройда, «Всемирная история в 10 1/2 главах» Джулиана Барнса и «Утц» Бруса Чатуина составляют литературный квартет, с которым никакая другая национальная литература сравниться в 1989 году не может [...]

Сегодняшняя апатия США, скрывающаяся за неистовой тягой к развлечениям, возвращает меня назад, к началу десятилетия, к тому, что я считаю лучшим североамериканским романом восьмидесятых: «Демократия» Джоан Дидион. Как и Ишигуро в Англии, она застигает свое общество в момент глубоких, но незримых перемен — общество обиженно-возмущенное, неспособное признать, что мир более не сообразуется с образом «американской мечты» [...]

Сузаки ЭНДО (Япония)

В течение всего года я читал книги на английском, французском и японском языках и был прямо-таки очарован некоторыми из них, написанными в жанре документальной прозы.

В начале года на выставке в Токио я увидел работу скульптора Камиль Клодель, поразившую мое воображение. Позже я прочитал ее биографию «Женщина», написанную Анн Дельбэ.

Камиль Клодель была ученицей Родена и его любовницей. Ее брат, поэт Поль Клодель, был французским послом в Японии. Биография великолепно описывает духовный рост Камиль, равно как и ее яркую любовную историю [...]

Я также являюсь неизменным поклонником Грэма Грина. «Капитан и врач» — тонкое произведение, над которым автор работал долгое время. По моему мнению, эта книга столь же прекрасна, сколь и все остальные, созданные этим замечательным писателем [...]

Я бы хотел рекомендовать книгу ведущего японского ученого Тошихико Изутцу «Суфизм и даосизм». Профессор Изутцу является самым видным специалистом Японии по исламу. Его работа оказала на меня сильнейшее воздействие, и я надеюсь, что эта книга будет способствовать большему пониманию направлений восточной мысли [...]

Анита ДЕСАИ (Индия)

[...] Не могу забыть одно стихотворение из сборника Виславы Шимборской — оно называется «Благодарность» — и повторяю его как мантру. Все ее творчество — это сухая философия, озаренная скрытым огнем. Если говорить о поэзии, кого не потрясло и не взволновало первое стихотворение Салмана Рушди, опубликованное в «Гранта»? [...]

Неприметный и одновременно наводящий ужас роман Дж. Бернифа «Безумный» — подробный рассказ о человеке, рассудок которого постепенно разрушается. Благодаря рассказчику возникает наводящее ужас чувство осязаемости повествования; когда герой говорит: «Мне кажется, я теряю слова, как люди теряют кровь» — мы ощущаем этот процесс вытекания слов [...]

Более теплый и жизнерадостный мир создает Татьяна Толстая в коротких рассказах «На златом крыльце...». Хотя она и носит фамилию Толстая, но исторический размах и эпические саги не для нее. Вместо них быстрый взгляд вокруг — и оживают сотни маленьких сценок, полыхающих яркими красками жизни, будто попадаешь в цветущий сад [...]

Я давно перестала читать романы Джона Апдайка, убедившись в их абсолютно полной тривиальности. Но его автобиографические эссе «Самосознание» и «Просто глядя» вновь заставили меня восхищаться.

Клод СИМОН (Франция)

[...] Надо сказать, что чувство полного удовлетворения, исходящее от совершенства, в наивысшей степени подарил мне Пруст. Ему не только удалось совершить революцию, начисто лишив роман какого-либо сюжета, но и нигде более, как в его произведениях, форма и содержание не находятся в столь полной гармонии.

Не меняя ни тона, ни стиля, бесстрастно переходит он от описания листиков ромашкового чая к размышлениям о литературе и искусстве, затем к психологическим суждениям и вновь к описанию (персонажа, моря, цветка и т. д.); эта волшебная мозаика слов не прекращается на протяжении всего повествования [...]

Если Пруст способен претворить в цельный прозаический текст яблони, волны, графинь и анализ, то другому гиганту, Достоевскому, еще до Пруста удалось совершить беспрецедентную революцию иного рода. Он порвал с одномерностью, которая до него царила в романе, когда честолюбивые были всегда честолюбивыми, честные — честными, распутные — распутными.

Он создал головокружительную многозначность, предлагая в своих произведениях персонажей, о которых никогда не скажешь, хорошие они или плохие, глупы или высоко интеллектуальны, палачи они или жертвы («Я и рана, и кинжал», как сказано у Рембо); особенно ярок в этом смысле «Идиот». При этом его произведения отличает, что бы там ни говорилось, возвышенность стиля, заметная даже в переводах.

Еще один монументальный труд — это «Улисс» Джойса, особенно внутренний монолог Молли Блум. Но весь роман неровен, рядом с чудесными страницами — длинные куски, где с самодовольной педантичностью демонстрируется понятная лишь избранным эрудиция. В стремлении Джойса «играть» с языком можно усмотреть начало пути в тупик, каковым и являются «Поминки по Финнегану».

Последняя книга, о которой мне хотелось бы сказать,— не роман (а впрочем, кто знает, поскольку историки обнаружили в ней вопиющие ошибки): «История Французской Революции» Мишле. В каких бы погрешностях или ошибочных взглядах ни обвиняли автора, эта книга для меня, с точки зрения литературы, произведение высочайшего порядка, чтение которого не надоедает никогда.

Уилбур СМИТ (Сейшелы)

Поскольку сам я пишу книги, призванные развлечь читателей, люблю хорошие истории с увлекательным сюжетом для самого широкого круга читателей. Я всегда с нетерпением жду новой книги Ле Карре или Фредерика Форсита, даже если это и означает, что они скинут меня с верхушки списка бестселлеров. По-моему, «Русский дом» и «Посредник» — замечательные книги [...]

Что касается более легкого чтения, то я только что дочитал книгу «Проблема химической и биологической войны» Джулиана Робинсона. Это сплошное развлечение. Веселье начинается с обсуждения «Продукта Хабера» (показатель отношения времени воздействия определенной концентрации нервного газа X к вероятности наступления смерти у определенного количества населения, подвергнутого таковому воздействию). Например, зарин, газ, к которому весьма благоволят Соединенные Штаты, имеет Т. В. (точное время) дозировки 55, что означает время уничтожения (от 1 до 10 мин.) 55% населения под воздействием 1 микрона газа (примем во внимание, что 1 микрон = 1/1000 миллилитра).

В качестве симптомов имеем сильнейший внезапный насморк, резь в глазах и потускнение зрения. За этим следуют слюноотделение, тошнота, потоотделение, отрыжка, изжога, понос, рвота, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, судороги и головокружение. Финальные конвульсии и смерть наступают уже как избавление...

В 1976 году производство 1 кг зарина стоило 5 долларов. Даже делая поправку на инфляцию, нельзя не признать смехотворность таких затрат. Ни один мало-мальски уважающий себя диктатор любой страны «третьего мира», считающий себя «Президентом на всю жизнь», не посмеет обойтись без достаточного запаса этого обворожительного продукта.

Не могу не упомянуть Пола Джонсона, ярым поклонником которого я являюсь. «История современного мира с 1917 до 1980-х» — самая значительная книга из прочитанных мной за годы [...]

«Краткая история Времени: от Большого взрыва до «черных дыр» Стивена Хокинга — монумент мужеству и гению этого необыкновенного человека [...]

Ханс МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР (Западная Германия)

По-моему, чтение — это идеальный порок: никакого риска передозировки, никаких канцерогенов, легко доступен, полностью в рамках закона и после 50 лет пристрастия — никаких пагубных побочных эффектов. Почему широкая публика чурается чтения, будто это яд смертельный,— одна из самых глубочайших тайн нашего века!

Тем не менее, хотя книги нужны столь немногим, все питают слабость к всевозможным резюме, аннотациям и спискам. Милосердно краткие, они представляют собой литературу в таблетках. Вот несколько примеров такого злополучного прессования.

Александр Герцен (1812—1870) — политический философ первого разряда. Он не построил своей собственной системы, возможно, потому, что сам находился в гуще событий, о которых он писал: неудача революции, противоречия социализма, государственный террор и будущее демократии.

Книга «С другого берега», впервые опубликованная в 1850 году, представляет собой и отчет очевидца, и эссе, и художественную прозу, и блестящий диалог. По форме это письма, адресованные Родине, России, тогда, как и теперь, колеблющейся между застоем и смятением [...]

«Слепая сова» — роман персидского писателя Садха Хедаята, который покончил с собой в номере захудалой парижской гостиницы в 1951 году и был забыт с тех пор. Этот рассказ о страданиях и отчаянии подобен галлюцинациям, но без тени жалости к себе [...]

Питер КЭРИ (Австралия)

[...] Размышляя о той стороне жизни, что таится в тени, я вспоминаю короткие рассказы Рэймонда Карвера «Здесь, откуда я звоню». Иногда останавливаюсь и перечитываю один его абзац три-четыре раза, удивляясь не только тому, как ему это удается, но и какое настроение он создает несколькими строчками кажущегося банальным разговора в обувном магазине. «Что-нибудь поудобнее,— сказал Джек.— На каждый день».— «Есть кое-что»,— сказал продавец.

Существуют великие писатели, как, например, Пруст, чьи мысли мне понятны только наполовину. Но Рэймонду Карверу я аплодирую стоя — он рисует мир любви и ужаса, спрятанный за входной дверью, в то время как снаружи — полная безмятежность.

Еще один американский писатель, чья книга лишила меня покоя,— Рассел Бэнкс. Его «Печали» — одна из тех книг, которую, прочитав 20 страниц, отклады-

ваешь; не потому, что она плохо написана, а потому, что после тяжелого дня ее персонажи кажутся унылыми и жизни их безнадежными. Позже я возвратился к ней и не пожалел.

Бэнкс пишет о людях маленького городка в Нью-Гемпшире: полицейский, работающий на полставки, и водитель снегоочистительной машины, официантка из забегаловки, неудавшийся футболист, ныне — бурильщик. Их жизнь скучна и замкнута, они погрязли в разврате и насилии [...] Триумф Бэнкса заключается в том, что, описывая все эти ужасы, все эти Герники человеческих душ, он наполняет повествование ясным светом гуманности, лишенным всякой сентиментальности.

Джордж В. ХИГГИНС (США)

[...] У нас, читателей, есть одна общая черта: мы неизменно восстаем против любого навязанного нам выбора книг с неким немыслимым упрямством, что изначально и сделало нас читателями.

Книга «хороша» в нашем понимании не потому, что говорит нам, что и как думать, а потому, что заставляет нас думать и таким образом заставляет работать тот орган, который, невзирая на все попытки утверждать что-либо иное, является самым надежным центром наслаждения в нашем организме: наш мозг [...]

«Рэгтайм» Доктороу очаровал и покорил меня, как и тысячи других читателей, в 1975 году. Потом я как-то к нему не возвращался до тех пор, пока в этом году, оглянувшись назад, не натолкнулся на «Билли Бэтгейта». Это как раз тот тип литературы, от которого я стараюсь держаться подальше, когда пишу сам. Эта сказка о нью-йоркском гангстере эпохи Аль Капоне столь хороша своим содержанием и столь питательна для ума, что просто обречена оставить свой след в вашем сознании [...]

Замираю в благоговейном почтении перед бесстрашным, необыкновенным Хокингом: если ему удалось сделать науку о Вселенной понятной для меня, значит, он может все [...]

перевод с английского Т. Яхниной

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 04.04.90. Подписано к печати 04.05.90. А 04084. Формат 70×108 1/16. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—354 824 экз.). Заказ № 2160. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.